

Джон Стейнбек

1



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

Джон Стейнбек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Том 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1989

84. 7 США
С 79

Составление
и
общая редакция
С. С. И в а н ь к о

Иллюстрации художника
П. Н. П и п к и с е в н ч а

С $\frac{4703000000-1984}{080(02)-89}$ 1984—89

© Издательство «Правда», 1989. (Составление. Вступительная
статья. Переводы. Историко-литературная справка. Иллюстрации.)

ДЖОН СТЕЙНБЕК

(1902—1968)

Американский литературовед С. Мартин несколько лет тому назад издал книгу «Писатели Калифорнии», которую он посвятил «горстке выдающихся писателей, появившихся в Калифорнии за весьма короткий период ее истории». С. Мартин считает, что «Калифорния на сегодня произвела двух великих романистов — Джека Лондона и Джона Стейнбека и одну серьезную литературную школу — так называемых «тертых калачей». «Тертыми калачами» он называет известных писателей детективного жанра — Дэниелла Хамметта, подвергнувшегося гонению и аресту в годы маккартизма, Джеймса Кейса и Рэймонда Чандлера¹.

Советским читателям хорошо известны произведения ряда калифорнийцев — рассказы, повести и роман певца Ревущего Стана Фрэнсиса Брет Гарта, романы разоблачителя «спрута» калифорнийских монополий Фрэнка Норриса, рассказы Амброза Бирса. Но, безусловно, следует согласиться с С. Мартином, что двумя великими романистами-калифорнийцами, снискавшими себе мировую славу, являются только Джек Лондон и Джон Стейнбек.

История переселения семейства Стейнбеков в Калифорнию преисполнена приключений и романтики. Дед писателя по отцовской линии Джон Адольф Гросстейнбек происходил из Дюссельдорфа в Германии. В молодости вместе с братом, сестрой и ее мужем он решил переселиться в Иерусалим. В эти же края отправился из штата Массачусетс и прадед писателя по материнской линии Диксон с женой, двумя сыновьями и тремя дочерьми. Братья Гросстейнбеки познакомились с семейством Диксонов по печальному поводу: они делали гроб для одного из сыновей Диксона, умершего от туберкулеза. Вскоре оба брата женились на старших дочерях Диксона.

Пребывание в Иерусалиме не принесло успеха обеим семьям, и они решают, по совету Диксона, отправиться в Америку.

Дед писателя Джон Адольф с молодой женой Альмирой сначала обосновался в Новой Англии, а незадолго до начала гражданской войны перебрался во Флориду, где и родился отец писателя Джон Эрнст. В это время отца семейства призвали в армию южан, но он дезертировал и бежал на Север, где нахо-

¹ Stoddard Martin. «California Writers», New York, 1983, pp. 1, 3.

дились родственники его жены. Ему удалось организовать переезд в Новую Англию и Альмиры с маленькими сыновьями. Он теперь сократил свою фамилию до Стейнбек и через несколько лет со всем семейством отправился в Калифорнию, купил участок земли, занялся поначалу скотоводством и выращиванием фруктов, а затем построил мельницу.

Отец писателя выучился на бухгалтера и работал на небольших местных предприятиях бухгалтером и управляющим. Жил он с семьей в небольшом городишке Салинас в долине реки с тем же названием в солидном двухэтажном доме, в котором в четверг 27 февраля 1902 года и родился его третий ребенок — сын, названный в честь отца также Джоном Эрнстом.

Детские и юношеские годы Джона прошли в отцовском доме. Зимой он ходил в школу, а в свободное время катался на собственном пони или на велосипеде. По вечерам отец или мать читали вслух Джону и трем его сестрам интересные книги — «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, «Три мушкетера» А. Дюма, «Роб Рой» В. Скотта. Но больше всего юный Джон любил сказки, легенды и предания. Его любимым чтением были греческие мифы и средневековая эпопея Т. Мэлори «Смерть Артура».

Лето Стейнбеки обычно проводили на берегу Тихого океана в рыбацком поселке Пэсифик-Гроув, где у них был скромный дачный домик. Джон целыми днями купался, загорал, во время отливов разглядывал в лужах морской воды раковины моллюсков, водоросли. Каждое лето Джон на пару недель ездил на ранчо Тома Гамильтона, брата матери. Если на побережье дул прохладный бриз, часто бывали туманы, то здесь целыми днями нещадно палило солнце. Джон помогал ухаживать за лошадьми и коровами, работал на огороде. В свободное время он укрывался в кустах за домом и вслушивался в шум воды, стекающей по небольшому ручью. Впоследствии он опишет это ранчо в серии рассказов «Рыжий пони».

В детстве Джон не отличался ни особыми успехами в школе, ни прилежанием и трудолюбием, он был своенравным, упрямым и ленивым ребенком. «Прямо-таки и не знаю, что и думать о Джоне, — сокрушалась его мать. — Он будет или гением, или же пустышкой». Обычно он держался в стороне от детских компаний и по-настоящему дружил только со своей младшей сестрой Мэри, с которой часто переговаривался с помощью заученных архаичных слов из книги Т. Мэлори. Несмотря на то, что она была младше Джона, Мэри частенько выручала его из беды, выступая в его защиту. В старших классах Джон читал серьезные книги — «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера, «Потерянный рай» Дж. Мильтона. «Я помню их не просто как прочитанные книги, — говорил впоследствии Стейнбек, — а как события, случившиеся в моей жизни»¹.

¹ Jackson J. Benson. «The True Adventures of John Steinbeck, Writer», New York, 1984, pp. 19, 23 (далее — «The True Adventures...»).

В те времена в Салинасе никто не выписывал никаких журналов, так как это считалось пустой тратой денег. Стейнбеки были исключением, они регулярно подписывались на «Нэшнл Джиографик», «Юс компэнион» («Спутник молодежи»), «Сэнчури» («Столетие») и другие. Джон с интересом читал эти журналы, был он и одним из немногих посетителей местной библиотеки. Его мать — школьная учительница по профессии — всячески поощряла тягу детей к книге.

В старших классах средней школы Джон неплохо успевал, занимался спортом, активно участвовал в школьном альманахе. Он и сам начал в эти годы писать. «Я обычно устраивался в маленькой комнатке наверху... писал небольшие истории и статьи и рассылал их в журналы под вымышленными именами. Я ничего не знал об их дальнейшей судьбе, так как никогда не сообщал своего адреса. Но я следил за этими журналами, чтобы узнать, не напечатают ли их. Конечно, их не печатали, так как редакции не могли связаться со мной... Интересно, о чем я думал в те дни? Я пуще смерти боялся получить отказ, но еще больше, что какую-нибудь из этих историй примут к печати»¹.

Любимым времяпрепровождением Джона было ничегонеделание. Он сидел у окна в своей комнатке на втором этаже и предавался мечтам и фантазиям. С раннего детства в нем возникло необыкновенное отношение к словам, он вслушивался в их звучание, вникал в глубинный смысл словосочетаний, всматривался в их написание. Магия слов завораживала его, он придумывал разные страшные истории и пугал ими своих сверстников, с неподдельным интересом внимавших его рассказам. Он рано познал силу слов и их магическое влияние на человека.

В 1919 году семнадцатилетний Джон окончил среднюю школу, и перед ним встал вопрос, что делать дальше. Для себя он твердо решил стать писателем, уже видел себя новым Джеком Лондоном, книгами которого он в это время увлекался. Ему хотелось наняться матросом на корабль и отправиться на Дальний Восток или, на худой конец, уехать в Нью-Йорк и стать репортером большой газеты. Но родители смотрели на его будущую карьеру совсем по-другому. Они ничего не имели против его увлечения литературой, но считали, что сначала он должен получить хорошее образование, а там видно будет. В глубине души отец и мать надеялись, что в университете сын образумится и займется потом настоящим делом — станет адвокатом, финансистом или священником.

Джон уступил настояниям родителей и осенью 1919 года поступил в Стэнфордский университет, известный в то время весьма высоким уровнем преподавания.

Хотя родители настаивали, чтобы Джон пошел в элитарный университет, оказывать серьезную финансовую помощь ему они не могли, так как все сбережения ушли на то, чтобы дать образование двум старшим сестрам. Джон впоследствии признавался, что в эти годы у него были «слишком большие амбиции и слиш-

¹ Jackson J. Benson. «The True Adventures...», p. 27.

ком мало денег». «Если я хочу изучать психологию и логику, — писал он в одном из писем, — я должен вертеться среди грязных тарелок и подавальщиц с грязными ушами»¹. Он в эти месяцы подрабатывал мытьем посуды в захудалом местном кафе.

Временами Джон не учился по целому семестру, работая то продавцом в магазине, то чернорабочим на ферме, то грузчиком на сахарном заводе, «загружая в вагоны тяжелые мешки с сахаром, по двенадцать часов в день, семь дней в неделю». Но и в те семестры, когда Джон был в университете, он не слишком обременял себя занятиями, посещал только те лекции, которые ему нравились: английскую и античную литературы, экономику, теорию литературных стилей, французский язык. Он пристрастился к алкоголю, игре в покер, любил играть на бегах.

В общем, Стейнбек провел в университете шесть лет — с осени 1919 по весну 1925 года. За это время он осилил примерно трехгодичный курс, лучше всего он усвоил лекции по теории литературных стилей и по литературному мастерству и пытался применить свои знания на практике, создавая небольшие рассказы для университетского альманаха, которыми он весьма гордился. Его первые шаги на поприще литературы отнюдь не радовали родителей. Они придерживались взгляда, выраженного философом-прагматистом Р. В. Чэмберсом: «Писатели не в чести у деловых людей, поскольку всем известно, что литература — это счастливая находка для всех тех, кто не приспособлен к настоящему труду».

Такое отношение к литературному труду было далеко не случайным. Широко известный американский писатель Уильям Дин Хоуэлс с горечью отмечал в те годы, что в Америке «занятия литературой не могут считаться серьезным мужским занятием, безразлично, полезным или бесполезным. Мы, литераторы, притворяемся, что мы что-то собой представляем, но все это сплошной вздор. Ни взрослые, ни дети в нас не нуждаются: литература для них — пустая забава, которую можно терпеть, но которой не следует увлекаться»².

И тем не менее Джон решил заняться литературой. Для начала он хочет воспользоваться приглашением старшей сестры и отправиться к ней в Нью-Йорк. Приятель помогает ему получить место матроса на грузовом корабле «Катрина», отплывающем в Нью-Йорк через Панамский канал. Родители вручили сыну сто долларов на первые расходы, и солнечным ноябрьским днем Джон пустился в свое первое большое путешествие.

Пасмурным зимним вечером «Катрина» входила в нью-йоркский порт. «Через иллюминатор я смотрел на город, и он ужаснул меня. Было в нем что-то безобразно чудовищное —

¹ «Steinbeck. A Life in Letters», New York, 1975, p. 5. (далее — «...Letters»).

² Ван Вик Брукс. «Писатель и американская жизнь», т. II, Москва, 1971, стр. 187—188.

огромные, тянущиеся к небу дома, пробивающиеся сквозь падающий снег огни. С дрожью в коленках я сошел на берег — перепуганный, замерзший, в состоянии панического ужаса»¹.

Страхи Джона оказались вполне обоснованными. Сестра с мужем ютились в малюсенькой однокомнатной квартире, они дали займы Джону тридцать долларов, так как от родительской сотни после остановок в Панаме и Гаване осталось всего три доллара. Приличной работы найти не удастся, и Джон с помощью мужа сестры устраивается на стройку спортивного зала «Медисон-сквер-гарден» чернорабочим. С утра до поздней ночи он катает по узкому деревянному настилу стофунтовую тачку с цементом, думая лишь об одном — только бы не упасть, только бы дотянуть до конца смены. «О городе у меня было туманное представление — тупая боль во всем теле, мутные огни, последний вагон метро, три лестничных пролета, и в комнате с грязными зеленоватыми стенами, даже не умывшись толком, валюсь в кровать. Утром мясная тушенка, кофе из немытой чашки, покачивающийся подо мной тротуар, и снова — нескончаемая вереница тачек с цементом»².

Через несколько недель на глазах Джона один из рабочих не удержал тачку, сорвался с мостков и разбился насмерть. На следующий день Джон не пошел на работу. Неизвестно, что бы с ним было, если бы неожиданно не приехал по своим делам из Чикаго брат матери Джо Гамильтон. Богатый бизнесмен, он устроил племянника репортером в газету «Нью-Йорк америкен». Двадцать пять долларов в неделю, положенные начинающему репортеру, когда отличный бифштекс в хорошем ресторане стоил тридцать пять центов, казались Джону баснословной суммой. Он немедленно сменил комнату, переехав из Бруклина в Грамерси-парк в южной части Манхэттена.

Но и работа в газете не принесла удовлетворения начинающему журналисту. Он плохо знал город и, получив задание выехать на место происшествия в Куинз или Бруклин, много времени тратил на дорогу, всегда опаздывал и не привозил необходимых материалов. Тогда ему не без влияния дяди поручили делать репортажи из зала суда. Но для такого ответственного дела у него не было ни опыта, ни знаний, ни нужных знакомств. Вскоре Джона из газеты уволили, и он не без наигранной бравады сообщил приятелям, что он добился первого успеха — его выбросили на улицу из ведущей газеты известного магната Херста, теперь он может заняться настоящей литературой.

Он действительно засел за работу, написал несколько рассказов и разослал их в журналы, но вскоре все они возвратились обратно. Джон израсходовал все деньги, задолжал за квартиру, жил впроголодь и подумывал о том, чтобы снова взяться за физический труд. Но сказались месяцы недоедания, у него кружилась голова, он с трудом поднимался по лестнице. Оставался

¹ «The True Adventures...», p. 90.

² Там же, стр. 91.

единственный выход — возвращаться домой, в Калифорнию. Друзья устроили его на уходящий в Сан-Франциско пароход рабочим на камбуз. За дорогу он подкормился, пришел в себя и летом 1926 года объявился в родительском доме в Салинасе.

Погостив несколько дней у родителей, он отправляется навестить своего университетского друга Дюка Шеффилда, женившегося и работавшего над диссертацией, а через пару недель уехал к другому другу — Тоби Стриту, который жил в горах на даче у тещи. Она познакомила Джона со своей богатой приятельницей, которая предложила ему оплачиваемую работу, летом — в качестве шофера, а зимой — сторожем на ее даче. Джон согласился, и две зимы и два лета проработал в этом имении. Работа ему нравилась, зимой он жил один, у него было достаточно свободного времени для занятий литературой. В доме была хорошая библиотека, и он с интересом изучал труды древнегреческого историка Геродота.

Стейнбек начал работать над своим первым романом из жизни пиратов, который он назвал «Золотая Чаша». Казалось, что работа продвигается успешно. «Я закончил свой роман, — сообщал он Дюку Шеффилду 25 февраля 1925 года, — отложил его на какое-то время в сторону, а затем прочитал от начала до конца. И обнаружил, что он никуда не годится. Подобное разочарование подействовало моментально, словно удар по голове. Понимаешь, мне казалось, что роман получается. До самой последней страницы я был уверен, что книга будет хорошей. А она не получилась... Как грустно, когда идет снег»¹.

Он перерабатывает книгу. Но, к сожалению, и в переработанном варианте остались «красивости стиля», затрудняющие восприятие книги читателями. В это время в журнале «Смоукерс компэнион» («Спутник курильщика») был опубликован его рассказ «Подарки Ибана». Это фантастическая история из жизни фей и волшебников. Певец Ибан влюблен в фею Канту, но ее мать хочет, чтобы дочь вышла замуж за богача Глампа, короля гномов. Ибан тоже предлагает возлюбленной «все золото и серебро мира», но это золотые лучи солнца и серебристые отсветы луны на листьях деревьев. Канта предпочитает материальные богатства короля гномов поэтическим фантазиям певца.

Тема рассказа — поражение поэта и триумф золотого тельца — была навеяна неудачным романом Джона. Работая в Нью-Йорке в газете, он влюбился в молоденькую артистку по имени Мэри, весьма успешно выступавшую на сцене ночного клуба в Гринвич-вилледж. Она также симпатизировала Джону, но ее смущали его занятия журналистикой. Мэри предпочла бы, чтобы ее суженый имел более солидную, прочную финансовую базу, ведь она сама зарабатывала в четыре раза больше, чем Джон. Но тот и слушать не хотел о смене своих занятий. В результате Мэри разорвала с ним отношения и вышла замуж за служащего банка. История эта очень сильно повлияла на Джона, и вот те-

¹ «...Letters», pp. 10, 12.

перь он поведал о ней в рассказе-аллегории. Правда, почти никто не знал, что его автор — Джон. Журнал казался ему не слишком-то респектабельным, и по его просьбе рассказ был опубликован под псевдонимом Джон Стерн.

Весной 1929 года он покидает свое место сторожа, какое-то время работает на рыбоводческой ферме, а затем перебирается в Сан-Франциско и устраивается рабочим на склад. Он завершает работу над «Золотой Чашей» и отправляет роман своему приятелю в Нью-Йорк, чтобы тот предложил его издателям. Но семь издателей, один за другим, отвергают роман.

«Мы терпим поражение за поражением, — признавался он в письме к приятелю, также начинающему писателю, — и я не думаю, чтобы в ком-то из нас сохранилось еще достаточно сил, и все же мы по-прежнему долбим головой стену англоязычного романа и зализываем наши царапины, словно раны, полученные на почетной войне... Какое огромное количество труда уходит на то, чтобы написать один роман»¹.

В начале 1929 года пришла телеграмма из Нью-Йорка: издательство «Мак-Брайд» приняло «Золотую Чашу» к печати и готово уплатить аванс в 200 долларов по подписании высланного договора. Такая же сумма причиталась автору по выходе романа из печати. Конечно, это известие не могло не обрадовать Джона, тем более что он уже работал над новым романом и ухаживал за молодой девушкой Кэрол Хэннинг, с которой познакомился предыдущим летом. Он подумывал о женитьбе и полагал, что выход романа упрочит его финансовое положение.

«Золотая Чаша» вышла в свет в августе 1929 года. Стейнбек узнал об этом, увидев роман в книжном отделе универсального магазина, — издатели не удосужились прислать ему авторские экземпляры. Как оказалось, они не разослали книги ни в газеты, ни в журналы, в результате на нее не появилось никаких рецензий. В довершение ко всему роман продавался только через сеть универсальных магазинов, в книжные лавки он вообще не поступил. Тираж в 1500 экземпляров разошелся, чему способствовала яркая суперобложка с портретом пирата: многие покупали книгу в качестве рождественского подарка детям.

Воссоздавая перипетии жизненной судьбы английского корсара и авантюриста XVII века Генри Моргана, писатель меньше всего заботился о том, чтобы написать увлекательную приключенческую историю. Его занимало другое — внутренний мир сельского мальчишки, ставшего грозой морей, противоречия между эгоистичными устремлениями индивидуалиста и преобладающими в обществе тенденциями, противоречие между мечтой и действительностью.

Удачливый корсар Морган поставил себе целью захват богатого портового города Панама. Ему удастся осуществить это рискованное предприятие, все богатства города — в его руках. По слухам, в Панаме живет редкой красоты женщина. Морган

¹ «...Letters», p. 15.

хочет заполучить и ее, тем более что он давно уже создал себе образ этакой мягкосердечной невинной девушки с прекрасными чертами лица. Но жизнь редко соответствует нашим мечтаниям. Черты лица молодой женщины были «резкими, как у кречета, ...красота ее была жестокой и страшной красотой молнии».

Красавица также была наслышана о дерзости и храбрости корсара, но встреча с ним лицом к лицу разочаровала ее: «...вы оказались болтуном, произносящим сладкие, тщательно взвешенные слова, да к тому же весьма неуклюже».

Потрясенный крахом своих мечтаний, Морган захватывает все богатства, покидает сообщников и проводит остаток жизни богатым плантатором.

Хотя тираж романа был распродан, особым успехом он не пользовался, так как большинство читателей видели в нем лишь средненькую приключенческую историю, скрытая же аллегория так и осталась незамеченной. «Эта книга была всего лишь незрелым опытом, написанным с целью избавиться от всех этих умных штучек (известных каждому первокурснику в виде эпиграмм) и всех собственных переживаний (они преследуют нас до тех пор, пока мы не выскажем их вслух), — признавался Джон в декабре 1929 года в одном из своих писем. — Книга выполнила эту свою очистительную функцию. Я уже не так сильно озабочен самим собой. Теперь я могу писать о других людях... Думаю, что напишу несколько по-настоящему хороших книг. Следующая хорошей не получится, да и последующая тоже, но примерно пятая, я думаю, будет выше среднего уровня»¹.

В январе 1930 года Джон Стейнбек и Кэрол Хэннинг сочетались законным гражданским браком. Они сняли небольшой запущенный коттедж, привели его в порядок, и Джон с головой ушел в работу над новыми книгами. Он пишет роман «Неведомому богу», детективную повесть «Убийство при полной луне» и сборник рассказов «Райские Пастбища». Живут они пока на заработки Кэрол и небольшую сумму, которую ежемесячно давали сыну родители, уверовавшие в его литературное призвание после выхода «Золотой Чаши».

Но удача, казалось, оставила молодого писателя. Рукописи его новых книг переходили от издателя к издателю и отвергались. По совету более опытных друзей-литераторов Стейнбек прибег к услугам нью-йоркского литературного агентства «Макинтош энд Отис», но это лишь прибавило забот. Мэйвис Макинтош без обиняков сообщила, что роман «Неведомому богу» ей не нравится, это противоречивое, непоследовательное и бессвязное произведение нуждается в коренной переработке.

В довершение ко всему хозяин выселил Стейнбеков из коттеджа, и Кэрол потеряла работу — давала себя знать охватившая страну всеобщая депрессия. Джон с женой поселились на летней даче его родителей в Пэсифик-Гроув, перебивались тем,

¹ «...Letters», pp. 17—18.

что ловили рыбу и крабов в заливе, собирали съедобные водоросли. Иногда Кэрол удавалось получить временную работу, и тогда они блаженствовали, покупая магазинные котлеты, по десять центов штука. Именно в этот период Джон познакомился с молодым ученым-биологом Эдуардом Ф. Рикеттсом, владевшим небольшой биологической лабораторией, снабжавшей учебные заведения образцами морской флоры и фауны.

Знакомству этому суждено было сыграть весьма важную роль в творческой судьбе Стейнбека. Серьезный, энергичный, влюбленный в свое дело ученый Эд Рикеттс был хорошо известен в городке Монтерей, где размещалась его лаборатория, в которой он жил с женой и сыном. Не лишенный хозяйственной жилки, он неплохо зарабатывал, хотя ему и мешало то, что все он делал один, в лаборатории других сотрудников не было.

Лаборатория Дока, как называли Рикеттса из уважения к его университетскому образованию и универсальным знаниям, размещалась на берегу океана в городке Монтерей в так называемом консервном ряду, т. е. на улице, где располагались консервные фабрики по переработке сардин.

На первый взгляд Джон Стейнбек и Эд Рикеттс мало подходили друг другу. Склонный к анализу и философским раздумьям, неуверенный в себе, Джон был медлительным, когда дело касалось решений. Он словно губка, не торопясь, впитывал в себя знания и жизненные наблюдения, отличался задумчивостью и отчужденностью. Рикеттс был полной противоположностью Джону — всегда уверенный в себе, но без самонадеянности, быстрый на решения, умеющий из множества вариантов моментально выбрать наиболее подходящий. Будучи ученым-естествоведом и по образованию, и по опыту работы, он прекрасно понимал и любил классическую музыку, увлекался философией, знал толк в искусстве и литературе. Ему так нравился «Фауст» Гете, что он специально выучил немецкий язык, чтобы читать любимое произведение в подлиннике.

Вероятно, именно это несходство характеров и влекло их друг к другу. Вскоре их знакомство перешло в крепкую дружбу. Шесть лет — с 1930-го по 1936-й — они виделись почти ежедневно, обсуждая проблемы жизни и философии. Джон помогал Эду в его работе в лаборатории, а Эд, в свою очередь, раскрывал глаза Джону на окружающую их жизнь, знакомил его с простыми тружениками консервного ряда и люмпенами, обитавшими на пустырях Монтерея. Рикеттса одинаково благосклонно принимали и в лучших домах городка, и в лачугах городской бедноты. Рассуждения друзей о жизненной философии и философии жизни часто затягивались далеко за полночь.

В день своего тридцатилетия Стейнбек получил неожиданный подарок — его литературный агент сообщала телеграммой, что «Райские Пастбища» приняты к печати. «Пастбища» необычайно удачливы, — писал Джон другу. — Издательство «Кейп энд Смит» приняло их с энтузиазмом в течение трех дней. Они намерены издать их осенью. Я очень обрадовался, но не столько

за себя, сколько за родителей. Им это так важно. Отец расправил плечи, а мать так и сияет...»

Сам он тем временем взялся за переработку романа «Неведомому богу». В письме к Мэйвис Макинтош он так объяснял замысел нового варианта книги: «Вы помните засуху, которая охватывает Джолон каждые тридцать пять лет? Мы пережили такую же, какая была там в 1880 году. Последние десять лет этот район постепенно умирает из-за недостатка влаги. Эта засуха оказывает своеобразное действие. Растет количество больных, люди больше болеют гриппом, чаще простужаются, страдают странными психическими расстройствами. Резко возрастает количество преступлений и хулиганских выходов. Все становятся какими-то нервными и раздражительными... Таков фон романа»¹.

Работа над книгой продолжалась успешно, и Джон завершил ее немногим более чем за год. В короткие часы отдыха он уходил в лабораторию Эда, где собирались друзья. Здесь Стейнбек познакомился с кузнецом Фрэнсисом Уайтекером, руководителем местного клуба Джона Рида, который ввел Джона в круг активистов движения фермерских рабочих. Другим новым добрым знакомым Стейнбека стал молодой человек Джозеф Кемпбелл, бедный как церковная мышь, живший из милости у одного из соседей Рикеттса. Кемпбелл серьезно изучал мифологию и исследовал сходство мотивов фольклора американских индейцев и легенд короля Артура. Естественно, что Стейнбек, с детства увлекающийся легендами короля Артура, часами беседовал с Кемпбеллом. Впоследствии Джозеф Кемпбелл стал одним из крупнейших американских ученых в области сравнительной мифологии, автором ряда книг.

Перед сном Джон любил почитать что-то серьезное. Обычно это была «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона или же «Закат Европы» Освальда Шпенглера. Вечером у Эда обсуждали прочитанное, Джон высказывал свое мнение и слушал, что говорил Кемпбелл о «Беседах с Эккерманом» Гете или Рикеттс — о новых философских работах. Проблемы текущей политической жизни страны или социальных условий никогда не были предметом бесед в лаборатории Рикеттса, беседы эти как бы служили отдушиной от повседневных забот и тягот. В стране росла безработица, хотя в самом Монтерее консервные фабрики работали на полную мощность: спрос на дешевые сардины возрастал с каждым днем.

«Райские Пастбища» вышли в свет, как и планировали издатели, осенью 1932 года. Книга состоит из двенадцати житейских историй различных людей, населяющих долину «Райские Пастбища». Вместе они составляют мозаичную картину незамысловатой жизни калифорнийских фермеров. Уже в этой книге Стейнбек заявил о себе как о «реалисте эры депрессии», по выражению известного американского критика А. Кейзина, и его реализм раскрыл перед читателями «ужас и беспорядок современ-

¹ «...Letters», pp. 55, 53.

ной жизни». В то же время, как отмечал А. Кейзин, Стейнбек остается «крупным гуманистом, в лучших произведениях которого ощущается подлинная поэзия»¹.

Написанная в форме «романа в рассказах», книга успеха не имела. Американская читающая публика не слишком-то благоволила сборникам рассказов, тем более если их авторами не были популярные писатели. И хотя известные американские писатели-реалисты использовали форму житейских историй, связанных единым местом действия, и до Стейнбека, она так и не привилась. А ведь за тринадцать лет до этого Шервуд Андерсон опубликовал свой сборник «Уайнсбург, Огайо», который принес ему славу. К истории отдельного человека обращался и поэт Эдгар Ли Мастерс в своей знаменитой «Антологии Спуи-Ривер» (1915), написанной в форме стихотворных эпитафий по ушедшим из жизни жителям маленького американского городка, похороненным на кладбище на холме.

«Райские Пастбища» — первая книга писателя о родной ему Калифорнии — отразили «необычайную и бескорыстную простоту, естественную добродетель, отзывчивость и непринужденность», отмечал А. Кейзин. Здесь присутствует и примитивизм Ш. Андерсона, и юношеский мистицизм другого калифорнийца — Фрэнка Норриса. Известный своими элитарными взглядами американский критик Эдмунд Уильсон считал, что «спокойный вопрошающий взгляд» Стейнбека на жизнь придает его книгам необычайную отзывчивость и открывает прекрасный обзор современных социальных проблем².

Действительно, каждая из рассказанных в книге двенадцати историй повествует о тех или иных человеческих проблемах, которые волнуют жителей долины «Райские Пастбища» и которые на первый взгляд могут показаться сугубо личными. Здесь и несбывшиеся надежды одинокого холостяка Пэта Хамберта, втайне перестраивавшего и переоборудовавшего свой дом для приглянувшейся ему соседки Мэй. Но Мэй ничего не знает ни о связанных с ней мечтаниях Пэта, ни о том, что он тратит большие деньги, чтобы привести в порядок для нее свой дом. И она выходит замуж за простоватого молодого человека Билла Уайтсайда накануне того самого дня, когда закончивший все приготовления Пэт готов пригласить ее взглянуть на дело рук своих. Женитьба Билла на Мэй разрушает и мечту его родителей женить сына на приезжей учительнице Молли Морган.

У жителей долины немало своих маленьких трагедий и драм, которые они стоически переносят. Но их в общем-то сытая жизнь лишена главного, высшего смысла.

Ненавязчивое изображение монотонного, однообразного существования, лишеного какой-либо осмысленной цели, раскрывает перед читателем всю беспросветность окружающей простого

¹ А. К а з и н. «On native Grounds», New York, 1942, pp. 393, 394.

² Т а м ж е, pp. 394, 395.

американца действительности. В чем смысл этой жизни? — кажется, вызывают со страниц книги ее обитатели, влачащие жалкое существование в благодатном и сытом краю в долине с таким обманчивым названием — «Райские Пастбища».

Вторая книга писателя, как и первая, не принесла ему ни славы, ни денег. Между тем жизненные обстоятельства приняли тяжелый оборот. В мае 1933 года паралич разбил мать Джона, и он вместе с женой переезжает в родительский дом, чтобы ухаживать за матерью и облегчить жизнь отца. Зброшена литературная работа, и в короткие часы отдыха Джон уезжает к Эду, чтобы отвести душу в философских беседах о смысле человеческой жизни, о проблемах жизни и смерти, о месте отдельного человека в обществе, его взаимоотношениях с другими людьми. Он с интересом слушает рассуждения Эда об отличии «группового характера» людей от характера отдельной личности. Эд утверждал, что в составе группы человек всегда действует совсем по-иному, чем он действовал бы в этих же обстоятельствах в одиночку. Стейнбек задумывается о том, почему индивидуальные стремления отдельной личности так часто приходят в столкновение с моральными ценностями буржуазного общества. Почему отдельный человек оказывается фактически один на один с огромной машиной частного бизнеса и опирающегося на него капиталистического государства.

Вот и сам он уже несколько лет упорно трудится над своими книгами. Две уже изданы в престижных нью-йоркских издательствах, а кто их читает, эти полторы тысячи экземпляров, кому они нужны? А ведь он вложил в них свое видение мира, свое понимание жизни, он хотел привлечь внимание читателей к этому уголку Соединенных Штатов, который все считают благословенным краем и куда тысячами тянутся переселенцы.

Подобные вопросы десятками роятся в его голове. Он ищет ответа на них в спорах с разными людьми, такими как Рикеттс, Кемпбелл и Уайтекер, в трудах Генри Торо и Ралфа Эмерсона, в поэзии Уолта Уитмена. Он пытается понять смысл учения трансцендентализма о некоей высшей «сверхдуше», частица которой нисходит на человека, если он способен восстановить контакт с природой. Но ведь жители долины «Райские пастбища» живут и трудятся ежедневно на природе, становясь как бы ее продолжением, а разве они счастливы? Нет, дело здесь не в природе, а в чем-то другом. Он ездит с Уайтекером на собрания членов клуба Джона Рида, бывает среди поденщиков и всюду внимательно вслушивается в горячие споры, пытливым взглядом всматривается в окружающую его жизнь. Он уже собирает материал для своих будущих книг, хотя сам еще и не подозревает об этом. Его раздумья находят отражение в письмах и дневниках.

«И снова, как обычно, бедность и животный страх,— записывает он в дневнике в 1932 году.— Страх, что мое перо не сумеет выразить того, что намелют жернова моего мозга. Легко понять, почему древние обращались с мольбой о помощи к Музе. И Муза являлась и становилась рядом. А мы, да поможет нам бог, не

верим в муз. Нам не на что опереться, кроме как на собственное мастерство, а его, как подтверждает современная литература, явно недостаточно. Пусть я буду честным, пусть я буду порядочным, пусть мне будут чужды низкие приемы литературных поденщиков. Если необходимо воззвать к богу, то вот моя молитва — пусть я буду сильным и мягким, нежным и умным, мудрым и терпимым. Дай мне хоть на минуту, на один малюсенький миг посмотреть на мир всепроникающим взглядом бога»¹.

А пока он занят семейными хлопотами и ждет выхода из печати своей третьей книги. «Неведомому богу» вышла в свет в ноябре 1933 года. Печальная история жизни и смерти фермера Джозефа Уэйна, приехавшего из штата Вермонт в Калифорнию в поисках свободной земли и счастья. Землю — сто шестьдесят акров — он получил в долине между двумя грядами холмов. Земля была покрыта яркой зеленью, то тут, то там виднелись голубые или желто-золотистые цветы. Но вскоре Джон узнал, что это буйное цветение вызвано редким здесь дождем, недавно прошли сильные дожди — первые после десятилетней засухи.

Джозеф строит себе дом, женится, а через какое-то время снова наступает засуха. Земля умирает на его глазах, он молится и приносит жертвы «неведомому богу», но дождя все нет. Тогда он решает принести в жертву свою собственную жизнь. Он подымается на высокий холм, ложится на иссушенную землю и вскрывает себе вены. Уже умирающий, он чувствует, как на его лицо падают первые тяжелые капли дождя.

Простая, незамысловатая жизненная история Джозефа Уэйна не имела успеха ни у читателей, ни у критиков. Ее автор по-прежнему был беден, перебивался на случайные заработки жены и помощь отца.

В том же 1933 году в нью-йоркском журнале «Нортх америкен ревью» («Североамериканское обозрение») были напечатаны два рассказа Стейнбека — «Подарок» и «Великие горы». По содержанию они примыкают к историям из «Райских Пастбищ» и также рассказывают о жизни небогатых фермеров. Повествование здесь ведется от имени десятилетнего Джоди Тифлина, познающего окружающий мир.

Джоди рано узнает жестокую сторону жизни. Околел от болезни подаренный ему пони, так и не доставив мальчику удовольствия проехаться верхом («Подарок»). Уходит в ночь и уводит с собой старую лошадь старик Гитано, который и сам уже никому не нужен. Он уходит в направлении Великих гор, но Джоди знает, что он далеко не уйдет. Мальчик видел, как Гитано поздно вечером любовно рассматривал старинный острый стилет.

19 февраля 1934 года скончалась мать писателя. Он тяжело переживал свою первую жизненную потерю. Сразу сдал и одряхлел отец, оставшийся один в большом семейном доме в Салинасе. Джон и Кэрол каждую неделю приезжают к нему убрать дом, приготовить ему, постирать.

¹ «...Letters», pp. 64—65.

Джон по-прежнему часто бывал в Монтерее. В городке давно уже ходили юмористические истории о похождениях местных старейших обитателей, которых все называли пайсано. Обычно пайсано не работали, и не потому, что не хотели, просто в эти годы найти работу было практически невозможно. Знакомая Стейнбеков, учительница Сюзан Грегори ввела Джона в мир пайсано, обосновавшихся на окраине города в квартале под названием Тортилья-Флэт — «Лепешечная равнина».

Рассказы Сюзан Грегори о жизни пайсано, смешные и грустные одновременно, собственные наблюдения Джона подтолкнули его к написанию новой книги, которую он так и назвал «Квартал Тортилья-Флэт». В начале 1934 года он закончил работу над книгой и отправил рукопись в Нью-Йорк.

Здесь необходимо сделать отступление. Неизвестно, как бы сложилась судьба повести, да и вся дальнейшая судьба самого писателя, если бы не вмешался случай. В Чикаго небольшой книжной лавкой владел некий Бен Абрамсон. Он прочел в журнале рассказы Стейнбека «Подарок» и «Великие горы», они ему понравились, и он заказал для своего магазина по несколько экземпляров «Райских Пастбищ» и «Неведомому богу». Однажды в книжную лавку Абрамсона зашел его старый знакомый, нью-йоркский издатель Паскаль Ковичи. Узнав, что Ковичи не читал книг Стейнбека, Абрамсон вручил ему «Райские Пастбища».

В поезде по дороге в Нью-Йорк Ковичи прочел «Райские Пастбища». Книга ему очень понравилась, он разыскал литературное агентство, ведавшее делами Стейнбека, и получил рукопись «Квартала Тортилья-Флэт», отвергнутую до этого несколькими издательствами. Судьба книги и, как оказалось впоследствии, судьба писателя была решена.

Тем временем Стейнбек пишет два новых рассказа — «Убийство» и «Налет», которые публикует журнал «Нортх америкен ревью». Рассказу «Убийство» присуждают престижную литературную премию имени О. Генри. Сюжет рассказа прост. В одной из долин неподалеку от Монтерее стоял заброшенный старый дом и хлев. Их хозяин, зажиточный фермер Джим Мур, с женой жил в новом доме, построенном дальше в той же долине. Проезжающие неизменно удивлялись тому, что хозяин забросил добротный дом и подворье и построил новую ферму. И только старожилы знали причину этого на первый взгляд необъяснимого поступка.

Джим Мур, оставшись один после смерти родителей, женился на красавице славянке. Тесть, крепко подвыпивший в день свадьбы, поучал своего зятя: «Твоя жена не такая, как обычные американские девушки. Если она сделает что-то плохое, избежь ее. Если же она слишком долго ведет себя хорошо, все равно избежь ее».

«Я не стану бить жену», — ответил Джим.

«Не будь дураком. Ну, да ты сам увидишь». — И старик снова припал к своей пивной кружке.

Джим хорошо жил с женой. Правда, она была молчаливой,

почти не общалась с соседями, все время что-то вязала или шила. Казалось, что дела мужа ее мало интересуют, и она заботилась лишь о том, чтобы он вовремя был накормлен и чтобы в доме все блестело чистотой. Джиму хотелось поговорить с женой, обсудить дела, но она всегда молчала.

«Почему ты никогда не поговоришь со мной? — допытывался Джим. — Тебе что, не хочется говорить со мной?»

«Нет, почему же? — отвечала жена. — Что ты хочешь, чтобы я сказала?» — она говорила на понятном Джиму языке, но мысли ее были скрыты за семью печатями. И Джим по субботам стал уезжать в поселок, чтобы поговорить со знакомыми и развлечься. Вот и сегодня после тяжелого трудового дня он предлагает жене поехать вместе с ним. Но она отказывается: уже поздно, когда они приедут, все магазины будут закрыты. Джим седлает коня, берет с собой ружье на случай, если попадется олень, и уезжает один.

По дороге Джима догоняет сосед и сообщает, что неподалеку в зарослях он обнаружил остатки костра и голову убитого теленка с клеймом Джима. Тот сразу же решает отправиться на поиски злоумышленников.

Никого не обнаружив, Джим около полуночи поворачивает домой, так как ехать в поселок в этот поздний час не имело смысла. В своей конюшне он обнаружил оседланную чужую лошадь. Осторожно, чтобы не скрипнула половица, с ружьем наготове он входит в дом и при свете полной луны видит, что рядом с его женой на их семейной кровати спит ее взрослый стеснительный кузен. Джим так же осторожно выходит из дома и какое-то время сидит около ручья. Затем освежает лицо и голову холодной водой и твердым шагом возвращается в дом. Он видит раскрытые от ужаса глаза жены, подымает ружье и одним выстрелом убивает ее кузена, выходит во двор, вскакивает на коня и скачет в поселок.

Утром Джим возвратился домой вместе с помощником шерифа и судебным врачом. Они забирают тело убитого и перед отъездом говорят хозяину: «Конечно, против вас имеется формальное обвинение в убийстве. Но оно будет снято. Здесь всегда так бывает в подобных случаях. Будьте все же снисходительны к своей жене, господин Мур».

После их отъезда Джим медленно вошел в дом и вскоре появился на пороге с плетеной, отягощенной свинцом плетью в руках. Осмотревшись по сторонам, он направился на сеновал. Через какое-то время он снова появился во дворе с потерявшей сознание, окровавленной, избитой до полусмерти женой на руках. Он осторожно посадил ее около ручья, привел в чувство холодной водой и омыл ее кровоточащие раны. Придя в себя, она готовит мужу завтрак и молча смотрит, как он ест.

— После обеда поедem в поселок, — говорит Джим, — нужно заказать бревна, будем строить новый дом и хлев подальше отсюда в ложбине.

— Хорошая идея, — соглашается жена и через минуту спрашивает: — Ты будешь бить меня еще за это?

— Нет, за это больше не буду.

И теперь по субботам в поселке смотрели на пролетку, в которой приезжал Джим, рядом с ним всегда сидела располневшая, но все еще очень красивая его жена.

«Убийство» было опубликовано в апреле, а через шесть месяцев в октябре 1934 года тот же журнал напечатал другой рассказ писателя — «Налет». Рассказ этот по своему содержанию отличается от всего созданного Стейнбеком ранее. В небольшой калифорнийский городок приезжают рабочие левых взглядов Дик и Рут, чтобы провести сходку. В заброшенной лавке они зажигают керосиновую лампу, прикрепляют на стену плакат, раскладывают на ящиках от яблок несколько брошюр и ждут прихода рабочих. Молодой парнишка Рут впервые участвует в организации сходки, он нервничает, прислушиваясь, не слышно ли шагов снаружи.

Но вот в лавку вбегает запыхавшийся незнакомый человек...

«Вы, ребята, лучше сматывайтесь, — сказал он. — На вас готовится налет. Никто из парней на сходку не явится. Решили вас одних тут бросить на расправу, а я так не могу. Давайте же! Собирайте свое имущество и уматывайтесь. Они вот-вот нагрянут!»

— Мы не двинемся с места, — деревянным голосом ответил Дик.

— Может, мне остаться с вами?

— Не стоит. Ты хороший парень, тебе не следует оставаться. Ты нам еще понадобишься.

Дик и Рут остаются и ждут прихода налетчиков. «Вот слышался топот шагов. Двери распахнулись настежь. Ввалилась толпа людей в грубой одежде и черных шляпах. В руках — дубинки и палки. Дик и Рут стояли очень прямо, подбородки вздернуты, глаза полуприкрыты. Налетчики, оказавшись внутри, чувствовали себя не совсем уверенно. Они полукругом охватили двух товарищей, ожидая, чтобы кто-то сделал первый шаг... Рут вставил себя сделать шаг вперед. «Товарищи, — закричал он, — вы такие же люди, как и мы. Мы все братья». — Удар дубинки обрушился на его голову».

Избитых до полусмерти друзей забирают в полицию и помещают в тюремную больницу. Их обвиняют «в подстрекательстве к беспорядкам», им грозит шесть месяцев тюрьмы. Но они не осуждают налетчиков: «Не в них дело. Это строй такой».

Стейнбек жил среди простых людей, знал их нужды и заботы, хорошо видел, что происходит в штате. Летом 1934 года в Калифорнии бастовали тысячи рабочих, как пришлые сезонники, так и коренные жители. В июле четыре дня продолжалась всеобщая забастовка портовых грузчиков, организованная местным профсоюзом. Кэрол в эти месяцы устроилась на работу в управление по оказанию помощи безработным, она рассказывала Джону о сотнях доведенных до отчаяния людей. Все эти впечатления и нашли свое отражение в рассказе «Налет», лежащем в русле пролетарской литературы Соединенных Штатов периода «красных тридцатых».

В мае 1935 года издательство «Ковичи-Фрид» выпустило в свет иллюстрированное издание повести «Квартал Тортилья-Флэт», которая сразу же обратила на себя внимание и критиков, и читающей публики: она попала в список бестселлеров и продержалась в нем несколько месяцев. Стейнбек впервые получил за свои литературные труды весьма приличный гонорар. К тому же известная голливудская кинофирма «Парамаунт» приобрела права на постановку кинофильма по повести. Этот наконец-то пришедший успех омрачился кончиной отца писателя буквально накануне выхода книги из печати.

Рассказанная с юмором, веселая и грустная история жизни четырех пайсано, людей без определенных занятий, бросивших вызов окружающей их действительности, привлекала внимание прежде всего своей простотой и незамысловатостью. В то же время и по своей форме, и по стилистическим особенностям она ассоциировалась со средневековой легендой о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола. Читатели понимали, что пайсано не настоящие рыцари, но им льстило, что эти простоватые герои были наделены настоящими рыцарскими чувствами — душевным благородством, мужской верностью, честностью и преданностью.

Гибель их предводителя Дэнни и распад содружества невольно наводили на мысли о том, что в современной Америке эти качества недорого стоили. Далеко не случайно и то, что они характеризуют не сильных мира сего, а простых людей, подобных Дэнни и его друзьям — пайсано.

Охвативший всю страну тяжелейший кризис не обошел и Калифорнию. Резкое снижение заработков приводило к росту числа забастовок и маршей протеста, в которых активно участвовали докеры и рабочие консервных фабрик, сельскохозяйственные рабочие. Больше других страдали сезонники — сборщики овощей, фруктов и хлопка.

Стейнбек внимательно наблюдал за происходящим, перемалывал все увиденное и услышанное «жерновами своего мозга», подолгу раздумывал над судьбами простых людей. В этот период он часто посещает дом известного радикального журналиста Линкольна Стеффенса, у которого встречается с известными в то время представителями левого движения: Анной Луизой Стронг, Майклом Голдом, Эллой Уинтер. Здесь он знакомится с молодыми профсоюзными активистами, с журналистом Джорджем Уэстом из газеты «Сан-Франциско Ньюс», хорошо знающим положение дел в штате.

Стейнбек постепенно приходит к мысли описать происходящее. «Как ты помнишь, у меня была идея создать что-то вроде автобиографии коммуниста, — сообщал он в январе 1935 года своему приятелю, литератору Джорджу Олби. — Но мисс Макинтош посоветовала создать это в художественной форме. Вот тут-то и проблема. Я планировал написать журналистский репортаж о забастовке. Но чем больше я думаю об этом как о художественном произведении, тем больше и больше разрастается мой замысел... Он все время не идет у меня из головы... Это будет же-

стокая книга. Мне хочется в данном случае выступить лишь как совестливому летописцу, не давать никаких оценок, просто воссоздать хронику событий»¹.

Новый роман писателя получил название «И проиграли бой» (строка из знаменитой поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай»). Вряд ли случайно Стейнбек позаимствовал это название у поэта-борца, чья поэзия проникнута духом борьбы за гражданские идеалы. Рукопись была отослана нью-йоркским издателям, а сам писатель с женой отправляется в автомобильное путешествие по Мексике, стране, в которой он давно уже хотел побывать. Мексика и мексиканцы пришлись по душе писателю, он навсегда проникся уважением к простым, бесхитростным труженикам, с которыми сталкивался на каждом шагу.

По меньшей мере два обстоятельства способствовали тому, что роман расходился: во-первых, серьезный успех предыдущей работы писателя — повести «Квартал Тортилья-Флэт». Во-вторых, злободневность описываемых событий. Забастовки проходили повсеместно, в 1934 году, например, бастовали полтора миллиона рабочих. Росло влияние профсоюзов, усиливалось сопротивление хозяев. Отовсюду поступали сообщения о кровавых расправах с зачинщиками забастовок — точь-в-точь, как описанное в романе убийство молодого агитатора Джима Нолана. По официальным подсчетам, в 1933—1934 годах в ходе забастовок были убиты 88 человек, в 1935 году в тюрьмы были брошены 35 тысяч забастовщиков.

Сравнивая описанные в новом романе Стейнбека события с реальной жизнью, читатели не могли не задуматься над всем происходящим, над сложными вопросами взаимоотношений между трудом и капиталом. Если профессиональный революционер и агитатор Мак мог и не попадаться им в повседневной жизни, то Джим Нолан вполне мог оказаться соседским сыном, а врач, либерал Бертон с его чувством одиночества и бесперспективности жизни вполне мог быть подлинным двойником многих интеллигентных читателей, и его мысли каждый мог бы отнести на свой счет.

— Мне просто одиноко, чертовски одиноко, — признавался Бертон Маку. — Работаю в одиночку, а к чему все? У вас преимущество: я у людей сердце стетоскопом прослушиваю, а вы чувствуете его на расстоянии.

Этим признанием либерала Бертона писатель подчеркивал способность коммуниста Мака улавливать движения человеческих сердец, помыслы и намерения простых тружеников. Характерно, что в финальной сцене романа, когда Мак на руках приносит в лагерь тело убитого наемниками друга, писатель подчеркивает бескорыстие коммунистов. «Перед собой он видел множество людей, в глазах у них играли блики от фонаря, стоявшие дальше были неразличимы во тьме. Мака пробрала дрожь. Он с трудом разнял челюсти. Голос зазвучал высоко, на одной ноте:

¹ «...Letters», p. 98.

«Этот парень старался не ради себя...— начал он.— Костяшки пальцев побелели — он намертво вцепился в перила...— Товарищи! Этот парень старался не ради себя...»

Достаточно представить себе всю пропитанную духом наживы, погони за богатством атмосферу буржуазной Америки, чтобы по достоинству оценить эту простую, но такую емкую фразу, которой писатель закончил свою книгу.

К немалому удивлению писателя, критики — и либеральные, и консервативные — отзывались о романе, в общем, положительно. Исключение составляла Мэри Макарти, которая в журнале «Нэйшн» утверждала, что роман написан «академичным», «деревянным», «высокопарным» языком, а автор его, хотя он и прирожденный рассказчик, никак не является «ни философом, ни социологом, ни тактиком забастовочного движения». Вот если бы книгу написал... Троцкий, то результат мог бы быть впечатляющим, заключала Макарти¹.

Куда более точную и справедливую оценку роману дал в одном из частных писем патриарх американских репортеров Линкольн Стеффенс: «Неподалеку от нас появился новый многообещающий писатель. Его зовут Джон Стейнбек. А его роман называется «И проиграли бой...»: история забастовки на уборке яблок. Это великолепное, простое и точное описание событий, как они происходили в жизни. Стейнбек утверждает, что не намеревался создавать историю забастовки или рабочих волнений, что его интересовала психология массы забастовщиков. Но я думаю, что это лучший репортаж о рабочем движении в этой долине. Точно так все происходило здесь прошлым летом. Может быть, рабочие описаны не с большой симпатией, зато их противники показаны со всем реализмом»².

Между тем накал классовой борьбы не спадал, забастовочное движение не утихало. Одна из наиболее упорных и жестоких забастовочных схваток разразилась в родном городке писателя Салинасе. Забастовали рабочие — упаковщики овощей. Местные предприниматели ответили ударом на удар: городские власти передали все свои полномочия комитету, составленному из крупных предпринимателей. Комитет сразу же отменил на территории городка и примыкающих к нему поселков действие всех гражданских свобод. Все «лояльные жители» в возрасте от 18 до 45 лет были объявлены мобилизованными, и им выдали боевое оружие. Улицы городка перегородили баррикадами и рядами колючей проволоки. Против забастовщиков применили слезоточивый газ, дубинки. Нахлынувших газетчиков грозили линчевать.

Особая жестокость схваток в Салинасе, непримиримость и экстремизм обеих сторон снова приковывают внимание писателя к положению сезонных рабочих, «этих кочующих цыган периода урожая», как их презрительно называли богатые фермеры.

¹ «The True Adventures...», p. 324.

² «The Letters of Lincoln Steffens», vol. II, New York, 1938, p. 1015.

Джордж Уэст из «Сан-Франциско Ньюс» заказывает Стейнбеку серию статей и очерков о сезонных рабочих, писатель примыкает к группе сезонников—сборщиков хлопка и несколько недель работает и путешествует вместе с ними. Здесь он узнает, что хозяева обвиняют в возникающих стычках его самого, считая, что роман «И проиграли бой» подталкивает рабочих на забастовки.

Наблюдения Стейнбека были опубликованы в газете с 5 по 12 октября 1936 года под заглавием «Цыгане периода урожая». Статьи эти привлекли всеобщее внимание. Писатель показал в них на большом фактическом материале все те вопиющие несправедливости, которые совершались по отношению к десяткам тысяч честных трудолюбивых коренных американских граждан, низведенных системой капиталистического предпринимательства до положения бессловесных рабов.

Все приведенные им факты были строго документированы, и взбешенные предприниматели не рискнули открыто опровергать их. Они пустили в ход другое оружие — угрозы и шантаж. «Я думаю,— отвечает Стейнбек в письме друзьям, беспокоящимся о его безопасности,— что в настоящее время моя безопасность определяется тем фактом, что я еще не настолько важен, чтобы меня просто убить, и в то же время избиение меня привлечет внимание печати. Что касается нашего дома, то он застрахован на случай порчи или разрушения в результате актов вандализма или беспорядков»¹.

Тем временем Стейнбек написал небольшую повесть, получившую по предложению Эда Рикеттса название «О мышах и людях». Эти слова взяты из стихотворения великого шотландского поэта Роберта Бернса о бессилии людей и зверей перед силами природы. Повесть вышла из печати в феврале 1937 года и сразу же привлекла к себе внимание и читающей публики, и критиков. Она быстро попадает в список бестселлеров и расходуется тиражом более 150 тысяч экземпляров. Популярный книжный клуб «Бук оф зе манс» («Книги месяца») рассылал ее своим членам вместе с новым романом Герберта Уэллса «Игрок в крокет». Впервые имя писателя Джона Стейнбека становится известным всей Америке.

«О мышах и людях» — несколько сентиментальная история с трагическим концом о дружбе и мечтах двух простых тружеников Джорджа и Ленни. Ловкому, быстрому, умелому, опытному работнику Джорджу противостоит силач и увалень Ленни, с детства обделенный умом. Они вместе выросли, дружат с детства, Джордж всячески опекает своего слабоумного друга. Вдвоем они мечтают подкопить денег и приобрести небольшую ферму, на которой они будут вместе жить и хозяйничать. Ленни хочет завести кроликов — уж очень он любит гладить своими огрубевшими сильными пальцами что-нибудь мягкое, пушистое. Это, казалось бы, весьма невинное увлечение частенько навлекает на него беду: то он ненароком задушит любимого щенка хозяйки,

¹ «...Letters», pp. 133—134.

то насмерть перепугает девушку, пытаюсь всего лишь пощупать пушистую материю ее платья.

Вот и на новом месте Ленни попадает все в новые и новые передраги. Трагический финал не заставляет себя ждать слишком долго: Ленни, никак того не желая, лишает жизни молодую жену хозяйского сына. Укрывшись в укромном месте, он со страхом ждет Джорджа. Но тот не ругает друга, он прислушивается к шуму шагов преследователей, зная, что они хотят линчевать Ленни. В последний момент он посылает спасительную пулю в затылок своего любимого друга.

Так разрушалась мечта Джорджа и Ленни о собственной ферме. Американские литературоведы подчеркивают, что этот крах определяется не общественными условиями, а «ограниченностью... героев повести. Зерна трагедии произрастают не в обществе, а в индивидуальных особенностях персонажей»¹. С таким утверждением никак нельзя согласиться. Джордж — энергичный, работающий, хорошо знающий свое дело человек, обладающий добрым и отзывчивым характером. В то же время он имеет силу воли, способен подчинить себе других людей. И он терпит поражение не потому, что его личные качества не соответствуют поставленной им перед собой цели, а потому, что житейские обстоятельства не подчиняются ему, они вне пределов его власти.

Слабоумный Ленни юридически не может отвечать по суду за свои поступки. Казалось бы, ему ничего не угрожает. Но Джордж знает, что юридические законы в данном случае не имеют силы, фермерские служащие просто линчуют Ленни. Этот варварский обычай — проявление типично американского образа жизни — дожил и до наших дней. Поэтому крах мечты Джорджа и Ленни вызван не силами природы, а явлением общественным, социальным — угрозой линчевания. Жизненные обстоятельства капиталистической Америки разрушают мечту Джорджа и Ленни, приводят к трагической гибели одного и душевному опустошению другого. Джордж и Ленни терпят сокрушительное поражение в схватке не с силами природы, а с силами окружающего их общества, с проявлениями американского образа жизни.

Именно этим определяются типичность описанных обстоятельств и успех повести у американских читателей. По повести была поставлена пьеса, с большим успехом шедшая на Бродвее и признанная Обществом нью-йоркских театральных критиков лучшей американской пьесой сезона 1937/38 года.

Летом 1937 года Стейнбек с женой совершили поездку в Европу, побывали в Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки, Ленинграде, Москве. Возвратившись в Нью-Йорк, Стейнбек приобрел новый «шевроле» и отправился на нем через всю страну в Калифорнию. Первую остановку он сделал в Чикаго, где провел несколько дней у своего дяди Джо Гамильтона. Из Чикаго писатель отправился на юго-запад, в штат Оклахома. Если по-

¹ Cliffs Notes on Steinbeck's «Of Mice and Men», Lincoln, Nebraska, 1966, p. 38.

смотреть на карту Соединенных Штатов Америки, то станет ясно, что Стейнбек выбрал далеко не самый короткий путь домой. Тому была весьма веская причина: писатель уже работал над новым романом о переселенцах из Оклахомы в Калифорнию. И теперь, путешествуя по пыльному шоссе номер 66, он проделал тот самый путь, которым двигались герои его нового романа.

Возвратившись в Калифорнию, Стейнбек вскоре погрузил в свою машину одеяла, запас продуктов, термосы с кофе и вместе с добрым знакомым Томом Коллинсом совершил поездку по нескольким лагерям для переселенцев и сезонных рабочих. Все увиденное еще более укрепило его в желании написать серьезный роман о тяжелой судьбе этих людей. В начале 1938 года нью-йоркский иллюстрированный журнал «Лайф» обратился к писателю с просьбой написать текст к фотоочерку о жизни сезонных рабочих в Калифорнии. Писатель согласился.

«Должен снова отправиться во внутренние долины,— сообщает он в феврале 1938 года своему литературному агенту Элизабет Отис.— Там умирают голодной смертью пять тысяч семей. Не просто голодают, а умирают от голода. Власти пытаются оказать им помощь продуктами и медицинским обслуживанием, но фашиствующие группы банкиров, крупных фермеров, владельцев компаний коммунальных услуг саботируют все эти попытки... В одной палатке находятся на карантине двадцать человек больных оспой, и среди них две женщины, которые должны родить на этой неделе. Я ввязался в это дело с самого начала, и я должен поехать туда посмотреть, что происходит, и, может быть, мне удастся помочь прошибить головы всем этим убийцам».

Написав материал для «Лайфа», Стейнбек отказывается писать статьи обо всем увиденном для других журналов. «Извините, но я просто не могу делать деньги на этих людях... Их страдания слишком велики, чтобы можно было на них зарабатывать»¹. «Лайфу» же он поручает перевести причитающийся ему гонорар в фонд помощи сезонным рабочим Калифорнии. Но ни снимки фотографа журнала, ни текст Стейнбека так никогда и не появились на страницах «Лайфа».

Все увиденное и пережитое писателем за эти месяцы оказало на него огромное влияние, высветило всю проблему новым светом. Он решительно откладывает в сторону написанные ранее главы и начинает совершенно новую книгу, которая получает название «Гроздь гнева». Слова эти взяты из известного гражданам США «Боевого гимна республики», опубликованного в 1862 году и принадлежащего перу поэтессы Джулии Уорд Хоуэ.

Название книги «мне нравится все больше и больше...— признается писатель в письме 10 сентября 1938 года.— Оно мне нравится потому, что взято из строф боевого марша, и моя книга — тоже своего рода марш. Оно — в русле наших собственных революционных традиций, и по отношению к этой книге оно имеет большой смысл. И еще оно мне нравится потому, что люди

¹ «...Letters», pp. 158, 161.

знают «Боевой гимн», даже те, кто не знает «Усыпанный звездами стяг» (официальный гимн США.— С. И.)... С марта месяца не выхожу из-за стола... Никогда в жизни не работал так упорно и так долго»¹.

Наконец, после многочисленных изменений, после переработки ряда глав и сцен рукопись романа была отправлена издателям. А сам писатель оказался прикованным к постели: он доработался до полного изнеможения. И только через две недели силы начали мало-помалу возвращаться к нему. Паскаль Ковичи, к этому времени перешедший в издательство «Викинг», сообщил, что чтение рукописи Стейнбека привело руководителей издательства в состояние «эмоциональной опустошенности». На рекламу романа выделялась огромная по тем временам сумма—десять тысяч долларов.

Однако издатели просили внести в рукопись некоторые изменения. Это касалось концовки романа и разговорной речи героев. Элизабет Отис пересекла всю страну, чтобы вместе с писателем поработать над требуемыми исправлениями. Менять концовку романа Стейнбек категорически отказался. В текст он согласился внести некоторые исправления, если это не нарушало строя фразы и не меняло смысла. «Но на некоторые изменения я согласиться не мог,— писал Стейнбек Ковичи.— Если тон фразы или скрытый в ней намек требуют определенного слова, я сохранил его, независимо от того, что подумает читатель. Эта книга написана не для слабонервных дамочек. И если они станут ее читать, они явно возмутятся не за свое дело. Я никогда не менял ни одного слова, чтобы потрафить вкусам какой-либо группы и ни в коем случае не намерен отступать от этого правила... Я никогда не хотел стать популярным писателем — вы это прекрасно знаете. И читатели, которых шокирует сценка из нормальной жизни и употребляющееся в жизни слово, ничего для меня не значат...»

Вместе с тем Стейнбек был убежден, что его новый роман не может иметь коммерческого успеха. Он предупреждал издателей, чтобы они не планировали большой начальный тираж. «Книга не станет популярной. И было бы напрасным убытком печатать сразу большой тираж. Надо издать небольшой тираж, а если будут заказы — допечатать еще».

Он прямо писал Ковичи, что «фашиствующие группы попытаются саботировать книгу из-за ее революционного содержания. Они попытаются обвинить ее в пропаганде коммунистических идей...». В другом письме Стейнбек объяснял свое решение не менять концовку романа: «...Я пишу не для того, чтобы удовлетворить читателя. Наоборот, я лезу из кожи вон, чтобы он получил настоящую нервную встряску, а не удовлетворение. И еще одно: я пытался писать эту книгу не так, как обычно пишутся книги, а так, как это бывает в ничем не приукрашенной жизни»².

¹ «...Letters», p. 171.

² Там же, pp. 175, 173, 174, 178.

В марте 1939 года «Гроздья гнева» вышли в свет, в течение первых двух месяцев разошлось более 80 тысяч экземпляров книги, она возглавила список бестселлеров 1939 года и была в числе десяти книг, пользующихся наибольшим спросом в следующем, 1940 году. Реакция печати, критиков и читателей на роман была далеко не однозначной. Так называемая большая пресса сразу же отнесла «Гроздья гнева» не только в разряд литературных явлений, но и в сферу общественно-политической жизни страны, понимая его огромное социальное звучание. Обсуждение романа велось не только в статьях литературных критиков, но и в постоянных колонках внутриполитических обозревателей, в обзорах комментаторов, в редакторских передовых.

Мнения литературных критиков о романе расходились. Одни отмечали художественную наглядность описаний, жизненную силу диалогов, точное раскрытие психологии и чувств основных действующих лиц. Другие причисляли роман к образчикам «обманчивого фальшивого символизма», сетовали на «удивительно странную форму книги», утверждали, что во второй части романа вообще «отсутствует форма, а действие... не развивается и не имеет определенного направления»¹.

В родных местах писателя, в Калифорнии, роман произвел впечатление разорвавшейся бомбы. Представлявшая интересы крупных землевладельцев штата Ассоциация фермеров намеревалась привлечь писателя к суду, но не смогла опровергнуть содержащиеся в книге факты, так как все они были подтверждены документами, переданными на хранение в юридические органы штата. Любое официальное расследование неизбежно привело бы к обвинению самих фермеров. Тем не менее руководители Ассоциации фермеров характеризовали роман как «разрушительную, бесполезную книгу, пропитанную от начала до конца духом ненависти»... В городе Канзасе книга была изъята из школьных библиотек. Писателю посылают анонимные угрозы физической расправы, пытаясь запугать его. Некоторые местные газеты утверждают, что Стейнбек — коммунист.

Но звучали в Калифорнии и другие голоса. Крупнейшая газета штата «Сан-Франциско кроникл» опубликовала положительную рецензию Дж. Джексона. «Гроздья гнева» — это «весь Стейнбек, — писалось в рецензии, — зрелый романист, говорящий миру о том, что он должен ему поведать, и делающий это с искусством великого художника»².

На первый взгляд «Гроздья гнева» кажутся написанными буднично, просто и незамысловато, как проста и незамысловата жизнь главных героев книги — семейства Джоудов. В романе нет ни тайн, ни загадочных фигур, ни сложных сюжетных ходов. Действие раскручивается медленно. Так медленно, как дви-

¹ См. «Steinbeck. A Collection of Critical Essays». Englewood Cliffs, N. J., 1972, p. 118 (далее — «A Collection...»).

² Nelson Valejan. «John Steinbeck. The Errant Knight», San Francisco, 1975, p. 165.

жется на запад по федеральному шоссе номер 66, соединяющему штат Оклахома со штатом Калифорния, выдавший виды шестицилиндровый легковой «гудзон» Джоудов, переоборудованный ими в грузовик для такого дальнего путешествия.

И описания самого тяжелого путешествия Джоудов, и перипетии их скитаний в Калифорнии выдержаны писателем в строго реалистическом ключе, впечатляют своей живописной правдивостью и точностью деталей. Читатель понимает желание Джоудов сохранить старый семейный уклад своей жизни, сочувствует их стремлению приспособиться к тяжелым жизненным обстоятельствам, ценит их волю к жизни и любовь к труду.

Но разве может одно бедное, сорванное с насиженных мест семейство, каким бы крепким и сплоченным оно ни было, выдержать схватку с капиталистическими хищниками, со всей машиной капиталистического государства — банками и шерифами, богатыми фермерами и трестами, отрядами вооруженных лавочников и наемными убийцами? Тысячи сезонных рабочих, направляясь в Калифорнию, «надеялись найти здесь дом, а нашли только ненависть».

Так жизненные обстоятельства обычной американской семьи позволили писателю сбросить маску с хваленной американской свободы, и под ней возникло истинное лицо буржуазной демократии — хищный оскал капитала, его неутолимая жажда богатства и власти. Джоуды мало-помалу постигают истинное состояние дел. Первым осознает происходящее Том. Он вынужден покинуть родных, скрываясь от полиции. При прощании с матерью на ее вопрос, где же искать его, Том отвечает: «Подымутся голодные на борьбу за кусок хлеба, я буду с ними».

Стейнбек не ставил себе целью создавать роман действия, он стремился показать те социальные условия, которые в богатой капиталистической стране грозят гибелью тысячам коренных американцев. В романе все подчинено единой цели — показу бессмысленности социального уклада, при котором амбары были полны, а дети бедняков росли рахитичными, и на теле у них вздувались гнойники пеллагры. Крупные компании не знали, что черта, отделяющая голод от ярости, еле ощутима. И деньги, которые могли бы пойти на оплату труда, шли на газы, на пулеметы, на шпионов и соглядатаев, на «черные списки», на военную муштру.

Простой жизненный опыт Джоудов и тысяч других подобных им американцев питал те гроздья гнева, которые созревали в сердцах этих простых людей, стремившихся только к одному — к тому, чтобы плодотворно работать и жить и питаться за счет трудов рук своих. В судьбе Джоудов как в капле воды отразились коренные социальные противоречия и проблемы американской действительности и специфические черты национального сознания. И Джоуды становятся символом униженных и оскорбленных американцев, всех тех, кто не находит применения своим силам и талантам в этой богатой стране, кто и сегодня вы-

нужден скитаться по городам и весям Америки в поисках хоть какого-нибудь заработка. «Люди, как муравьи, расползались по дорогам в поисках работы, в поисках хлеба. И в сознании людей начинала бродить ярость».

Символическое название романа, его отчетливая политическая направленность отмечались многими американскими критиками. Один из них, Джеймс Воген, писал, что «Гроздь гнева» — это не только роман, но и «монография на тему социологии сельского хозяйства, практическое руководство, как вести себя во времена чрезвычайных перегрузок, удар по индивидуализму, эссе в защиту природы, жестокий и преисполненный иронии выпад против основанной на простых эмоциях религии евангелистов, которая, похоже, процветает в наиболее бедных сельскохозяйственных районах этой огромной страны»¹.

Вместе с тем точность описаний жизни сезонных рабочих показывала не только экономическую сторону проблемы, но и вскрывала ее политическое значение. Правдивость выводов писателя неоднократно подтверждалась исследованиями историков, социологов, политологов. И в то же время глубокое общечеловеческое содержание романа бредило души читателей, раскрывало глаза на все происходящее. Известный американский литературовед Питер Лиска отмечал в 1979 году в этой связи: «Гроздь гнева» продолжают читаться не просто как факт литературной или общественной истории, но с чувством эмоционального сопричастия и эстетического открытия. Больше чем любой другой американский роман он успешно претворяет современную социальную проблему общенационального звучания в художественно убедительное произведение. Это, бесспорно, крупнейшее достижение Джона Стейнбека, труд литературного гения»².

И конечно, экономическая и политическая направленность романа, его сильное эмоциональное воздействие на читателей возмущали представителей большого бизнеса, крупных фермеров, словом, всех тех, чьи действия в романе подвергались уничтожающей критике. Как люди практические, они отдавали себе отчет в том, что с произведением литературы надо бороться печатным же словом. Уже через пару месяцев после выхода романа в свет была издана брошюра некоего М. Хартранфта «Гроздь радости: отрезвляющий и вдохновенный ответ Калифорнии «Гроздьям гнева» Стейнбека», в которой описывалось семейство сезонников, получившее собственную землю, денежную ссуду и прочие блага.

Вскоре вышла в свет другая брошюра — «Правда о Джоне Стейнбеке и сезонных рабочих» Дж. Т. Мирона. Автор утверждал, что, будучи сезонником, он ежедневно зарабатывал не меньше четырех долларов, а когда работы не было, жил на полном обеспечении хозяев. Он обвинял писателя в том, что

¹ «A Collection...», p. 111.

² «The Grapes of Wrath. A Collection of Critical Essays», Englewood Cliffs, N. J., 1982, pp. 48—49.

в его романе «натурализм неистовствует, правда взбесилась от предубеждения и преувеличения, а экономические проблемы раздуты за границы рационального и реалистического мышления»¹.

Однако обе эти брошюры не достигли своей цели. Газеты, журналы и радио публиковали свидетельства государственных чиновников, священников, профессоров-социологов, полностью подтверждающих правдивость нарисованной Стейнбеком картины. «Гроздь гнева» стали явлением общественно-политической жизни страны. По своему влиянию на общественное мнение его сравнивали с романом Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» и романом Эптона Синклера «Джунгли». В 1940 году Стейнбеку за роман «Гроздь гнева» присудили высшую литературную награду США — Пулитцеровскую премию.

Злоключения Джоудов оказывали сильное эмоциональное воздействие на читателей прежде всего потому, что сами Джоуды ни на что особенное в жизни не претендуют. Их стремления просты и непритязательны — возделывать землю и жить плодами рук своих. Но в том-то все и дело, что американский образ жизни лишает их и этого, казалось бы, такого бесспорного права на жизнь и труд на своем собственном клочке земли. Эта подлинная трагедия простых американских граждан показана в романе просто, даже буднично, как нечто неизменно существующее в стране хваленых «равных возможностей». Под пером писателя трагедия семейства Джоудов перерастает в подлинную американскую трагедию, отражая определенную тенденцию развития капиталистического общества Соединенных Штатов Америки.

Важно отметить, что годы, прошедшие после написания «Гроздь гнева», мало что изменили в практике крупных американских монополий. В октябре 1982 года корреспондент нью-йоркского еженедельника «Пэрейд» писал о положении сезонных рабочих: «Формально с рабством в нашей стране покончено сто семнадцать лет назад. Но условия жизни скитающихся по чужим фермам тружеников мало чем отличаются от рабства».

Успех романа «Гроздь гнева» привлек к книге внимание деятелей Голливуда. По роману начали ставить фильм. Когда в стране поднялась кампания против книги, постановщики фильма наняли частных детективов и поручили им скрупулезно проверить, насколько описываемое в романе соответствует фактическому положению вещей. Мнение детективов было единодушным: действительное положение сезонных рабочих в массе своей еще хуже, чем это показано в романе. Однако кинофирма боялась открыто объявить, что она начинает съемки фильма «Гроздь гнева», поэтому было заявлено, что снимается невинная картина под названием «Дорога номер 66». Но такое объявление вызвало поток писем, обвинявших фирму в трусости. Этим письмам вторил журнал «Клик», сомневающийся в том, что «окруженный цензорами, привыкший к всяческим запретам, Голливуд найдет

¹ «A Collection...», p. 79.

в себе мужество правдиво воспроизвести страдания и нищету трагических героев Стейнбека»¹.

Вышедший на экраны фильм во многом отличался от романа Стейнбека, хотя в общем он передавал дух книги. Из речей Тома и Кейси исчезли все упоминания местных властей и полицейских. Кинодеятели не рискнули воспроизвести заключительную сцену романа, в которой Роза Сарона своим материнским молоком спасает незнакомца от голодной смерти. Вместо этого фильм заканчивается гневными словами Ма Джоуд: «Нас не сотрешь с лица земли, не уничтожишь. Мы будем существовать вечно. Потому что мы—народ». Оценивая все внесенные в фильм изменения, один американский исследователь пришел к следующему выводу: «Таким образом, книга, являющаяся призывом к действию, превращается в кинофильм, утверждающий, что для решения проблемы не требуется никаких действий»².

А тем временем сам писатель подвергался настоящей слежке недоброжелателей, каждое сказанное им слово переиначивалось и искажалось. Поэтому Стейнбек предпочитал не покидать пределов своего небольшого ранчо. «Зная, что за мной постоянно наблюдают, я просто никуда не выхожу,— сетует он в письме приятелю.— Зная, что каждое мое слово может появиться в печати, я никому ничего не говорю»³.

Чтобы отвлечься от всего происходящего вокруг него и его романа и отдохнуть, Стейнбек соглашается сопровождать своего друга Э. Рикеттса в его морском путешествии с целью изучения морской фауны. Затем отправляется в Мексику, где намеревается поставить фильм «Забывтая деревня» — о жизни древних индейцев. В Мексике он с интересом и изумлением наблюдает за теми усилиями, которые предпринимает гитлеровская пропагандистская машина в странах Латинской Америки. «...Интересно наблюдать за эффективностью планов немцев,— сообщает Стейнбек Паскалю Ковичи в самом начале 1941 года,— которая действительна с точки зрения машинной логики, но которая (я подозреваю) является самоубийственной с точки зрения механизма человеческих существ... И поэтому я буду наблюдать, как рухнут эти замыслы немцев...»⁴. Понимая возможные тяжелые последствия этой деятельности для США, Стейнбек сообщает о ней в личном письме президенту США Ф. Рузвельту. Вскоре президент приглашает писателя для короткой беседы.

В результате морского путешествия с Э. Рикеттсом Стейнбек написал дневниковую книгу «Море Кортеса. Праздное путешествие с целью научных исследований». Книга вышла в свет в 1941 году, но большого успеха у читателей она не имела.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз дало

¹ D. Wallechinsky, Y. Wallace. «The People's Almanac-2», New York, 1978, pp. 747—748.

² «A Collection...», p. 119.

³ «...Letters», p. 198.

⁴ Там же, pp. 221—222.

новый толчок мыслям писателя об опасности войны для Соединенных Штатов. В разговорах с друзьями он указывал на эту опасность, говорил, что Германия в случае войны захватит Мексику и вторгнется в западные районы США. Но его предупреждения не находили отклика у собеседников — война шла слишком далеко от США. Однако Стейнбека не покидали мрачные мысли, он думал о том, что может произойти в таком небольшом городке, как Монтерей, если его захватят враги. Он решает написать об этом небольшую повесть или пьесу. «...Она о небольшом городке, оккупированном врагами, — рассказывает он о своем новом замысле в письме другу Тоби Стриту 25 ноября 1941 года. — В ней нет ни общих рассуждений, ни идеальных героев, ни ярких речей. Просто рассказывается о том, что чувствуют жители маленького городка, когда их город оккупируют захватчики. Ничего не говорится, в какой стране происходит действие, нет специфических словечек. Пытаюсь также показать, что чувствуют оккупанты. Это одна из первых разумных вещей, которые пишутся на эту тему, и я, конечно, не знаю, насколько она удастся мне»¹.

Нападение японских милитаристов на Пирл-Харбор побудило писателя ускорить работу над повестью, которую он назвал «Луна зашла», подчеркивая этим, что фашистская оккупация несет темноту в прямом и переносном смысле. Действующие лица были описаны так, что в них легко узнавались представители американского общества, чтобы читатель понял: подобное может случиться и в Соединенных Штатах Америки.

Местом действия своей новой повести Стейнбек избрал небольшой приморский городок где-то на севере Европы, неожиданно оккупированный гитлеровскими войсками, не встретившими фактически никакого сопротивления. Захваченный гитлеровцами город имеет для них важное экономическое значение: здесь добывают уголь. Чтобы обеспечить бесперебойную добычу угля и отправку его в Германию, захватчики заигрывают с местным населением. Немецкий комендант полковник Лансер старается привлечь на свою сторону мэра города Ордэна, пользующегося большим авторитетом среди жителей.

Но Ордэн и сам в глубине души ненавидит оккупантов и с радостью наблюдает, как постепенно созревают «гроздь гнева и ненависти» среди горожан. Поначалу «глаза их утратили выражение удивления, но искры ненависти загорелись в них не сразу». Сопротивление оккупантам, молчаливое и незаметное сначала, принимает все более решительные формы. Переломный момент наступает, когда за убийство немецкого офицера гитлеровцы расстреливают на площади горняка Алекса Мордена.

С того дня захватчики поняли, что их «повсюду окружают враги. Каждый мужчина, каждая женщина, даже дети — все враги». На шахтах и на железнодорожной ветке по ночам раздаются взрывы. Шахтное оборудование то и дело выходит из

¹ «...Letters», p. 237.

строю, добыча угля резко падает. Молодые шахтеры по ночам, тайком на рыбацких шхунах покидают родной город и уплывают в Англию.

Полковник Лансер предпринимает решительные меры и объявляет, что в случае продолжения взрывов на шахтах будет расстрелян мэр города. Но Ордэна это не пугает. «Ничто не может изменить происходящего. Вас уничтожат и выбросят вон,— бросает Ордэн в лицо захватчикам.— Народ не желает быть побежденным. И он не будет побежден. Свободные люди не начинают войн. Но если война началась, то они продолжают ее и после поражения. Дикие орды выигрывают сражения, а свободные народы выигрывают войны. И вам придется испытать это на собственной шкуре».

Предсказание Ордэна сбывается, взрывы на шахтах продолжают, и мэр отправляется в свой смертный путь, завещая согражданам «оплатить все долги».

Повесть Стейнбека подчеркивала общенародное сопротивление гитлеровским захватчикам, показывала, как от единичных актов саботажа население оккупированной гитлеровцами Европы переходило к организованному движению сопротивления, раскрывала закономерность и неизбежность такого хода событий. Издательство сразу же приняло повесть к печати и широко разрекламировало ее. «Новая книга идет безумно хорошо,— констатировал Стейнбек.— На нее еще до публикации в два раза больше заказов, чем было на «Гроздь гнева». Книжные магазины уже заказали 85 тысяч экземпляров да книжный клуб — 200 тысяч. Это похоже на сумасшествие»¹.

Одновременно с повестью Стейнбек закончил и сценический вариант книги, пьеса была принята к постановке в одном из театров Бродвея. Книга вышла в свет в марте 1942 года, а премьера пьесы состоялась 8 апреля. Отзывы и литературных, и театральных критиков были далеко не однозначными. Одни отмечали, что писатель сумел в повести показать обстановку в оккупированном городе, однако сетовали на то, что ему не удалось создать яркие, запоминающиеся образы основных действующих лиц. Пьесу же театральные рецензенты единодушно раскритиковали как «банальную и наивную».

Как это иногда бывает, повесть Стейнбека независимо от воли автора и критиков имела свою собственную романтическую судьбу, о которой писатель узнал только много лет спустя. В 1958 году, будучи в Италии, Стейнбек случайно познакомился с одним активным участником итальянского Сопротивления. И тот рассказал писателю, что в подполье они перевели повесть «Луна зашла» на итальянский язык и выпустили 500 экземпляров на мимеографе. Фашисты расстреливали без суда и следствия каждого, у кого находили экземпляр книги Стейнбека. Как оказалось, эта повесть также издавалась подпольем в Дании и Норвегии. В оккупированных странах Европы ее воспринимали

¹ «...Letters», p. 242.

как знак поддержки американским народом движения Сопротивления против фашизма. «Как тут не вспомнить нападки на эту книгу со стороны наших воинствующих критиков!» — с сарказмом писал по этому поводу Стейнбек¹.

Между тем в личной жизни Стейнбека в 1941 году произошли серьезные изменения: он развелся с женой и переехал на постоянное жительство в Нью-Йорк. Его сильно интересуют военные действия в Европе, он стремится уехать туда в качестве военного корреспондента газеты или телеграфного агентства. Газета «Нью-Йорк геральд-трибюн», узнав о его желании, назначает Стейнбека своим военным корреспондентом в Европе и предпринимает необходимые шаги, чтобы получить для него аккредитацию военного министерства США. Как оказалось впоследствии, при проверке писателя Федеральное бюро расследований пришло к выводу, что он является подозрительной и опасной личностью. За писателем усиленно следили. Он чувствовал это и в 1942 году обратился со специальным письмом к министру юстиции Ф. Бидлу. «Как Вы думаете, можно ли попросить парней Гувера не наступать мне на пятки? — спрашивал он министра. — Они считают меня враждебным элементом. Это становится утомительным»².

Много лет спустя ФБР рассекретило досье на 71 странице на писателя, военная разведка имела свое досье на него, а ЦРУ — свое. Тогда же, в 1943 году, после настойчивых и решительных усилий редакции газеты Стейнбеку была выдана необходимая аккредитация, а в июне 1943 года он на военно-транспортном корабле отправился в Англию. Незадолго перед этим он сочетался вторым браком с голливудской певицей Гвиндолин Конгер. Правда, этот брак оказался недолговечным, они разошлись через четыре года после женитьбы. Сначала Стейнбек был прикомандирован к частям союзников в Англии, а затем отправился в Северную Африку, где незадолго перед этим высадились англо-американские войска. Вместе с морским десантом он высаживается в итальянском городе Салерно и 14 сентября попадает там под ожесточенную контратаку немецких войск. Впоследствии он говорил, что за один этот день он накопил такой военный опыт, которого ему хватит до конца жизни.

Он аккуратно посылал на родину корреспонденции с фронта. Когда в 1958 году Стейнбек перечитал их, готовя к изданию отдельной книгой, он с изумлением отметил: «В этих корреспонденциях много такого, о чем я и не подозревал. В частности, они вызывают ненависть к войне вообще. А я-то считал, черт возьми, что по меньшей мере восхваляю войну»³.

Пожив среди простых солдат, поучаствовав в боях, Стейнбек познал войну. «В действительности есть две войны, и одна из них никак не похожа на другую, — писал он в июле 1944 года

¹ «...Letters», p. 590.

² Цит. по: «За рубежом» № 11 (1444), 1988, стр. 23.

³ «...Letters», p. 264.

в журнале «Тайм». — Есть война карт и организации тыла, кампаний и баллистических расчетов, армий, дивизий и полков — это война генерала Маршалла. И есть война истосковавшихся по дому, усталых, смешных, агрессивных простых людей, которые стирают свои носки в своих касках, жалуются на еду, свистят вслед арабским девушкам, впрочем, вслед любым девушкам, и продираются через такое грязное дело, какое только видывал этот мир, и делают это с юмором, достоинством и мужеством — это война Эрни Пайла»¹.

Когда известный журналист Эрнест Пайл погиб во время японской атаки на острове Иводзима, Стейнбек посвятил его памяти статью, но телеграфное агентство Скриппс-Говард, пославшее Пайла на фронт, отказалось публиковать ее. «Прошло всего десять дней после его гибели, и он уже никак не интересуется агентство Скриппс-Говард, которое делало хороший бизнес на его репортажах!» — отмечал с горечью Стейнбек².

В декабре 1943 года писатель возвращается из Европы в Нью-Йорк и сразу же принимается за работу над новой книгой. «Я тружусь над небольшой забавной книжкой, работа над которой доставляет мне большое удовольствие, даже в кино не хожу», — сообщает он своему другу в декабре 1943 года. Жизнь в огромном городе тяготит Стейнбека, он подумывает о поездке в Калифорнию и осенью 1944 года осуществляет это намерение. Несколько месяцев он живет и работает в небольшом приморском городке Монтерей, где завершает новую книгу.

Пребывание в родных местах не приносит радости Стейнбеку. Старые знакомые сторонятся его, даже снять кабинет для работы ему никак не удастся.

В начале 1945 года выходит в свет новая повесть Стейнбека «Консервный ряд» — так в просторечии называли Приморское авеню в Монтерее, на котором располагались консервные фабрики, выпускавшие миллионы банок дешевых консервов, сотни тонн рыбьего жира и удобрений. Первый тираж повести (78 тысяч экземпляров) разошелся очень быстро, издательство получало все новые и новые заказы. Заштатный городок Монтерей в одночасье стал местом паломничества туристов, желающих прогуляться по Консервному ряду, взглянуть на Западную биологическую лабораторию, купить сигарет или жевательную резинку в бакалейной лавке Ли Чонга, выпить кофе в «Ла-Иде».

Местные городские заправилы отнеслись к неожиданно свалившейся на их городок славе весьма настороженно. «Лучшие люди этого города еще не знают, нравится им «Консервный ряд» или нет, — сообщает Стейнбек своему издателю. — Они ждут, что скажут по этому поводу другие. Так всегда поступают лучшие люди всех городов. Критики же сразу заявили, что повесть противоречит природе вещей и что она пропитана дурным вкусом... В жизни каждого писателя наступает период, когда кри-

¹ «The True Adventures...», p. 520.

² «...Letters», p. 282.

тики набрасываются на него... Теперь наступил мой черед. Все это началось после «Гроздьев гнева»¹.

Действительно, американская критика встретила новую повесть Стейнбека весьма сдержанно. Сам писатель считал, что «Консервный ряд» подвергся «жестокому избиению со стороны критиков, они зашли слишком далеко». Критики упрекали писателя в том, что он не создал ничего нового, а просто повторяет ситуации и характеры, уже хорошо известные по повести «Квартал Тортилья-Флэт». Известный критик Малкольм Каули назвал новую повесть писателя «весьма опасным пустячком». При этом он имел в виду, что в повести содержится скрытая атака на «ценности американского образа жизни».

Один из самых обеспеченных и благополучных героев повести, Док — под этим именем выведен Эд Рикеттс, — наблюдая окружающую его жизнь, задается непростым вопросом: «Качества, которыми мы так восторгаемся в людях — доброта и великодушие, прямота, честность, понимание и отзывчивость, — в условиях нашей системы неизменно являются причинами неудач. А те черты, к которым мы относимся с отвращением, — грубость, жадность, стяжательство, скупость, эгоизм и самовлюбленность — они всегда приводят к успеху. И люди, восхищаясь положительными качествами, все же предпочитают блага, достигнутые благодаря именно отрицательным чертам».

Приятель Дока, с которым он делится своими сомнениями, дает простой ответ: «Кому хочется быть добрым, если ради этого надо голодать?»

В этих размышлениях Дока и заключении его приятеля — подлинный смысл повести Стейнбека. В капиталистической сегодняшней Америке добрые человеческие чувства и черты не приводят к успеху. Если хочешь преуспеть в жизни — ловчи, обманывай, жульничай, не знай жалости и милосердия.

Стейнбек сетовал на то, что критики не уловили весьма существенных отличий новой повести от «Квартала Тортилья-Флэт». Прежде всего это относилось к художественной форме. В «Консервном ряде» писатель использовал небольшие общие главы, которые несут важную философскую нагрузку, расширяют рамки повествования, придают нарисованной картине общенациональные черты. Но разница между двумя повестями не ограничивается только формой. Она — в более глубоком раскрытии образов, в более отчетливой взаимозависимости героев, в более широких контактах их с окружающим миром. Обитатели Консервного ряда намного шире представляют американское общество, чем жители квартала Тортилья-Флэт. Писатель рисует объемную многомерную картину жизни небольшого американского городка, населенного вполне реальными фигурами людей.

С течением времени местные монтерейские власти смирились с книгой Стейнбека и в 1953 году с большой pompой переименовали Приморское авеню в авеню Консервный ряд. Многие из-

¹ «...Letters», p. 278.

менилось на этой улице, но и сегодня по-прежнему зажат между двумя каменными зданиями фасад Западной биологической лаборатории; которую приобрели несколько местных бизнесменов, чтобы сохранить в качестве местной достопримечательности. Посетители видят все те же застиранные зеленоватые занавески на окнах, на полках и столах расставлены банки и колбы, которыми пользовался Эд Рикеттс.

Весна 1945 года в Калифорнии была теплой. Под стать погоде звучали и сообщения из Европы. 9-я американская армия приближалась к Эльбе, советские войска наступали на Берлин, война на европейском театре военных действий подходила к концу. «Думаю, что с немцами будет покончено через пару-другую дней,— писал Стейнбек 3 мая 1945 года.— Это кажется просто невероятным. Когда они терпят поражение, они намного лучше, чем когда они побеждают. Подумать только: Гитлер и Геббельс остались во вчерашнем дне. И вот — Берлин. Долгие годы мы ждали этих дней и теперь, когда это свершилось, не можем сразу в это поверить»¹.

Вторую половину 1945 года Стейнбеки провели в Мексике, где писатель работал над повестью и киносценарием «Жемчужина», назидательной притчей о молодом индейце, нашедшем огромную жемчужину. Здесь же у него зарождается замысел нового романа, наподобие мексиканского «Дон-Кихота». В Мексике Стейнбек решает больше не возвращаться в Калифорнию, он хочет продать свой дом и обосноваться в Нью-Йорке. «Как прав был Томас Вулф, назвав свою книгу «Домой возврата нет»,— повторял в эти дни Стейнбек. С женой и сыном он из Мексики отправляется прямо в Нью-Йорк, где приобретает домик в Манхэттене.

Теперь писатель целыми днями работает над романом, получившим название «Заблудившийся автобус». «...Этот мой автобус занимает слишком большое место в моих мыслях,— сообщает он своему издателю.— Это автобус, путешествующий в космических просторах, стреляющий своими выхлопными газами в Млечный путь и поворачивающий за угол звезды Бетельгейзе из созвездия Ориона без указания регулировщика. И водитель Хуан Чикой,— господь наш, отцы наши и мы сами не видели еще подобного водителя,— поведет этот шестицилиндровый, поломанный, подскакивающий на ухабах мир через пространство и время»².

Работа над романом продвигалась медленно и трудно, сотни исписанных страниц выбрасывались в корзину, только к осени 1946 года роман вчерне был закончен. Стейнбек устал от работы, у него возобновились сильные головные боли, он решает отложить работу над романом и совершить путешествие с женой в Европу. Они побывали в Дании и в Швеции. Стейнбека удивила популярность в Европе его книг.

— Нас приветствовала такая толпа.— рассказывал пи-

¹ «...Letters», p. 282.

² Там же, p. 284.

сатель,—какая собралась бы в Нью-Йорке, если бы знаменитая молодая киноактриса вдруг объявила, что она появится на крупнейшей городской железнодорожной станции «Гранд-Сентрал» нагишом.

Путешествие в Европу позволило Стейнбеку развеяться, отдохнуть. По возвращении в Нью-Йорк он намеревался серьезно поработать над книгой, но издатели настаивали на скорейшем выходе романа в свет. Писатель с большой неохотой поддался уговорам и сдал рукопись в печать. В феврале 1947 года «Заблудившийся автобус» вышел в свет. Первоначальный тираж составил 150 тысяч экземпляров, книжный клуб распространил еще 600 тысяч. «И несмотря на все это, я должен занимать деньги, чтобы рассчитаться со сборщиками подоходного налога!» — сетовал писатель¹.

Новый роман Стейнбека увидел свет в весьма важный и сложный период американской истории. Вторая мировая война завершилась победой сил демократии над силами фашизма и милитаризма. Решающий вклад в эту победу внес советский народ, одним из союзников которого были США. Но накануне победы в руководстве США произошли кардинальные изменения. Умер президент Франклин Д. Рузвельт, его место занял Гарри С. Трумэн. Он и его сторонники сразу же взяли курс на «холодную войну» против СССР.

Америку захлестнула волна самодовольства, хотя положение внутри страны было тяжелым. Страну сотрясали забастовки. В 1946 году бастовало около 5 миллионов рабочих, было потеряно более 107 миллионов рабочих дней. Простаивали сталелитейные и автомобильные заводы, угольные шахты, железные дороги, мясоконсервные фабрики. А десятки миллионов потребителей требовали новых товаров, больше продуктов. Инфляция охватила все отрасли национальной экономики. Капитал наступал на права рабочих. В 1947 году был принят антипрофсоюзный закон Тафта-Хартли и целый ряд антирабочих законов в штатах. Президент страны издал закон о «проверке лояльности» государственных служащих. Над американской демократией сгустились черные тучи, страна сползала в трясину «холодной войны» и антикоммунизма.

В этих условиях многие здравомыслящие американцы задавались вопросом: к чему же это все приведет? В их числе был и Дж. Стейнбек, попытавшийся отразить происходящие в стране процессы в своем новом романе. В его основе — ничем не примечательный, заурядный житейский случай. Из-за поломки шестерни автобус, перевозивший пассажиров между Мятёжным углом и Сан-Хуан-де-ла-Крусом, вернулся в Мятёжный угол, и пассажиры вынуждены были здесь заночевать. На завтра им опять не повезло: автобус застрял на размытой сильным дождем старой провинциальной дороге. Таковы два главных события, во-

¹ «...Letters», p. 296.

круг которых развивается действие. Сталкиваются мнения и характеры, раскрываются помыслы действующих лиц.

Обыденность описанных событий, их нарочитая банальность усиливаются тем обстоятельством, что все действие романа происходит в глубоком американском захолустье, вдали от больших городов и магистральных дорог. Случай свел в автобусе разных людей. Вот президент небольшой компании Элиот Причард, он «похож на Трумэна, на вице-президента крупной компании и на ревизора... Он был бизнесмен, одевался как бизнесмен и выглядел как бизнесмен». Рядом с ним его жена Бернис, живущая по раз и навсегда заученным правилам своего круга. Для нее и ее мужа и всех подобных им «Россия... заменяла дьявола средних веков как источник всяческого коварства, зла и ужасов». К Причардам примыкает предприимчивый коммивояжер Эрнест Хортон.

Причарды и Хортон представляют в романе деловую Америку, Америку бизнесменов и торговцев. Нарисованный писателем образ этой Америки до того несимпатичен и даже отталкивающ, что читатель невольно задастся вопросом: куда могут привести страну подобные люди? Современникам не так уж трудно ответить на этот вопрос. Трумэн и Причарды втянули страну в позорную «холодную войну», привели к вспышкам расовой ненависти, к студенческим волнениям, к еще большему углублению пропасти между богатством и бедностью, к жестоким расправам с инакомыслящими.

Представителями другой Америки в романе являются официантка-посудомойка, уборщица Норма и ученик механика Эдвард Карсон по прозвищу Прыщ. У них нет ни денег, ни образования, они зарабатывают на жизнь физическим трудом. Свои мысли и мечтания они черпают из последних кинобоевиков и из радиопередач. Причарды и хортон, нормы и карсоны — продукт одного и того же общества, и интеллектуально они далеко ушли друг от друга. Замкнувшаяся в себе, ограниченная в своем видении мира, самодовольная Америка причардов и норм, хортонов и прыщей, патентованных средств и пирогов массового производства встает со страниц романа Стейнбека во весь рост и потрясает читателя отсутствием благородной цели, безысходностью обыденности, царством посредственности и невежества.

Перед читателем встает не Америка больших городов и шумных автострад, а Америка провинциальная, глухая, забитая, по связанная с той, другой Америкой и своей историей, и хорошими дорогами, и быстрыми автобусами. По описанной писателем провинциальной Америке путешествуют люди из того большого мира. Но оказывается, что их мысли, заботы и действия ничем не отличаются от забот серой, неприветливой, однотонной американской провинции. И «поломанный, подсакивающий на ухабах мир», ведомый Хуаном Чиком «через пространство и время», есть не что иное, как американская действительность, американский образ жизни во всей его неприглядности и скудости.

И читатель невольно задумывается над тем, что и сама-то, в общем, сытая, преисполненная собственного достоинства Аме-

рика блуждает подобно заблудившемуся автобусу в послевоенном мире, разыскивая и не находя выхода из сложных и запутанных проблем и ситуаций внутренней и международной жизни. Найдется ли человек, который объединит ее граждан и выведет страну на прямую дорогу, на которой впереди покажутся слабые, мерцающие сквозь пространство и время огоньки счастливого будущего?

Роман Стейнбека не дает ответа на этот вопрос, и на первый взгляд может показаться, что он этот вопрос даже не ставит. Но вся форма романа, ограничение основного действия во времени и пространстве, четкая композиция повествования, строгий отбор действующих лиц — все это говорит о том, что писатель создал роман-притчу, роман-аллегию, наполненный глубоким философским смыслом, роман, в котором каждый образ олицетворяет определенную общественную категорию людей и, собранные воедино, они дают представление об американском обществе в целом. Социальная характеристика созданных образов по прошествии времени не утратила ни своей достоверности, ни своей значимости. И так и кажется, что звучащие в наши дни из Вашингтона утверждения о «советской империи зла» своими корнями уходят в описанные Стейнбеком рассуждения причардов.

Современники писателя не сумели или не захотели разгадать содержащуюся в романе аллегию. В притче Стейнбека им проще было увидеть незамысловатую, ни на что не претендующую заурядную житейскую историйку, чем глубокую философскую аллегию. Пройдут долги десяти лет, прежде чем один из исследователей творчества Стейнбека напишет об этом романе: «Хотя поездка из Мятельного угла в Сан-Хуан-де-ла-Крус описана в реалистических тонах, почти вся география и топонимия книги вымышлены, и есть подчеркнутая многозначительность почти в каждой детали. То, что «заблудившийся автобус» был задуман не просто реалистическим повествованием, также подчеркивается и эпиграфом книги».

Ведь в эпиграфе, взятом из английского моралитэ XV века «Призвание смертного на небо», говорится прямо:

Внемлите, судари, со тщанием
Сей притчи мудрым увещаниям
И ощутите Божий страх...

Тот же критик прямо называет автобус Хуана Чикоя аллегорическим. При этом он подчеркивает, что хотя во время путешествия характеры действующих лиц не меняются, им по воле автора пришлось заглянуть в такие глубины своей души, что все они продолжают поездку, обогащенные этим новым знанием самих себя. Правда, Стейнбек не показывает, будет ли это новое знание использовано во благо или во зло людям.

Весной 1947 года газета «Нью-Йорк геральд-трибюн» предложила Стейнбеку вместе с фотокорреспондентом Робертом Кей-па совершить поездку в Советский Союз и написать для газеты серию репортажей. Писатель охотно согласился, ему хотелось

самому увидеть людей, победивших гитлеровскую Германию, поговорить с ними, попытаться понять их. В начале июля он на пароходе отплывает в Европу, а затем из Стокгольма на самолете в Москву. Кроме советской столицы, писатель побывал в Киеве, Сталинграде и в Грузии, посещал заводы, колхозы, театры, беседовал со многими людьми.

«Мы находимся здесь уже неделю и пробудем до следующей пятницы,— сообщал он 11 августа 1947 года из Киева.— Прекрасная страна и прекрасный город, но он был так жестоко, безумно разрушен немцами. Восстановление идет повсюду, но большие трудности из-за нехватки механизмов и машин. Моя записная книжка быстро заполняется, а Кейпа делает много фотографий, большинство, по-моему, прекрасны. Мы получаем отличный материал, но я боюсь, что газетам Херста он не понравится. Эти украинцы — отличный приветливый народ, с прекрасным чувством юмора. Я записываю подробно длинные беседы с крестьянами и рабочими, чтобы не забыть. Нам просто повезло, что мы сумели сюда приехать. Мы так много увидели»¹.

Очерки писателя о поездке в СССР сначала публиковались в газете «Нью-Йорк геральд-трибюн», а затем вышли отдельной книгой под названием «Русский дневник» (1948). В них содержалось много объективных наблюдений о нашей стране, о ее людях, тем не менее они не свободны от влияния ледяных ветров «холодной войны». Как послесловие к этой поездке можно отметить следующий факт. В 1975 году, уже после смерти писателя, в Нью-Йорке был издан объемистый том его писем. В нем помещены всего два его письма из Советского Союза, и те в сокращенном виде. Исключены критические замечания в адрес газет Херста и по поводу некоего Фишера, опубликовавшего об СССР полную вымыслов книгу. Изъяты рассказы о встречах и беседах с украинскими писателями, о посещении театров и цирка. Ветры новой «холодной войны» внесли свои коррективы даже в частные свидетельства писателя о нашей стране.

Стейнбек давно уже подумывал о том, чтобы написать большой роман о Калифорнии — о людях, которых он хорошо знал, о долинах, которые он изъездил на лошади или исходил пешком вдоль и поперек, о реках, в которых он купался и ловил рыбу, по которым на лодке спускался к океану. Ему хотелось назвать свой роман «Долина Салинас». Но по разным причинам этот замысел так и оставался неосуществленным. Теперь он решает приняться за этот роман. Для начала он отправляет письмо редактору газеты «Салинас-Калифорниен» с просьбой сообщить, сможет ли он поработать в газетном архиве. Положительный ответ не заставил себя долго ждать, и в январе 1948 года писатель отправляется в Салинас и Монтерей собирать материал для нового романа.

Он снова подолгу беседует с Рикеттсом, рассказывает ему

¹ Thomas Fensch. «Steinbeck and Covici. The Story of a Friendship», Vermont, 1979, p. 63 (далее — «Thomas Fensch...»).

о своей поездке в Россию, встречается со старыми знакомыми, «возобновляет знакомство с деревьями и рощами», изучает подшивки старых газет, их архивы, выслушивает рассказы старожилов. «Все идет отлично,— пишет он Паскалю Ковичи.— Я прекрасно отдыхаю. Дожди перестали, и холмы приобретают зеленый оттенок. Сплю по двенадцать часов, а затем отправляюсь в поля и рощи... Встречаюсь с людьми, которых не видел годы. Изменений не так уж много. Люди дряхлеют, появились новые дома, но в общем почти ничего не меняется. А холмы остаются такими, какими они были всегда»¹.

Три месяца, проведенные в Калифорнии, наполнили его энергией, новыми впечатлениями, и по возвращении в Нью-Йорк он с новыми силами принимается за работу. «С божьей помощью попытаемся взобраться на эту проклятую гору, а она куда выше всех тех, на которые нам приходится взбираться»,— пишет он в апреле Эду Рикеттсу².

Стейнбеку казалось, что так хорошо начавшийся год принесет ему успех и радости. Но получилось все по-другому. В мае 1948 года в результате автомобильной катастрофы умер его лучший друг Эд Рикеттс. После полета в Монтерей на похороны Рикеттса писатель долго не мог прийти в себя, уже не было ни сил, ни желания снова приниматься за роман, который он совсем недавно обсуждал с Рикеттсом за кружкой пива. В довершение ко всему в августе от него ушла жена. И хотя он понимал, что дело идет именно к этому, сам разрыв в это тяжелое для него время обрушился на него новым тяжелым ударом. Жизнь в Нью-Йорке потеряла для него всю привлекательность, и он уезжает в старый родительский дом в Калифорнию.

«Жизнь совершила полный круг, и внутри осталось двадцать лет. Просто поразительно! Какие прекрасные годы и какой печальный конец. Я снова возвратился в этот маленький дом. Он ничуть не изменился, и я задумываюсь, а изменился ли я сам... Временами меня охватывает паника, но я думаю, что это вполне нормально. А временами мне кажется, что вообще ничего не было. Как если бы это было время еще до того, как я узнал Кэрол. Опустился густой туман, вы ощущаете его на своем лице. Около рифа позванивает колокол на морском буге. И, конечно, единственным доказательством того, что во мне еще бьется жизнь, будет — сумею ли я снова взяться за работу»³.

Но о продолжении работы над романом не могло быть и речи. Стейнбек решает написать киносценарий об одном из главных деятелей крестьянского восстания в Мексике, Эмилиано Сапате, погибшем от руки реакционеров-наемников в 1919 году. Режиссером фильма согласился стать Элиа Казан, известный театральный и кинорежиссер, чей фильм «Джентльменское соглашение» был признан лучшим фильмом 1947 года. Согласие Каза-

¹ «...Letters», p. 305.

² Там же, p. 309.

³ Там же, p. 329.

на сразу же разрешило все проблемы отношений с голливудской кинофирмой, согласившейся финансировать фильм. Работа над сценарием продвигалась успешно, и весной 1949 года он был закончен.

Фильм «Вива, Сапата!» был восторженно встречен и публикой, и критикой. Тонкое понимание Стейнбеком простого человека дополнялось блестящим актерским исполнением Марлоном Брандо роли Сапаты и Антони Квином роли Панчо Вильи. Впоследствии Антони Квин за эту роль получил высшую награду американского кинематографа — «Оскар».

Во время пребывания Стейнбека в Калифорнии его познакомили с молодой женщиной Элейн Скотт, дочерью нефтепромышленника из Техаса. Они понравились друг другу, Элейн развелась с мужем и вышла замуж за Стейнбека. В начале февраля 1951 года Стейнбеки переехали в свой новый дом в Нью-Йорке. На третьем этаже для Джона был оборудован рабочий кабинет, и писатель сразу же приступил к работе над давно отложенным романом. «Книга захватывает меня все больше,— записывает он в дневнике 26 июня 1951 года.— Она никогда не наскучит мне. Надеюсь, что так же будет и с ее читателями. Я робею перед нею и горжусь ею. Станные чувства. Никогда не испытывал ничего подобного ни к одной моей книге. Пытаюсь создать в ней микрокосм. Кажется, что небезуспешно»¹.

В ноябре 1951 года рукопись романа была отправлена в издательство, он получил библейское название «К востоку от Эдема». В издательстве книга многим не понравилась. Одни считали, что автор утопил хорошую историю в бездне ненужного материала, предлагали серьезно сократить рукопись. «Я мысленно вспоминаю прошедшие годы и все то, что критики перед выпуском моих книг просили сократить,— писал он Ковичи.— Теперь те же самые критики ужаснулись бы, если бы я действительно последовал их совету»².

Стейнбек принял все те замечания, которые считал разумными, сделал необходимые исправления, многие страницы переписал заново. Отослав исправленный вариант в издательство, он с Элейн отправился в длительное путешествие по Европе. Возвратились они в Нью-Йорк в начале сентября 1952 года. К этому времени первый тираж романа «К востоку от Эдема» — 110 тысяч экземпляров — был уже отпечатан и рассылался по книжным магазинам страны. «110 тысяч — чертовски большая цифра для первого издания,— сомневался Стейнбек.— Надеюсь, что не будет слишком большого непроданного возврата»³.

Но сомнения писателя оказались напрасными: коммерческий успех книги превзошел все ожидания. Оказалось, что американская публика с интересом читала толстый роман, написанный в классическом стиле простым лаконичным языком и по-

¹ John Steinbeck. «Journal of a Novel», London, 1970, p. 113.

² «...Letters», p. 436.

³ «Thomas Fensch...», p. 192.

вествующий о событиях конца прошлого — начала нынешнего века в заштатном калифорнийском городке, о котором подавляющее большинство читателей и слыхом не слыхивали!

«К востоку от Эдема» — традиционный семейный роман. Все действие в нем сосредоточено вокруг двух семейств — Сэмюэла Гамильтона и Адама Траска. И в то же время это роман о становлении и развитии американского общества, о том, как создавались семейные богатства, как жили захолустные американские городки, какие нравы царили в них, как развлекались достопочтенные отцы общества.

Убийство, подкуп, клевета и шантаж — вот пути, которые вели к богатству в Америке. На примере двух семей писатель создает историю провинциальных нравов Америки. Честность и трудолюбие здесь ни к чему не ведут. Сэмюэл Гамильтон славился своей честностью и упорно трудился всю жизнь. Но умер он таким же бедняком, каким он пешком пришел в эти края.

Основанный на архивных данных, роман был встречен в Салинасе безо всякого энтузиазма. Потомкам первых переселенцев не хотелось, чтобы все узнали о том, какими путями создавались их богатства, они предпочитали похоронить свое прошлое под толщей лет и событий. Критики также встретили роман в штыки. Ведущий еженедельник «Тайм» писал, например, что «Стейнбеку, вероятно, следовало придерживаться первоначального замысла и рассказывать только историю своей семьи. А так роман превратился в ярмарочный мешок, в который каждый набросал, что смог»¹. Другие критики утверждали, что образы Трасков созданы из папье-маше, напоминают больше манекенов, чем живых людей, а в их действиях отсутствуют логика и достоверность. Пройдет не так уж много лет, и претендующая на академичность и солидность «Литературная история Соединенных Штатов Америки» назовет роман Стейнбека «грандиозной реалистической и символической панорамой греха, где юмор сочетается с пафосом, пафос с трагедией, а трагедия со слишком откровенной морализацией»².

Несмотря на отрицательную критику, роман имел успех у читателей, хотя он отличается от всего написанного писателем ранее и по охвату описываемых событий, и по их географии. Действие всех его предыдущих книг, за исключением «Золотой Чашки», строго ограничено и во времени, и в пространстве. Даже в самом значительном произведении Стейнбека — романе «Гроздь гнева» место действия определяется местопребыванием семьи Джоудов, а по времени ограничено несколькими месяцами.

Роман «К востоку от Эдема» по времени охватывает полстолетия — с 1863 по 1918 год. Место действия переносится из Калифорнии в Коннектикут, в другие штаты, в столицу страны, город Вашингтон. В романе фигурирует значительное количество действующих лиц, многие появляются на его страницах всего один

¹ «Thomas Fensch...», p. 193.

² «Литературная история Соединенных Штатов Америки», т. III, Москва, 1979, стр. 538.

раз, чтобы сыграть свою роль и снова уйти в небытие. Но все они, будь то мать Кэти, или доктор Уайлд, или сутенер Эдвардс, или шериф Салинаса, — все они описаны писателем так объемно, так точно, что читатель уже не может забыть их. При этом писатель не перегружает повествование ненужными деталями, останавливаясь только на тех событиях, которые играют основную роль в жизни его героев, умело поддерживая интерес читателя к описываемому, все время держит читателя в напряжении. С течением времени роман «К востоку от Эдема» занял прочное место в истории американской литературы, его изучают в средних школах и университетах, он ежегодно переиздается.

1952 год был в США годом очередных президентских выборов. Кандидатом республиканцев в президенты был генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, кандидатом демократов — губернатор штата Иллинойс Эдлай Э. Стивенсон. Стейнбек никогда раньше не принимал активного участия в предвыборных кампаниях. Но теперь он стал больше интересоваться проблемами внутривластной жизни страны и в результате примкнул к сторонникам Стивенсона, написал для них несколько предвыборных речей. Кампания проходила весьма бурно, нередко были потасовки между республиканцами и демократами. «Конечно, все яйцеголовые (иронически-презрительное прозвище интеллектуалов. — С. И.) за Стивенсона, но как много здесь яйцеголовых?» — этот риторический вопрос консервативного журналиста Стюарта Олсопа довольно точно отражал настроения подавляющего большинства американских избирателей. Стивенсон потерпел поражение, 34-м президентом США был избран Дуайт Д. Эйзенхауэр.

Начало пятидесятых годов в Соединенных Штатах Америки ознаменовалось наступлением крайне консервативных, реакционных сил. С начала 1950 года до конца 1954 года внутривластная жизнь проходила при доминирующем господстве яркого антикоммуниста сенатора от штата Висконсин Джозефа Маккарти, которого американская печать называла «наиболее удачливым демагогом» страны. Начавшиеся массовые гонения на прогрессивных деятелей литературы и искусства оказали огромное влияние на всю общественную жизнь. Впоследствии известная американская писательница Лилиан Хеллман назвала этот период «временем негодяев».

Естественно, что все происходящее в той или иной степени оказывало влияние и на Стейнбека. Именно в эти годы он перестает заниматься проблемами современного американского общества и обращается к глубокой истории — серьезно изучает легенды об английском короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Он много месяцев проводит в Европе, занимаясь своими изысканиями и знакомясь с творчеством европейских писателей. Он обратил внимание на то, что многие европейские литераторы не только принимают активное участие в политической жизни своих стран, но и отражают происходящее в своем творчестве. Стейнбек задумывается над этим, сравнивает произведения европейских с книгами американских авторов.

«Мне кажется, что большинство писателей в Америке — и я в том числе — ударились почти целиком в прошлое, — делится писатель своими размышлениями в письме к Элизабет Отис 17 июня 1954 года. — Нам интересно воссоздать и прославить старые времена. Похоже, что мы хотим очертить прошлое, которое, вероятно, никогда не существовало. История детства, «фронтира», романы о чьих-то старых тетках и тому подобное. Все это прекрасно, но пора бы и кончить. Слишком мало американских писателей (в основном те, что пишут для журнала «Нью-Йоркер») пишут о сегодняшнем дне или же о сегодня, спроецированном в будущее. Для меня было настоящим потрясением осознать, что я уже давно не писал ничего современного. Похоже, что настоящее ставит нас в тупик и мы избегаем его потому, что оно не совсем ясно для нас. Но разве это может служить оправданием? Если это время путаницы и неразберихи, то настоящий писатель и должен писать об этом, если он хочет воспроизвести свое время. Воздействие маккартистских слушаний в Конгрессе США на нынешнюю молодежь будет сказываться всю их жизнь. Реакция на этот спектакль — какая бы она ни была — явится ключом к нашему будущему отношению к любым проблемам. Если не воссоздать этого в прозе, образ мыслей и характер чувств, присущих сегодняшнему дню, будут утрачены. Мы будем иметь протоколы заседаний, но не узнаем, что люди чувствовали по этому поводу. Что вы думаете об этом? Интересно, смогу ли я написать что-либо подобное? Может быть, следует попытаться»¹.

К сожалению, литературная деятельность писателя в эти годы не имела ничего общего с этими многообещающими заявлениями. Он по-прежнему изучает и пересказывает легенды о короле Артуре, пишет музыкальную комедию «Пустые мечты», а после ее провала создает на этом же материале повесть «Сладостный четверг», явившуюся продолжением рассказа о людях Консервного ряда. Критики расценили повесть как «легкую комедию, не совсем приличную, сентиментальную и смешную», оторванную от реальной жизни и ни на что серьезное не претендующую.

Весной 1955 года Стейнбеки приобретают небольшой домик в маленькой деревушке Сэг-Харбор, расположенной на берегу залива на восточной оконечности острова Лонг-Айленд. Стейнбек все лето занимается благоустройством нового дома: укрепляет и утепляет стены, устанавливает нефтяное отопление. В свободное время он работает над новой книгой, которую он назвал «Краткое царствование Пипина IV. Выдуманная история». Сам он понимал, что это совсем не та книга, которую от него ждут издатели и читатели: «И размер у нее не тот, что нужен, и тема не та, и все остальное...» Правда, некоторые современные исследователи творчества Стейнбека утверждают, что рассказ о Пипи-

¹ «...Letters», pp. 485—486.

не — аллегория и в его образе писатель вывел своего современника Эдлая Стивенсона, который добивался выдвижения своей кандидатуры на пост президента и на выборах 1956 года.

Писатель был весьма невысокого мнения о своих соотечественниках. «Страх перед коммунизмом заменяет среднему американцу способность думать, — утверждал Стейнбек. — Богатые ненавидят бедных и налоги. Молодые ненавидят призыв в армию. Демократы ненавидят республиканцев, и наоборот. И все вместе ненавидят русских. Дети стреляют в родителей, а родители готовы утопить своих щенят, если бы знали, что это сойдет им с рук».

Подобные мысли отталкивали писателя от современности, укрепляли его в стремлении углубиться в историю. Он снова едет в Европу, чтобы продолжить изучение легенд о короле Артуре. В сентябре 1957 года Стейнбек побывал в Японии, где участвовал в заседаниях Пен-клуба. Его поразила та чувствительность, с которой японцы относились к проблемам ядерного оружия: «...Жуткое ощущение — кажется, что даже воздух пропитан этой необыкновенной чувствительностью»¹.

Поездка в Японию обострила антивоенные настроения писателя, он решает собрать свои репортажи с полей второй мировой войны и издать их отдельной книгой. Сборник «Когда-то была война» вышел в свет в 1958 году. Писатель в это время снова путешествовал по Англии, знакомясь с местами, связанными с королем Артуром. Но мимо его внимания не проходят и события в США. Он публично протестует против решения администрации лишить заграничного паспорта знаменитого певца Поля Робсона, выступает со статьей в защиту драматурга Артура Миллера, подвергшегося гонениям со стороны печально известной Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Конгресса США. Сравнивая современность с древностью, Стейнбек приходит к грустному выводу: «...Мы настолько же бессознательно жестоки и практически своекорыстны, как и люди средних веков»².

Возвратившись поздней осенью 1959 года в США после очередной поездки в Англию, Стейнбек увидел Америку совершенно иным взглядом, чем раньше, и увиденное буквально потрясло его. Он делится своими мыслями в письме Эдлаю Стивенсону 5 ноября 1959 года: «Кто-то должен сделать переоценку всей нашей системы, и чем быстрее, тем лучше. Мы не можем рассчитывать, что воспитаем наших собственных детей порядочными и честными людьми, если наши города, наши штаты, наше федеральное правительство, наши частные корпорации — словом, если буквально все предлагают наивысшие награды тем, кто погряз в сутяжничестве и коррупции. Все снизу доверху гнило, Эдлай. Может быть, ничто уже нам не поможет, но я все еще настолько глуп и наивен, что готов попытаться что-то предпринять»³.

¹ «...Letters», p. 571.

² Там же, p. 592.

³ Там же, p. 653.

Он снова и снова обдумывает увиденное и снова приходит к тем же невеселым выводам. «Очень тяжело растить ребят в духе любви и уважения к добродетели и знаниям,— пишет он генеральному секретарю ООН Дагу Хаммершельду,— когда средствами для достижения успеха служат крючкотворство, вероломство, себялюбие, леность и цинизм или когда благотворительность оплачивается снижением налогов, суды продажны, а высшие государственные чиновники преисполнены безмятежного спокойствия, лености, тщеславия, да к тому же еще и являются абсолютно неграмотными. Как я могу учить всех своих сыновей ценностям и красоте нашего языка, а значит, ценностям и красоте общения, если сам президент не читает ничего другого, кроме «вестернов», и не может правильно произнести простейшую английскую фразу?»¹.

Новый взгляд писателя на все происходящее в стране, его неприятие американской действительности, желание как-то повлиять на ход событий, раскрыть глаза американцам на их собственный образ жизни заставили Стейнбека отложить в сторону легенды о короле Артуре и взяться за новый современный роман. Сердечный приступ прервал работу в самом начале, но по выходе из больницы писатель сразу же продолжил работу над романом, который он назвал «Зима тревоги нашей». Словосочетание это взято из ранней трагедии В. Шекспира «Ричард III».

Завершив осенью 1960 года работу над романом, Стейнбек сразу же отправляется на грузовике, специально оборудованном для такой поездки, в путешествие по стране. Он сам ведет машину, его единственный компаньон — пудель Чарли. Писатель проехал более десяти тысяч миль по дорогам тридцати четырех штатов Америки, разговаривал с сотнями простых граждан, наблюдал жизнь американской глубинки.

Летом 1961 года «Зима тревоги нашей» вышла из печати. История того, как разбогател Итен Аллен Хоули,— история типично американская и весьма поучительная. Будучи средним добропорядочным американским гражданином, Хоули тем не менее доносит на своего хозяина — владельца лавки, в которой он работает. В результате хозяина высылают из страны, и Хоули приобретает лавку за бесценок. Он же ссужает деньгами своего друга-алкоголика в обмен на завещание в пользу Хоули единственного в окрестностях города равнинного участка земли, пригодного для устройства необходимого городу аэродрома. Друг спивается на деньги Хоули и умирает от белой горячки. Хоули становится владельцем желанного участка земли.

«Деньги сегодня являются источником и центром нашего национального характера», — отмечал в конце сороковых годов в газете «Нью-Йорк таймс» известный критик Максвелл Гейсмар². И Стейнбек в своем новом романе показал, как тяга к деньгам, дух стяжательства и наживы исподволь разъедают души

¹ «...Letters», p. 653.

² M. Geismar. «American Moderns», New York, 1964, p. 155.

людей, развращают их, превращая в жуликов и лихоимцев. Нарисованная им картина не понравилась американским критикам. Но были среди них и такие, кто сомневался в справедливости своих критических нападок. Один из них, в частности, писал: «Думаю, что, как это часто бывает, недостатки, не позволяющие, по нашему мнению, признать эту книгу за подлинное произведение искусства, окажутся в будущем именно теми достоинствами, которые обеспечат ей превосходство над другими произведениями»¹.

Стейнбек между тем был занят работой над «Путешествием с Чарли в поисках Америки». Книга путевых заметок рождалась на свет медленно и с большим трудом. Писатель перечитывал свои дорожные записи, письма жене с дороги, вспоминал беседы и встречи, все увиденное и услышанное. И перед его взором вырисовывалась картина, которая мало радовала глаз. «Ищу и ищу слова, чтобы описать разложение. Не распад, не упадок, а простое гниение. Кажется, что оно происходит просто в силу надоевшей всем инерции. Никто не ратует за наши идеалы, но почти каждый недоволен всем на свете. Негры ненавидят белых. Белые ненавидят негров. Республиканцы ненавидят демократов, хотя их и трудно отличить друг от друга... Все как бы охвачено какой-то болезнью, эпидемией деградации и упадка... С течением времени наша нация превратилась в нацию неудовлетворенных»².

Поэтому успех вышедшего в свет «Путешествия с Чарли в поисках Америки» удивил писателя, как удивили его и положительные, в общем, рецензии на книгу.

Осенью 1962 года Джону Стейнбеку была присуждена Нобелевская премия в области литературы. В решении Нобелевского комитета подчеркивалось, что Стейнбек награждается за его «реалистические и преисполненные художественности произведения, отличающиеся пронизанным добротой юмором и социальным пониманием... Его симпатии всегда на стороне угнетенных, обиженных и бедствующих. Он любит противопоставлять простые радости жизни грубому и циничному стремлению к наживе». Наряду с «Гроздьями гнева» в числе достижений писателя отмечались роман «Зима тревоги нашей» и повесть «О мышах и людях».

Большая американская пресса решение Нобелевского комитета встретила в штыки. Задающая тон газета «Нью-Йорк таймс» писала в этой связи: «Присуждение Нобелевской премии по литературе Джону Стейнбеку снова привлечет внимание к писателю, который еще работает, но чьи основные произведения были созданы более чем два десятилетия тому назад... Ни в коей мере не пытаюсь умалить достижения г-на Стейнбека, нам кажется весьма любопытным тот факт, что венок лауреата не был возложен на писателя — будь то поэт, критик или историк, — чье зна-

¹ «...Letters», p. 699.

² Там же, pp. 702—703.

чение, влияние, да и сами труды которого сказали более основательное влияние на литературу нашего времени»¹.

Сам писатель отнесся к неожиданному для него награждению философски: «Мы сумели пережить бедность, боль и потери. Посмотрим теперь, сумеем ли мы пережить и это»².

Кончалось восьмилетнее президентство Дуайта Д. Эйзенхауэра, о котором известный журналист Джеймс Рестон говорил: «Как в гольфе, так и в политике замах у него всегда был лучше удара». В стране поднялась новая волна «холодной войны», усилилось движение против расовой дискриминации, американские граждане с тревогой следили за провалом американской агрессии против Кубы в заливе Кочинос, переживали балансирование на грани войны во время кризиса в бассейне Карибского моря. Смена республиканцев демократами в Белом доме не принесла заметных изменений среднему американцу. Но лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек перестал быть средним американцем. О нем помнил и избранный президентом в 1960 году Джон Ф. Кеннеди, и Линдон Б. Джонсон, занявший президентский пост после трагического убийства Дж. Кеннеди.

По предложению Белого дома Стейнбек снова едет в СССР в рамках программы культурных обменов между обеими странами. Осенью 1963 года Стейнбек с женой побывал в Москве, Киеве, Ленинграде и Тбилиси. «Москва очень сильно изменилась,— писал он 18 октября 1963 года Элизабет Отис.— Новые жилые дома протянулись на мили и уходят в бесконечность. Так как земля не подлежит продаже, вокруг домов разбиты парки и скверы. Люди намного лучше одеты, чем в наш прошлый приезд, и на их лицах нет усталости. Все очень радушно. Люди свободно обсуждают любые темы»³.

После Советского Союза Стейнбеки посетили Польшу, Венгрию, Чехословакию. Возвращение домой было печальным. Убийство Джона Ф. Кеннеди потрясло Стейнбека. Он думает над этим актом насилия, ему кажется, что страна скатывается в средневековье. Как и во времена короля Артура, ныне нет уважения к власти, нет веры в богов, нет героев, утрачено чувство гордости. Жаклин Кеннеди предлагает ему написать книгу о ее покойном муже. Но он не может взяться за это поручение, так как время еще не сгладило боль потери и мысли обо всем происшедшем еще не выкристаллизовались в беспристрастные строки.

В октябре 1964 года после операции на семьдесят девятом году жизни скончался друг и издатель Стейнбека Паскаль Ковичи. Боль этой потери не оставляла его до конца жизни, он ушел в себя, стал мрачным и угрюмым. Прошло девять месяцев, и жизнь наносит ему новый удар — 14 июля 1965 года скончался Эдлай Стивенсон, с которым писатель дружил в последние годы. Он высоко ценил Стивенсона как реального политика, и его пер-

¹ «The True Adventures...», pp. 915—916.

² «...Letters», p. 745.

³ Там же, p. 780.

лой реакцией была «злость на то, что американцы оказались слишком глупыми, чтобы полностью использовать достоинства этого человека».

В этот период младшего сына писателя Джона призывают в американскую армию и летом 1966 года отправляют во Вьетнам. Уже в своих первых письмах отцу он пишет не столько о тяготах войны, сколько о ее бессмысленности и ненужной жестокости. Стейнбек и сам понимал это. «Боюсь, что впереди нас ожидают тяжелые дни,— писал он в июле 1965 года.— Нет никакой возможности превратить вьетнамскую войну в благородное начинание. Также невозможно оправдать посылку войск в чужую страну»¹.

По предложению президента Л. Джонсона он сам едет во Вьетнам и проводит там полтора месяца. Его репортажи и статьи из Вьетнама, публиковавшиеся в газете «Ньюс дей», озадачили его друзей, которые хорошо знали об антивоенных настроениях писателя. Они не понимали, как сочетать публичную позицию писателя с тем, что он высказывал в частных письмах и беседах, в которых он характеризовал военные действия во Вьетнаме не иначе, как кошмар. Да и сам он впоследствии признавался: «Не понимаю, как я впутался в эту дискуссию. Ведь я знаю ничуть не больше, чем все те, кто совершает эти ошибки»².

Осенью 1967 года Стейнбек перенес тяжелую операцию. Затем один за другим следуют два тяжелых сердечных приступа, и 20 декабря 1968 года Джон Стейнбек скончался. Статьи в американских газетах и журналах были сдержанными, авторы старались придерживаться фактов и избегать эмоций и оценок. Обращала на себя внимание статья в газете «Нью-Йорк таймс». Если шесть лет тому назад газета сетовала, что Нобелевскую премию присудили Стейнбеку, то теперь ее тон был совершенно другим. «Стейнбеку не нужна была Нобелевская премия. Нобелевский комитет нуждался в нем,— писала теперь «Нью-Йорк таймс».— Он занимает в нашей литературе прочное место. Его влияние живет в многочисленных трудах писателей, которые научились у него, как сделать забытого всеми человека незабываемым»³.

Похоронили писателя в родной ему калифорнийской земле.

Лучшие произведения Джона Стейнбека и сегодня читаются и перечитываются во многих странах мира. Они по-прежнему привлекают читателей своей незамысловатой простотой, реалистическим изображением действительности, добрым юмором, неизменной симпатией к обездоленным и угнетенным, принципиальной преданностью демократическим идеалам.

С. И в а н ь к о

¹ «...Letters», pp. 825, 826.

² Там же, p. 852.

³ «The New York Times», December 21, 1968, p. 31.

ЗОЛОТАЯ ЧАША

Жизнеописание
сэра Генри Моргана, флибустьера,
с кое-какими обращениями к истории

ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Весь день из черных ущелий Уэльских гор сеялся ветер, высвистывая весть, что с полюса на мир ползет Зима, и на реке постанывал молодой ледок. Угрюмый день, день серой неприютности, день тревог. Легким своим движением воздух словно творил нежную элегию торжествующей печали о веселой беспечности. А на пастбищах могучие рабочие лошади беспокойно перебирали ногами, и по всему краю серенькие пичуги, сбившись в стайки по четверо и по пятеро, перепархивали с дерева на дерево, туда и обратно, призывным щебстом приглашая других желающих лететь вместе с ними на юг. Козы взбирались на вершины одиноких скал, заводили кверху желтые глаза и обнюхивали небесный свод.

Медлительной процессией прошли дневные часы, а на исходе вечера налетел ошалелый вихрь, прошелестел по сухой траве и, всхлипывая, унесся вдаль через луга. Черным монашеским капюшоном опустилась ночь, и Ее Святейшество Зима отправила в Уэльс своего нунция.

Неподалеку от проезжей дороги, которая огибала долину, убегала вверх по расселине между двумя обрывами и вырывалась в необъятный мир, стоял старый крестьянский дом, сложенный из нетесаных камней и крытый соломой. Морган, воздвигший его, вступил в единоборство со Временем и едва не одержал победу.

Внутри в очаге плясал огонь, его языки лизали подвешенный над ним железный чайник, и чугунная духовка пряталась в углях, осыпавшихся с кромки пламени. Багровые отблески играли на наконечниках копий, сотню лет бесполезно пылившихся в подставках вдоль стены — с тех самых пор как Морган сражался в дружине Глендаура и вспыхивал яростью от кремневых стрóf Йо́ло Го́ха.

Кованный сундук в углу всасывал свет медными полосами и ослепительно блестел. Хранились в нем бумаги, и пергаменты, и жесткие куски невыделанной кожи с записями на английском языке, на латыни, на древнем кумрийском: Морган родился, Морган взял жену, Морган был возведен в рыцари, Морган был повешен. В сундуке покоилась история рода, и позорная, и славная. Но теперь он настолько оскудел, что ныншние его обломки едва ли могли добавить к семейной хронике хоть что-нибудь, кроме простых дат — Морган родился... и умер.

Вот, например, Старый Роберт. Сидит в своем кресле с высокой спинкой, сидит и улыбается огню. Улыбкой недоуменной и вызывающей в своем смирении. Словно он улыбался сотворившей его Судьбе, чтобы понудить ее хоть чуточку устыдиться. Сколько раз он уныло думал о своей жизни, замкнутой в тесном кругу мелких неудач и поражений, которые насмешничали над ней, как уличные оборвыши — над калекой. Старому Роберту казалось странным, что он, знавший куда больше всех своих соседей и столько размышлявший, не сумел стать даже хорошим земледельцем. Порой ему мнилось, что он понимает слишком уж много, а потому не способен ничего сделать хорошо.

И Старый Роберт улыбался огню, прихлебывая отдающий горелым эль, который сварил по собственному рецепту. Разумеется, его жена шепотом найдет ему множество извинений, и батраки в полях ломают шапку перед Морганом... — перед Морганом, не перед Робертом.

Даже его престарелую мать Гвенлиану — вот она, тоже сидит возле у огня и дрожит, будто посвист ветра снаружи обдает ее леденящим холодом, — даже ее не считают столь полной никчемностью. В нищих лачугах ее и побаиваются, и почитают. Когда она сидит в саду, окруженная сонмом подвластных ей темных сил, уж конечно, перед ней, краснея и тиская шапку, стоит какой-нибудь дюжий парень и благоговейно ловит ее колдовские речи. Уже много лет назад она открыла в себе дар ясновидения и с гордостью прибегала к нему по любому поводу. Близкие, хотя и знали, что все ее вещания лишь догадки, которые с годами заметно утрачивали бывшее правдоподобие, выслушивали ее с уважением, напускали на себя благоговение и спрашивали, где искать потерянные вещи. Когда же после ее вдохновенного прорицания оказывалось, что пропавшие ножницы вовсе не провалились во вторую щель между половицами в сарае, они делали вид, будто отыскивали их именно там. Ведь, лишись Гвенлиана своей пророческой мантии, ос-

талась бы только высохшая старушка со смертью за плечами.

Поддакивание выжившей из ума свекрови было тяжким испытанием для Матушки Морган, предательством самых заветных ее убеждений. Вся ее натура восставала, ибо сама она была послана в мир несомненно для того, чтобы стать бичом людской глупости. А все, что не имело касательства к учению святой церкви или к ценам на рынке, могло быть лишь пустым вздором.

Старый Роберт любил свою жену так сильно и так долго, что мог разрешать себе и не слишком лестные мысли о ней — его любви они ничуть не уменьшали. Когда днем она вернулась, кипя негодованием — сапожник заломил неслыханную цену за башмаки, которые ей вовсе не были нужны, — он подумал: «Ее жизнь подобна книге, полной великих событий. Что ни день, она достигает той или иной немыслимой кульминации: из-за оторванной пуговицы, из-за соседской свадьбы... И если на нее обрушится истинная трагедия, она, пожалуй, не сумеет распознать холма среди бесчисленных кочек. Быть может, это и есть подлинно счастливый жизненный жребий, — решил он и тотчас добавил: — Любопытно, как она соотнесла бы кончину короля и потерю новорожденного поросенка?»

Матушка Морган была погружена в заботы дня сего и не морочила себе голову глупыми отвлеченностями. Кому-то в семье надо же и о деле подумать, не то кровлю разметет ветер, а чего ждать от таких сонных тетерь, как Роберт, Гвенлиана или собственный ее сын Генри? Любовь к мужу у нее слагалась из странного сочетания жалости и презрения, которые равно вызывали в ней и его беспомощность, и его благородство.

Юного Генри, своего сына, она любила слепой любовью, но, конечно, знала, что он еще слишком мал, чтобы уметь позаботиться о своей пользе или о своем здоровье. А они, все трое, любили Матушку Морган, и боялись ее, и путались у нее под ногами.

Она накормила их ужином, заправила лампу, завтрак уже готовился на огне, — и теперь она искала, чего бы починить, словно не штопала тут же каждую прореху, едва что-нибудь рвалось. И вот, отыскивая, чем бы занять руки, она вдруг остановилась и посмотрела на юного Генри. Взгляд этот, суровый и нежный, казалось, говорил: «Как бы он не схватил простуду! Пол-то холодный». А Генри поежился под ним, припоминая, что именно он забыл сделать сегодня. Но Матушка Морган уже схватила тряп-

ку и принялась вытирать пыль. У юноши отлегло от сердца.

Он вытянулся на полу, опираясь на локоть, и всматривался сквозь пламя в собственные мысли. Долгий серый день, вонзившийся в таинственность ночи, пробудил в нем страстное томление, уже давно дремавшее под спудом. Он мучительно желал, сам не зная чего. Быть может, над ним властвовала та же сила, которая сбивала птиц в стаи, гнала их в неведомую даль, а животных заставляла нервно ловить ноздрями ветер — не несет ли он запах зимы.

В этот вечер юный Генри понял, что без толку прожил пятнадцать никчемных лет, ничего не совершил и не достиг ровнехонько ничего. Знай его мать, какие им владели мысли, она сказала бы: «Мальчик растет».

И его отец повторил бы следом за ней: «Мальчик растет». Но оба думали бы разное и не поняли бы друг друга.

Генри, если говорить о его лице, унаследовал черты родителей почти в равных долях. Материнские жесткие скулы, твердый подбородок, короткая и узкая верхняя губа. Но пухлая нижняя губа, но тонкий нос, но грезящие глаза — их он получил от Старого Роберта. Как и крутые завитки густых черных волос. Однако лицо Роберта отражало бесконечную нерешительность, лицо же Генри излучало решительность — если бы ему только было что решать! Трое перед огнем — Старый Роберт, Гвенлиана и юный Генри — проникали взглядом сквозь стену и созерцали бестелесные видения, искали призраков во тьме.

Ночь была колдовская, когда можно увидеть плывущие над дорогой кладбищенские огни или тени римских легионеров, убыстряющих шаг, чтобы добраться до укреплений Карлиона прежде, чем разразится буря. А крошечные уродцы холмов ищут брошенные барсучьи норы, где удобно укрыться от ночи и от ветра, который с восем гонится за ними по лугам.

Внутри дома было тихо, только постреливали угли да шуршала под ветром солома терзаемой кровли. В очаге с треском лопнуло полено, выбросив узкий язык пламени, который огненным цветком прильнул к черному чайнику. Матушка Морган поспешила туда.

— Роберт, ты бы присматривал за огнем. Кочергой его надо, кочергой!

Таков был ее метод: она рылась кочергой среди разгоревшихся поленьев, пока совсем не сбивала с них пламя. А когда оно угасало, принималась яростно ворошить угли, чтобы оно запылало вновь.

С дороги донесся еле слышный шорох шагов: то ли там гулял ветер, то ли бродила невидимая нечисть. Однако звуки нарастали, оборвались возле двери, и в нее кто-то робко поскребся.

— Войдите! — крикнул Роберт.

Дверь бесшумно отворилась. Отблеск огня вырвал из ночного мрака согбенную фигуру обессиленного человека с глазами, как два чуть теплящихся огонька. Он помедлил на пороге, а потом вошел в комнату и спросил странным надтреснутым голосом:

— Ты меня узнаешь, а, Роберт Морган? Узнаешь, хоть и долго не был я здесь?

Это была мольба.

Роберт вгляделся в изможденное лицо.

— Узнаю ли? — сказал он. — По-моему, я никогда... Погодите... Неужели ты — Дафид? Маленький Дафид с нашей фермы, который ушел в море много лет назад?

Незнакомец просиял от облегчения, точно Роберт Морган с честью вышел из хитрого и страшного испытания. Он усмехнулся.

— Дафид, он самый. Богатый... и промерзший до костей. — В его голосе нарастала тоска, как набскавшая судорога боли.

Выглядел он каким-то белесо-серым, заскорузлым, как пересохшая коровья шкура. Кожа на лице, казалось, настолько загрубела, что выражения на нем менялись лишь ценой сознательных усилий.

— Я промерз до костей, Роберт, — продолжал странный иссохший голос. — И больше не могу согреться. — Зато я богат, — добавил он, будто одно уравнивало другое. — Разбогател вместе с тем, кого называют Большой Пьер.

Юный Генри давно вскочил с пола и теперь нетерпеливо воскликнул:

— Но где ты был? Где?

— Где? Да в Индиях. Вот где я был. В Гоаве, и на Тортуге — а слово это значит «черепаша», — и на Ямайке, и в дремучих лесах Испаньолы охотился на дикий скот. Я там всюду бывал.

— Ты бы сел, Дафид, — сказала Матушка Морган так, словно он никогда и никуда не уезжал. — Сейчас сделаю тебе теплое питье. А Генри-то так и ест тебя глазами, э, Дафид? Того гляди, сам в твои Индии соберется! — Сама она эти свои слова считала пустой шуткой.

Дафид молчал, словно подавляя желание говорить и говорить. Но Матушка Морган внушала ему тот же страх,

что и в те годы, когда он был белобрысым деревенским мальчишкой. Старый Роберт понимал его смущение, да и Матушка Морган как будто что-то заметила,—сунув ему в руки дымящуюся кружку, она вышла из комнаты.

Дряхлая Гвенлиана сидела перед очагом, но сознание ее затерялось в волнах будущего, смутные глаза застлал грядущий день. За их блеклой голубизной словно громоздились события и судьбы, которые он нес. Она тоже удалилась из комнаты — удалилась в чистую стихию Времени и Будущего.

Старый Роберт подождал, пока за его женой не закрылась дверь, а потом поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, точно свертывающаяся калачиком собака.

— Так что же, Дафид? — сказал он и прищурился на огонь, а Генри, присев на пятки, почтительно взирал на смертного, который держал в горсти безмерность расстояний.

— Я, Роберт,.. я хотел рассказать про вечнозеленые непролазные чащи, и про коричневых индейцев, которые в них живут, и про того, которого называют Большой Пьер. Только, Роберт, что-то погасло во мне, точно огарок на ветру. По ночам я лежал на корабельных палубах и все думал, думал, как я буду рассказывать и хвастать, дай мне только домой вернуться. И вот я вернулся — точно малое дитя поплакать в родных стенах. Можешь ты это понять, Роберт? Хоть немного понять?

Он жадно наклонился вперед.

— Вот слушай. Мы захватили большой корабль с грузом серебра, галеон, как его там называют, а у нас были только пистолеты да тяжелые ножи — чтобы прорубать дорогу в зарослях. Двадцать четыре человека, всего-навсего двадцать четыре, оборванные, в лохмотьях... Но этими ножами, Роберт, мы творили гнусные дела. Скверно, когда парень, трудившийся на земле, творит такое, а потом все думает об этом и не может забыть. Капитан был храбрец, а мы подвесили его за большие пальцы и только потом убили. Не знаю, зачем мы это сделали. Я помогал — и не знаю почему. Кто-то сказал, что он проклятый папист. Так ведь и Большой Пьер, по-моему, тоже был из них. А других мы столкнули в море — и, пока они шли на дно, такие brave солдаты, изо рта у них рвались вверх пузыри, пузыри воздуха, а их панцири блестели и мерцали, опускаясь в глубину. Там в воде глубоко видно... — Дафид умолк и уставился в пол.

— Не хотел я тебя такими рассказами мучить, Роберт, да только у меня в груди под ребрами будто живая тварь грызет и царапает, чтобы выбраться вон. Я вот разбогател на таких делах, но все кажется, будто одного этого еще мало. А ведь я, может, побогаче буду твоего родного брата, сэра Эдварда.

Роберт улыбался крепко сжатыми губами. Иногда он обращал взгляд на сына, привставшего на колени у очага. Генри был как натянутая струна и жадно впитывал каждое слово. Когда Роберт заговорил, он не смотрел на Дафид.

— Твоя душа изнемогает под тяжким бременем,—сказал он.— Утром откройся священнику. А в чем — знать не мне.

— Нет, душа тут ни при чем,—торопливо возразил Дафид.— В Индиях душа сразу же испаряется из человека и остается на ее месте одна какая-то сухость, и все словно сморщивается. Никакая это не душа, а отрава, что у меня в крови и в мозгу, Роберт. Из-за нее я и заростаю плесенью, как лежалый апельсин. Ползучие твари и почные латуны, которых примаанивает в темноте твой костер, и большие бледные цветы — они там все ядовитые. И обрывают человека на неслыханные муки. Вот даже сейчас кровь скользит по моим жилам, точно ледяные иголки, а ведь я сижу перед жарким огнем. И все это, все из-за сырого и смрадного дыхания зарослей. Ты в них и не живешь вовсе, но стоит уснуть там или просто прилечь, как они дохнут на тебя и погубят. А коричневые индейцы... да ты погляди! — Дафид закатал рукав, и Роберт с омерзением, знаком попросил его поскорее одернуть рукав, закрыть жуткую белую язву, которая разъедала ему локоть.

— А ведь стрела только чуточную царапинку оставила, и не разглядеть было. Но уложит она меня в могилу до срока, уж я знаю. И отравы во мне не только эта. Там даже люди и те ядовитые. У матросов есть такая песня...

Юный Генри возбужденно перебил его.

— А индейцы? — вскричал он.— Индейцы и их стрелы? Расскажи про них! Они много воюют? Какие они из себя?

— Воюют? — повторил Дафид.— Воюют они все время. Воюют из любви к этому делу. Если на испанцев не нападают, так убивают друг друга. Гибкие они, точно змеи, быстрые, бесшумные и коричневые, как хорьки. И будто сквозь землю проваливаются, едва начнешь в них целиться. Но народ они храбрый и крепкий, и ничего не боятся, кроме собак и рабства! — Дафид все больше увлекался

своим рассказом.— Знаешь, малый, что они делают с тем, кого захватят в стычке? Утыкают его с ног до головы длиннющими колючками, а на конец каждой колючки надевают комок пуха вроде мотка шерсти. И стоит бедняга пленный в кольце голых дикарей, и они поджигают пух. И тот индеец, который не запоеет, пока горит, как факел, будет проклят и объявлен трусом. Можешь ты вообразить, чтобы на такое был способен белый? А вот собак они боятся, потому что испанцы охотятся на них с большущими волкодавами, чуть им потребуются новые рабы для рудников. Ну, индейцам-то рабство хуже смерти. Скуют попарно, загонят в сырое подземелье, и так год за годом, год за годом, пока не уморит их болотная лихорадка. Вот и рад всякий из них запеть, когда загорятся колючки, и умереть в огне.

Дафид замолчал и протянул худые руки к очагу, почти погрузив их в пламя. Свет, вспыхнувший было в его глазах, пока он говорил, вновь угас.

— Устал я, Роберт, так устал! — сказал он со вздохом.— Но не лягу спать, пока не открою тебе одного. Может, тогда мне легче станет, может, выговорюсь и забуду хоть на эту ночь. Не могу я теперь жить вдали от зарослей, от их жаркого дыхания. Ведь тут, где я родился, меня бьет озноб и я все время мерзну. Так мне и месяца не протянуть. Наша долина, где я родился, вырос, трудился, изгоняет меня в смрадную геенну. Очищается от меня морозом. А теперь, не найдется ли у тебя для меня постели, и с толстым одеялом, чтобы моя бедная кровь не застыла во все? Утром я отправляюсь в путь.— Он умолк, и лицо его сморщилось, словно от боли.— А как я любил зиму!

Старый Роберт проводил его, поддерживая под локоть, потом вернулся и снова сел у огня. Он поглядел на юношу, который снова неподвижно вытянулся у очага.

— О чем ты думаешь теперь, мой сын? — немного погодя спросил он негромко. И Генри оторвал глаза от дальних земель по ту сторону огня.

— О том, отец, что мне надо поскорее уйти из дома.

— Я знаю, Генри. Весь этот год я смотрел, как желание уйти растет в тебе, точно крепкий дубок,— уехать в Лондон, в Гвинею, на Ямайку, все равно куда, лишь бы уехать. Потому что тебе пятнадцать лет, потому что ты силен и жаждешь новизны. Когда-то и для меня долина становилась все уже, все теснее, пока, мне кажется, немножко меня не задушила. Но разве тебя не пугают тяжелые ножи, мой сын? И яды, и индейцы? Они не внушают тебе страха?

— Не-ет,— медленно произнес Генри.

— Да, разумеется. С какой стати? Все эти слова для тебя лишены смысла. Но печаль Дафида, его муки, его больное, изможденное тело — разве они тебя не пугают? Неужели ты хочешь скитаться по свету с такой тяжестью на сердце?

Юный Генри надолго задумался.

— Таким я не стану,— сказал он наконец.— Буду часто возвращаться домой, чтобы моя кровь осталась здоровой.

Его отец продолжал мужественно улыбаться.

— Когда ты хочешь отправиться в путь, Генри? Без тебя тут будет очень пусто.

— Да как можно скорее,— ответил Генри, точно он был взрослым мужчиной, а Роберт — малюпким мальчиком.

— Генри, но прежде я попрошу тебя о двух одолжениях. Подумай сегодня о долгих бессонных ночах, которые предстоят мне из-за тебя, и о том, какими горькими будут мои дни. И о том, как твою мать будут часами терзать мысли, что ты весь обносился и забываешь молиться на ночь. Это, во-первых, Генри. А во-вторых, поднимись завтра на Вершину к старому Мерлину, расскажи ему, что ты задумал уйти, и выслушай его. Он мудр — ни мне, ни тебе никогда не обрести такой мудрости. И ему ведомо колдовство, которое может сослужить тебе службу. Ты сделаешь это ради меня, мой сын?

Генри сказал грустно:

— Я бы остался, отец, но ведь ты знаешь...

— Да, мальчик,— Роберт кивнул.— На горе себе я знаю. А потому не могу ни рассердиться, ни приказать тебе остаться. Хотя и предпочел бы запретить тебе даже думать об этом и высечь тебя в убеждении, что поступаю так для твоего же блага. Но иди ложись, Генри, и в темноте думай, думай, думай!

Юноша ушел, а Старый Роберт остался сидеть в кресле.

«Почему люди вроде меня хотят иметь сыновей? — размышлял он.— Наверное, в наших бедных искалеченных душах живет надежда, что эти юноши, в которых течет наша кровь, сумеют совершить все, чего сделать нам самим не хватило сил, или ума, или мужества. Так, словно тебе даруют еще одну жизнь, словно, проигравшись дотла за столом удачи, ты находишь в кармане еще один туго набитый кошелёк. Быть может, мальчик поступает так, как следовало бы много лет назад поступить мне, если бы у меня достало мужества. Да, долина меня и, правда, задушила.

И я рад, что у моего сына есть силы вырваться из кольца гор и выйти в широкий мир. Но здесь... здесь без него будет так пусто!»

II

На следующее утро Старый Роберт вернулся из своего розового сада очень поздно, и жена, подметавшая комнату, неодобрительно посмотрела на его выпачканные в земле руки.

— Он хочет уехать сразу же, мать,— неуверенно произнес Роберт.

— Кто это хочет уехать и куда? — Она продолжала орудовать метлой. Быстрые любопытные прутья выгоняли пыль из углов и щелей между половицами, перегоняли ее облачка на открытое место.

— Да Генри же! Он хочет сейчас же уехать в Индии. Она прервала свое занятие и поглядела на него.

— В Индии! Послушай, Роберт... А, глупости все это! — закончила она, и метла еще энергичнее замелькала по полу.

— Я уже давно видел, как в нем росло это желание,— продолжал Роберт.— А тут явился Дафид со своими рассказами. Вчера вечером Генри сказал мне, что уезжает.

— Так он же еще малолетка! — отрезала Матушка Морган.— Какие там Индии!

— Когда Дафид ушел с зарей, в глазах мальчика была жажда, которой ему никогда не утолить, даже если он и отправится в Индии. Неужели ты не замечала, мать, как его глаза все время смотрят за горы на что-то, чего он жаждет?

— Да нельзя же ему ехать! Нельзя!

— Ничего не поделаешь, мать. Огромная пропасть лежит между моим сыном и мной, но не между мной и моим сыном. Не знаю я, какой голод его гложет, я, возможно, запретил бы ему покидать дом и он бежал бы тайком со злобой в сердце. Он ведь не знает, какой голод гложет меня, какое желание, чтобы он остался! И конец был бы тот же,— сказал Роберт со все растущим убеждением.— Между мной и моим сыном есть жестокое различие, как я все чаще замечал последние годы. Он перебегает от одного горшка с холодной кашей к другому и в каждый сует палец, твердо веря, что вот тут-то и найдет яство своей мечты, я же не приподниму ни единой крышки, ибо твердо верю, что везде только каша, и всегда холодная. Да, я не

сомневаюсь, что огромные блюда пурпурной каши, облитой молоком дракона, сдобренной неведомой сладостью, существуют лишь в воображении. Он свои грезы испытывает явью, мать, а я, да смилуется надо мной бог, страшусь поступить так же.

Эта пустая болтовня вывела ее из терпения.

— Роберт! — воскликнула она с сердцем. — Всякий раз, когда нам грозят беда, нужда или горе, ты прячешься за словами. Где твой родительский долг? Мальчик еще мал, а за морем всяких ужасов не перечесть, да и зима не за горами. Зимний кашель сведет его в могилу. Ты же знаешь, он простужается, чуть промочит ноги! Никуда он отсюда не уедет, даже в Лондон! И пусть эти его глаза, про которые ты толкуешь, иссохнут от голода. Откуда ты знаешь, с какими людьми он поведется? Каким глупостям, каким мерзостям они его обучат? Я-то знаю, сколько в мире зла. Священник ведь чуть не каждый день господень твердит про силки и ловушки, которые расставляет нам суетный мир. Или ты не понимаешь? Но так оно и есть. А ты сидишь сложа руки и бормочешь всякие глупости про пурпурные каши, вместо того чтобы что-то сделать. Запрети ему — и делу конец.

Однако Роберт ответил с раздражением:

— Для тебя он малый ребятец, за которым надо присматривать, чтобы он помолился на ночь, а выходя из дома не забывал надеть курточку, и ты не замечаешь в нем стали, как замечаю я. По-твоему, когда он упрямо выставляет подбородок, это мимолетный каприз расшалившегося несмышлениша. Но я знаю — и говорю тебе это без всякой радости, — что наш сын поднимется очень высоко, потому... да, потому что он не очень умен. И способен видеть только то, что хочет сейчас, сию минуту. Я сказал, что свои грезы он испытывает явью. И каждую он сразит стрелой своей же неумолимой воли. Этот мальчик добьется любой цели, к которой будет стремиться, ибо не признает ничьих мыслей и побуждений, кроме собственных, и я сожалею о его грядущем величии, ибо однажды Мерлин сказал нечто... Погляди на его гранитный подбородок, мать, на желваки, которые вздуваются на его скулах, когда он стискивает зубы.

— Он должен остаться дома, — объявила Матушка Морган и сжала губы в тонкую линию.

— Вот видишь, мать, — продолжал Роберт, — ты и сама бываешь такой же, как Генри, потому что не признаешь ничьих мнений, кроме собственного. Но я не стану ему пре-

пятствовать, потому что не хочу, чтобы он ушел тайком темной ночью, с куском сыра и краюхой хлеба за пазухой, с обидой в сердце. Я разрешаю ему уехать. И даже помогу, если он того захочет. Вот тогда, если я все-таки ошибаюсь в своем сыне, он вернется назад присмиривший, робко про себя надеясь, что никто не помянет его трусости.

Матушка Морган ответила: «Глупости», — и снова взялась за метлу. Она не поверит этому вздору и тем его рассеет. О, сколько всего она ввергла в небытие отказом поверить. Многие годы она сокрушала нелепые мечты Роберта тяжелыми фалангами здравого смысла. Ее войско атаковало без промедления и разбивало врага наголову. Роберт всегда устало отступал и некоторое время сидел, улыбаясь чему-то. Конечно, и на этот раз он скоро образумится.

Сильные загорелые пальцы Роберта рыхлили почву у корней розового куста. Они подхватывали комочки чернозема и аккуратно прихлопывали их там, где следовало. Время от времени Роберт с неизъяснимой любовью поглаживал серый ствол. Казалось, он поправляет одеяло на спящем и проводит рукой по его плечу, убеждая себя, что все хорошо.

День выдался ясный: зима чуть-чуть отступила и вернула миру взятого в плен заложника — маленькое холодное солнце. В сад вошел юный Генри и остановился у ограды под вязом, оголенным, изломанным грубыми ласками ветра.

— Ты подумал, как я тебя просил? — произнес Роберт негромко.

Генри вздрогнул. Ему казалось, что человек, который опустился на колени, словно поклоняясь земле, не мог заметить его присутствия, хотя пришел он для того, чтобы быть замеченным.

— Да, отец, — ответил он. — Как я мог не думать?

— И понял, что не можешь никуда уехать. Ты остаешься?

— Нет, отец, остаться я не могу. — Печаль отца опечалила его, но жажда странствий стала только еще сильнее.

— Но на Вершину поговорить с Мерлином ты пойдешь? — умоляюще сказал Роберт. — И будешь слушать его внимательно.

— Сейчас и пойду.

— Генри, день же почти на исходе, а дорога туда не близкая. погоди до завтра.

— Завтра я должен уйти, отец.

Руки Старого Роберта медленно опустились, ладони с полусогнутыми пальцами легли на черную землю у корней розового куста.

III

Юный Генри скоро свернул с проезжей дороги на крутую тропу, которая взбиралась к Вершине и уводила дальше в самое сердце диких гор. Снизу было хорошо видно, как она петляет, прежде чем нырнуть в глубокую расселину. На самом высоком месте, откуда тропа убегала вниз, жил Мерлин — Мерлин, которого деревенские мальчишки, когда он изредка спускался в селение, осыпали бы насмешками и камнями, если бы думали, что он стар и беззащитен. Но Мерлин сумел окружить себя ореолом всяческих легенд. Кто не знал, что тилет-тег покорствуют ему и приносят вести от него и к нему на беззвучных крыльях. Дети шепотом предупреждали друг друга, что он водит дружбу с пятипалыми хорьками, и те отомстят за него, если он пожелает. И еще у него жила красноухая собака! Было чего бояться. Да уж, детям, которые не знают всех спасительных заклинаний, никак не следовало задевать Мерлина.

Некогда Мерлин был чудесным поэтом, рассказывали старики, и мог бы стать великим. И в доказательство они начинали тихоночко напевать «Печаль Плейта» или «Песнь копья». Не раз он получал главный приз на состязаниях певцов и был бы провозглашен Первым Бардом, если бы соперником его не был отпрыск дома Рисов. Тогда по неведомой причине Мерлин, еще совсем юноша, заточил свою песнь в каменном доме на Вершине и держал ее там, как в темнице, а сам старел, старел, старел, и те, кто некогда пел его песни, забыли их или умерли. Дом на Вершине был круглым, точно низкая серая башня, с окнами, смотревшими и в долину, и на горы. Одни говорили, что построил его много веков назад осажденный врагами великан, чтобы укрывать там своих девственниц — пока они ими оставались. Другие уверяли, что туда после битвы при Гастингсе бежал король Гарольд и до конца своих дней вглядывался единственным глазом в долину, не покажется ли там передовой норманнский отряд.

Теперь Мерлин был уже очень стар, волосы и длинная ниспадающая на грудь борода стали белыми и мягкими, как весенние облака. Он походил на древнего друида, жреца, чьи ясные зоркие глаза привыкли наблюдать звезды.

Чем выше поднимался юный Генри, тем уже становилась тропа. По одну ее сторону вздымалась каменная стена, лезвием ножа врезаясь в небо. Трещины и выступы на ней слагались в неясные очертания, словно это был скальный храм древнего бесформенного бога, которому поклонялись обезьяны.

Сначала он видел траву, кусты, а кое-где и искривленные мужественные деревца, но выше все живое погибло, не вынеся каменного одиночества. Далеко внизу дома и хозяйственные постройки казались скоплением кормящихся жуков, а долина съежилась, замкнулась сама в себе.

Тут к тропе и с другой стороны подступила гора, оставив над головой только узкую полоску неба в неизмеримой высоте. Из небесной синевы водопадом рушился яростный ветер и с воем уносился в долину. А камни вокруг становились все больше, все чернее и страшнее — готовые к прыжку хранители тропы.

Генри ровным шагом шел и шел вверх. Что такого может сказать ему старый Мерлин? Или подарить? Втирание, делающее кожу такой твердой, что ее не пробьет никакая стрела? Могущественный талисман? Заклинание от легионов малых слуг дьявола? Нет, Мерлин будет только говорить, а он, Генри, должен будет слушать. И то, что Мерлин скажет, может излечить его от неутолимого голода, навсегда удержать здесь, в Камбрии. Только этого не будет! Ведь его призывают и манят неведомые силы, бесымянные призраки далеких земель по ту сторону таинственного моря.

Его не вело стремление добиться чего-то, стать кем-то, его изображение не рисовало ему картин того, что произойдет, когда он последует неумолчному зову. Нет, он подчинился лишь жгучему, неборимому желанию пуститься в путь, вперед и вперед, за самой первой загоревшейся в небе звездой.

Тропа вырвалась на каменную вершину, выпуклую, как верх шапки. На самой макушке ее стоял низкий каменный дом Мерлина, сложенный из нетесаных камней, с конической крышей, похожей на колпачок для гашения свечей.

Старик открыл ему дверь, прежде чем он успел постучать.

— Я Генри Морган, сэр, и я ухожу отсюда, отправляюсь в Индию.

— Ах, так? Но, быть может, ты войдешь рассказать мне об этом? — Голос был чистый, негромкий и чудесный,

как юный вестер, воркующий в весеннем яблоневом саду. В нем звучала напевная музыка, тихая мелодия, которую мурлычет мастер-ремесленник, склоняясь над работой. А в самой глубине то ли слышался, то ли чудился звон дрожащих струн арфы, которых чуть коснулись умелые пальцы.

Единственную комнату устилали черные ковры, а на стене висели арфы и наконечники копий — маленькие уэльские арфы и большие бронзовые наконечники от копий древних британцев, плоские, как листья. Висели на нетесаных камнях. Под ними кольцом располагались всевидящие окна, выходившие на три долины и могучую семью гор. А еще ниже комнату опоясывала единственная скамья. Посередине стоял стол, заваленный растрепанными книгами, а рядом — медная жаровня на греческом треножнике из черного железа.

Едва Генри вошел, как в него ткнулся мордой огромный пес, и юноша понялся в испуге. Ведь под голубым куполом небес нет ничего смертоноснее даже мимолетного внимания красноухой собаки.

— Ты собрался в Индии. Сядь сюда, мальчик. Видишь? Отсюда ты можешь следить за родной долиной, чтобы она не улетела на Авалон.

Арфы откликнулись на его голос еле слышным звоном.

— Отец велел мне подняться сюда, сказать вам о том, что я уезжаю, и выслушать вас. Отец думает, что ваши речи могут удержать меня здесь.

— Ты собрался в Индии, — повторил Мерлин. — А простился ли ты с Элизабет, не поскупившись на обещания, чтобы потом сердце у нее трепетало и дыхание прерывалось при мысли о подарках, какие ты ей обязательно привезешь?

Генри густо покраснел.

— Кто вам сказал, будто я думаю об этой девчонке? — крикнул он. — Кто говорит, будто я за ней бегаю?

— Что-то нашептал ветер, — ответил Мерлин. — И твои щеки говорят, и немало. Твой крик тоже добавил свое слово. Мне кажется, тебе следовало бы пойти к Элизабет, а не ко мне. Твой отец мог бы выбрать средство мудрее! — Голос замер, а когда зазвучал вновь, в нем появилась грустная настойчивость. — Должен ли ты покинуть отца, мальчик? Ведь он совсем один в долине, где все не такие, как он. Да, мне кажется, уехать ты должен. Планы, которые строят мальчишки, серьезны и нерушимы. Так что же я могу сказать, чтобы удержать тебя здесь, юный Генри?

Твой отец задал мне трудную задачу. Некогда я плавал на высоком испанском корабле. Тысячу лет назад... а может быть, и больше, или же не плавал вовсе, и мне это лишь пригрезилось. В конце концов мы добрались до этих твоих зеленых Индий, и они были прекрасны, но неизменны. Все времена года сливаются там в зеленое однообразие. Если ты отправишься туда, год перестанет существовать для тебя, ты должен будешь забыть судорогу беспроектного зимнего ужаса, когда мнится, будто наш мир нарушил верность солнцу, умчался в пустыню пространства и больше уже никогда не наступит весна. Ты должен будешь забыть взрыв безумного волнения, когда солнце начинает восходить все раньше, и на тебя теплой волной накатывается радость, и ты не в силах вздохнуть от ликующего восторга. А там никаких перемен нет. Ни малейших. Прошлое и будущее сливаются в одно гнусное, окаменелое настоящее.

— Но тут ведь никаких перемен нет! — перебил юный Генри. — Год за годом созревает зерно и коровы облизывают новорожденных телят, год за годом колют свиной и коптят окорока. Да, конечно, весна-то приходит, но ничто не меняется.

— Справедливо, слепой мальчишка... и я вижу, что говорим мы о разном...

Мерлин обвел взглядом кольцо окон — долины, горы, — и в его глазах горела великая любовь к этому краю. Но когда он обернулся к юнине, лицо его выражало страдание, а голос стал напевным.

— Я попробую воззвать к тебе от имени милой Камбрии, где время нагромоздилось огромной осыпающейся горой на самые древние дни! — вскричал он с неистовым чувством. — Или ты утратил любовь к непокоренной Камбрии, если покидася с нею, хотя кровь тысяч твоих предков пропитала здесь всю землю, дабы Камбрия во все веки оставалась Камбрией? Или ты забыл, что род твой восходит к троянцам? Но, впрочем, и они стали скитальцами, когда пал Пергам, не так ли?

— Любви я не утратил, сэр, — сказал Генри. — Но моя мечта лежит за морем, которого я не знаю. А Камбрию я знаю.

— Но, мальчик, здесь ведь жил великий Артур, тот, кто вознес свои знамена над Римом и бессмертным уплыл на светлый Авалон. И сам Авалон лежит у наших берегов, там — за утонувшими городами — он вечно плывет по волнам. И неужели, Генри, они не взывали к тебе — призра-

ки всех этих благородных, доблестных, воинственных, ничемных мужей? Алеу Лло Гиффса, и Бленеса, и Артура, и Кадвалло, и Брута? Они странствуют по стране, как туманы, и хранят ее с высоты. В Индиях нет призраков и нет тилет-тег. В наших черных диких горах скрыты миллионы тайн. Нашел ли ты Трон Артура? Постиг ли смысл каменных колец? Внимал ли ты победоносным голосам в пещерах? Слышал ли ревущие рога охотников за душами, лай их голубой своры, когда они врываются в селения на крыльях бури?

— Их я слышал,— сказал Генри, содрогаясь. Он робко покосился на собаку, уснувшую у стола, и продолжал, понизив голос: — Священник говорит, что все это неправда. Он говорит, что «Красная книга Хергеста» — это сказочки для малых детей, усевшихся вечером у горящего очага, а мужчинам и большим мальчикам стыдно в них верить. Он говорил нам в церковной школе, что все это лживые выдумки и противохристианские. Артур был мелким племенным вождем, говорит он, а Мерлин, чье имя ты носишь, всего лишь плод воспаленного мозга Гальфрида Моимутского. Он говорит плохо даже о тилет-тег, и о кладбищенских огнях, и о таких, как его честь ваш пес.

— О, глупец! — с омерзением воскликнул Мерлин. — Лишь глупец способен сокрушать то, о чем говорил я. А взамен предлагает историю, преподнесенную миру двенадцатью соавторами, чьи понятия кое в чем оставляли желать лучшего. Зачем тебе уезжать, юноша? Неужели ты не видишь, что враги Камбрии теперь пускают в ход не мечи, но языки, подобные раздвоенным жалам? — Арфы пропели его вопрос, замерли последние отзвуки, и в круглом доме наступила тишина.

Генри, сдвинув брови, уставился в пол. Потом сказал:

— Слишком уж много тревог из-за меня, Мерлин. А я ничего толком объяснить не могу. Ведь я вернусь. Конечно, вернусь, едва жажда нового перестанет меня жечь. Но разве ты не видишь, что уехать я должен, потому что рассечен пополам и здесь — только часть меня? Вторая половина за морями и зовет, зовет меня, чтобы я приехал туда и стал целым. Я люблю Камбрию и вернусь, когда опять буду целым.

Мерлин внимательно всмотрелся в лицо юноши и грустно перевел взгляд на арфы.

— Мне кажется, я понимаю,— сказал он мягко,— ты просто маленький мальчик и хочешь луну, чтобы пить из нее, как из золотой чаши. А потому вполне возможно, что

ты будешь великим человеком... если, конечно, останешься ребенком. Все великие мира сего были маленькие мальчики, которые хотели взять луну себе, гнались за ней, собирались все выше и иной раз ловили светляка. Если же мальчик мужает и обретает взрослый ум, то он понимает, что схватить луну не может, а и мог бы, так не захотел бы. И поэтому не поймает и светляка.

— А сами вы никогда не хотели взять луну себе? — спросил Генри, и в тихой комнате его голос был еле слышен.

— Хотел. Превыше всех других желаний была она для меня. Я протянул к ней руки, и тогда... тогда я стал взрослым — и неудачником. Но неудачника ждет одно благо: люди знают, что он потерпел неудачу, жалеют его, добры к нему. С ним — весь мир, ему даруется живая связь с ближними и плащ посредственности. Но тот, кто прячет в ладонях светляка, которого схватил вместо луны, одинок вдвойне: ему остается только постигать всю глубину своей неудачи, все свое ничтожество, страхи, самообманы. Ты обретешь свое величие и со временем, несомненно, окажешься одинок в нем: нигде ни единого друга, а лишь те, кто почитает тебя, или боится, или склоняется пред тобой. Я жалею тебя, мальчик с честным ясным взором, жадно устремленным ввысь. Я жалею тебя и — Матерь-Небо — как я тебе завидую!

В ущелья заползали сумерки, наполняя их лилою мглой. Солнце поранилось о зазубренный гребень и залило долины своей кровью. Длинные тени гор прокрадывались в поля все дальше, точно серые кошки, подбирающиеся к добыче. Тишину нарушил легкий смешок Мерлина.

— Не задумывайся о моих словах, — сказал старик. — Я ведь и сам не слишком в них уверен. Грезы можно опознать по тому их свойству, которое мы называем непоследовательностью. Но как определить молнию?

Ночная тьма подступала все ближе, и Генри вскочил.

— Мне пора идти, уже смерклось!

— Да, тебе пора идти, но не размышляй над моими словами. Быть может, я просто хотел поразить тебя. Старости нужна безмолвная лесть, потому что высказанной вслух она более не доверяет. Помни только, что Мерлин говорил с тобой. И если где-нибудь тебе встретятся уэльсцы, которые поют мои песни, сложенные давным-давно, скажи им, что видел меня, что я нездешнее чудесное суще-

ство с голубыми крыльями. Я не хочу быть забытым, Генри. Ведь для старика быть забытым страшнее смерти.

Генри сказал:

— Мне пора. Уже совсем темно. Благодарю вас, сэр, что вы мне все это сказали, но, видите ли, я должен уехать в Индию.

Мерлин тихонько засмеялся:

— Ну, конечно, должен, Генри. И непременно поймай светляка побольше. Прощай, дитя!

Генри оглянулся один раз, когда черный силуэт дома начал уходить за отрог. Но в окнах не мерцал огонь. Старый Мерлин сидел там и с мольбой взывал к своим арфам, а они насмешливо вторили ему.

Юноша быстрее зашагал вниз по тропе. Долина впереди была темным озером, и огоньки ферм казались отражениями звезд в его глубине. Ветер замер, и в горах стояла вязкая тишина. Всюду кружили печальные беззвучные призраки. Здесь были их владения. Генри ступал осторожно, не отводя глаз от тропы, которая голубоватой лентой вела его вниз.

IV

Шагая по темной тропе, Генри вдруг вспомнил, что сказал ему Мерлин в самом начале. Так не повидать ли ему Элизабет перед уходом? Она ему вовсе не нравилась. Порой он даже ощущал, что в нем растет ненависть к ней. И эту ненависть он нянчил и подогревал, а она все больше преображалась в желание увидеть Элизабет.

Она была тайной. Все девушки и женщины ревниво оберегали что-то, о чем никогда вслух не говорили. Его мать, как зеницу ока, хранила секреты теста для лепешек и порой плакала по неизвестным причинам. Под внешней оболочкой женщины — некоторых женщин — параллельно их внешней жизни шла другая, внутренняя, и эти две жизни никогда не пересекались.

Всего год назад Элизабет была хорошенькой девочкой и, увидев его, принималась перешептываться с подружками, хихикать, дергать их за волосы, а потом внезапно стала совсем другой. Никакой зримой перемены Генри обнаружить не мог, но ему чудилось, что она обрела способность понимать — глубоко и безмятежно. Его пугала эта мудрость, которая вдруг снизошла на Элизабет.

И ее тело... Не такое, как у него, обладающее властью (об этом говорилось еле слышным шепотом) дарить неведомое блаженство, творить темное волшебство. Но даже

это расцветшее тело она окружала тайной. Прошло время, когда они вместе беззаботно ходили на речку купаться. Теперь Элизабет старательно укрывала себя от него, словно ее преследовала неотвязная мысль, что вдруг он увидит... Это новое в ней пугало и смущало Генри.

Порой она ему снилась, и он просыпался в холодном поту — вдруг она узнает про его сон. А иногда ему в ночи являлся смутный образ, в котором странно сочтались Элизабет и его мать. После такого сна его весь день томило отвращение к себе и к ней. Себя он видел противосущественным чудовищем, а ее суккубом во плоти. И он не мог никому рассказать про это. Все отвернулись бы от него, как от прокаженного.

Но, может быть, все-таки увидеться с ней напоследок? Этот год облек ее странным могуществом — притягательным и отталкивающим, и его воля трепетала, как тростник на ветру. Быть может, другие мальчики и правда навещали ее по вечерам и целовали, успев заранее этим похвастать, но другие мальчики не видели ее во сне, как он, не думали о ней с невыразимым отвращением, как порой думал он. Да, есть в нем что-то противоестественное, раз он неспособен отличить желание от омерзения. И ведь сй так легко заставить его смутиться и оробеть!

Нет, он к ней ни за что не пойдет! Да с какой стати Мерлин — ну, пусть не Мерлин, а кто угодно еще — вдруг вообразил, будто она для него что-то значит, эта дочка нищего батрака? Она же не стоит того, чтобы о ней думать!

За его спиной послышались шаги, гулко отдававшиеся в ночной тиши. Кто-то нагонял его, и вскоре с ним поравнялась юркая худая фигура.

— Это ведь ты, Уильям? — вежливо спросил Генри.

— Он самый, — ответил тот и переложил кирку с одного плеча на другое. Его дело было чинить дороги. — А ты-то что делаешь тут ночью?

— Я был у Мерлина. Слушал, что он говорил.

— Чума его приberi! Он теперь только и умеет, что языком болтать. А ведь раньше песни слагал, хорошие песни, душевные. Ты бы сам то же сказал, спой я тебе хоть одну, да что-то не хочется. А теперь сидит он на Вершине, как старый облезлый орел. Проходил я как-то мимо, ну, и заговорил с ним — ты хоть у него спроси. Я ведь не из тех, кто свои мысли при себе держит. «Почему ты больше не слагаешь песен?» — так я ему сказал, этими самыми словами. «Почему, — говорю, — ты больше не слагаешь песен?»

А он говорит: «Я вырос и стал взрослым,— говорит.— А во взрослых сердцах песен нет. Только дети слагают песни. Только дети и полоумные». Чума его приberi! Сам он полоумный и есть, так по мне выходит. А тебе он что наговорил, козел седобородый?

— Видишь ли, я уезжаю в Индию...

— В Индии? Ты, что ли? Ну-ну! Я вот в Лондоне бывал. И все там в Лондоне вор на воре. Один держит доску, а на ней махонькие планки. «Попробуй свое искусство, друг! — говорит.— На какой планке снизу черная метка?» «Вот на этой»,— говорю. Так оно и вышло. Зато уж потом... Он ведь тоже вор был. Все они там воры. Им там в Лондоне только и дела, что разъезжать в каретах — туда-сюда, туда-сюда, туда по одной улице, а обратно по другой. Да еще раскланиваются друг с другом, пока достойные люди в поте лица трудятся в полях и в рудниках, чтоб они там могли раскланиваться между собой. А мне что останется или, к примеру, тебе, если все теплые местечки занимали разбойники. А знаешь ты, какую разбойничью цену заламывают в Лондоне за одно яйцо?

— Мне сюда сворачивать,— сказал Генри. — Я тороплюсь домой.

— Индия! — Уильям тоскливо вздохнул и сплюнул в траву.— Да что уж! Голову прозакладываю, все они там воры и разбойники.

Когда Генри наконец добрался до бедной хижины, где жила Элизабет, мрак стал совсем непроницаемым. Он знал, что в очаге посреди комнаты горит огонь и дым стелется под потолком, нца выхода наружу, через небольшую дыру в кровле. Настоящего пола там нет — только утрамбованная земля и очаг. Отходя ко сну, семья закутывалась в овчины и ложилась вокруг очага ногами к нему.

Окна без сткол не были даже занавешены, и Генри видел то старого Туима с густыми черными бровями, то его худую издерганную жену. Он ждал, пока в окне не мелькнула Элизабет, а тогда свистнул, как ночная птица. Девушка подошла к окну и выглянула наружу, но Генри стоял в темноте неподвижно. Тогда Элизабет открыла дверь и встала на пороге, освещенная сзади отблесками огня. Генри увидел сквозь платье черный абрис ее фигуры. Он увидел изящный изгиб ее ног и округлость бедер. Им овладел безумный стыд — и за себя, и за нее. Без единой мысли в голове он вдруг кинулся назад сквозь тьму, задыхаясь и борясь с рыданиями.

Услышав, что Генри вошел в комнату, Старый Роберт с надеждой поднял голову, но надежда тут же угасла, и он быстро отвернулся к огню. Матушка Морган вскочила и сердито встала перед юношей.

— Это что еще за глупости? — спросила она грозно. — В какие-такие Индии ты собрался?

— Матушка, я должен уехать. Правда, должен. И отец меня понимает. Как ты не слышишь, что Индии зовут меня!

— А вот так. И грех говорить такие глупости. Ты еще младенец несмышленный, и тебя нельзя за порог одного выпустить. Отец запретит тебе и думать об этом.

Упрямый подбородок юноши стал гранитным, на скулах вздулись желваки. Глаза полыхали гневом.

— Если ты не понимаешь, матушка, я скажу тебе одно: завтра я уйду и не посмотрю ни на кого из вас!

Оскорбленная гордость смела изумление с ее лица и тут же исчезла, уступив место неизбывной боли. Она не знала, куда бежать от неожиданной муки. А Генри, едва увидев, что натворили его слова, кинулся к ней.

— Прости, матушка, я не хотел... Прости. Но почему ты не можешь отпустить меня, как отпустил отец? Я не хочу делать тебе больно, и все-таки я должен уехать. Пойми же!

Он обнял ее, но она отвернулась. Ее слепой взгляд был устремлен в никуда.

Она была так уверена в своей правоте! Всю свою жизнь она оскорбляла, понуждала, бранила своих близких, а они понимали, что ее тиранию рождает любовь к ним. Но теперь, когда один из них, маленький мальчик, заговорил с ней ее собственным привычным тоном, рана, нанесенная ей, была столь глубока, что зажить совсем уже вряд ли могла.

— Ты говорил с Мерлином? Что он сказал тебе? — спросил Роберт со своего места у очага.

Мысли Генри метнулись к Элизабет.

— Он говорил про то, во что я не верю, — ответил он.

— Что же, это была только соломинка, — пробормотал Роберт. — Ты нанес своей матери беспощадный удар, — продолжал он. — Я еще никогда не видел ее такой... такой притихшей. — Затем Роберт распрямил плечи и заговорил твердым голосом: — Я приготовил для тебя пять фунтов, мой сын. Деньги небольшие. Может быть, мне удалось бы наскрести еще, но такую малость, которая ничего не изме-

нила бы. А вот рекомендательное письмо к моему брату, сэру Эдварду. Он уехал еще до злодейского убийства короля, и почему-то — возможно, потому, что вел он себя тихо, — старый Кромвель его не отозвал. Если он окажется на Ямайке, когда ты туда доберешься, можешь вручить ему мое письмо. Но он замкнутый, холодный человек и очень гордится знатными знакомствами, так что бедного родственника вряд ли встретит с распростертыми объятиями. Вот почему я не уверен, что это письмо тебе поможет. Он тебя невзлюбит. Разве что ты умудришься не заметить ничего смешного в человеке, который очень похож на меня, но чванно разгуливает с серебряной шпагой и с перьями на шляпе. Я вот не выдержал, засмеялся, и с той минуты он перестал быть моим братом. Письмо, однако, побереги: оно может сослужить тебе службу с другими людьми.

Он поглядел на жену, скорчившуюся в темном углу.
— Мать, а ужинать мы сегодня не будем?

Она как будто не услышала, и Роберт сам поставил еду на стол.

Страшно терять сына, ради которого ты только и жила. Почему-то она никогда не сомневалась, что он всегда будет подле нее — маленький мальчик, и всегда подле нее. Она старалась нарисовать себе будущее без Генри, но эта мысль разбилась о серую стену худосочного воображения. Какая неблагодарность — бежать от нее, внушала она себе, как жестоко он поступил с ней... Но сразу же ее сознание мячиком отлетало назад. Генри — ее малютка сыночек и потому не может быть ни бесчувственным, ни подлым. Незнаю как, но эти пустые слова, эта боль обязательно исчезнут, и он по-прежнему будет подле нее, восхитительно бестолковый и послушный.

Ее рассудок всегда был бритвой реальности, ее воображение всегда ограничивалось переносом настоящего в ближайшее будущее, но теперь они блаженно унеслись к малютке, который учился ползать, учился ходить, учился лепетать первые слова. И она уже забыла, что он решил уйти, так заморозили ее эти грезы о серебряном прошлом.

Крестили его в длинной батистовой рубашечке. Вся святая вода, которой его окропили, собралась в одну каплю и скатилась по курносому носишке, а она в своей страсти к порядку тотчас вытерла ее носовым платком и тут же подумала, не придется ли теперь окрестить его еще раз. Молодой священник потел и давился словами молитвы. Но что с него было взять? Совсем зеленый, да к тому же из местных. Да, слишком зелен для столь важного обряда.

Вдруг таинство не свершится? Перепутает слова или допустит еще какие-нибудь нарушения... Но тут она обнаружила, что Роберт опять застегнул камзол кое-как. Хоть кол ему на голове теши, никогда не вденет пуговицу в нужную петлю. Вот и кажется кривобоким! Надо подойти к Роберту и шепнуть ему про камзол, пока люди в церкви ничего не заметили. Такие мелочи и рожают всякие сплетни! Но если она отойдет, глупый педотепа-священник того и гляди уронит младенца...

Они кончили ужинать, и дряхлая Гвеплиана, с трудом поднявшись из-за стола, прошаркала к своему креслу у огня, чтобы потихоньку вновь ускользнуть в приветливое будущее.

— Когда ты думаешь отправиться? Утром? — спросил Роберт.

— Пожалуй, часов в семь, отец.— Генри попытался придать своему тону будничность.

Старуха остановилась и внимательно на него поглядела.

— Куда это Генри отправляется? — спросила она.

— Как? Разве ты не знаешь? Генри утром покинет нас. Он отправляется в Индию.

— И не вернется? — Голос ее стал тревожным.

— Во всяком случае, не скоро. Путь туда долгий.

— Ну, так я должна открыть ему будущее. Да-да, открыть, как чистые страницы книги! — воскликнула она в приятном предвкушении.— Я должна рассказать ему про будущее, про то, что оно таит в себе. Дай-ка я погляжу на тебя, мальчик!

Генри подошел и сел у ее ног, и она начала свою речь. Поистине, древний кумрийский язык таит в себе волшебство. Он был создан для пророчеств.

— Знай я об этом раньше,— сказала Гвеплиана,— так приготовила бы лопатку свежезарезанной овцы. Гадание по ней куда древнее и куда надежнее простых предсказаний. Но с тех пор, как я состарилась, согнулась и обезножела, мне уже не под силу выходить на дорогу к духам, что скитаются там. А много ли узнаешь, если не можешь ходить среди духов и подслушивать их мысли? Но я расскажу тебе всю твою жизнь, внучек, и открою будущее, лучше которого еще не предсказывала.

Она откинулась в кресле и закрыла глаза. Но внимательный взгляд обнаружил бы, что они поблескивают меж-

ду сощуренными веками и не отрываются от окаменевшего лица юноши. Долгое время сидела она в трансе, словно ее старый мозг расчесывал колтуны прошлого, чтобы грядущее легло прямыми прядями, доступными для воплощения в слова. Наконец она снова заговорила, но голосом хриплым, напевным, предназначенным для грозных тайн:

— Это сказанье Абрета тех времен, когда земля и вода сошлись в поединке. И от их столкновения родилась крохотная слабенькая жизнь и устремилась вверх по кругам туда, где пребывает Гвинфид, блистающая Чистота. В этой первой слепо блуждающей плоти запечатлена история мира, его странствований в бездонной Пустоте. И ты... сколько раз Анну разевал зубастую пасть, чтобы схватить щепотку жизни, которую ты хранишь в себе, но тебе удавалось избегать его ловушек. Тысячу веков прожил ты с тех пор, как земля и море схватились, сотворяя тебя, и тысячу тысяч веков суждено тебе хранить дарованную тебе щепотку жизни, которую лишь ты оберегаешь от Аннуна, извечного Хаоса.

Этим зачином она предваряла все свои пророчества, с тех самых пор, когда переняла его от странствующего барда, который в свой черед получил его от длинной вереницы бардов, восходящей к белым друидам. Гвенлана помолчала, давая своим словам время утвердиться в мозгу юноши, а затем продолжала:

— А это сказанье о пылених твоих скитаниях. Ты станешь великим свечом Божественного, будешь учить божьим веленьям...— Ее прищуренные глаза разглядели, как разочарованно вытянулось лицо юноши, и она торопливо воскликнула:

— Но погоди! Я заглянула слишком далеко вперед. Раньше будут битвы, кровопролития, и первой твоей несвестой станет меч! (Герри всыхнул от радости.) Один лишь звук твоего имени будет боевым зовом, на который соберутся лучшие воины мира. Ты будешь сокрушать города неверных, отнимать у них награбленную добычу. Ужас будет лететь впереди тебя, точно клекочущий орел над боевыми щитами.

Она убедилась, что эти ее предсказания падают на благодарную почву, но поспешила перейти к еще более славным свершениям:

— Твоей будет власть над островами и материками, и ты принесешь им мир и закон. И вот, когда наконец окружают тебя почести и слава, ты сочетаешься браком с голубицей великой знатности, с дочерью достойных и богатых

родителей,— заключила она, открыла глаза и обвела всех взглядом в ожидании похвал.

— Будь у меня овечья лопатка,— добавила она жалобно,— я сказала бы куда больше. И если бы нашлись у меня силы выйти на дорогу... Но старость отнимает у нас малые радости и оставляет одно лишь холодное тихое ожидание.

— Нет, матушка, это было чудесное пророчество,— сказал Старый Роберт.— Самое лучшее, какое я от тебя слышал. Ты ведь только-только достигла вершин своей тайной силы. И ты рассеяла мой страх за Генри, успокоила мое сердце. Теперь я испытываю только гордость при мысли, кем станет мой сын. Хотя и предпочел бы, чтобы он не убивал людей.

— Ну, что же... Если, по-твоему, пророчество и вправду было хорошим...— радостно сказала Гвенлиана.— Да, мне чудилось, что воздух нынче благоприятен, и глаза мои видят ясно. Только с овечьей лопаткой было бы еще лучше! — Она удовлетворенно сомкнула веки и погрузилась в дремоту.

VI

Всю ночь Старый Роберт беспокойно ворочался с боку на бок, а его жена лежала рядом в каменной неподвижности; когда мрак за окном начал сменяться посеребрённой мглой, она осторожно встала с постели.

— Как? Ты не спала, мать? Но куда ты идешь?

— К Генри. Я должна поговорить с ним. Может, меня он послушается.

Но через мгновение она вернулась и припала лицом к плечу Роберта.

— Генри ушел,— сказала она, и по ее телу пробежала судорога.

— Ушел? Но как он мог? Вот первый его трусливый поступок, мать. Ему стало страшно попрощаться с нами. Но я не сожалею о его страхе, ведь это верный знак его печали. Он не выдержал бы, если бы его чувства облеклись в слова.

Он был поражен ее холодным молчанием.

— Пойми же, мать, это значит, что он вернется к нам. Немного погодя, но обязательно. Клянусь тебе. Неужели ты сомневаешься? Он ушел на несколько дней, от силы — на несколько недель. Поверь мне, милая! Просто годы повернули вспять, и мы с тобой теперь — как тогда. Ты пом-

нишь? Но только ближе, гораздо ближе из-за всего, что с тех пор произошло. Мы с тобой ведь очень богаты безыскусными картинками прошлого, нам осталось все то, чем он играл. И лишиться этого мы не можем, пока живы.

Она не заплакала, не вздрогнула — казалось, она не дышит.

— Жена моя, Элизабет!.. Ты ведь веришь, что он скоро вернется... очень скоро... Даже скорее, чем ты успеешь стосковаться по нему. Скажи, что веришь! Скажи! — вскричал он в отчаянии. — Очнись! Заговори! Когда настанет весна, он уже будет с нами. Ты должна в это верить, милая... моя милая... — И он легко-легко погладил нежными неуклюжими пальцами неподвижную щеку у себя на плече.

VII

Генри крадучись вышел из дома, чуть побелел восточный край неба, и бодро зашагал по кардиффской дороге. В сердце у него застыл ледяной комочек испуга, и он спрашивал себя, действительно ли ему так уж хочется куда-то уехать. Задержавшись он, чтобы попрощаться, нашептывал ему страх, и он не смог бы покинуть каменный дом даже ради Индии.

Небо все больше серело, а он шел вперед мимо лугов, где кувыркался и играл, мимо каменоломни, где была пещера — там они с приятелями уносно играли в разбойников, и атаманом при общем согласии всегда был Генри — Твимом Шоном Катти.

Впереди четко вырисовывались горы, точно вырезанные из картона, с серебряным ободком по краю. Со склонов веял легкий предрассветный ветерок, свежий, душистый, напоенный пряным запахом влажной земли и палого листа. Лошади на пастбищах, завидев его, топенько ржали, подходили и ласково тыкались в него мягкими бархатными носами. Стайки птиц, с первым лучом зари принявшихся склевывать припоздавших ночных насекомых, взлетали, перекликаясь возмущенно и обиженно.

Когда взошло солнце, за спиной у Генри расстилались милые дороги, пройденной им впервые. На зазубренную гряду выкатился желтый шар, позолотив полотнища туманов по склонам, и Генри опустил плотный занавес между собой и прошлым. Боль и тоска одиночества, неотступно сопровождавшие его в темноте, были отринуты и остались позади. А впереди ждал Кардифф. Он шел в новые, неве-

домые края, и где-то чуть ниже утреннего горизонта, казалось ему, сияла во всем своем великолепии зеленая корона Индии.

Он проходил через дерсушки, названий которых не знал, и обитатели льнувших друг к другу лачужек глазели на него, как на чужестранца. Сердце юного Генри ликовало. Совсем недавно и он вот так глазел на неизвестных прохожих, пытаясь разгадать пленительную тайну, пославшую их в дорогу. В дорогу — куда? Неизвестность делала их необыкновенными, их цели представлялись неизмеримо важными. И вот теперь он сам такой прохожий! Это о нем размышляют, на него взирают с почтением. Ему хотелось закричать: «Мой путь лежит в Индии!» Пусть их тусклые глаза раскроются пошире и почтение в них возрастет стократно! Бесхребетные дурни. Ни мечты, ни силы воли, чтобы вырваться из этих сырых, замусоренных хижин.

А вокруг все изменилось. Он спускался с гор на безграничную равнину, где пологие волны невысоких холмов становились все более и более плоскими. Он увидел огромные норы, словно вырытые чудовищными сусликами, увидел оборванных черных людей, которые выбирались из них с мешками угля на спине. Высыпав уголь у подножия гигантской кучи, шахтеры с пустыми мешками возвращались в нору. Генри заметил, что и назад они брели сутулясь, словно их продолжало сгибать в дугу тяжелое бремя угля.

Миновал полдень, потянулись долгие ясные дневные часы, а он все шагал и шагал вперед. В воздухе теперь ощущался новый запах — властное пьянящее дыхание моря. Ему казалось, что он мог бы помчаться туда со стремительностью истомленной жаждой лошади. К вечеру вверх по небосводу двинулась армия черных туч. Ударил ветер, пахнуло снегом, и трава распласталась по земле.

Но он продолжал идти, пока ветер не начал швырять ему в лицо колючую ледяную крупу и холод не запустил ему под куртку леденящие пальцы. Там и сям, справа и слева от дороги виднелись дома, но Генри ни в одном не попросил ни приюта, ни ужина. Он не знал здешних обычаев, не знал цен этого края и твердо решил прийти в Кардифф со всеми своими пятью фунтами в кармане.

Наконец, когда его руки совсем посинели, а лицо онемело, он забрался в стоявший на отшибе сарай, полный мягкого сена. Там было тепло и тихо — так тихо, что его уши, измученные воем ветра, будто сразу оглохли. Сено

благоухало медом, засохшим в скошенных цветах. Генри зарылся в него поглубже и крепко уснул на этом пуховом ложе.

Очнулся он глубокой ночью, припомнил в полусне, где находится, и тут же к нему, визгливо вопя, подступили мысли, которые он утром прогнал.

«Дурак! — крикнула одна. — Вспомни просторную комнату, и конья, и яркий огонь! Где они теперь? Уж больше тебе их не видеть! Они исчезли, словно сон, а ты ведь не знаешь, куда исчезают сны! Ты дурак».

«Нет-нет, послушай меня! Вспомни обо мне! Почему ты не подождал Элизабет? Ты испугался? Да, ты испугался. Сестры, этот мальчишка — трус. Он боится белобрысой девчонки, дочери батрака!»

Раздался печальный медлительный голос:

«Вспомни о своей матери, Генри. Она сидела выпрямившись и словно окаменев — вот какой видел ты ее в последний раз. И ты не подошел к ней. Только оглянулся на пороге. Быть может, она и умерла там с той же мукой в глазах. Откуда тебе знать? А Роберт, твой отец... Вспомни, вспомни о нем! Одиноким, грустным, потерявшим все. Это дело твоих рук, Генри! Потому что тебе захотелось в Индии и ты не думал ни о ком, кроме себя».

«А что ты знаешь о будущем? — простонал испуганный голосок. — Будет так холодно, что ты замерзнешь. Или кто-нибудь убьет тебя, позарившись на твои деньги, хоть это и жалкие гроши. Такое случалось много раз. Прежде о тебе кто-то заботился, следил, чтобы тебе было хорошо. Ты умрешь с голоду, ты замерзнешь, тебя убьют. Я знаю, знаю, знаю!»

В воли его мучителей вплелись звуки темного сарая. Буря унеслась, но по углам с неизбывной тоской бесприютных призраков вздыхали сквозняки, а иногда их вздохи сливались в протяжный стон. Сено шуршало, точно каждый сухой стебелек извивался, стараясь куда-то поползти. В густом мраке под кровлей метались летучие мыши, скрежеща крохотными зубками. Жутко пищали полевки. Злобные глазки летучих мышей и полевок словно впивались в него со всех сторон из непроницаемой мглы.

Ему случалось оставаться одному. Но никогда еще одиночество не бывало таким полным, как в этом незнакомом месте среди совсем новых невидимых угроз. В его груди рос и ширился страх. Время прикинулось ленивым червем, проползало самую чуточку, останавливалось, поводило слепой головой из стороны в сторону и проползало еще чу-

точку. Казалось, часы проплывают, как медлительные облака, и он лежит тут, содрогаясь от страха уже целую вечность. В конце концов в сарай залетела сова и закружила над ним с безумным хохотом. Перенапряженные нервы не выдержали, юноша выскочил из сарая и, всхлипывая, бросился бежать по кардиффской дороге.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Более века Англия нетерпеливо следила, как Испания и Португалия, с благословения римского папы разделив между собой Новый Свет, тщательно оберегают свою собственность от вторжения посторонних. Для Англии, плесницы моря, это было особенно тяжело. Но в конце концов Дрейк на крохотной «Золотой лани» прорвался в запретные моря. Огромные красные корабли Испании презрительно шурились на суденышко Дрейка, как на ничтожную жалящую мушку, назойливое насекомое, которое следует прихлопнуть, чтобы не жужжало. Но когда мушка принялась потрошить их плавучие крепости, сожгла город-другой и даже поймала на перешейке в ловушку караван со священными королевскими сокровищами, им пришлось переменить мнение: нет, это не мушка, а оса, скорпион, гадюка, дракон! Дрейка так и прозвали — Эль Драке, и в Новом Свете зародился страх перед Англией.

Когда Великая Армада потерпела сокрушительное поражение от английских моряков и разъярившегося моря, Испанию обуял ужас перед новой силой, рожденной таким маленьким островом. Как грустно было вспоминать покрытые великолепной резьбой красавцы корабли, которые покоились на дне или разбились вдребезги о прибрежные скалы Ирландского моря.

Англия же запустила руку в Карибское море и утвердила свою власть на кое-каких островах — на Ямайке, на Барбадосе. Теперь английские товары можно было сбывать колониям. Обладание колониями поднимало престиж маленького острова, но что такое колония без населения? И Англия принялась заселять свои новые владения.

Младшие сыновья дворянских семей, моты, разорившиеся джентльмены уезжали в Индию. Отличный способ избавляться от опасных людей! Королю достаточно было даровать подозрительному человеку земли в Индии, а затем изъявить желание, чтобы он жил в своем поместье и обра-

батывал тамошнюю жирную почву на благо английской короны.

Суда, отправлявшиеся на запад, переполняли колонисты: игроки, мошенники, сводники, пуритане, паписты, — все плыли туда, чтобы владеть землей, и никто — чтобы ее обрабатывать. Португальские и голландские невольничьи корабли, доставлявшие черное мясо из Африки, не успевали удовлетворять возрастающую потребность в рабочих руках. Тогда начали забирать преступников из тюрем, бродяг с лондонских улиц, нищих от церковных дверей, где они выстаивали целые дни, а еще заподозренных в колдовстве, или в государственной измене, или в проказе, или в папизме и всех их отправляли на плантации в кабалу. План был блистательный: плантаторы получали рабочую силу, а корона — деньги за бесплатные тела тех, кого прежде она должна была кормить, одевать и вешать за свой счет. И доход этот можно было еще увеличить. Кое-каким капитанам продавались целые пачки кабальных записей, уже снабженные государственными печатями, но с пропуском вместо имени кабального. Капитанам приказывалось вносить имена с величайшей осмотрительностью.

И пошли выращиваться кофе и апельсины, сахарный тростник и какао, распространяясь с одного острова на другой. Бесспорно, когда срок кабалы истекал, возникали кое-какие трудности, но лондонские трущобы, бог свидетель, плодили новых рабов в изобилии, а у короля не переводились враги.

Англия с ее губернаторами, дворцами и чиновниками в Новом Свете становилась настоящей морской державой, и из Ливерпуля и Бристоля уходило в плавание все больше торговых кораблей, груженых изделиями ее ремесленников.

I

С первыми лучами дня Генри, оставив ночной ужас далеко позади, добрался до окраины Кардиффа, полный благоговейного изумления. Он и вообразить не мог ничего подобного этому городу, где дома стояли совсем тесно и ни один не был похож на другой. Они слагались в бесчисленные ряды и растягивались до бесконечности, словно армейская колонна, марширующая по непролазной грязи. Конечно, он слышал, как люди рассказывали про города, но ему и в голову не приходило, какие они громадные.

В лавках открывались ставни, в окнах выставлялись товары, и Генри заглядывал в каждое широко открытыми

глазами. Он шел и шел по длинной улице, пока наконец не сказался в порту, где повсюду, точно пшеница в полях, поднимались мачты в облаках парусов и паутине бурых канатов, словно бы натянутых как попало в отчаянной спешке. На одних корабли тащили с берега тюки, бочонки, ободранные туши, а другие извергали из своих пузатых корпусов ящики странной заморской выделки и рогожные мешки. В порту царила неистовая суматоха, и Генри почувствовал то праздничное волнение, которое охватывало его, когда в долине ставились ярмарочные палатки.

С поднимавшего якорь корабля донеслась громкая песня, и каждое слово чужого языка казалось удивительно четким и прекрасным. Волны, пошлепывающие гладкие борта, вызвали в нем радость, схожую с болью. Он словно бы пришел домой, в любимое заветное место после долгих дней и ночей горячечного бреда. На отплывающем барке уже гремел дружный хор, бурый якорь повис над водой, на реях развернулись паруса, поймали утренний бриз, и барк, отойдя от пристани, заскользил по заливу.

А Генри пошел дальше, туда, где килевали корабли. Наклоненные днища покрывала густая бахрома водорослей и ракушек, которыми они обросли в разных морях и океанах. Дробно стучали инструменты конопатчиков, скрежестало железо по дереву, отрывистые команды обретали оглушительность благодаря рупорам.

Солнце поднялось высоко, и Генри почувствовал, что очень голоден. Он неохотно побрел назад в город поискать, где бы позавтракать, хотя и предпочел бы не покидать порт ни на минуту. А из своих берлог уже выбрались вербовщики и шулера, обирающие моряков. Порой мимо прокрадывалась растрепанная, заспанная женщина, точно стараясь прошмыгнуть домой так, чтобы ее не заметило солнце. Матросы, гулявшие на берегу, протирали опухшие глаза и, привалившись к какой-нибудь стене, взглядывали на небо, прикидывая, какая будет погода. Чего только они не насмотрелись в своих плаваньях, думал Генри. Он прижался к ограде, пропуская вереницу подвод и фургонов с тюками и ящиками, которая направлялась в порт, и почти сразу же вновь отпрянул в сторону от встречной вереницы, которая везла заморские товары из порта.

Наконец, он увидел харчевню, куда входили люди. Называлась она «Три собаки», и они все трое красовались на вывеске, хотя больше походили на испуганных одnogорбых верблюдов. Генри переступил порог и увидел большую за-

лу, полную народа. У толстяка в фартуке он спросил, нельзя ли тут позавтракать.

— А деньги у тебя есть? — подозрительно спросил хозяин.

Генри подставил зажатую в руке золотую монету под солнечный луч, и, узрев этот всевластный знак, фартук с поклоном увлек его за локоть к столу. Генри заказал завтрак и, не садясь, оглядел залу. Посетителей было много: одни расположились за длинными столами, другие прислонились к стенам, а некоторые так даже устроились на полу. Между ними сповала маленькая служанка, держа поднос со спиртными напитками. Тут были итальянцы с генуэзских и венецианских кораблей, которые привезли дерево драгоценных пород и пряности, доставленные в Византию на верблюдах с берегов Индийского океана. И французы с судов, возмевших вина из Кале и Бордо, — в их компании попадались широкоскулые голубоглазые баски. А рядом сидели шведы, датчане и финны с китобойных судов, промышлявших в северных водах — чумазы, пронахшие ворванью. За столами сидели и жестокие голландцы, богатеющие на торговле рабами, которых везли из Гвинеи в Бразилию. Среди этих иностранцев кое-где смущенно жаллись уэльские фермеры, испуганно ощущая свое здесь одиночество. Они пригнали овец и свиней для пополнения корабельных припасов, а теперь торопливо насыщались, чтобы добраться домой засветло, и набирались храбрости, поглядывая на троих моряков с военного корабля, которые болтали между собой у двери.

Волшебный гул голосов заворожил юного Генри. Он слышал непонятную речь, кругом было столько нового! Кольца в ушах генуэзцев, короткие, как книжалы, шпаги голландцев, лица всех оттенков от багрово-красного до коричневого, как дубленая кожа. Он мог бы простоять так весь день, не замечая движения времени.

На его локоть легла могучая ладонь в перчатке из мозолей, и Генри увидел перед собой бесхитростную физиономию матроса-ирландца.

— Не присядешь ли тут, парень, рядышком с честным моряком из Корка по имени Тим? — При этих словах он сильным толчком сдвинул соседа, освободив для юноши край скамьи. По грубой ласковости с ирландцами не сравнится никто. Генри сел, не догадываясь, что честный моряк из Корка успел увидеть его золотую монету.

— Спасибо, — сказал он. — А куда вы плывете?

— Ну, плаваю-то я везде, куда ходят корабли, — отве-

тил Тим.— Я честный моряк из Корка и одним только плох: не звенят у меня монеты в кармане, да и только. Уж и не знаю, как я заплачу за здешний отличный завтрак, ведь в карманах у меня пусто,— добавил он медленно и выразительно.

— Ну, если вы без денег, так я заплачу за вас, только вы расскажите мне про море и корабли.

— Вот я сразу в тебе джентльмена распознал! — воскликнул Тим.— Чуть увидел, как ты вошел... Ну, и глоточек винца для начала? — спросил он и, не дожидаясь согласия Генри, кликнул служанку, а потом поднес стопку с бурой жидкостью к самым глазам.

— Ирландцы ее называют уйскебо. И значит это «вода жизни»; а англичане — виски. Просто «вода». Да будь вода такой крепкой да и чистой, я бы не на корабле, а в волнах плавал! — Он оглушительно захохотал и единым духом осушил стопку.

— А я в Индии поплыву,— сказал Генри, надеясь, что он опять заговорит про море.

— В Индии? Так ведь и я тоже. Уходим завтра на Барбадос с ножами, серпами и материями для плантаций. Хороший корабль, бристольский, только шкипер человек суровый, а в вере прямо-таки псистовый — он из плимутской общины. Знай орет про пламя адово, дескать, молитесь и кайтесь, да только, по-моему, очень ему нравится, что кому-то огня этого не миновать. Будь по сго, гореть бы нам всем до скончания века. Ну, да я такой веры понять не могу. Коли «Аве, Мария» человек не читает, какая же это вера?

— А... а нельзя ли и мне... поплыть с вами? — спросил Генри прерывающимся голосом.

Простодушные глаза Тима укрылись под веками.

— Будь бы у тебя дссять фунтов...— начал он медленно и, заметив, как вытянулось лицо юноши, тут же поправился: — То есть пять, хотел я сказать.

— У меня теперь осталось только четыре полные фунта,— грустно сказал Генри.

— Ну, может, и четырех хватит. Давай-ка мне свои четыре фунта, и я поговорю со шкипером. Он ведь человек-то неплохой, если его веру и чудачества без внимания оставлять. Да не гляди ты на меня так! Ты же со мной пойдешь. Неужто я сбегу с четырьмя фунтами молодого человека, который меня завтраком угостил? — Его физиономия расплылась в широкой улыбке.

— А ну-ка, выпьем за то, чтобы ты поплыл с нами на «Бристольской деве», — сказал он. — Мне стопочку уйскебо, а тебе винца из Опорто!

Тут принесли завтрак, и оба на него накинулись. Утолив первый голод, Генри сказал:

— Меня зовут Генри Морган. А тебя Тим. Но фамилия у тебя какая?

Матрос шумно захохотал:

— Мою фамилию разве что в Корке в придорожной канаве отыщешь. Отец с матерью ждать не стали, чтоб мне свою фамилию сказать. Да и Тимом-то меня никто не называл. Только имечко это вроде как даровое, бери его — никто и не заметит. Ну, как с листками, что сектанты на улицах подбрасывают и деру, чтоб никто их с ними не видел. А Тим — это как воздух: дыши себе, и никому нет дела.

Покончив с завтраком, они вышли на улицу. Там теперь кишели лоточники, мальчишки с ашельсинами, старухи со всякой мелочью. Город выкликал тысячи своих товаров. Драгоценности, привезенные кораблями из самых неведомых уголков мира, вываливали, точно речу, на пыльные пролазки Кардиффа. Лимоны. Ящики кофе, чая, какао. Пестрые восточные ковры и магические снадобья из Индии, показывающие тебе то, чего на самом деле нет, и дарящие наслаждения, которые рассеиваются без следа. Прямо на улицах стояли бочонки и глиняные кувшины с вином с берегов Луары и со склонов перуанских Анд.

Они вернулись в порт к красавцам кораблям. С воды на них пахло запахом дегтя, нагретой солнцем пеньки и сладостью моря. Наконец, вдалеке Генри увидел большой черный корабль с надписью золотыми буквами на носу «Бристольская дева». Рядом с этой морской чаровницей и город, и плоскодонные баржи казались безобразными и грязными. Ее легкие, плавные линии, какая-то чувственная уверенность в себе ударили в голову, заставляли ахнуть от удовольствия. Новые белые паруса льнули к реям, точно длинные вытянутые коконы шелковичных червей, а палубы ее сверкали свежей желтой краской. Она чуть покачивалась на медленной зыби, словно горя нетерпением полететь в любой край, нарисованный твоим воображением. Среди скучных бурых судов она была как темнокожая царица Савская.

— Чудесный корабль, отличный корабль! — воскликнул Генри ошеломленно.

Тим был польщен.

— погоди, вот поднимешься на борт, посмотришь, как там все заново отделано, пока я со шкипером поговорю.

Генри остался стоять на шкафуте, а его долговязый спутник пошел на корму и сдернул шапку перед тощим, как скелет, человеком в заношенном мундире.

— Я парня привел,— сказал он шепотом, хотя Генри никак не мог его слышать.— Он решил в Индии отправиться, так я подумал, что, может, вы захотите его взять, сэр.

Тощий шкипер насунил брови.

— А он крепкий, а, боцман? Толк от него на островах будет? Они же прямо как мухи мрут еще в первый месяц. Ну, и жди неприятностей, когда зайдешь туда в следующий раз.

— Он там, позади меня, сэр. Сами посмотрите. Вон он. И сложен хорошо, и силенка есть.

Тощий шкипер оглядел Генри, начав с крепких ног и кончив широкой грудью. Взгляд его стал одобрительным.

— Да, парень крепкий. Хорошо сделано, Тим. Получишь с этого деньги на выпивку и в море добавочную порцию рома. А он что-нибудь знает?

— Ничего.

— Ну так и не говори ему. Поставь помогать в камбуз. Пусть думает, что отрабатывает проезд. Не то хныканью конца не будет. Только вахте помеха. Узнает, когда туда придем.— Шкипер улыбнулся и отошел от Тима.

— Можешь плыть с нами! — воскликнул Тим, и Генри онемел от восторга.

— Однако,— внушительным тоном продолжал боцман,— четырех фунтов тут маловато. Придется тебе помогать в камбузе.

— Все, что надо,— сле выговорил Генри,— я буду делать все, что надо, только бы плыть с вами.

— Раз так, пойдем-ка на берег и выпьем за удачное плавание. Я уйскебо, а ты того же превосходного винца.

Они зашли в пыльную лавочку, где на полках вдоль стен стояли винные сосуды всех форм и размеров, от небольших пузатых фляжек до гигантских бутылей. Через некоторое время они запели, отбивая такт ладонями и глупо улыбаясь. Но затем теплое вино из Опорто пробудило в юноше приятную грусть. Он почувствовал, что на глаза ему навертываются слезы, и обрадовался. Пусть Тим увидит, что он носит в сердце печаль, что он не пустоголовый мальчишка, которому вдруг езбрело на ум отправиться в Индии. Вот он откроет ему глубины своей души.

— А знаешь, Тим,— сказал он,— я ведь с моей девушкой расстался. Ее зовут Элизабет. Волосы у нее золотые-золотые, как ясное утро. Ночью перед тем, как уйти, я по-

звал ее, и она пришла ко мне в темноте. Темнота прятала нас, как шатер, холодная темнота. Она плакала, просила меня не уходить, даже когда я говорил, какие драгоценности, украшения и шелка привезу ей — и очень скоро. Она не могла утешиться, и у меня сердце надрывается, чуть вспомню, как она рыдала там и не отпускала меня. — Из его глаз выкатились слезы.

— Знаю, — ласково сказал Тим, — знаю, как бывает грустно человеку, когда он расстанется с девушкой и уходит в море. Не я ли с сотней их расставался — одна другой краше? Дай-ка я тебе палью, малый. Вино правится женщинам больше всех сластей Франции, и мужчины, которые его пьют. Вино всякую женщину делает красавицей. Кабы у дверей каждой дурнушки стояла чаша с вином, точно чаша святой воды во храме божьем, так в городах куда больше свадеб играли бы. Человек и не заметил бы, какие они с лица. Ну-ка, выпей еще этого превосходного вина, развежь грусть, пусть бы она и принцессой была, а ты уходишь в море!

II

Они отплыли в Индию, в чудесные далекие Индии, где обретались мечты стольких юношей! Огромное утреннее солнце пробивалось сквозь утренние туманы, и матросы высыпали на палубу, точно обитатели развороненного муравейника. Отрывистые команды послали их вверх по вантам и реям. Матросы «запели песню кабестана», а из моря поднялись якоря и прильнули к бортам, как коричневые ночные бабочки, мокрые от росы.

В Индии! Белые паруса знали это, и развернулись, и изящно наполнились ветром, точно сотканные из тончайшего шелка; черный корабль знал это и гордо оседлал отлив под свежим утренним бризом. «Бристольская дева» осторожно выбралась из густи судов и поплыла вниз по длинному заливу.

Туман мало-помалу смешивался с небом. Вот камбрийский берег засинел, заголубел и слился с прямой линией горизонта, точно безумный мираж пустыни. Черные горы стали тучкой, а потом легким дымком, а потом Камбрия исчезла, будто ее и вовсе не было.

Позади по левому борту остались Порлок, и Илфракум, и множество деревушек, приютившихся в холмах Девоншира. Чудесный, в меру крепкий ветер увлекал их мимо Стреттона, мимо Кэмелфорда. Корнуолл уходил назад, од-

на голубая миля за другой. Вот уже Лэндс-Энд, заостренный кончик, завершающий подбородок Англии; и когда они обогнули его с севера на юг, в свои права наконец вступила Зима.

Море с рычанием вздыбилось, и корабль помчался от лающей своры ветров, точно сильный горный олень, помчался под нижними парусами. Буря с восем неслась из обители Зимы на севере, а «Бристольская дева», смеясь над ней, бежала наискосок, на юго-запад. Стало очень холодно, оледеневшие полотнища звенели под ветром, как струны гигантской арфы под пальцами сумасшедшего великана, и реи жалобно стонали, взывая к рвущимся вперед парусам.

Четыре бешеных дня буря гнала их в океан и корабль пьянел от радости борьбы. Собираясь на баке, матросы хвалили его быстроту и крепость. А Генри упивался бурей, как юный бог. Бешенство ветра было его бешенством. Ему нравилось стоять на палубе, держаться за мачту, резать ветер подбородком, как бушприт разрезал валы, и ликующе петь, изливая радость, разрывающую ему грудь — радость, подобную боли. Холод промыл линзы его глаз, и он яснее видел дали, смыкавшиеся кольцом вокруг него. И прежнее желание слилось с новым — обрести крылья и взмыть в беспредельное небо. Корабль превращался в качающуюся, содрогающуюся темницу, потому что он всем своим существом устремлялся вперед и ввысь. О, стать бы богом и покорить бурю, а не покоряться ей! Пряность ветра утоляла голод и звала, влекла его вперед. Он готов был взвалить на плечи груз всего мира, и стихии вливали в его мышцы новую силу.

Затем дьявольские служители времен года исчезли столь же внезапно, как и набросились на них, и впереди теперь лежала ясная чистая морская гладь. Корабль бежал под всеми парусами, и надувал их вечный пассат, свежий надежный ветер, дыхание Бога Мореходства, его дар высоким кораблям с крыльями парусов. Недавние тяготы были забыты, матросы играли на палубах, как расшалившиеся полные сил дети, ибо пассат полон юного задора.

Наступило воскресенье — на «Бристольской деве» день угрюмого страха и дурных предчувствий. Генри закончил свою работу в камбузе и поднялся на палубу. На крышке люка сидел старый матрос и плел длинный сплесень. Его пальцы ловко работали словно сами по себе, потому что старик ни разу даже не взглянул на сращиваемые пряди. Его голубые сощуренные глазки смотрели куда-то за грань всего сущего, подобно глазам всех моряков.

— А, так ты хочешь узнать тайну канатов? — сказал он, не отводя взгляда от горизонта. — Ну, тогда придется тебе поднапрячь глаза. Я уже столько лет сплескиваю, что моя старая башка позабыла, как это делается. Только пальцы помнят. А стоит мне подумать, что да как, и сразу путаюсь. Ты что же, матросом станешь, на салинги лазить будешь?

— Да я бы хотел, если бы научился со снастями управляться.

— Со снастями управляться пехитро. Только прежде научись терпеть такое, что сухопутным крысам и не снилось. Это первое дело. И тяжкое. Но уж начав, так никогда и не кончишь. Вот я с десятков лет подумываю, как бы навсегда сойти на берег, погреть старые кости у огня. Поразмышлять о том о сем да и отдать концы. И ничего не выходит. Оглянуться не успею, а ноги уже несут меня на какой-нибудь корабль.

Его перебил злобный трезвон судового колокола.

— Пошли, — сказал старик. — Сейчас шкипер попотчует нас сказками с угольками.

Шкипер с лицом черена грозно встал перед командой, опоясав чресла во славу своего бога. Они глядели на него с беспомощным страхом, как птицы на подползающую змею, ибо его глаза пылали неистовой верой, а с узких губ срывались яростные слова.

— Господь поразил вас лишь тенью тени своей сокрушающей мощи, — воил он. — Он явил вам силу своего мизинца, дабы вы могли покаяться, прежде чем полетите кувырком в адское пламя. Услышьте имя Божье в грозном востре, покайтесь в блуде и богохульстве. Он покарает вас даже за ваши греховные помыслы. Море было притчей, и она сжимала вам глотку ледяной рукой, душила ужасом. Но вот ураган промчался, и вы его забыли. Вы веселитесь, и нет в вас ни капли раскаяния. Но да послужит вам предостережением Господень урок. Покайтесь! Или гнев его сокрушит вас.

Он бешено размахивал руками и обличал бедных одиноких мертвецов, горящих в вечных муках, потому лишь, что уступали простым и милым человеческим слабостям. А потом отослал своих запуганных матросов.

— И не так это все! — гневно сказал Генри старый моряк. — Не верь ты его полоумным речам. Тот, кто сотворил ураган, будь он бог или дьявол, сотворил его, чтобы порадоваться ему. Разве тот, кто может вот так повелевать ветрами, станет морочить себе голову из-за какой-

то скорлупки в необъятном океане? Уж я бы не стал, будь я бог или дьявол.

Тим, боцман, подходя к ним, услышал последние слова старика и предостерегающе положил руку на плечо Генри.

— Верно-то верно,— сказал он,— да только поберегись, как бы до него не дошло, что ты говоришь такое или даже слушаешь, не то он тебе покажет линьком мощь божью. С ним и с его богом лучше не связываться, да еще мальчишке, который отскребаёт котлы в камбузе.

Пассат никогда не стихает. Когда Генри, кончив оттирать котлы и убирать очистки, разговаривал с матросами, взбирался по вантам, узнавал названия и назначение корабельных снастей, матросы видели перед собой тихого вежливого паренька, который глядел на них так, будто каждое их слово было великим подарком, а сами они щедрые сердцем мудрецы. И они учили его всему, чему могли: парнишка-то просто рожден для моря. Выучил он и длинный и короткий напевы, под которые тянут снасти — один быстрый, отрывистый, а другой протяжный, плавный. Он пел с ними песни о смерти, и бунтах, и крови в море. С его губ срывалась теперь особая, чистая матросская ругань: грязные, гнусные, кощунственные выражения обретали непорочную белизну, ибо в его устах они лишались всякого смысла.

По ночам он лежал тихо-тихо, слушая, как матросы толкуют о чудесах, которые видели или придумали сами,— о морских змеях длиной с милю, что обвивают корабли, сокрушают их в своих кольцах и проглатывают; о гигантских черепахах, на чьих спинах растут деревья, текут ручьи, стоят целые деревни, ведь ныряют они раз в полтысячи лет. Под качающимися фонарями они рассказывали, что финны могут высвистать бурю, чтобы отомстить; что в море есть крысы, которые подплывают к кораблю и грызут днище, пока он не утонет. С дрожью они вспоминали, что тот, кто увидит ужасного, вымазанного в слизи кракена, уже никогда не доберется до берега, ибо будет вовеки проклят. Говорили они про бьющие вверх водяные струи, про мычащих коров, которые обитают в море и кормят своих телят молоком, как коровы на суше, и про призрачные корабли, вечно скитающиеся по океанам в поисках исчезнувшего порта — паруса на них ставят и убирают выбеленные ветром и солнцем скелеты. А Генри в полутьме, затаив дух, ловил их слова со всем неистовством своей жажды.

Как-то ночью Тим потянулся и сказал:

— Про ваших больших эмсев я ничего не знаю, не видел я и кракена, господи избави! Но хотите послушать, так и мне есть о чем рассказать.

Я тогда еще мальчишкой был, как этот вот, и плавал на вольном корабле, который рыскал по океану и добывал, что придется: то десяток черных рабов, то золотое колечко с испанского судна, не сумевшего отстоять себя,— ну, словом, ничем не брезговали. Капитана мы сами выбирали без всяких патентов, а вот флаги у нас были разные и хранились на мостике. А увидим в трубу военный корабль — и дадим тягу.

Ну так вот, увидели мы на утренней заре по правому борту маленький барк, поставили все паруса и погнались за ним. Погнались и догнали. Испанский он был, а поживиться так и печем: соль да невыделанные шкуры. Только обшарили мы каюту, а там — женщина, высокая, стройная, волосы черные, лоб широкий, белый, а пальцы длинные, тонкие-тонкие, я таких и не видывал. Ну, мы забрали ее к себе на борт, и ничего больше. Капитан было повел ее на квартердек, но боцман их перехватил.

— Мы, — говорит, — вольный экипаж, а капитан ты выборный. Нам эта женщина тоже не лишняя, и если дележка не будет, так жди бунта.

Капитан нахмурился, поглядел вокруг, а все на него хмурятся. Ну, он плечи расправил и засмеялся, злобно так.

— И какой дележ будет? — спрашивает, а сам думает, что вот сейчас начнется из-за нее драка. Однако боцман вытащил из кармана игральные кости и бросил на палубу.

— Вот такой! — говорит.

Ну, все прямо на колени попадали вокруг костей, а женщина в стороне стоит, и тут я ее разглядел хорошенько. «Ну, — думаю, — баба злая, и чего только не сделает, лишь бы отомстить тому, кого возненавидит. Нет, парень, — думаю, — лучше ты в эту игру не играй!»

Вдруг эта черноволосая женщина подбежала к борту, схватила из ящика ядро и прыгнула в море, а его к груди прижимает. Вот так. Мы перегнулись через борт, смотрим, а что там увидишь? Пузыри поднялись, и все.

Значит, на вторую ночь вбегает в кубрик вахтенный с кормы, на нем лица нет.

— Там, — говорит, — белое за нами плывет, — говорит. — И похоже оно на женщину, которая за борт прыгнула.

Мы, конечно, к гакабарту и смотрим вниз. Я-то ничего не разглядел, а другие сказали, вон оно белыми длинными руками к нашему архтерштейню тянется. И не плывет вовсе, а волочится за нашим кораблем, будто железа кусочек за магнитным камнем. Каково нам потом спалось, говорить не стану. Кто ненароком и задремлет, ну стонать, ну кричать во сне. А что это значит, сами понимаете.

На следующую ночь вылезает боцман из трюма, вопит, как полоумный, и волосы у него на голове враз поседели. Мы его схватили, по плечам гладим, уговариваем, ну, он и зашептал:

— Я,— говорит,— видел. Господи спаси и помилуй, видел я. Две такие длинные белые руки, на вид нежные, и пальцы тонкие... так они просунулись сквозь борт и давай доски рвать, точно паутину. Господи, на тебя уповаю!

Тут чувствуем, корабль наш накрепчился и погружается, да так быстро.

Я и еще двое ухватились за запасную мачту, ну, нас к берегу и прибило, а они, бедняги, уже в уме рехнулись и буйствовали. Про остальных я ничего не знаю, спаслись ли, нет ли, только думаю, что нет. Вы тут многое про чего нарасказывали, но своими глазами я вот только это видел. Ну, еще говорят, в Индийском океане в ясные ночи призраки загубленных бедняг-индусов гоняются за покойным Васко да Гамой по всему небу. И еще я слышал, что с этими самыми индусами лучше не связываться, того и гляди прикончат тебя.

С первого же дня кок принялся наставлять юного Генри. Его словно снесло желание поучать. Но говорил он неуверенно, точно каждый миг ожидая, что его опровергнут. Был кок весь какой-то серый, с глазами карими и печальными, как у собаки. Крылось в них что-то от священника, и что-то от скучного лектора, и что-то от разбойника с большой дороги. Его речь отдавала университетом, а нечистые привычки — черными, грязными закоулками Лондона. Он был кроток, ласков и вкрадчиво-увертлив. Случая доказать, что он заслуживает доверия, ему представиться не могло; все в нем словно шептало, что ради самой малой своей выгоды он родную мать продаст.

Теперь они достигли теплых вод, и увлекал их дальше теплый ветер. Генри стоял рядом с коком у гакаборта и смотрел на треугольные плавники акул, резавших след их корабля поперек в ожидании кухонных отбросов. Они виде-

ли проплывающие мимо пучки бурых водорослей, а то и рыбку-лоцмана, держащуюся прямо по тесу. Как-то раз кок указал на темных птиц, которые, в вечном полете следуя за кораблем, то неподвижно повисали на развернутых длинных и узких крыльях, то соскальзывали по воздуху к самой воде, то взмывали ввышину.

— Погляди-ка на этих бесприютных,— сказал кок.— Ну, просто души неприкаянные. Вот и говорят, что это души утонувших моряков, души, до того заскорузшие в грехах, что нет им ни покоя, ни приюта. А другие кланутся, что эти птицы высиживают свои яйца в плавучих гнездах, свитых на обломках погибших кораблей. Ну, а трети утверждают, что никаких гнезд они не вьют, а выходят совсем взрослыми из белых пенных гребней и тут же начинают свой бесконечный полет. Неприкаянные, одно слово.

Корабль вспугнул стайку летучих рыб, и они запрыгали по волнам, точно пущенные рикошетом сверкающие серебряные монеты.

— А это призраки ушедших на дно сокровищ,— продолжал кок.— Приманки убийцы: изумруды, алмазы и золото. Грехи, которые из-за них совершали люди, лишут к ним, гонят скитаться по океану. Плох тот моряк, что не сложит о них достойного сказания.

Генри кинул на огромную черепаху, спавшую среди волн.

— А какие сказания есть о черепахах? — спросил он.

— Да никаких нет. Просто запас хорошего мяса. Какой же человек станет слагать сказания о том, что ест? Зато немало кораблей они спасли, помогая сохранить плоть на костях, которые иначе выбелило бы солнце на палубе скорлупки, оставшейся без мачт. Черепашье мясо очень сочное и вкусное. Бывает, флибустьеры не сумеют добыть мяса диких коров, так грузят запас таких тварей и уходят в плавание.

Пока они разговаривали, солнце нырнуло в воду. Вдали одинокая черная туча выбрасывала и выбрасывала раздвоенные языки молний, но остальной небосвод был сине-черным шелком, расшитым россыпями звезд.

— Ты ведь обещал рассказать мне про флибустьерное,— умоляюще напомнил Генри.— О тех, кого ты называешь Береговыми Братьями.

Кок неловко переступил с ноги на ногу.

— Между Испанией и Англией нынче мир,— сказал он.— И уж я нарушать королевского мира не стану! Нет,

с ними я не плавал, нет-нет. Но слышал много такого, что может быть и правдой. Слышал я, что флибустьеры — большие дурни. Захватят сокровища, а потом кидают их содержателям винных лавок и борделей на Тортуге и в Гоаве, точно дети, которые расшвыривают песок, чуть им надоело играть. Одно слово, дурни.

— И никто из них не взял какой-нибудь город?

— Деревеньку-другую, бывало, захватывали, а для такого дела у них вожаков не находится.

— Но ведь в большом городе можно добыть большие сокровища! — воскликнул Генри.

— Да где им! Говорят же тебе, что они малые дети. Храбрые и сильные, конечно.

— Ну, а мог бы человек, все заранее обдумав и подготовив, захватить испанский город?

— Ха! — усмехнулся кок. — Или ты флибустьером решил стать?

— Если он все хорошо подготовит?

— Пожалуй, найдись среди флибустьеров такой, который мог бы что-то подготовить, пусть даже плохо, об этом еще можно было бы поговорить, но таких-то среди них и нет. Они малые дети — умеют драться, как черти, и доблестно умирать, но дурни все, как на подбор. Утопят корабль за чашу вина, хотя могли бы его с выгодой продать.

— Но если человек все сообразит и хорошенько взвесит свои шансы, так он обязательно своего добьется?

— Может, и так.

— А вот тот, кого прозвали Большой Пьер, дурнем не был!

— Да Пьер-то захватил один-единственный корабль с дорогим грузом и сбежал в свою Францию. Отчаянный был игрок и вовсе не мудрец. Он еще может вернуться в эти края и потерять все до последнего золотого, а заодно и голову.

— И все-таки, — решительно заявил Генри, — и все-таки, по-моему, сделать это можно, надо только хорошенько все обдумать и взвесить.

Несколько дней спустя стала заметна близость суши. Как-то утром на самом краю горизонта поднялся призрачный абрис горы. Мимо проплывали вырванные с корнем стволы, обломанные ветви, на ванты опускались отдохнуть лесные птицы.



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». I



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». II

Они добрались до жилища Лета, откуда оно ежегодно отправляется в северные края. Днем солнце жарко горело в вышине, как начищенный медный щит, и небо там казалось белесо-серым, а по ночам вокруг корабля плавали большие рыбы, влача за собой извилистые потоки бледного огня. Форштевень с такой стремительностью резал воду, что от него к форпику взлетали мириады алмазов. А море кругом было круглым озером и медленно перекачивало свои мышцы под шелковистой кожей. Вода скользила к корме, медленно, незаметно заволакивая мозг. Вот так же люди смотрят в огонь. Там ничего не было видно, и все же отвести глаза он мог лишь ценой неимоверного усилия, и в конце концов мозг его потружился в дрему, хотя он вовсе не засыпал.

Тропический океан дышит покоем, убаюкивающим стремление понять. И уже неважно, куда ты поплывешь, лишь бы плыть, плыть, плыть за границей царства времени. Казалось, они движутся вперед уже не месяцы, а годы, однако среди матросов не было заметно никакого нетерпения. Они исполняли свои обязанности, а все свободное время лежали на палубе в странном счастливом оцепенении.

Однажды мимо проплыл островок, формой напоминавший кошку и зеленый, как первые всходы ячменя. Его окутывал густой яростный покров лиан и других ползучих растений, из которого вырывалось несколько темных деревьев. Генри смотрел на островок зачарованными глазами. Вот еще один, и еще, и еще... и, наконец, когда черную тьму тропической ночи вдруг сменило утро, «Бристольская дева» вошла в порт Барбадоса, якоря с громким всплеском ухнули в воду, увлекая за собой цепи.

Берег покрывали такие же салатно-зеленые заросли, что и на островках. Дальше виднелись плантации, исчерченные ровными рядами, и белые дома с красными крышами. Еще дальше среди зарослей на холмах, словно раны, проглядывали обнаженные участки красной глины, а совсем уж вдалеке поднимались горные вершины, точно крепкие серые зубы.

К ним поплыли долбленки, нагруженные сочными плодами и крепко связанной домашней птицей. Гребцов подгоняла надежда продать свои товары и купить — или украсть — то, что привез корабль. Налегая на весла, черные люди с глянцевиной кожей пели звучными голосами, и Генри, прильнувший к поручням, упивался зрелищем

новой земли. Она превзошла самые смелые его ожидания, и на глаза ему навернулись глупые счастливые слезы.

А у Тима, стоявшего неподалеку, вид был несчастный и растерянный. Через несколько минут он подошел к Генри.

— Очень мне тяжело, причинил я зло хорошему юноше, который угостил меня завтраком, — сказал он. — До того терзаюсь, что спать не могу.

— Да какое же зло ты мне причинил? — вскричал Генри. — Ты помог мне добраться до Индий, куда меня так влекло!

— А! — грустно вздохнул Тим. — Веруй я истово, как шкипер, так, может, сказал бы «на то воля Божья», да и забыл бы. Будь я купцом или чиновником, так мог бы сказать, что своя рубашка ближе к телу. Только вера моя не идет дальше парочки-другой «Аве Мария» или «Мизерере доминие» в бурю, а что до остального, ведь я же только бедный матрос из Корка, и горько мне, что причинил я зло юноше, который угостил меня завтраком, хотя прежде и в глаза не видел.

Он следил за приближающимся длинным каное. На веслах сидело шестеро дюжих карибов, а на корме — щуплый англичанин, чье лицо так и не покрылось загаром, но с годами становилось все краснее и краснее, так что теперь казалось, будто сеть багровых жилочек покрывает его кожу снаружи. Бледные глаза щупленького англичанина смотрели на мир нерешительно и недоуменно. Каное стукнулось о борт «Бристольской девы», он медленно вскарабкался на борт и сразу направился к шкиперу.

— Вот оно! — вскричал Тим. — Но ты все-таки не будешь думать обо мне плохо, а, Генри? Ты ведь видишь, как я удручен горем.

Но капитан уже кричал:

— Эй, камбузный! Камбузный! Морган! На ют!

Генри послушно пошел на корму, где стоял шкипер с англичанином. К большому его недоумению, худощавый житель колонии осторожно пощупал мышцы у него на руках и плечах.

— Десять, пожалуй, дам, — сказал он шкиперу.

— Двенадцать! — отрезал шкипер.

— Вы, правда, считаете, что он стоит столько? Видите ли, человек я небогатый, и, по-моему, десять...

— Ладно, забирайте его за одиннадцать, но, бог свидетель, он стоит дороже. Да вы поглядите, как он сложен, какие у него широкие плечи! Уж он-то не помрет, как другие. Да, сэр, он стоит дороже, но забирайте его за одиннадцать.

— Ну, если вы правда так думаете,— нерешительно произнес плантатор и начал выгребать из кармана деньги вместе со спутанной веревочкой, кусочками мела, обломком гусиного пера и ключом без бородки.

Шкипер извлек из-за обшлага большой лист и показал его юнгоше — кабальную запись на пять лет, с аккуратно вписанным именем «Генри Морган» и королевской печатью внизу.

— Но я не хочу, чтобы меня продавали! — вскричал Генри.— Я сюда не за этим приехал. Я хочу разбогатеть и быть моряком.

— Ну, и будешь,— ласково ответил шкипер, словно давая на то благосклонное разрешение.— Через пять лет. А теперь иди с этим джентльменом и не хнычь. Ты что же думал, у меня других дел нет, как возить мальчишек в Индию? Эдак и прогореть недолго. А ты трудись, уповай на бога и, глядишь, еще радоваться будешь. Остроуму, хотя и смиренному разуму опыт еще никогда не вредил! — И он принялся успокаивающе подталкивать Генри к борту.

Тут к юнгоше вернулся голос.

— Тим! — закричал он.— Тим! Меня продают! Тим! Спаси меня!

Тим не откликнулся. Нет, он слышал этот призыв и зарыдал у себя на койке, как малыш, которого высекли...

А Генри, спускаясь в каюту перед своим новым хозяином, не чувствовал ничего. Правда, в горле у него стоял комок, но страданий он не испытывал. Им овладело тупое свищовое безразличие.

III

Вот так Генри Морган оказался на Барбадосе по милости казенной бумаги, которая отдавала его жизнь, душу и тело на милость некоего Джеймса Флауера, плантатора.

Джеймс Флауер не был жесток, но и не блистал умом. Всем его существованием правила тяга к идеям, любым идеям. Его томило желание рождать идеи, вдыхать в них бурную силу, а затем швырять восхищенному миру. Они покатаются, точно камни по пологому склону, рождая лавину восторгов. Но ни единая идея его не осеняла.

Отец его был тяжеловесным английским священником, сочинявшим тяжеловесные проповеди, которые даже публиковались, хотя покупателей находили очень-очень редко. Мать его писала стихи, своего рода краткое изложение

этих проповедей. Ее стихи служили приложением к тому воинствующей ортодоксальности. И оба они обладали идеями. Оба они в своей узенькой сфере были творцами.

Джеймс Флауер рос и мужал в атмосфере постоянных разговоров такого вот рода:

— Мне пора к моему издателю, Хелен.

— Ах, Уильям, утром на меня, когда я причесывалась, снизошло такое дивное озарение... такая мысль. Нет, она ниспослана мне богом, не иначе. Изложить ее, мне кажется, следует двустихиями. Ах, дивно! И так гармонирует с твоими восхитительными словами о смирении!

— Ну, что же. Мне пора к моему издателю посмотреть, как расходятся проповеди. Я послал экземпляр архиепископу, и, быть может, он упоминал про них. Полагаю, это весьма поспособствует их продаже.

Да, его отец и мать были людьми с идеями и частенько покачивали головами, глядя на своего тупицу сына. Он робко преклонялся перед ними, страшился их величия и стыдился себя. А потому еще в отрочестве решил во что бы то ни стало обрести идеи. Читал он неслыханно много. Ему попалась «Защита колдовства» короля Иакова, и он взялся доказывать ее истинность делом. С помощью старинных заклинаний и черного притирания, содержащего, помимо немалого числа всяких мерзостей, еще и порядочную толику гашиша, он попытался взлететь с крыши родительского дома. А пока обе его ноги срастались, он взялся за «Открытие колдовства» Скотта.

В то время среди ученых мужей большую бурю подняла система Декарта, и Джеймс Флауер также решил свести все философии к одному главному постулату. Он положил перед собой бумагу и много тонко очиненных перьев, но так своего постулата и не вывел.

— Я думаю, следовательно, я существую,— бормотал он.— Во всяком случае, так я думаю.

Но это замкнулось в кольцо и никуда его не привело. Тогда он присоединился к новейшей школе Бэкона. Настойчиво ставя опыты, он обжег себе пальцы, пытался скрестить клевер с ячменем и обрывал ножки у бесчисленных насекомых, тщась открыть... да что угодно. Но только так и не открыл. А поскольку он обладал собственным состоянием, которое ему оставил дядя, то опыты его были разнообразны и стоили дорого.

Некий сектант-фанатик написал яростную книгу в наилучшем научном стиле «Результаты воздействия алкоголь-

ного спирта, кратковременные и непреходящие». Труд этот попал в руки Джеймса Флауера, и однажды вечером он отправился проверить некоторые из наиболее фантастических теорий, почерпнутых оттуда. В разгар исследований дух индукции его покинул, и он без причины и без предупреждения набросился на одного из гвардейцев его величества, запустив в него горшком с комнатным растением. Наконец-то (хотя он этого не распознал) его посетила первая и последняя собственная идея за всю его жизнь. Архидьякон, родственник его матери, помог замять скандал, небольшое состояние Джеймса Флауера вложили в барбадосскую плантацию и отправили его туда на жительство. Бесспорно, он плохо сошелся с проповедями и пентаметрами.

На острове он грустно старился. Библиотека у него была лучшей в Индии, и если исходить только из объема всяческих сведений, он, бесспорно, мог бы блистать ученостью где угодно. Но сведения эти не слагались в систему. Он набирался их, не славяся воспринимать, и помнил все, так ничего и не усвоив. Память его загромождали бессформенные груды разрозненных фактов и теорий. В его мозгу, как и в шкафах, «Комментарии» Цезаря стояли бок о бок с Демокритом и трактатом о гомункулах. Джеймс Флауер, тщившийся быть творцом, стал тихим, добрым старичком, довольно бестолковым и на редкость непрактичным. На закате лет он начал путать убеждения с идеями. Если какой-нибудь человек высказывал свое мнение достаточно громогласно, Джеймс Флауер пугался, ибо, говорил он себе, «это один из тех одаренных божественной милостью людей, в которых горит огонь, которого я лишен».

IV

На огромной зеленой плантации европейцев было мало — даже тех угрюмых оборванцев, которые тяжелым трудом искупали какие-то забытые преступления против короны. В их крови дремала лихорадка, точно человек, который медленно пробуждается ото сна, сыпет угрозами и вновь засыпает, исподтишка поглядывая одним злобным глазом. Они месили пальцами почву в полях, и, по мере того как проползал очередной год рабства, кое-как сменяясь следующим, их глаза все больше слепли, плечи горбились, а мозг липкой паутиной окутывало тупоумие — плод безнадежной усталости. Говорили они на уродливом наречии лондонской бедноты с добавкой нескольких дроб-

ных карибских выражений, да десятка слов, заимствованных у гвинейских негров. Когда срок их кабалы истекал, эти люди какое-то время бесцельно бродили по острову, почти с завистью поглядывая на тех, кто продолжал работать. А потом либо вновь закабалились, либо принимались за разбой, точно вырвавшиеся из клетки тигры.

Надсмотрщик был из них же и, получив власть над товарищами по несчастью, расправлялся с ними особенно свирепо, памятуя о том, что довелось вытерпеть ему самому.

Джеймс Флауер вышел следом за Генри на берег. Безмолвная горесть юноши тронула плантатора. Прежде он попросту не видел в своих рабах людей, ибо в своем обращении с ними слепо следовал наставлениям рачительного Катона Старшего. Но этот мальчик, несомненно, был членом рода человеческого, а быть может, и джентльменом. Он ведь кричал, что не хочет быть рабом. Остальные всегда сходили с корабля, не оспаривая свою участь, полные угрюмой злобы, которую приходилось выбивать из них кнутом на кресте.

— Не горюй так, дитя, — сказал плантатор. — Ты слишком юн для островов. погоди, через несколько лет ты станешь мужчиной, сильным и крепким.

— Но я думал, что буду флибустьером, — уныло ответил Генри. — Я ушел в море, чтобы разбогатеть и прославиться. А как мне достигнуть этого, если я буду работать в полях, точно раб?

— О работе в полях и речи нет. Ты мне нужен... Мне нужен в доме кто-нибудь молодой, ведь я старею. Мне нужен... кто-нибудь, кто разговаривал бы со мной, слушал бы меня. Соседи-плантаторы приезжают ко мне и пьют мое вино, но, отправляясь восвояси, они, мне кажется, потешаются надо мной и над моими книгами, моими чудесными книгами! Так вот, ты будешь проводить со мной вечера, и мы будем говорить о том, что написано в книгах. Мне кажется, ты сын джентльмена. У тебя благородный вид.

— Ну, а сейчас нам надо поторопиться, — ласково продолжал Джеймс Флауер. — Сегодня назначено повесить одного. Я толком не знаю, что он натворил, но для примерно-го наказания достаточно. Ведь говорит... как бишь его там? Но я читал, читал... «Главное назначение суровых наказаний — служить предостережением тем, кто иначе мог бы навлечь таковое на себя». Да-да, я считаю полезным время от времени кого-нибудь вешать. Обходится это не-

дешево, но способствует тому, чтобы остальные вели себя примерно. Впрочем, всем этим занимается мой надсмотрщик. И знаешь, мне кажется, для него это просто удовольствие.

Они вошли внутрь квадрата, стороны которого составляли тесно примыкающие друг к другу глинобитные, крытые тростником и листьями хижины. Все их двери выходили в этот двор. В его центре, точно жуткий идол, висела виселица из черного дерева, натертая пальмовым маслом до тусклого блеска. Каждый раб, выглянув из своей лачуги, обязательно видел прямо перед собой это черное орудие смерти — быть может, и его собственной. Воздвиг его тут надсмотрщик. Он собственными ладонями полировал темное дерево, пока оно не засияло, и часенъко стоял во дворе, наклонив голову набок и созерцая виселицу, точно художник свою только что завершённую картину.

Плакататор и юнона сели. Рабов согнали во двор, и Генри увидел, как нагая черная фигура задергалась в петле. Скорчившиеся на земле негры раскачивались и стонали, а белые рабы скрипели зубами и ругались, чтобы не закричать. Карибы сидели на корточках и смотрели на казненного без особого интереса и без всякого страха. Точно так же наблюдали они за костром, на котором готовили себе ужин.

Когда все кончилось и черная жертва повисла неподвижно на искривленной шее, плакататор перевел глаза на Генри, который первно всхлипывал.

— В первый раз это тяжело, я знаю, — сказал он мягко. — Мне после первого раза плохо спалось по ночам. Но погоди! Вот поглядишь, как пятеро их... десятеро... дюжина отравятся тем же путем, уже ничего чувствовать не будешь. Покажется тебе это таким же пустяком, как бьющийся петух, которому свернули шею.

Но Генри все еще судорожно давился воздухом.

— Погоди, в трудах Хольмарона о процедурах инквизиции я покажу тебе рассуждение о том, что ты сейчас переживаешь. «Когда впервые видишь человеческие страдания, — говорит он, — они кажутся противоестественными, ибо нам привычнее вид людей, пресыщающихся в безмятежном спокойствии. Но мало-помалу зрелище пытки становится чем-то обыкновенным, и обыкновенные люди начинают в той или иной мере получать от него удовольствие». Напомни, чтобы я как-нибудь показал тебе это место. Впрочем, должен сказать, что получать удовольствие я так и не начал.

В течение многих месяцев вечер за вечером в темных глубинах веранды Джеймс Флауер изливал потоки разрозненных фактов в уши юного Генри Моргана, который слушал с жадностью, потому что плантатор часто рассказывал про древние войны и про то, как они велись.

— И все это есть в книгах на полках по стенам? — спросил Генри как-то раз.

— И все это, и — о! — еще тысячи всяких вещей.

Некоторое время спустя Генри попросил:

— А вы не научили бы меня языку этих книг, сэр? Наверное, там есть многое, что мне захочется прочесть самому.

Джеймс Флауер пришел в восторг.

Сообщая этому мальчику то, что вычитал из книг, он испытывал большее удовольствие, чем когда-либо прежде. Юный раб завосвал его сердце.

— Латынь и греческий! — ликовал он. — Я преподам их тебе. И древнееврейский, если пожелаешь.

— Я хочу прочесть книги про войну и мореходство, — сказал Генри. — Я хочу почитать про те древние войны, о которых вы рассказываете, потому что когда-нибудь я стану флибустьером и захвачу испанский город.

В следующие месяцы он с большим усердием долбил языки, потому что очень хотел поскорее научиться читать заманчивые книги. Джеймс Флауер еще глубже зарылся в свои любимые тома, наслаждаясь новой ролью наставника.

И все чаще он говорил что-нибудь вроде:

— Генри, скажи надсмотрщику, чтобы бочонки с патокой выкатили на берег. Корабль в бухте их купит.

А еще через некоторое время:

— Генри, у меня есть сегодня дела?

— Так сюда же, сэр, зашел большой корабль из Нидерландов. А нам очень нужны серпы. Старые почти все разворовали карибы, чтобы изготовить из них ножи. У нас с карибами, боюсь, будет много хлопот, сэр.

— Ну, ты позаботься о серпах, Генри. Терпеть не могу ходить по такому солнцу. А индейцев, раз они крадут, накажи. Займись и этим, хорошо?

Мало-помалу управление плантацией перешло в руки Генри.

Так прошел год, и однажды вечером Генри пробудил в Джеймсе Флауере великое, даже ревнивое уважение, хотя несколько не утратил его любви.

— Вы когда-нибудь раздумывали над древними войнами? — спросил Генри. — Я читал про походы Александра, Ксенофонта, Цезаря, и сдается мне, что ведение битвы и тактика — то есть успешная тактика — всего лишь укрытое пышными восхвалениями надувательство. Конечно, пужны и солдаты, и оружие, но выигрывает войну тот, кто умсет передернуть на манер нечестных картежников и ловко надувает врага. Вы не думали об этом, сэр? Всякий, кто сумеет отгадать, что делается в голове заурядных военачальников, как я угадываю, что делается в голове рабов, будет выигрывать битву за битвой. Такому человеку нужно только поступать не так, как от него ждут. Вот тут и весь секрет тактики, верно, сэр?

— Я об этом не думал, — с легкой завистью ответил Джеймс Флауер. И пропикся к Генри тем робким благоговением, которое ему всегда внушали люди с идеями. Впрочем, плантатор заметно утешился, сказав себе, что как-никак учителем, пробудившим эти идеи, был он!

Через два года истек срок кабалы надсмотрщика. Свобода оказалась слишком крепким пантком для рассудка, привыкшего подчиняться чужой воле. Рассудок этот затмился, недавним кабальным овладело бешенство, и он с воплями побежал по дороге, набрасываясь с кулаками на всех встречных. А к почти его безумие перешло в отвратительное иступление. Он катался по земле под своей виселицей, на губах у него пузырилась кровавая пена, и рабы смотрели на него, дрожа от ужаса. Наконец он вскочил — волосы у него стояли дыбом, глаза горели безумием — и, схватив горящий факел, он ринулся в поле. Когда до густых рядов сахарного тростника оставалось два-три шага, Генри Морган застрелил его.

— Кто знает эту работу лучше меня, сэр, и кому вы можете доверить больше, чем мне, сэр? — сказал Генри плантатору. — Я столько почерпнул из книг и из собственных наблюдений, что сумею сделать плантацию в сотню раз доходнее.

Вот так он стал не надсмотрщиком, но управляющим.

Генри убрал виселицу со двора, и с этих пор вешали тайно, по ночам. Нет, не из доброты. Логика подсказывала ему, что неведомое никогда не может стать обыкновенным, что невидимые казни устрашат остальных рабов куда больше тех, которые они наблюдали при свете дня.

Управляя рабами, Генри научился очень многому. Он знал, что ни в коем случае не должен допустить, чтобы они отгадывали его мысли, ибо тогда они обретут над ним власть, избавиться от которой будет трудно. С теми, кто ниже его, ему необходимо быть холодным, надменным, презрительным. Почти все примут его презрение как доказательство превосходства. Люди всегда верили, что он такой, каким кажется, а казаться он умеет всяким.

Если человек пышно одет, все решают, что он богат и влиятелен. И проникаются к нему почтением. Когда о своих намерениях он говорит твердо, будто и правда намереваясь привести их в исполнение, почти никто не усомнится, что так оно и будет. Самый же важный вывод был следующий: если в девяти сделках подряд быть щепетильно честным, тогда на десятый раз можно украсть столько, сколько пожелаешь, и никому в голову не придет заподозрить тебя — надо только сделать так, чтобы первые девять случаев стали известны всем.

Растущая горстка золотых монет в сундучке у него под кроватью служила веским доказательством верности последнего вывода. Он свято следовал и всем остальным, не позволяя никому приобрести над собой ни малейшей власти. Нет, никто не проникнет в его побуждения, не узнает, каковы его возможности, способности и слабости. Поскольку люди в большинстве не верят в себя, не поверят они и в того, кого сочтут подобным себе.

Правила эти, подсказанные ему его жизнью, он вырабатывал постепенно, пока не стал подлинным хозяином плантации, пока Джеймс Флауер не подчинился всецело его советам и мнениям и чернокожие и кабальные белые преступники не прониклись к нему ненавистью и страхом. Но они не могли причинить ему вред, не могли подобрать к нему никаких ключей.

Джеймс Флауер был блаженно счастлив — счастлив, как никогда в жизни, потому что этот юноша снял с его плеч чудовищное бремя плантации. Он мог больше не думать об обработке земли и продаже ее плодов. Все глубже и глубже тонул он в своих книгах. И, дрыхля, снова и снова перечитывал одни и те же книги, не замечая этого, хотя частенько сердился на бесцеремонного читателя, который испещрил заметками их поля и замусолил уголки страниц.

А Генри Морган обрел большую плантацию и большую власть. Под его началом земля цвела и плодоносила. Он заставлял ее приносить вчетверо больше, чем прежде.

Рабы лихорадочно работали под ударами кнута, который свистел над ними и в полях. Но в этих ударах не было ничего личного. Застреленный надсмотрщик наказывал с наслаждением, но Генри Морган не был жесток. Он был безжалостен. И просто ускорял вращение колес своей фабрики. Кому придет в голову быть добрым к ведущей шестерне или маховику? Вот и ему не приходило в голову баловать своих рабов.

Генри выжимал деньги из земли и пополнял клад в сундучке под своей кроватью — крохотной толикой от годовой продажи сахарного тростника, пустячком от покупки скота. И видел в этом не кражу, а своего рода куртаж — ведь процветала плантация благодаря ему. Кучка золотых монет все росла и росла в ожидании того времени, когда Генри Морган станет флибустьером и захватит испанский город.

V

Генри отслужил три года и был для своих восемнадцати лет очень высоким и крепким. Жесткие черные волосы, казалось, прилегли к его голове особенно тугими завитками, а губы от надзора над рабами обрели еще большую твердость. Он оглядывался вокруг, зная, что должен был чувствовать удовлетворение, но глаза его все так же смотрели за край горизонта и за грань настоящего. Часы бодрствования, часы сна равно пропизывало одно неотступное желание, как тонкая красная стрела. Он должен вернуться к морю и к кораблям. Море было его матерью, любовницей, богиней, которая властвовала над ним и требовала беззаветного служения. Даже его родовое имя на древнем британском языке означало «тот, кого кормит море». Да, корабли теперь влекли его к себе беспощадно. Сердце покидало его и унывало с каждым купеческим судном, заходившим на остров.

В господском доме он вычитывал из книг правила мореходства и размышлял над ними, а в принадлежавшем Джеймсу Флауеру маленьком шлюпе плавал по прибрежным водам. Но ведь это детская игра, думал он, и она не поможет ему стать умелым моряком. Надо жадно учиться, потому что недалек тот день, когда он станет флибустьером и захватит испанский город. Это было серебряным престолом всех его желаний.

И вот как-то вечером...

— Мне бы хотелось поговорить с вами кое о чем, сэр.

Джеймс Флауер поднял глаза от книги и откинул голову на спинку кресла.

— Если бы у нас был свой корабль, чтобы отправлять наши товары на Ямайку, мы бы много сэкономили на плате за провоз. Затраты на такой корабль быстро покроются прибылями. К тому же мы могли бы возить туда товары и с соседних плантаций, за более низкую плату, чем запрашивают купцы.

— Но где можно найти подходящий корабль? — спросил Джеймс Флауер.

— Сейчас в порту как раз стоит такой — двухмачтовый и...

— Ну, так купи его, купи и сделай, что нужно. Ты в таких вещах понимаешь больше меня. Кстати, тут есть любопытное предположение касательно обитателей Луны. «Они, возможно, совсем не похожи на людей, их шеи, например...»

— На это потребуется семьсот фунтов, сэр.

— Семьсот фунтов? На что? Генри, ты что-то становишься невнимательным. Дослушай же! Это не только поучительно, но и интересно...

Генри очистил днище корабля, заново проконопатил его и выкрасил. Окрестил его «Элизабет» и спустил на воду. Он обладал тем, что наездники называют «рукой», — чутким проникновением в характер своего корабля. Конечно, ему предстояло освоить правила навигации, но с самого начала что-то от души «Элизабет» проникло ему в душу, он же отдал ей частицу себя. Это была верная любовь, глубокое понимание моря. Весслая дрожь ее палубы, плавное движение штурвала подсказывали ему, как близко может он привести ее к ветру. Он был подобен любовнику, который, опустив голову на грудь возлюбленной, по ее дыханию угадывает, как пробуждается в ней страсть.

Теперь он мог бы покинуть Барбадос и сделать свою надежную «Элизабет» орудием морского разбоя. Но зачем? Он еще не накопил столько золота, сколько положил себе, и был слишком юн. Помехой оказалась и нежданная нежная привязанность к Джеймсу Флауеру, которую он пристыженно скрывал сам от себя.

На краткий срок Генри обрел то, чего хотел. Плотская страсть, в той или иной степени присущая всем мужчинам — то ли к картам, то ли к вину, то ли к женскому

телу,— у него находила удовлетворение в резком крене палубы, в хлопках парусов. Ветер, налетающий с черного горизонта, для него был чашей вина, вызовом на поединок, страстной лаской.

Он возил на Ямайку очередной урожай и крейсировал между островами. Доходы от плантации росли, и его сундучок становился все тяжелее.

Но несколько месяцев спустя им овладело тупое сосущее чувство — воскресшее желание маленького мальчика, но стократ усиленное. «Элизабет» утолила его старую страсть и породила новую. Он решил, что манит его богатая добыча — прекрасные вещи из шелка и золота, людское восхищение, и теперь думал о них с еще большим упорством, чем прежде.

Генри навещал коричневых женщин и черных женщин в рабских хижинах, тщась притупить свой голод, раз уж совсем удовлетворить его не мог. Они принимали его покорно и старались угодить ему в надежде на добавочную порцию еды или кувшинчик рома. Каждый раз он уходил полный брезгливости и легкой жалости к их беспомощным стараниям извлечь выгоду из своего тела.

Как-то на невольничьем рынке в Порт-Ройале он увидел Полетту и купил ее для домашних работ. Она была гибкой, но пухленькой, яростной и в то же время нежной. Бедная маленькая рабыня без роду и племени — в ее жилах смешалась испанская, карибская, негритянская и французская кровь. Это лоскутное одеяло предков одарило ее волосами, как черный водопад, глазами, синими, как море, по-восточному раскосыми, и золотисто-золотой кожей. Ее красота была чувственной, страстной, она словно слалась из язычков пламени. Ее губы умели извиваться, как тонкие змейки, и распускаться алым бутонem. Она была маленькой девочкой с жизненным опытом старухи и христианкой, которая поклонялась духам леса и тихо пела гимны Великому Змею.

Генри видел в ней тонкий механизм, идеально служащий для наслаждения, удовлетворяющий похоть. Она была словно те высокие холодные женщины, порождение ночи, которые прилетают на крыльях снов,— бездушные тела, сотворенные сладострастными грезами. Он построил для нее маленькую уютную зеленую хижину, с кровлей из банановых листьев. И там он играл в любовь.

Вначале Полетта была просто благодарна ему за легкую праздную жизнь, за избавление от тяжелого труда и разные поблажки. Но затем она влюбилась в него без

памяти и следила за его лицом, как смышленная собачонка, готовая запрыгать в неистовой радости от одного слова, а от другого — припасть к земле, виновато виляя хвостом.

Если Генри был серьезен или рассеян, ее охватывал страх. Она падала на колени перед маленьким идолом из черного дерева — лесным богом, и взывала к Пресвятой Деве — пусть он не перестанет ее любить. Иногда она ставила чашки с молоком крылатому Джун-Джо-Би, который делает мужчин верными. С неистовством и нежностью, жившими в ее смешанной крови, она пыталась удержать его возле себя. От ее тела и волос исходил пряный аромат, потому что она натиралась сандалом и миррой.

А когда он мрачнел, она спрашивала:

— Ты любишь Полетту? — И повторяла: — Ты любишь Полетту? Ты, правда, любишь Полетту?

— Ну, конечно, я люблю Полетту. Как может мужчина, увидев Полетту, малютку Полетту, прикоснувшись к губам нежной Полетты, не полюбить ее? — И глаза его обращались на море у подножия склона, жадно следуя береговому изгибу.

— Но ты, правда, правда, любишь Полетту? Тогда поцелуй грудку твоей Полетты!

— Ну, конечно, я люблю Полетту. Вот и вот. Я поцеловал их обе, и чары сотворены. Но теперь помолчи немного. Послушай, как гремят лягушки. А что могло испугнуть старую бородатую обезьяну вон на том дереве? Должно быть, какой-нибудь раб крадется за плодами... — И глаза его беспокойно обращались на море.

Месяцы шли за месяцами, и почва ее любви проросла крепкими корнями душного страха. Она знала, что рано или поздно он с ней расстанется, и это грозило ей не просто одиночеством. Ее заставят стоять на коленях в полях и рыхлить землю пальцами, как всех других женщин на плантации. А потом настанет день, когда ее отведут в хижину дюжего негра с мощными мышцами, и он изломает в звериных объятиях ее маленькое золотистое тело, и она родит черного ребенка, сильного черного ребенка, который будет трудиться и надрываться под солнцем, когда подрастет. Так было со всеми другими рабынями на острове. Старческая половина ее рассудка содрогалась при одной мысли о такой судьбе, но эта же старческая половина знала, что Генри неизбежно ее бросит.

Затем детская половина ее рассудка вдруг выискала спасительную лазейку, обещавшую конец всем страхам. Если бы он женился на ней!.. Конечно, это кажется невоз-

можным, но ведь случались вещи куда более странные... Если бы он только женился на ней, она могла бы больше ничего не бояться. Ибо эти непонятные существа — жены каким-то образом были по божьему велению ограждены от всего страшного и безобразного. А! В Порт-Ройале она на них насмотрелась! Выступают под охраной своих мужчин, оберегающих их от соприкосновения с мерзостями, прижимают надушенные платки к лицу, чтобы дышать одними ароматами, а иногда и затыкают уши плотными ватными шариками, оберегая их от уличной ругани. И Полетта знала — из чужих рассказов, — что дома у себя они лежат на больших мягких постелях и небрежно отдают приказания своим рабам.

Вот на какое небесное блаженство посмела она надеяться! Но ее тела было мало, это она понимала. Слишком часто его мягкая власть оказывалась недостаточной. Если она перекармливала Генри любовью, он на некоторое время забывал дорогу к ее обители. Если она ему отказывала, чтобы раздражить его страстью, он либо угрюмо уходил, либо со смехом грубо опрокидывал ее на низкое пальмовое ложе. Нет, заставить его жениться она сможет, только отыскав какую-то иную могучую силу, какое-то неотразимое средство. Когда Генри отправился в Порт-Ройал с грузом какао, Полетта чуть с ума не сошла. Она знала о его любви к кораблю, о его страсти к морю и бешено к ним ревновала. Мысленно она представляла, как он ласкает щурвал сильными и нежными пальцами влюбленного. Ах, как она исцарапала бы, изломала бы это дурацкое колесо, которое ее обездоливает!

Нет, она должна заставить его полюбить Полетту больше кораблей, больше моря, больше всего на свете, и тогда он на ней женится. И она сможет проходить мимо хижины надменной походкой и плевать на рабов, сможет забыть про землю, которую надо рыхлить пальцами, и про сильных черных детей, которых должны рожать рабыни. Тогда у нее будут алые материи для платьев, а на шее — серебряная цепочка. И, может быть, даже обед ей когда-нибудь подадут в постель, потому что она притворится больной. При этой мысли она ликующе пошевелила пальцами на ногах и стала подбирать обидные слова, которые скажет черной толстухе с ядовитым языком, когда станет женой! Старая жирная дрянь на людях назвала Полетту девкой! Полетта, прежде чем ее схватили за руки, успела выдрать у нее много волос, но все равно придется толстухе поплакать! Полетта прикажет отодрать ее кнутом на кресте.

В отсутствие Генри в порт зашел торговый корабль, и Полетта побежала на берег посмотреть, какие товары он привез, поглазеть на коричневых от ветра матросов. Один из них, широкоплечий великан-ирландец, упившийся черным ромом, погнался за ней и схватил возле штабеля ящиков. Она напрягла всю свою ловкость и силу, чтобы вырваться, но он держал ее крепко, хотя и еле стоял на ногах.

— Я поймал фею, чтобы она починила мои башмаки,— смеялся он и заглядывал ей в лицо.— Фея, фея, ясное дело.

Тут он наконец разглядел, какая она маленькая и красивая. И заговорил тихо и нежно:

— Ты прекрасная фея. Прекрасней всего, что видели мои глаза. Да посмотрит ли тоненькая красавица на безобразного увальня вроде меня? Послушай, давай поженимся, и будет у тебя все, что может подарить тебе матрос.

— Нет! — закричала она.— Нет! — Выскользнула изпод его руки и убежала. Матрос осел на песок и тупо уставился перед собой.

— Померещилось! — прошептал он.— Просто духи послали на меня сон. С бедным матросом такого приключиться не может! Для матросов есть смазливые ведьмы с колючими злыми глазами. «Ну-ка, денежки вперед, милочек мой!»

Зато Полетта нашла способ, как женить на себе Генри. Она сделает так, чтобы он опьянел, поймает его в ловушку с помощью вина, а поблизости будет ждать священник. Он придет на ее тихий зов... Ну, конечно же, конечно, случались вещи и куда более странные!

Она приготовила ему ловушку в первую же ночь после его возвращения — большая каменная бутылка перуанского вина стояла на столе, а в тени пальмы ждал священник, подкупленный украденной монетой. Генри очень устал. Он ушел в море с неполной командой и должен был сам помогать с парусами. Маленькая увитая зеленью хижина манила его приятным отдыхом. Полная белая луна серебрила море и устилала землю шарфами, сотканными из голубоватого света. В пальмах, набегая из зарослей, сладко пел легкий береговой бриз.

Она налила ему чашу вина.

— Ты любишь Полетту?

— Да-да. Бог мне свидетель, я люблю Полетту, милую, нежную Полетту!

Еще чаша, еще настойчивее:

— Ты, правда, любишь Полетту?

— Полетта — звездочка с серебряной цепочкой у меня на груди.

Еще чаша.

— Ты никого не любишь, кроме своей Полетты?

— Я вернулся, тоскуя по Полетте, мысль о ней плавала со мной по морю! — И его руки крепко сжали ее тоненькую золотую талию.

Еще чаша, еще и еще... Но тут он отнял руки, сжал их в кулаки. Девочка со страхом вскрикнула:

— Ай! Ты любишь Полетту?

Потому что Генри вдруг стал угрюмым, холодным и чужим.

— Я расскажу тебе про былые времена, — сказал он хрипло. — Я был мальчиком, веселым маленьким мальчиком, но уже достаточно взрослым, чтобы любить. И была девочка, и звали ее Элизабет — дочка богатого помещика. О, красивой она была, как эта ночь вокруг нас — светлой и красивой, вон как та стройная пальма, озаренная луной. Я любил ее любовью, какой мужчина любит один-единственный раз. Даже наши сердца точно гуляли рука об руку. Какие планы мы строили, она и я, сидя на склоне холма глубокой ночью! Мы собирались жить в большом доме, где подле нас подрастали бы наши милые дети. Тебе, Полетта, никогда не знать такой любви!

— Но, увы, — горестно вздохнул он. — Продлиться это не могло. Боги, ревнуя, губят счастье. То, что прекрасно, обречено на быстрый конец. Шайка негодяев матросов явилась в наш мирный край и похитила меня, совсем еще мальчика, чтобы продать в Индии в тяжкое рабство. Какой мукой была разлука с Элизабет... и никакие годы не изгладят эту муку! — Он тихо заплакал.

Такая перемена в нем поставила Полетту в тупик. Она поглаживала его волосы и закрытые глаза, пока он не начал дышать спокойнее. Тогда с почти безнадежным терпением, словно учительница, спрашивающая тупого ученика, она опять повторила:

— Но... ты любишь Полетту?

Он вскочил и смерил ее свирепым взглядом.

— Тебя? Любить тебя? Да ты же просто зверушка! Правда, хорошенькая золотистая зверушка, но всего лишь комочек плоти, не больше. Можно ли поклоняться идолу только потому, что он огромен? Или вкладывать сердце в бесплодную пустошь только потому, что она обширна? Или любить женщину, которая вся плоть, и ничего

больше. Ах, Полетта, у тебя ведь нет души. А у Элизабет крылатая белоснежная душа. Я люблю тебя... да... но лишь телом, потому что ты сама только тело. А Элизабет... Элизабет я любил всей душой.

Полетта ничего не понимала.

— Что такое душа? — спросила она. — И как мне обзавестись душой, если ее у меня нет? И где твоя душа? Я ведь ни разу не видела ее и не слышала. А если души нельзя ни увидеть, ни услышать, ни потрогать, откуда ты знаешь, что у нее была душа?

— Замолчи! — закричал он в ярости. — Замолчи, а не то я заткну твой рот кулаком и прикажу выпороть тебя на кресте. Ты говоришь о том, что тебе недоступно. Что можешь ты знать о любви, которая выше всех твоих плотских ухищрений?

VI

В жаркие тропики пришло рождество — четвертое рождество за прожитые Генри кабальные годы. И Джеймс Флауер принес ему шкатулку, перевязанную яркой лентой.

— Это рождественский подарок, — сказал он, и, пока Генри развязывал ленту, его глаза искрились радостью.

В небольшой шкатулке из тикового дерева, выстланной алым шелком, лежали клочки кабальной записи. Генри вынул из шкатулки бумажные обрывки, долго смотрел на них, а потом растерянно засмеялся и уткнулся лицом в ладони.

— Теперь ты больше не слуга, а мой сын, — сказал плантатор. — Теперь ты мой сын, которому я передал таинственную мудрость. И еще многому, многому я тебя научу. Мы будем жить здесь всегда и вести по вечерам долгие беседы.

Генри поднял голову.

— Но... Я не могу, не могу остаться! Я должен стать флибустьером.

— Ты... ты не можешь остаться? Как же так, Генри? Я ведь обдумал нашу жизнь... Не бросишь же ты меня здесь одного?

— Сэр, — ответил Генри. — Я должен, должен стать флибустьером. Всю жизнь у меня была только эта цель. Я должен уехать отсюда, сэр.

— Но, Генри, милый Генри, ты же получишь половину моей плантации! И вторую половину, когда я умру. Только останься со мной!

— Этому не суждено быть! — вскричал юный Генри.— Я должен уехать и прославить мое имя. Мне не суждено быть плантатором. Сэр, у меня есть планы, и долгие размышления придали им совершенство. И ничто не должно встать на пути их исполнения.

Джеймс Флауер поник в кресле.

— Без тебя здесь будет так пусто! Даже не понимаю, как я теперь буду жить один.

Генри вдруг перенесся в далекое прошлое — Роберт улыбается огню и произносит эти же самые слова: «Без тебя здесь будет очень пусто, мой сын». Сидит ли и сейчас его мать, молча, холодно выпрямившись? Нет, конечно, она давным-давно успокоилась и забыла. Люди всегда успокаиваются и забывают, пережив то, чего прежде так страшились. И тут он подумал о малютке Полетте, которая будет рыдать от ужаса у себя в хижине, когда он ей скажет, что уезжает.

— Маленькая служанка, — сказал он, — маленькая Полетта, я ей покровительствовал. И если вы были мной довольны, так не могли бы вы ради меня оставить ее при доме навсегда? Чтобы ее не посылали работать в поля. Никогда. Не секли и не случали с чернокожим. Ведь вы об этом позаботитесь ради меня?

— Разумеется, — ответил Джеймс Флауер. — Но, Генри, так было хорошо с тобой здесь, так приятно слышать твой голос по вечерам! Что мне теперь делать вечером? Никто не сможет занять твое место, ибо ты, правда, был мне сыном. Здесь будет очень пусто без тебя, мальчик.

Генри ответил:

— Мою службу вы более чем вознаградили знаниями, которые щедро вливали мне в уши в те самые вечера. И мне вас будет очень не хватать, сэр. Я даже выразить не могу, как. Но неужели вы не понимаете? Я должен стать флибустьером и взять испанский город: меня жжет мысль, что человек, который тщательно подготовится, оценит все свои возможности — и всех тех, кто пойдет с ним, — обязательно это совершит. Я изучил древние войны, и я должен завоевать славу и богатство. И вот когда все будут мной восхищаться, может быть, я вернусь к вам, сэр, и мы снова будем разговаривать по вечерам. Вы не забудете, о чем я вас просил для Полетты?

— Какой Полетты?

— Ну, та служаночка, про которую я упомянул. Не отправляйте ее к остальным рабам, потому что я к ней очень привязан.

— А, да! Помню, помню. Так куда ты думаешь отправиться, Генри?

— На Ямайку. Мой дядя, сэр Эдвард, давно уже вице-губернатор в Порт-Ройале. Но я ни разу не искал с ним встречи — я же был кабальным, а он джентльмен. У меня к нему письмо — отец дал его мне много лет назад. Быть может, он поспособствует мне купить корабль, чтобы я мог отправиться на поиски добычи.

— Я помогу тебе купить корабль, — сказал плантатор с робкой надеждой. — Ты мне доставил столько радости!

А Генри вдруг охватил непривычный стыд, ведь в сундучке под его кроватью сверкала россыпь золотых монет — больше тысячи фунтов.

— Нет, — сказал он. — Нет-ист. Вы заплатили мне своими наставлениями, были мне отцом, а это дороже любых денег. — Теперь, собираясь в путь, Генри понял, что полюбил этого краснолицего, печального старика.

Сильные негры, блестя потными телами, налегали на весла, и каноэ летело к стоящему на якоре кораблю — кораблю с патентом голландских Генеральных штатов на перевозку чернокожих невольников из Гвины на острова Карибского моря. На корме каноэ молча сидел Джеймс Флауер. Лицо его было даже краснее обыкновенного. Он, однако, нарушил молчание, когда они почти подошли к кораблю, и сказал, умоляюще глядя на Генри:

— На полках осталось еще столько книг, которых ты не читал!

— Я еще вернусь и прочту их.

— У меня много мыслей, которые я так тебе и не поведал, мальчик.

— Когда я заслужу восхищение людей, я вернусь, и вы мне их расскажете.

— Ты клянешься?

— А? Да, клянусь.

— И много ли времени тебе понадобится, Генри, чтобы достичь этой цели?

— Откуда мне знать? Год... или десять лет... или двадцать. Я должен прославить свое имя! — Генри уже поднимался по веревочному трапу на корабль.

— Мне будет так пусто по вечерам без тебя, сын мой.

— Мне тоже, сэр! Смотрите, мы отчаливаем! Прощайте, сэр. Вы не забудете про Полетту?

— Полетту?.. Полетту? А, да-да... не забуду.

Генри Морган приехал в английский город Порт-Ройал и, оставив багаж на берегу, отправился на поиски своего дяди.

— Вы не скажете, где мне найти вице-губернатора? — спрашивал он прохожих на улицах.

— Вот его дворец, молодой человек. И, быть может, вы там его и найдете.

Его дворец... Совсем в духе английского джентльмена, ставшего за морем крупным чиновником. Совсем в духе человека, которого описал Роберт Морган. На его письмах значилось: «Дано во дворце вице-губернатора». Генри в конце концов отыскал этот дворец — приземистый невзрачный дом с глиняными выбеленными стенами и крышей из красной скверно обожженной черепицы. У дверей стоял алебарщик в пышном костюме. Неподвижной рукой он упирал свое неуклюжее оружие древком в землю и мученически сохранял величавое достоинство, как ни допекали его полчища назойливых мух.

При приближении Генри он опустил перед ним алебарду.

— Я хотел бы видеть сэра Эдварда Моргана.

— Какое у тебя дело к его превосходительству?

— Видите ли, сэр, он мой дядя, и я хотел бы поговорить с ним.

Солдат подозрительно насупился и покрепче сжал алебарду. Но тут Генри вспомнил уроки, почерпнутые на плантации. Быть может, и этот человек, хоть на нем красный мундир, в душе все-таки раб.

— А ну с дороги, проклятый пес! — крикнул он. — С дороги, не то будешь повешен!

Солдат съсжился и чуть было не уронил алебарду.

— Слушаю, сэр. Сейчас доложу о вас, сэр. — Он серебристо свистнул и, когда в дверях появился слуга в ливрее с зеленым галуном, сказал: — Молодой господин к его превосходительству!

Генри проводили в тесную комнату, которую толстые серые занавесы с тусклой золотой каймой погружали в вечный полумрак. На стенах в черных рамах располагались три еле различимых портрета: два кавалера в шляпах с плюмажем и шпагами, задравшимися вверх под тяжестью ладоней, прижатых к эфесам, так, что больше всего они походили на тонкие вытянутые хвосты, и миловидная дама с напудренными волосами, в шелковом платье с вырезом, открывающим плечи и половину груди.

Из-за портьеры в глубине комнаты доносилось жиденькое позвякивание арфы под чьей-то медлительной рукой. Слуга взял у Генри письмо и оставил его в полном одиночестве.

И он почувствовал себя очень одиноким. В этом доме были холодно расставлены все точки над «и». Даже в нарисованных лицах, которые смотрели со стен, сквозило вежливое презрение. На двух половинах портьер был вышит английский герб: на одной лев держал свою часть щита, а на другой держал свою единорог. Когда портьера была задернута, изображение слагалось в единое целое. В этой комнате Генри испытал страх перед своим дядей.

Но подобные мысли вылетели у него из головы, едва вошел сэр Эдвард: перед ним был его отец, такой, каким он его помнил, и в то же время совсем не его отец. Старый Роберт никогда бы не стал носить усики, смахивающие на две тонкие брови, и ничто не поудило бы его сжимать губы в не менее тонкую линию. Пусть они родились похожими, как две горошины, но свой рот каждый создал сам.

Роберт сказал правду: этот человек был чванной карикатурой на него. Однако сэр Эдвард был подобен актеру, который, получив нелепую роль, играет ее так, что только она кажется верно написанной, а все остальные — дурацкими. Его лиловый кафтан с кружевами у горла и на манжетах, длинная шпага, тоненькая, как карандаш, в ножнах, обтянутых серым шелком, серые шелковые чулки и мягкие серые башмаки с бантами показались Генри верхом элегантности. Его собственный нарядный костюм выглядел в сравнении жалким.

Дядя пристально смотрел на него, ожидая, чтобы он заговорил первым.

— Я Генри Морган, сэр, сын Роберта, — сказал он просто.

— Это я вижу. Ты на него похож — немножко. Так что же я могу для тебя сделать?

— Ну... я... я не знаю. Я просто пришел навесстить вас, сообщить о своем существовании.

— Весьма любезно с твоей стороны. Э... весьма.

Как протаранить словами эту стену почти издевательской учтивости? Генри спросил:

— Вы не получали каких-нибудь вестей о моих родителях за долгие пять лет моей с ними разлуки?

— Пять лет! Чем же ты занимался, скажи на милость?

— Я был кавальным, сэр. Но как мои родители?

— Твоя мать скончалась.

— Моя мать скончалась,— повторил Генри шепотом. (Как долго она прожила после его ухода? Особого горя он не ощутил, и все же в этих словах было что-то несобъятное, что-то бесповоротно окончательное. Было — и больше не будет никогда.) — Моя мать скончалась,— пробормотал он.— А мой отец?

— До меня дошли вести, что твой отец предается странным чудачествам в розовом саду. Мне об этом написал сквайр Рис. Он срывает полностью распустившиеся цветки и подбрасывает их в воздух, словно в изумлении. Лепестки усыпают землю, а соседи останавливаются поглазеть и смеются над ним. Роберт всегда был чудачком, а вернее, всегда был помешанным, не то при Иакове Первом он мог бы пойти далеко. Сам я всегда полагал, что он покроет себя позором. Так или эдак. Он не почитал ничего, что достойно почитания. Зачем ему понадобилось подкидывать розы у всех на глазах и позволять, чтобы над ним смеялись? Это ставит в глупое положение его... э... родственников.

— И вы полагаете, дядя, что он и правда сумасшедший?

— Не знаю,— сказал сэр Эдвард и добавил с легким раздражением: — Я просто говорил о том, что мне написал сквайр Рис. Моя должность не оставляет времени для праздных домыслов. Как и для пустых разговоров,— добавил он подчеркнуто.

Мерное позвякивание арфы давно оборвалось, и теперь из-за портьеры вышла тоненькая девушка. Разглядеть ее в вечном сумраке оказалось нелегко, но, во всяком случае, она была не столько красива, сколько гордо миловидна. Платье ее отличалось мягкостью красок, лицо выглядело бледным. Даже волосы ее были бледно-золотыми и легкими. Она выглядела, как усталая бесцветная тень сэра Эдварда.

При виде Генри девушка вздрогнула от неожиданности, а он почувствовал, что она внушает ему робость, сродную с растущим страхом перед сэром Эдвардом. Она поглядела на Генри так, словно он был нелюбимым кушаньем, оттолкнуть которое ей мешала благовоспитанность.

— Твой кузен Генри,— коротко объяснил сэр Эдвард.— Моя дочь Элизабет, лишившаяся матери еще малюткой.— Он нервно добавил, точно не ожидая ничего хорошего от этой встречи: — Душенька, не следует ли тебе еще немного позаниматься музыкой?

Она сделала Генри еле заметный реверанс и поздоровалась с ним голосом, очень похожим на голос отца:

— Как вы поживаете? Да, сэр, мне, конечно, надо еще поупражняться. Последняя пьеса очень трудна, но красива.— Она скрылась за портьерой, и вновь послышались медленные равномерные аккорды.

Генри собрался с духом, хотя и боялся этого человека:

— Мне хотелось бы поговорить с вами вот о чем, сэр. Я задумал заняться флибустьерством, дядя, в открытом море на большом корабле с пушками. А когда я захвачу достаточно призовых судов и моя слава привлечет тьму людей, я возьму испанский город для разграбления и выкупа. Я хороший моряк, дядюшка. Мне кажется, я смогу вести корабль в любую погоду, и я знаю, как правильно подготовить кампанию. Я много читал о древних войнах. Флибустьеров я сделаю силой, какой они еще никогда не были. Я создам из них армии и военные флоты, дорогой дядюшка. Со временем я возглавлю все Береговое Братство, и это будет вооруженная сила, которая вынудит считаться с собой. Вот что я обдумывал и взвешивал в долгие годы моей кабалы. Сердце мое рвется совершить все это. По-моему, цель моих грез— славное имя и огромное богатство. Я знаю, на что я способен. Мне двадцать лет. Последние годы я провел в море. У меня есть тысяча фунтов. Человека, который поможет мне сейчас, который станет моим компаньоном, я сделаю богатым. Я знаю, что могу совершить все, что обещаю. Как твердо я это знаю! И прошу вас, дядюшка, добавить к моей тысяче такую сумму, чтобы я мог купить оснащенный корабль и собрать под свое начало храбрую вольницу. Если вы вверите мне еще одну тысячу, я клянусь сделать вас гораздо богаче, чем вы были до сих пор!

Арфа уже не звенела. Едва юноша начал говорить, как сэр Эдвард поднял ладонь, словно стараясь остановить поток его слов, но такая преграда их не сдержала. Когда арфа смолкла, сэр Эдвард тревожно покосился на дверь. Но теперь он весь сосредоточился на Генри.

— У меня нет денег для рискованных предприятий,— сказал он резко.— И у меня нет больше времени на болтовню. С минуты на минуту приедет губернатор, чтобы посоветоваться со мной. Но все-таки я скажу, что ты безумный мальчишка без царя в голове и твои дурацкие затеи доведут тебя до виселицы. Твой отец такой же, как ты, только безумие у него не в делах, а в мыслях. И дол-

жен напомнить тебе, что между Испанией и Англией сейчас мир. Не очень добрый, но мир. И если ты займешься разбоем, мой долг будет позаботиться, чтобы ты понес кару, как бы тяжело мне это ни было. Власть круглоголовых кончилась, и те бесчинства, на которые Кромвель смотрел сквозь пальцы, теперь беспощадно пресекаются. Запомни мои слова, ибо мне не хотелось бы повесить своего племянника. А теперь позволь пожелать тебе всего хорошего.

В глазах Генри стояли слезы горького разочарования.

— Благодарю тебя за твой визит, — сказал его дядя. — Прощай.

И он скрылся за портьерой.

Генри угрюмо брел по улице, как вдруг увидел впереди свою кузину, которую сопровождал высокий негр. Он замедлил шаг, чтобы дать ей уйти вперед, но девушка почти остановилась.

«Быть может, она хочет поговорить со мной», — подумал Генри, нагнал ее и с изумлением обнаружил то, что скрыл от него сумрак в комнате: она была еще совсем девочкой — лет четырнадцати, никак не больше. Элизабет обернулась к нему, когда он поравнялся с ней.

— Здесь, в Индиях, вы нашли какие-нибудь интересные занятия? — спросил Генри.

— Столько, сколько можно было ожидать, — ответила она. — Мы ведь живем здесь уже давно. — Маленьким зонтиком она прикоснулась к руке своего раба и свернула за угол, и юному Генри осталось только смотреть ей вслед.

В нем бушевала злоба против этих гордых родственников, которые сторонились его, точно прокаженного. И отмахнуться от них, как от глупых ничтожеств, он не мог: слишком большое впечатление они на него произвели. Им удалось заставить его почувствовать, что он совсем одинок, беспомощен и очень, очень юн.

Тесный лабиринт Порт-Ройала тонул в грязи, размешенной в густое тесто колесами повозок и мириадами босых ног. Порт-Ройал походил на город не больше, чем дворец вице-губернатора на Уайт-Холл. Вместо улиц — узкие проулки с деревянными домишками по обеим сторонам. И у каждого домишки балкончик, и на балкончиках сидели люди и смотрели на проходящего внизу Генри — смотрели не с любопытством, а устало, как больные следят за мухами, которые ползают по потолку.

Одна улочка, казалось, была населена только женщинами — черными женщинами, белыми и совсем серыми, чьи впалые щеки опалил огонь лихорадки. Они перегибались через перила балкончиков, как нечистые сирены, и негромко окликали его. Но он не отзывался, и они верещали, точно рассерженные попугаи, осыпали его руганью и плевали ему вслед.

Неподалеку от порта он увидел таверну и большую толпу возле ее дверей. Посреди дороги стоял открытый бочонок вина, а рядом гордо прохаживался пьяный верзила, весь в галунах и в шляпе с плюмажем. Он щедро наливал вино в тянущиеся к нему чаши, миски и даже шапки. Он иногда выкрикивал тост, и толпа по его требованию отвечала оглушительным воплем.

Юный Генри попытался пробраться мимо них.

— Эй, выпей-ка за мое здоровье, молодчик!

— Я не хочу пить, — ответил Генри.

— Пить не хочешь? — Верзила растерялся от неожиданности, но тут же в нем вспыхнул гнев.

— К дьяволу! Ты будешь пить, раз тебя угощает капитан Доус, захвативший грузовое судно «Сангре де Кристо» ровнехонько неделю назад! — Он грозно шагнул вперед, внезапно вырвал из-за пояса огромный пистолет и наставил его на Генри трясущейся рукой.

Юноша посмотрел на пистолет.

— Я выпью за ваше здоровье, — ответил он, и с первым глотком вина его осыпала мысль. — Разрешите мне поговорить с вами с глазу на глаз, капитан Доус, сэр, — сказал он и отвел его на порог таверны. — О вашем следующем плавании, сэр...

— Ко всем чертям все следующие плаванья! — взревел капитан. — Я взял хороший приз, верно? Так чего же ты тут рассусоливаешь про следующее плавание? погоди, пока призовые деньги не израсходуются, а раны не заживут. погоди, пока я не вычерпаю все винные бочки в Порт-Ройале до дна, и вот тогда приходи толковать о следующем плавании!

Он ринулся назад в толпу.

— Ребята! — завопил он. — Ребята, вы давненько не пили за мое здоровье. Ну-ка все разом, дружно, а потом споем!

Генри в холодном отчаянии пошел дальше. В порту на якоре стояло много судов. Он подошел к матросу, расположившемуся на песке.

— Вон тот, видно, очень быстроходный,— сказал он, чтобы завязать разговор.

— Что есть, то есть.

— Кто-нибудь из флибустьеров сейчас в городе? — спросил Генри.

— Один Доус, да только он горластая мышь. Захватил лодчонку с припасами для Кампече, а послушать, какой шум он поднимает, так будто всю Панаму сюда приволок, не иначе.

— А других никого нет?

— Ну, еще Гриппо, да он-то призы берет только, если на них ни солдат, ни пушек. От течи своей шарахается Гриппо этот. Вот пришел сюда без приза, а сейчас черный ром пьет, и то в долг.

— Который тут его корабль? — спросил Генри.

— А вон тот. «Ганимед» называется. Говорят, Гриппо украл его в Сен-Мало, когда команда перепилась. Он с девятью товарищами побросал пализавшихся бедняг за борт да и уплыл в Индию. Кораблик-то отличный, только Гриппо шкипер никакой. Просто чудо, что он его еще не разбил. Возьми Мансвельта, вот это капитан. Одно слово, настоящий капитан. Только Мансвельт сейчас на Тортуге.

— Хороший быстроходный корабль,— заметил Генри.— И парусов может нести куда больше. Ну, и с пушками у него как?

— Да говорят, чего-чего, а пушек на нем даже больше, чем нужно бы.

В тот же вечер Генри отыскал владельца «Ганимеда» в притоне на берегу. Он оказался почти чернокожим. Две жирные складки прорезали его щеки, словно в них долго врезался шелковый шнур. Глаза его метались из стороны в сторону, как дозорные, выставленные лагерем мелких страхов.

— Ты зовешься Гриппо? — спросил Генри.

— Я приза не взял,— вскрикнул тот, откидываясь в испуге.— Я призов не беру. Никакой за мной вины нет!

Когда-то в Сен-Мало его вот так окликнули, а потом полосовали кнутом на кресте, пока на его теле не раскрылись сотни дряблых ртов и каждый улыбался кровью. С тех пор Гриппо смертельно боялся всяких властей.

— Кто ты такой? — спросил он.

— Тот, думается мне, кто поможет тебе разбогатеть, Гриппо,— твердо ответил Генри. Он знал, как надо обращаться с этим человеком, неотличимым от рабов на плантациях,— трусливым и, конечно, жадным.— Пять сотен

английских фунтов, наверное, придется тебе кстати, а, Гриппо?

Темнокожий шкипер облизнул губы и покосился на свою пустую кружку.

— А что я должен за них сделать? — прошептал он.

— Продать мне свое капитанство.

Гриппо сразу насторожился.

— Мой «Ганимед» стоит куда дороже, — решительно ответил он.

— Но я же не корабль покупаю, а только капитанство. Послушай, Гриппо! Договоримся так: я даю тебе пятьсот фунтов, а ты признаешь меня совладельцем «Ганимеда» и его капитаном. Потом мы выходим в море. Я сумею брать призы, если мне не будут мешать на мостике. Гриппо, я подпишу бумагу, что ты опять станешь полным владельцем «Ганимеда», если я потерплю хоть одну неудачу, и все пятьсот фунтов сохранишь.

Гриппо все еще смотрел на дно пустой кружки, но внезапно им овладело горячее возбуждение.

— Давай деньги! — закричал он. — Да побыстрее!.. Олоото! Олоото! Подай белого вина... белого вина, христом-богом прошу!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Генри Морган стал флибустьером, много прославленных имен гремело на побережье Дариена и среди зеленых карибских островов. В винных лавках Тортуги рассказывались сотни историй о нажитых и промотанных богатствах, о захваченных и потопленных кораблях, о золотых и серебряных слитках, сваленных на пристани, точно дрова.

С тех пор, как Большой Пьер с маленьким отрядом охотников выскользнул из лесов Испаньолы и на каное захватил флагманский корабль вице-адмирала, сопровождавшего галеоны с серебром, Вольное Братство стало страшной силой. Франция, Англия и Голландия узрели в этих островах прекрасную свалку для своих преступников и год за годом отправляли в Индии никчемный человеческий груз. В этих почтенных странах была пора, когда всякого, кому не удавалось доказать свою благонадежность, заталкивали в тесноту корабельного трюма и отправляли за море в кабалу к тому, кто соглашался упла-

тить за него мизерную сумму. А когда срок кабалы истек, эти люди крали пушки и начинали воевать с Испанией. Понять их нетрудно: Испания была католической и богатой, гугеноты же, лютеране и англикане были отчаявшимися бедняками. И вели священную войну. Испания держала под замком сокровища всего мира. Если нищему бедолаге удавалось вытащить через замочную скважину монетку-другую, кому какой был вред? Кого это задевало, кроме Испании? А уж ее потери Англию, Францию и Голландию вовсе не трогали. Иногда они снабжали пиратов патентами против Арагона и Кастильи, так что нередко человек, десять лет назад сосланный в Индии на тюремном судне, именовав себя «капитаном королевской милостью».

Франция заботилась о своих заблудших сынах и отправляла тысячу двести женщин на Тортугу в жены флибустьерам. Правда, по прибытии на место все они до единой предпочли промысел более доходный, чем узы брака, но уж тут Франция была ни при чем.

По-французски их называли «буканьеры» — с той поры, когда они были еще не пиратами, а просто охотниками за одичалым скотом и занимались буканированием, то есть особым способом копчили добытое мясо на дыму от брошенных в костер кусочков жира и обрезков с костей, что придавало ему необычный привкус.

Но мало-помалу они начали осторожно выходить из лесов небольшими компаниями, затем возникли шайки, а потом появились и целые флотилии из десятка судов. В конце концов они тысячами собирались на Тортуге, и из этого безопасного места жалили Испанию то там, то тут.

Справиться с ними Испания не могла. Она вешала дюжину, а на их место приходила сотня. Поэтому она укрепляла свои города и отправляла сокровища под охраной военных кораблей, полных солдат. Свирепые буканьеры-флибустьеры изгнали с моря бесчисленные суда испанских колоний. Лишь раз в год уходили в Испанию корабли с серебром.

В Братстве были свои герои, чья слава и подвиги заставляли бы Генри Моргана изнывать от зависти, если бы он не был уверен, что в один прекрасный день затмит их всех.

Бартоломео Португалец захватил богатый приз, но его тут же взяли в плен неподалеку от Кампече и на берегу построили для него виселицу. Из своей темницы на корабле он смотрел, как ее устанавливают, а в ночь перед каз-

нью зарезал часового и уплыл, держась за пустой бочонок. Не прошло и недели, как он вернулся с пиратами на длинном каноэ и угнал этот корабль из порта Кампече. Правда, он потерял его в бурю у берегов Кубы, но в тавернах эту историю передавали из уст в уста со злорадным восхищением.

Роше Бразилец был голландцем с пухлыми по-детски щеками. В юности португальцы выслали его из Бразилии, и прозвище свое он получил по названию их колонии. Как ни странно, злобы на португальцев он никакой не затаил. Но вот испанцев возненавидел люто. Если их вблизи не оказывалось, он был добрым, мягким капитаном и пользовался общей любовью. Команда его обожала и пила только за его здоровье. Однажды, когда его корабль потерпел крушение у Кастилья-де-Оро, он пересбил целый отряд испанской кавалерии и ускакал со своими товарищами на испанских лошадях. При виде испанцев Роше превращался в бешеного зверя. Рассказывали, что однажды он долго поджаривал пленных на вертелах из сырых жердей над маленьким костром.

Когда суда с богатым грузом перестали выходить в море, флибустьерам пришлось нападать на селения, а затем и на укрепленные города. Льюис Шотландец разграбил Кампече и оставил от него только обугленные развалины.

Л'Оллоне явился из Сабль-д'Оллоне и очень быстро стал самым страшным человеком Западного океана. Начал он со жгучей ненависти к испанцам, а кончил страстью к жестокостям. Он вырывал с корнем языки, рубил своих пленных на мелкие кусочки. Испанцы предпочли бы встречу с дьяволом в любом его образе, чем с Л'Оллоне. При одном упоминании его имени все живое покидало селения у него на пути. Поговаривали, что даже мыши бсжали прятаться в заросли. Маракайбо он взял, и Новый Гибралтар, и Сантьяго-де-Леон. И всюду он истреблял людей, отдаваясь яростной страсти к убийству.

Однажды в приступе кровожадности он приказал связать восемьдесят семь пленников и уложить их в ряд на земле. А потом пошел вдоль ряда, держа в одной руке оселок, а в другой саблю. В этот день он собственноручно отрубил восемьдесят семь голов.

Но убийства только испанцев Л'Оллоне не удовлетворяли. Он отправился на Юкатан, в тихий край, где люди обитали в разрушенных каменных городах и девушки, не знавшие мужчин, ходили в венках из душистых цветов. На Юкатане жил тихий народ, мало-помалу вымирающий

по таинственным причинам. Когда Л'Оллоне покинул их землю, от городов остались только груды камней и никто уже не плел венков.

Индейцы Дариена были совсем другими: свирепыми, бесстрашными и мстительными. Испанцы называли их «браво» и клялись, что они неспособны подчиняться. С пиратами эти индейцы поддерживали дружбу из ненависти к Испании, но Л'Оллоне их грабил и убивал. Они выжидали много лет и наконец захватили Л'Оллоне, когда его корабль разбился у их берега. Они разожгли костер, долго плясали вокруг, а потом по кусочкам сожгли тело француза у него на глазах — то фалангу пальца, то лоскут кожи.

Однажды вечером в таверну на Тортуге вошел худой француз, дворянин по виду, и, когда у него спросили, как его зовут, он схватил тяжелый бочонок рома и отшвырнул его.

— Бра-де-Фер,— ответил он.— Железная рука.— И никто не стал расспрашивать его дальше. Так навсегда и осталось тайной, скрыл ли он свое имя от стыда, от горя или из ненависти, но побережье и острова узнали его как доблестного капитана.

Эти люди чеканили фразы, которые затем входили в общее употребление.

— Добычи негусто и в карманах пусто! — проревел Душегуб, и кто теперь не повторял этих слов!

Когда на суденышко капитана Лоренса напали два испанских фрегата, он сказал своим подчиненным:

— Опыт поможет вам понять всю меру опасности, а храбрость не позволит уклониться от нее!

Бравые слова! Вдохновленная ими команда захватила оба фрегата и отвела их домой в Гоав.

Не все они были жестокими или даже склонными к насилию. А некоторые так даже славились особым благочестием. Капитан Уотлинг, например, каждое воскресенье устраивал молебствие на палубе и требовал, чтобы вся команда стояла чинно с непокрытыми головами. Дэниел как-то застрелил матроса за богохульство. Такие флибустьеры громко молились перед боем, а если побеждали, то половина отправлялась в захваченный собор петь «Тебя, Бог, хвалим!», а вторая половина приступала к грабежу.

Капитаны поддерживали на кораблях строжайшую дисциплину, на месте сурово карая неповиновение или другие проступки, которые могли помешать успеху. И на море не

бывало мятежей, с которыми позже приходилось считаться и Кидду, и Чернобородому, и Лафитту.

Но самой яркой фигурой в истории Братства остается голландец по имени Эдвард Мансвельд. Храбростью и воинским искусством он превзошел всех, ибо взял Гренаду, и Сан-Аугустин на Флориде, и остров Санта-Катарина. С большой флотилией он крейсировал у берегов Дариена и Кастилья-де-Оро, забирая все, что мог забрать. Однако им двигала могучая сила мечты: он надеялся пресобразить свою орду оборванных храбрецов в сильную, стойкую нацию, новую воинственную нацию в Америке. Чем больше флибустьеров собиралось под его командой, тем реальней делалась его мечта. Он снесся с правительствами Англии и Франции. Они вознегодовали и запретили ему даже думать об этом. Пиратская страна, неподвластная королевским виселицам? Так они же будут грабить всех и вся! Но он не отступил и по-прежнему строил планы создания собственной страны. И начал с острова Санта-Катарина. Расположив там отряд своих людей, он отправился на поиски сторонников. Его корабль потерпел крушение возле Гаваны, и испанцы задушили Эдварда Мансвельда гарротой.

Вот каких людей собрался возглавить Генри Морган. И не видел помех этому плану, лишь бы тщательно подготовиться и взвесить все возможности. Он признавал достоинства героев этих историй, однако на крупное дело их не хватало. Слишком беспечными и тщеславными они были. Но придет день, и их помощь ему пригодится.

Когда Генри Морган вышел в плавание на «Ганимеде» с темнокожим Гриппо, Мансвельд был еще жив, а Бра-де-Фер состарился.

I

Пока Морган готовил «Ганимеда» к уходу в море, в Порт-Ройале царило возбужденное любопытство: такие странные припасы и оружие грузили на корабль. Привлеченные спокойной уверенностью молодого капитана, матросы наперебой просились в его команду. Он отобрал пятирх пушкарей, которые пользовались особым уважением. Когда «Ганимед» поставил паруса и выскользнул из гавани, с берега ему вслед смотрела толпа зевак.

Они направились к берегам Дариена, но долго не находили добычи, словно кто-то вымел с моря испанские суда. Но как-то утром вблизи Картахены они высмотрели вы-



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». III



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». VI

сокий красный корпус купеческого корабля. Капитан Морган спрятал свою команду. Нигде на «Ганимеде» не было видно ни одной живой души. Даже рулевой был укрыт в крохотной будочке, а над кормой само собой поворачивалось фальшивое штурвальное колесо. Они все ближе и ближе подходили к испанцу, и его команда перепугалась до смерти: корабль плывет, а им никто не управляет! Попахивало колдовством. Или, может быть, все там стали жертвой одной из тех неизвестных трагедий, про которые всегда толкуют матросы. Например, там побывала чума и теперь они могут забрать корабль себе и продать его? Но когда испанец подошел ближе, три замаскированные пушки изрыгнули ядра в одну цель. Руль разлетелся в щепки, и корабль зарыскал, потеряв управление. Тогда капитан Морган зашел ему в корму, куда не доставали бортовые пушки, и принялся всаживать в корпус ядро за ядром, пока флаг не пополз вниз. Это был его первый приз, первый плод тщательной подготовки.

Несколько дней спустя он встретил еще один испанский корабль и сблизился с ним бортами, чтобы пойти на abordаж. Испанцы сгрудились у фальшборта, готовясь отразить нападение, и тут в воздухе замелькали глиняные горшки с порохом, ударились о палубу в гуще защитников и взорвались. Спасаясь от смертоносных снарядов, испанцы с воплями метнулись к трапам.

Когда Генри Морган наконец вернулся на Тортугу, он привел туда четыре призовых корабля, не потеряв ни одного человека. Все оказалось так просто, как он и предполагал. И вот четыре лавровых венка победителю, который все обдумал и подготовил заранее. Просто надо мгновенно сделать то, чего от тебя не ждут. В этом весь секрет успешных войн.

Мансвельд был на Тортуге, когда туда вернулся Генри Морган, и его прищуренные глазки заблестели при виде такой добычи. Вскоре он послал за новым вожаком флибустьеров.

— Ты капитан Морган, который взял эти четыре приза в порту?

— Да, сэр, это я.

— А как тебе это удалось? Испанские корабли хорошо вооружены и бдительны.

— Удалось мне это, сэр, потому, что я хорошо подготовился. Много ночей я раздумывал над наилучшими способами. Я ошеломляю неожиданностью, сэр, где другие полагаются только на силу.

Мансвельд посмотрел на него с восхищением.

— Я готовлю поход, чтобы захватить остров Санта-Катарина,— сказал он.— А потом я осную республику флибустьеров, которые будут сражаться из патристических чувств. Хочешь быть вице-адмиралом в этом плаваньи? Говорят, я хорошо умею выбирать людей.

Имя Мансвельда гремело в морях, и Генри покраснел от радости.

— Очень хочу, сэр,— быстро ответил он.

Флотилия отправилась в путь, и капитан Морган был ее вице-адмиралом. Извергнутые кораблями оборванные орды ринулись на приступ, и у стен закипел беспощадный бой. Остров не мог выдержать ярости этого штурма, крепость сдалась. Тогда голландец-адмирал назначил собственное правительство и, оставив Генри Моргана своим заместителем, отправился собирать пополнения. Он и его корабль пропали без вести. Ходили слухи, что испанцы удавили его на Кубе.

А капитан Морган стал признанным главой флибустьеров. К его флотилии присоединялись все новые и новые корабли, чтобы плавать с ним, сражаться под его командой и делить его успехи. Он подошел к Пуэрто-Белло и разграбил город. Дома были сожжены, беззащитные жители лишены всего своего имущества, а многие и жизни. Когда корабли капитана Моргана ушли оттуда, к руинам уже подобралась свирепая заросль.

Десять лет плавал он по океану, среди островов и у зеленых побережий тропической Америки, и имя его стало самым знаменитым среди флибустьеров. Его слава влекла к нему пиратов со всего света. На Тортуге и в Гоаве его встречали восторженными криками. Когда он уходил в очередное плавание, от желающих отправиться с ним не было отбоя. Теперь все Братство почтительно ждало, чтобы капитан Морган выбил дно у винной бочки посреди улицы и огласил бы город дикими воплями. Но этого не случилось никогда. Он шествовал в ледяном спокойствии, облаченный в лиловый кафтан, серые чулки и серые башмаки с бантами. На боку у него висела тоненькая, как карандаш, шпага в серых шелковых ножнах.

Вначале матросы пытались держаться с ним на товарищескую ногу, но он отпугивал их сухими оскорблениями. Уроки, преподанные ему рабами на плантации, жили в его памяти. Он не заискивал ради хвалы и преданности, и Вольное Братство всячески их ему выражало, бросая свои жизни и судьбу на колени его успеха.

Десять лет сражений, грабежей, поджогов — и ему исполнилось тридцать. Седеющие волосы, казалось, прилегали к голове все более тугими завитками. Генри Морган преуспел, стал самым удачливым флибустьером, каких только знал мир, и остальные воздавали ему ту дань восхищения, которой прежде он так жаждал. Его враги — а любой испанец с деньгами был его врагом — содрогались при звуке его имени. Он стал для них таким же пугалом, как прежде Л'Оллоне и Дрейк.

Генри отправился с Гриппо на «Ганимеде» в твердой уверенности, что, слушая рев своих пушек, разносящих в щепы корму испанца, вопли и лязг оружия вокруг себя на испанской палубе, он испытает то жгучее счастье, по которому томилось его сердце. И был победоносный рев пушек, был победоносный лязг оружия, но он не испытал даже простого удовлетворения. Безымянный голод в нем рос и рвал когтями его сердце. Он ждал, что преклонение Вольного Братства прольет бальзам на рану его заветной мечты, что изумленный восторг, с каким пираты узрят плоды его подготовки и обдумывания, польстит его гордости, принесет ему радость. И он добился своего — они прямо-таки ластились к нему, но он обнаружил, что только презирает их за это, глупцов, которым так легко пустить пыль в глаза!

В славе своей Генри стал бесконечно одиноким. В тот неизмеримо далекий вечер старик Мерлин сказал правду: капитан Морган одержал победу, и в своей победе он был одинок, без единого друга. И надо было прятать жажду, снедавшую его сердце, надо было скрывать все страхи, печали, просчеты, неудачи и маленькие слабости. Те, кто следовал за ним, явились на зов его успеха, и при первом же признаке слабости они сразу отреклись от него.

Пока он искал и находил добычу, по перешейку прокрались слухи, разлетелись по островам, пробрались на корабли. Шепотом произносилось имя, и люди жадно слушали.

«В Панаме живет женщина, прекрасная, как солнце. В Панаме ее называют Санта Роха — Красная Святая. И все мужчины склоняют перед ней колени».

Вот что твердили шепотки. Их голос креп, становился все громче, и в тавернах уже начали пить за здоровье Санта Рохи. Молодые моряки шептали про нее в темные часы собачьей вахты: «В Золотой Чаше есть женщина,

и все мужчины падают перед ней ниц, как язычники перед солнцем!» О ней говорили вполголоса на улицах Гоава. Никто сам ее не видел, никто не мог сказать, какой румянец играет на ее щеках, какого цвета ее волосы. И все же через два-три года на всем широком буйном флибустьерском море не нашлось бы человека, который не пил бы за здоровье Красной Святой, не грезил бы о ней, а многие молились Санта Рохе. Для каждого из них она стала звездой его сердца, приняв образ хорошенькой девочки, покинутой на каком-нибудь европейском берегу, образ, великолепно расцвеченный прошедшими годами. И каждому из них Панама мнилась венцом его желаний. Странное дело! Вскоре, какой бы разговор ни завязывался в компании мужчин, в нем непременно упоминалась Санта Роха. Она сладким бредом туманила рассудок грубых пиратов — новоявленная Святая Дева, которой они воздвигли алтарь. Многие так и говорили, что Дева Мария спустилась на грешную землю, чтобы вновь жить среди людей, и добавляли ее имя к своим молитвам.

Так вот, когда капитан Морган взял Пуэрто-Белло, губернатора Панамы изумило и восхитило, что шайка разнузданных оборванцев, никогда в жизни не носивших королевских мундиров, сумела захватить такой город, и он отправил туда гонца с просьбой прислать ему хотя бы маленький образчик оружия, которое сделало возможным подобное. Капитан Морган отвел гонца в комнатку, пощаженную отбушевавшим пожаром.

— Видел ли ты женщину, которую называют Красной Святой? — спросил он.

— Сам я ее не видел, нет, но я про нее слышал. Молодые люди в своих молитвах ставят выше нее лишь Пресвятую Деву. Говорят, она прекрасна, как солнце.

— А как ее зовут, кроме Санта Роха?

— Не знаю. Я только слышал, что она прекрасна, как солнце. В Панаме говорят, что она из Корловы и жила в Париже. Говорят, она из знатного рода. Говорят, она скачет на могучих конях по лугу за высокой и густой живой изгородью и сидит в седле, как мужчина. Говорят, шпага у нее в руке, словно живая, и фехтует она искуснее любого мужчины. Но всем этим она занимается втайне, чтобы никто не мог подсмотреть такого преступления против женской скромности.

— Ну что же, — сказал капитан Морган, — если она и вправду красива, так к чему ей скромность? Женская скромность похожа на мушку, которую наклеивают на ще-

ку, когда ждут гостей,— пленительное кокетство. Но я хотел бы посмотреть, как она ездит верхом! И больше ты про нее ничего не знаешь?

— Да только то, что болтают в тавернах, сударь,— что она украла молитвы, которые прежде возносили святым и мученикам.

Капитан Морган, откинувшись на спинку кресла, погрузился в глубокую задумчивость, и гонец терпеливо ждал, чтобы он снова заговорил. Наконец Генри помотал головой, словно стряхивая паутину мыслей, вытащил из-за пояса пистолет и протянул гонцу.

— Отвези его дону Хуану Перессу де Гусману и скажи, что вот таким оружием мы пользовались, повергая в прах Пуэрто-Белло. Но у меня есть и другое оружие — доблестные сердца тех, кем я командую. Их я не стану посылать ему поодиночке, но всех разом. И скажи ему, чтобы он поберег пистолет ровно год, а тогда я сам явлюсь в Панаму, и он отдаст мне его из рук в руки. Ты понял?

— Да, сударь.

Но через несколько дней гонец вернулся с пистолетом и большим квадратным изумрудом, вделанным в кольцо.

— Мой господин просит вас принять этот камень в знак его уважения. Он просит вас не затрудняться и не посещать Панамы, иначе долг возьмет верх над восхищением и вынудит его повесить вас на первом же дереве.

— Прекрасные слова, — сказал капитан. — Прекрасные, мужественные слова. Я бы хотел познакомиться с доном Хуаном, хотя бы скрестив с ним шпагу. Уже давно никто не бросал мне вызова. А что нового узнал ты про Санта Роху?

— Только то, что говорят на улицах, сударь. Чтобы услужить вам, я старался расспрашивать побольше. Мне сказали, что из дома она всегда выходит под темным покрывалом, чтобы никто не мог увидеть ее лица. Некоторые думают, что она надевает его для того, чтобы повстречавшиеся ей бедняги не накладывали на себя руки от любви. Вот и все, что я сумел узнать. Прикажете еще что-нибудь передать от вас, сударь?

— Просто повтори, что я явлюсь в Золотую Чашу до истечения года.

III

Всю жизнь его воля уподоблялась железному флюгеру, который указывает лишь одно направление, но само оно меняется. Индии, море, богатая добыча, слава — все это,

казалось, обернулось обманом. Словно то, к чему прикасались его пальцы, тут же увядало и съезживалось. И он был одинок. Подчиненные питали к нему уважение и благоговейный угрюмый страх. Они трепетали перед ним, но это уже перестало льстить его тщеславию.

И он подумал, не поискать ли среди них себе друга. Однако так долго он никого не допускал в крепость своей души, так долго пребывал в ней совсем один, что мысль эта ввергла его в непривычное, мальчишеское смущение. Да кто из них мог бы стать его другом? Ему припомнились их угрюмые взгляды, алчный блеск в их глазах, когда делалась добыча... Нет, он не чувствовал к ним ничего, кроме презрения.

И все-таки был среди них один — молодой француз по прозвищу Кёр-де-Гри. Капитан Морган видел его в деле, когда он, как гибкий зверь, прыгал на вражескую палубу и его шпага вспыхивала то тут то там гибким язычком серебряного пламени. Тонкое узкое лезвие он предпочитал абордажной сабле. И в ответ на приказ этот юноша улыбался капитану Моргану. Да, в глазах у него было почтение, но ни тени страха, зависти или подозрения.

«Пожалуй, этот Кёр-де-Гри мог бы стать моим другом,— размышлял Генри Морган.— Говорят, за ним тянется след разбитых сердец от Кубы до Сент-Кита, и почему-то из-за этого я его чуть побаиваюсь».

Капитан Морган послал за ним, а когда он пришел, не сразу нашелся, что ему сказать.

— А... Как тебе здоровье, Кёр-де-Гри?

Юношу ошеломило, что капитан питает к нему столь теплый интерес.

— Спасибо, сэр. Я здоров. Вы хотите мне что-нибудь приказать?

— Приказать? Да нет. Я... Мне просто захотелось с тобой поговорить. Вот и все.

— Поговорить со мной, сэр? Но о чем?

— Ну... Как там поживают малютки, которых ты, по слухам, бросаешь в каждом порту? — спросил капитан с вымученной шутливостью.

— Слухи добрее ко мне, сэр, чем судьба.

Генри Морган взял быка за рога.

— Вот что, Кёр-де-Гри! Неужели тебе не приходит в голову, что мне, может быть, нужен друг? Неужели ты не можешь понять, что я одинок? Вспомни, как все мои подчиненные меня боятся! Они приходят ко мне за распоряжениями, а не просто посидеть и поболтать. Я знаю,

что сам тому причиной. Прежде это было необходимо, потому что мне нужно было сперва добиться уважения, чтобы потом мне подчинялись беспрекословно. Но теперь я иногда был бы рад рассказать о своих мыслях, поговорить о чем-нибудь, кроме войны и добычи. Десять лет я рыскал по морям, как волк, и у меня нигде нет ни единого друга... И я хочу сделать тебя моим другом, во-первых, потому, что ты мне нравишься, а во-вторых, потому, что у тебя нет ничего, на что я, по твоему мнению, мог бы позариться. И потому ты можешь относиться ко мне по-дружески, без всякого страха. Даже странно, до чего подозрительно смотрят на меня люди, находящиеся под моей командой. После каждого плавания я строго во всем отчитываюсь, но стоит мне заговорить с ними дружески, и они головой будут об стенку биться, стремясь разгадать, что такое я замыслил. А ты будешь моим другом, Кёр-де-Гри?

— Конечно, буду, мой капитан, и знай я, какие у вас мысли, так давно бы уже им стал. Чем я могу служить вам, сэр?

— Ну, просто иногда приходи поболтать со мной и немножко доверься мне. У меня ведь только одна причина — мое одиночество... Но ты говоришь и держишься, как человек благородного происхождения, Кёр-де-Гри! Могу я спросить, из какой ты семьи? Или, как многие и многие в здешних морях, ты кутаешься в свое прозвище, точно в плащ?

— С моей семьей дело самое простое. Говорят, моим отцом был великий Бра-де-Фер, но кем он сам был, не знает никто. И прозвище мне дали вроде того, какое взял себе он: Серое Сердце — Железная Рука. Моя мать — одна из вольных женщин в Гоаве. Родила она меня в шестнадцать лет. Происходит из очень старинного рода, но гугенотского. После Варфоломеевской резни мои предки лишились всех своих имен. И совсем обнищали к тому времени, когда родилась моя мать. Как-то она была схвачена на парижской улице и отправлена в Гоав на корабле, который вез туда бродяжек и уличных побирушек. А там ее скоро нашел Бра-де-Фер.

— Но ты говоришь, что она вольная женщина, — сказал Генри Морган, шокированный таким бесстыдством молодого человека. — Ведь, конечно же, с тех пор, как ты ушел в море, она оставила этот... это ремесло. Того, что ты привозишь домой, достаточно для вас обоих, и с лихвой.

— Так-то так, но она продолжает свое. А я молчу, потому что не вижу, почему я должен стать помехой в том,

что она считает серьезным и важным делом. Она гордится своим положением, гордится, что ее навещают лучшие люди в порту. И ей приятно, что в свои без малого сорок лет она берет верх над желторотыми дурочками, которые каждый год приезжают туда. С какой стати мне менять достойный, приятный ей образ жизни, даже если бы я мог? Нет, она милая, очаровательная женщина и всегда была мне хорошей матерью. У нее есть только один недостаток — слишком уж она щепетильна во всяких пустяках. Пока я дома, она меня все время пилит, и рыдает, когда я уйду в море. И полна страха, что я свяжусь с женщиной, которая меня погубит.

— Но ведь это странно, не так ли? Если вспомнить, какую жизнь она ведет,— сказал Генри Морган.

— Почему странно? Разве у тех, кто занимается этим древним ремеслом, мозг устроен иначе? Нет, сэр, поверьте мне, жизнь ее безупречна: молится она утром, днем и вечером каждый день, а дом содержит в такой чистоте, в таком порядке, что в Гоаве прекрасней его не найти. Да вот, сэр, в прошлый раз я хотел подарить ей шарф, который достался мне при дележке, тонкий, как паутинка, расшитый золотом. Но она наотрез от него отказалась. Ведь он обвинял шею женщины, которая исповедует веру римской церкви, и доброй гугенотке не подобает надевать его. А как она тревожится за меня, когда я в море! Ужасно боится, что я буду ранен, но куда хуже страшится за мою душу. Вот и все, что я знаю о моей семье, сэр.

Капитан Морган отошел к шкафу и достал несколько кувшинчиков необычной формы с перуанским вином. У каждого кувшинчика было два горлышка, и пока из одного лилось вино, второе издавало переливчатый свист.

— Я нашел их на испанском корабле,— сказал он.— Ты выпьешь со мной, Кёр-де-Гри?

— Это для меня большая честь, капитан.

Они долго сидели, молча прихлебывая вино, а потом капитан Морган сказал задумчиво:

— Наверное, Кёр-де-Гри, тебя в один прекрасный день очарует Красная Святая, и весь панамский рой набросится на нас со злобным жужжаньем. Уж, наверное, ее стерегут даже ревнивее, чем когда-то стерегли Прекрасную Елену. Ты ведь слышал про Красную Святую?

Глаза молодого человека пылали огнем, который зажгло вино.

— Слышал ли? — произнес он тихо.— Сэр, я грезил о ней во сне и звал ее. И я ли один? Кто в этой части

мира не слышал о ней? И кто знает о ней хоть что-нибудь? Странно, какое волшебство заключено в имени этой женщины. Санта Роха! Санта Роха! Оно творит страсть в сердце каждого мужчины — не деятельную страсть, когда цель достижима, но желание-мечту — «будь я красавцем... будь я принцем...» — вот такое желание. Юноши строят безумные планы — пробраться в Панаму переодетыми, взорвать город порохом, и грезят, как увезут оттуда Красную Святую. Сэр, мне довелось услышать, как матрос, совсем сгнивший от дурной болезни, шептал ночью: «Не пристань ко мне эта язва, я бы отправился искать Санта Роху». Моя мать у себя в Гоаве совсем извелась от страха, что я сойду с ума и кинусь в Панаму. Эта непонятная женщина внушает ей ужас. «Держись от нее подальше, сын! — говорит она. — Это дурная женщина, она дьяволица и уж, конечно, католичка!» И ведь мы не знаем ни одного человека, который ее видел бы своими глазами. Мы даже не знаем точно, что и вправду в Золотой Чаше есть такая женщина — Красная Святая. Ах, она заполнила все наше море грезами — грезами неуголимой страсти. Вы знаете, сэр, я иногда думаю, что из-за нее Золотую Чашу, быть может, ждет судьба Трои.

Генри Морган вновь и вновь наполнял рюмки. Он сторбился в кресле, и губы его тропула кривая улыбочка.

— Да, — сказал он тихо, — она угрожает миру между народами и душевному миру мужчин. Разумеется, все это нелепый вздор. Вероятно, это хитрая баба, которая черпает свои прелести из легенды. Но что породило легенду? Твое здоровье, Кёр-де-Гри. Ты будешь мне хорошим другом и верным?

— Да, мой капитан.

И вновь они замолчали, потягивая густое вино.

— Но какими страданиями грозят женщины! — сказал Генри Морган, как будто и не прерывая своей речи. — Они словно носят с собой боль в дырявом мешке. Говорят, ты часто любил, Кёр-де-Гри. И ты не чувствовал боли, которая в них?

— Нет, сэр. Вроде бы нет. Да, на меня нападали сожаления, бывало и грустно — с кем так не бывает? Но чаще от женщин я получал только радость.

— А, счастливцев! — сказал капитан. — Любимчик удачи, раз ты не изведал этой боли. Всю мою жизнь отравила любовь. И жизнь, которую я веду, была мне навязана погибшей любовью.

— Как же это случилось, сэр? Я бы никогда не подумал, что вы...

— Знаю. Я знаю, как должен был я измениться, раз даже тебе немножко смешно, что я был влюблен. Теперь бы я уже не смог завоевать сердце графской дочери.

— Графской дочери, сэр?

— Да, она была дочерью графа. Мы любили слишком самозабвенно... слишком страстно. Однажды она пришла ко мне в розовый сад и провела в моих объятиях всю ночь до зари. Я хотел бежать с ней в какую-нибудь неизвестную чудесную страну и утопить ее титул в море, укрывшем нас. Быть может, я сейчас жил бы мирно в Виргинии и маленькие радости теснились бы вокруг меня.

— Как это горько, сэр! — Кёр-де-Гри от души ему сочувствовал.

— Ну что же... Ее отцу донесли. Темной ночью меня скрутили сильные руки, а ее... — о милая Элизабет!.. — ее оторвали от моей груди. Меня, связанного, тут же отвезли на корабль и на Барбадосе продали. Пойми же, Кёр-де-Гри, какая отрава разъедает мое сердце! Все эти годы ее лицо было со мной во всех моих скитаниях. Порой мне кажется, что я все-таки что-то мог бы сделать... Но ее отец был могущественным лордом.

— И вы не вернулись к ней, сэр, когда годы вашей кабалы истекли?

Генри Морган вперил тяжелый взгляд в пол.

— Нет, мой друг, так и не вернулся.

IV

Легенда о Красной Святой оплела его сознание, как мощная лиана, и с запада все чаще доносился голос, моля и высмеивая, язвя и обольщая Генри Моргану. Он забыл море и свои праздные корабли. От долгого безделья флибустьеры совсем обнищали. Они валялись на палубах и поносили своего капитана, сонного лептя. А он отчаянно вырывался из тугой сети грез и спорил с голосом.

«Да проклянет бог Санта Роху за то, что она сеет безумие в мире. Из-за нее отпетые головорезы воют на луну, как влюбленные псы. Она сводит с ума неутолимой любовью. Я должен что-то сделать — сделать что угодно, лишь бы избавиться от пут этой женщины, которую никогда не видел. Я должен уничтожить призрак! Захватить Золотую Чашу — это пустые мечты. Нет, как видно, желаю я только смерти!»

И ему вспомнился голод, который заставил его покинуть Камбрию, ибо стал он вдвое сильнее и мучительнее.

Мысли мешали ему уснуть. Когда следом за усталостью все-таки прокрадывалась дремота, вместе с ней являлась Санта Роха.

«Я захвачу Маракайбо! — вскричал он в отчаянии. — Утолю эту жажду кубком ужасов. Я разграблю Маракайбо, разорву в клочья и брошу истекать кровью на песке!»

(А в Золотой Чаше живет женщина, и ей поклоняются за ее никем не исчисленные чары.)

«Встреча у острова Вака! Созывайте все доблестные души со всей шири моря! Мы отправляемся за несметными сокровищами!»

Его корабли помчались к бухте Маракайбо, и город отчаянно оборонялся.

— Прорывайтесь во внутреннюю гавань! Да, под пушками!

Пушечные ядра визжали в воздухе и выбивали из стен фонтаны мусора, однако защитники держались стойко.

— Не сдаются? Тогда на приступ!

Через стены полетели горшки с порохом, разрывая на куски и калеча всех вокруг.

— Кто эти волки? — кричали защитники. — Братья, мы должны сражаться насмерть. И не просить пощады, братья. Если мы дрогнем, наш любимый город...

К стенам приставили лестницы, и по ним с ревом устремилась вверх волна нападающих.

— Святой Лаврентий, укрой нас! Спаси! Это не люди, а дьяволы. Услышь меня! Услышь меня! Пощады! Иисусе, где ты?

— Крушите стены! Не оставьте камня на камне!

(В Золотой Чаше живет женщина, и она прекрасна, как солнце.)

— Пощады не давать! Бей испанских крыс! Убивай всех до единой!

И Маракайбо лег к его ногам, умоляя о милосердии. Двери срывались с петель. Из комнат вытаскивалось все, что можно было вытащить. Женщин согнали в церковь и заперли там. Затем к Генри Моргану привели пленников.

— Сэр, вот этот старик... У него, конечно, спрятаны большие богатства, но мы не сумели их найти.

— Ну, так суньте его ноги в огонь! Глупый старый осел! Руки ему переломайте... Не говорит где? Так закрутите ему ремнем голову!.. Да убейте же его, убейте! Пусть не вопит... Может быть, у него и правда никаких сокровищ не было.

(В Панаме живет женщина...)

— Выскребли все золото до последней крупинки? Назначьте выкуп за город. После таких трудов нам положены большие богатства.

На помощь городу отправилась испанская флотилия.

— Подходят испанские корабли? Будем с ними драться! Нет, нет! Скроемся от них, если сумеем. Наши корабли гружены их золотом и низко сидят в воде. Перебейте пленных!

(...и она прекрасна, как солнце.)

Капитан Морган покинул разрушенный Маракайбо. Его корабли увозили двести пятьдесят тысяч золотых монет, и шелка, и серебряную посуду, и мешки пряностей. Увозили они и золотую утварь из собора, и одеяния, богато расшитые жемчугом. А город лежал в развалинах и пылал.

«Мы богаче, чем могли мечтать. Как будет ликовать Тортуга, когда мы вернемся. Все до единого герои! И буйства наши будут неописуемы!»

(Санта Роха в Панаме.)

«О господи! Раз так, то так! Но, боюсь, найду я только смерть. Ведь об этом и помыслить страшно. Но раз есть у меня такое желание, я должен ему подчиниться, пусть и погибну». И он призвал к себе юного Кёр-де-Гри.

— Ты отличился в этой битве, мой друг.

— Делал то, что надо было, сэр.

— Но сражался ты прекрасно. Я видел тебя в бою. И назначаю тебя моим лейтенантом в походах, моим заместителем. Ты храбр, разумен, и ты мой друг. Тебе я могу доверять, а кто из моих людей снесет бремя моего доверия, если ему окажется выгоднее его нарушить?

— Это большая честь, сэр. И я отплачу вам верностью. Моя мать будет довольна.

— Да,— сказал капитан Морган,— ты юный глупец, но в нашем деле это большое достоинство, когда есть кому тебя вести. Все они сейчас рвутся назад, на Тортугу, чтобы поскорее расшвырять свои деньги. Они бы руками потащили корабли туда, будь такое возможно. А что ты делаешь со своей долей, Кёр-де-Гри?

— Половину отдам матери. А оставшуюся половину поделю: одну часть припрячу, а на вторую по пьянству денек-другой, а то и неделю. После сражений хорошо побыть мертвецки пьяным.

— Опыание никогда мне удовольствия не доставляло,— сказал капитан.— Во мне только пробуждается пс-

чаль. Но у меня есть новый замысел. Кёр-де-Гри, какой город в западном мире самый богатый? Какое место останется недоступным для Братства? Где мы все могли бы приобрести миллионы?

— Но, сэр, не хотите же вы... Не думаете же вы, будто возможно взять...

— Я возьму Панаму. Да-да, Золотую Чашу.

— Но как? Город надежно охраняют стены и войско, да и хорошей дороги через перешеек нет, только тропки. Как же вы это сделаете?

— Я должен взять Панаму. Я должен захватить Золотую Чашу! — Зубы капитана свирепо сжались.

А Кёр-де-Гри чуть-чуть улыбнулся.

— Чего ты ухмыляешься? — крикнул капитан Морган.

— Вспомнил, как я недавно сказал, что Панама, возможно, ждет судьба Трон.

— А! Ты думаешь про эту безымянную женщину? Выкинь ее из головы! Возможно, ее вообще не существует.

— Но, сэр, мы ведь и так уже богаты.

— Неплохо стать еще богаче. Мне надоело грабить. Я хочу надежно себя обеспечить.

Кёр-де-Гри перенительно помолчал, а его глаза словно спрятались за легким покрывалом.

— Когда мы придем в Панама, сэр, как бы все не передрались между собой из-за Красной Святой!

— Можешь не сомневаться, я сумею поддержать порядок среди моих людей — строжайший порядок! — пусть мне придется ради этого перевешать половину их. Не так давно я отправил вестника в Панама сказать, что сам туда явлюсь, но это была шутка. А теперь я думаю, не принялись ли они укреплять город? Но, быть может, и они сочли это шуткой. А теперь иди, Кёр-де-Гри, и никому ни слова! Назначаю тебя моим послом. Пусть мои люди швыряют золото направо и налево. Поощряй азартные игры — уже сейчас, на корабле. Подавай им пример в тавернах, пример мотовства. И тогда они волей-неволей должны будут отправиться со мной. На этот раз мне нужна целая армия, мой друг, и все равно мы можем погибнуть все до одного. Как знать, не высшая ли это радость в жизни — рисковать ею? Послужи мне хорошо, Кёр-де-Гри, и, быть может, в один прекрасный день ты станешь богаче, чем мог бы даже вообразить!

Кёр-де-Гри задумчиво прислонился к мачте.

«Наш капитан, наш холодный капитан попался на этот чудесный неясный слух. Как странно! Словно Красную

Святую похитили из моих объятий. Моя мечта осквернена. И, может быть, все они, когда узнают, тоже ощутят горечь невозвратимой утраты... и возненавидят капитана за то, что он украл их заветное желание».

V

Сэр Эдвард Морган руководил вторжением на Синт-Эустатиус. В разгар битвы гибкий коричневый индеец, незаметно подкравшись, всадил длинный нож ему в живот. Вице-губернатор сжал губы в узкую прямую линию и осел на землю.

«Мои белые штаны совсем испорчены,— подумал он.— И зачем этому дьяволу понадобилось заколоть меня, когда дело шло так хорошо! Я удостоился бы особой благодарности его величества, а теперь меня уже не будет на Ямайке, чтобы получить ее. Боже! Он выбрал чувствительное место!»

Вот тут он и осознал всю глубину трагедии.

— Простой нож,— пробормотал он,— и в живот! Будь это шпага в руке равного... но какой-то нож — и в живот! Вид у меня, наверное, совсем неприличный — кровь, грязь. И я не в силах выпрямиться! О черт! Негодяй ударил в чувствительное место.

Подчиненные печально отвезли его в Порт-Ройал.

— Произошло неизбежное,— сказал он губернатору.— Подкрался ко мне с ножом и ударил меня в живот. Вероятно, у него не хватило роста ударить выше. Доложите о случившемся его величеству, прошу вас, сэр. Но, будьте так любезны, не упоминайте про нож... и про живот. А теперь не оставите ли вы меня наедине с моей дочерью. Мой час близок.

Элизабет склонилась над ним в сумраке затененной комнаты.

— Вы опасно ранены, отец?

— Да, очень опасно. Я сейчас умру.

— Вздор, батюшка, вы просто шутите, чтобы подразнить меня.

— Элизабет, разве это похоже на вздор? И когда ты слышала, чтобы я шутил? Мне надо сказать тебе многое, а время коротко. Как ты будешь жить? Денег почти не осталось. С тех самых пор, как король последний раз сделал заем, мы жили только на мое жалованье.

— Но о чем вы говорите, батюшка! Вы не можете умереть и оставить меня совсем одну, бросить меня в далекой колонии! Нет, не можете! Не можете!

— Могу или не могу, но я сейчас умру. Так обсудим это, пока есть время. Возможно, твой кузен, столь прославившийся разбосм, позаботится о тебе, Элизабет. Мне тягостна эта мысль, но... но... жить надо... очень надо. И все-таки он твой кузен.

— Не верю! Не хочу! Вы не можете умереть!

— Ты будешь гостить у губернатора, пока тебе не доведется встретиться с твоим кузеном. Объясни ему точно, как обстоят дела. Не заискивай... но и не будь слишком гордой. Помни, он твой кровный родственник, хотя и разбойник.— Его хриплое дыхание становилось все громче. Элизабет тихонько заплакала, как ребенок, который не может решить, больно ему или только кажется. Наконец, сэр Эдвард произнес с трудом: — Говорят, джентльмена можно узнать по тому, как он встречает смерть... но мне невыносимо хочется застонать. Вот Роберт застонал бы, если бы хотел. Конечно, Роберт был чудак... но все-таки... он же мой родной брат... и он визжал бы, если бы ему так хотелось. Элизабет, будь... добра... уйди из комнаты. Я очень сожалею... но я буду стонать. Никогда никому про это не говори... Элизабет... ты обещаешь... никому... не говорить про это?

Когда она вернулась в комнату, сэр Эдвард Морган был мертв.

VI

В Камбрию пришла весна, волной катясь из Индий и из жаркого сухого сердца Африки,— пятнадцатая весна с тех пор, как Генри покинул дом. Старому Роберту нравилось тешиться мыслью, что весну с тропических островов присылает в Камбрию его сын, и, как ни странно, он в это уверовал. Горы одевались зеленым пухом, а деревья расправляли на ветру нежные листочки.

Лицо старого Роберта затвердело. Губы его хранили не улыбку, а скорее, гримасу боли, словно какая-то мученическая улыбка замерзла на них еще в давнее время. Протекавшие годы были одинокими и бесплодными, они ничего ему не приносили. Теперь он понял слова Гвенлианы, что старость ничего с собой не приносит, кроме холодного тревожного ожидания — тупого сознания неизбежности... но чего? Быть может, он дожидался времени, когда Генри вернется к нему. Только навряд ли. Да и хочет ли он вновь увидеть Генри? Столько беспокойства. А старость чурается лишних беспокойств.

Очень долгое время он постоянно думал: «А что теперь делает Генри? Что он видит?» Но потом мальчик отступил куда-то, стал похож на людей в старинных книгах — не совсем настоящий, и все-таки настолько настоящий, что сохранялся в памяти. Впрочем, Роберт и теперь часто думал об этом абстрактном человеке — его сыне, о котором до него иногда доходили смутные слухи.

Проснувшись в одно прекрасное весеннее утро, Роберт сказал себе: «Сегодня я поднимусь на гору повидать Мерлина. Странно, что старик все еще жив под тяжелой громадой лет, исчисляющих его возраст. Ведь теперь их должно быть более ста. Тело его — иссохший листок, лишь намек на былую сильную плоть. Но Уильям говорит (если из слов Уильяма возможно извлечь смысл!), что голос его остается все таким же золотым и звучным и что он по-прежнему болтает всякую чепуху, которой в Лондоне не потерпели бы и минуты. Просто поразительно, как этот Уильям знать ничего не желает, кроме четырех дней, которые провел в Лондоне. Но надо сходить к Мерлину. Наверяд ли мне когда-нибудь доведется навестить его еще раз!»

Крутая каменистая тропа превратилась в орудие пытки, тем более мучительной, что пробуждала память о крепких ловких ногах и о легких, работавших ровно и безустанно, как кузнечные мехи. Некогда он мог на горном склоне обогнать любого, но теперь, пройдя десяток шагов вверх по крутизне, садился на камень перевести дух. Еще десяток шагов — и снова передышка, еще десяток... вверх, вверх по расселине, вверх, вверх через гребень... Когда наконец он вышел на Вершину, был уже полдень.

Мерлин открыл ему дверь прежде, чем он успел постучать, и Мерлин изменился не больше, чем арфы и наконечники копий на круглой стене. Казалось, он сбросил время с плеч, точно плащ. На лице Мерлина не было удивления, точно он знал об этом медленном паломничестве еще за тысячу лет до того, как Роберт ступил утром на крутую тропу.

— Очень давно, Роберт, не поднимался ты ко мне, и я давно не спускался в долину.

«Инну, инну, инну», — пропели арфы. Он говорил на языке их струн, и они отзывались, как дальний хор в литургии, которую служат горы.

— Но сегодня к тебе поднялся старик, Мерлин. Тропа — подлый враг, с которым трудно бороться. А ты все

такой же. Когда же настанет твой срок? Скажи, твои годы часто задают тебе этот вопрос?

— Честно говоря, Роберт, несколько раз я спрашивал себя, скоро ли, но всегда о стольких вещах еще надо было поразмыслить! И мне не удавалось выбрать свободной минуты, чтобы умереть. Ведь умри я, так, может быть, мне вообще больше не довелось бы думать. Ибо здесь, наверху, Роберт, боязливая надежда, которую жители долины называют верой, становится сомнительной. О, бесспорно, если бы вокруг меня толпы нескончаемо выпевали хором: «Есть добрый, мудрый Бог, и всем нам, конечно же, уготована жизнь после смерти!» — то я мог бы готовиться к жизни грядущей. Но здесь, в одиночестве, на полдороге к небесам, мне странно, что смерть прервет мои размышления. Горы ведь вроде припарки для абстрактной боли, и среди них человек смеется много чаще, чем плачет.

— Знаешь, — сказал Роберт, — моя мать, старая Гвенлиана, на смертном одре произнесла страшное пророчество. «Сегодня ночью наступит конец мира, — сказала она, — и не будет более земли под ногами».

— Роберт, мне кажется, она сказала правду. Мне кажется, ее предсмертные слова были правдой, чем бы ни оборачивались все остальные ее пророчества. Порой эта же мысль грызет и меня. Потому-то я и боюсь умереть, безумно боюсь. Если я тем, что живу, дарую жизнь тебе и постоянное обновление полям, деревьям, всему необъятному зеленому миру, то было бы чернейшим преступлением стереть это все, точно рисунок, набросанный мелом. Нет, я не должен... пока еще нет.

— Но довольно о дурных предчувствиях! — продолжал он. — Им чужд смех. Ты, Роберт, слишком долго оставался в долине среди людей. Твои губы смеются, но в твоём сердце нет веселья. Мне кажется, ты изгибаешь свои губы, словно прутья над ловушкой, для того чтобы спрятать свою боль от Бога. Некогда ты пытался смеяться от души, но не сделал одной необходимой уступки: не купил ценой легкой усмешки над самим собой права громко и долго смеяться над другими.

— Я знаю, что потерпел поражение, Мерлин, и с этим ничего не поделаешь. Видно, победа, удача — не в названии дело, — прячутся в немногих избранных, как молочные зубы прячутся в деснах. В последние годы этот твой Бог вел со мной беспощадную расчетливую игру. Иной раз мне даже казалось, что он передергивает.

Мерлин произнес медленно:

— Когда-то я сел сыграть с милым юным козлоногим богом. Эта игра и привела меня сюда. Но я-то сделал великую уступку и расписался под ней печальным смехом. Роберт, некоторое время назад я как будто бы слышал, что ты помешался в уме... Словно бы однажды Упльям, проходя мимо, остановился и сказал, что ты совсем ополоумел. Ты занимался какими-то непотребствами в своем розовом саду, не так ли?

Роберт горько усмехнулся.

— Еще одна подножка этого твоего Бога,— ответил он.— Послушай, как все было на самом деле. Я обрывал с розовых кустов увядшие листья, и вдруг мной овладело желание сотворить какой-нибудь символ. Ничего страшного! Сколько раз люди останавливались на вершине холма и раскидывали руки? Сколько раз падали на колени в молитве и осеняли себя знаком креста? Я сорвал увядающую розу, подбросил ее, и вниз посыпался дождь лепестков. Знамение и история всей моей жизни в одном-единственном движении! Но тут меня поразила красота белых лепестков на черной земле, и я забыл про свой символ. Я подбрасывал цветок за цветком, пока земля не покрылась душистым снегом. Потом поднял голову и увидел, что у ограды стоят люди и смеются надо мной. Они возвращались из церкви. «Хе-хе,— смеялись они,— Роберт снятил! Хе-хе! Разум его помутился от дряхлости. Хе-хе! Он обрывает лепестки, как малый ребенок!» Только охваченный безумием Бог мог бы допустить подобное.

Мерлин вздрагивал от беззвучного смеха.

— Ах, Роберт, Роберт! Благородно ли винить людей за то, что они обороняются от тебя? Мне кажется, люди и бог для тебя одно и то же. Наберись в долине десятков людей, которым лепестки роз на черной земле показались бы красивыми, ты был бы только чудаком, диковинкой, на которую любопытно взглянуть. По воскресеньям они приводили бы в твой дом приезжих гостей, чтобы похвастаться тобой. Но раз таких людей там нет, то ты, естественно, вольнодумец, которого надо бы посадить под замок или просто повесить. Ведь когда человека объявляют сумасшедшим, это равносильно тому, что его разум вздергивают на виселицу. Если о нем шепнут, будто в голове у него помутилось, что бы он потом ни говорил, слова его не будут иметь никакого веса и останутся только предметом насмешек. Как ты не видишь, Роберт? Идеи и понятия, которых люди не могли постигнуть, столь часто ранили их, ловили в капканы, подвергали пыткам, что все, превосходя-

щее их понимание, они привыкли считать дурным и вредным — злом, которое должен растоптать и уничтожить первый, кто на него наткнется. Подобным способом люди просто защищаются от ужасных ран, которые могут нанести им хилые ростки непостижимого, если допустить, чтобы они набрали силу.

— Знаю,— сказал Роберт.— Все это я знаю и не возмущаюсь. И горько сетую только на то, что единственное мое имущество — мешок неудач и потерь. Я владею только воспоминаниями о том, что некогда принадлежало мне. Может, так даже и лучше, ибо, мне кажется, теперь я люблю утраченное горячее, чем любил, когда оно у меня было. Но я не могу понять, почему и как горстка избранных рождается, уже неся в себе удачу. Мой собственный сын, если ветер доносит до меня правду, одно за другим завосвыывает свои желания и сохраняет их.

— Да, ведь у тебя был сын, Роберт. Сейчас я вспомнил. По-моему, я предсказал, что он, если вовремя не возмужает, будет властвовать над каким-нибудь миром.

— Так и произошло. Новости о нем прилетают с южным ветром, легким и капризным. Крылья слухов — крылья пестопыря. Говорят, он управляет несобузданной пиратской вольницей, берет города и отдает их на разграбление. Англичане ликуют, называют его героем и патриотом, как порой и я сам. Но, боюсь, будь я испанцем, он оказался бы только удачливым разбойником. Я слышал, хотя не верю этому... не хочу верить... что он пытается пленных.

— Итак,— задумчиво произнес Мерлин,— он все-таки стал тем великим человеком, каким, по его убеждению, ему хотелось стать. Если это так, значит, он не взрослый мужчина, а все еще маленький мальчик и тянет руки к луне. И, вероятно, порядком из-за этого несчастен. Те, кто утверждает, будто дети счастливы, успели забыть собственное детство. Любопытно, насколько еще ему удастся оттянуть возмужание? Роберт, ты видел крупных черных муравьев, которые рождаются с крыльями? Дня два они летают, а потом сбрасывают крылья, падают на землю и до конца своих дней ползают по ней. Так вот я и спрашиваю себя, Роберт, когда твой сын сбросит крылья? Не правда ли, очень странно, сколь высоко почитают люди такое ползание и, как дети, тщатся до времени оборвать свои крылья, чтобы поскорее насладиться великолепием этого ползания.

— Что понуждает мальчиков вырастать в мужчин? — спросил Роберт.— Какие причины заставляют подгнивать корни их крыльев?

— Ну, у многих крыльев никогда и не было, другие оборвали их сами. Иногда это происходит мгновенно, иногда утомительно затягивается. Всех причин я не знаю, но мои крылья иссушила насмешка. Насмешка над собой. Я любил молоденькую девушку в долине — вероятно, она была красива. Лыщу себя мыслью, что и сам я был красив. Я сложил о ней песню и назвал ее Невестой Орфея. В то время я себе казался немножко Орфеем. Но она увидела в браке с полубогом преступление против естества. И прочла мне целую проповедь. Каждый человек, так она сказала, обязан во имя чего-нибудь — своей семьи, своей общины, самого себя (уж не помню точно) — добиваться в жизни успеха. Какого именно успеха, она толком не объяснила, но ясно дала понять, что песня служить фундаментом успеха не может. А от полубогов она открешивалась, особенно от языческих полубогов. Нашелся владелец домов и земли, который, к счастью, ни в чем не походил на полубога. Даже сейчас, на склоне лет, я со злорадством думаю, каким ничтожеством он был. Они поженились, и насмешка отгрызла мои крылья. Чтобы оборониться от этой крохотной буравящей насмешки, я мысленно прибегал к убийству, самоубийству, славным подвигам. Изнывая от стыда, я решил укрыть мои песни от всего света, чтобы люди никогда больше их не слышали. А свет даже не заметил, что я его покинул. Никакие люди не пришли молить меня, чтобы я вернулся, а я клялся, что они придут, непременно придут! Крылья у меня отвалились. Я стал взрослым мужчиной и никакой луны больше не хотел. Когда же я попробовал запеть снова, оказалось, что голос мой стал хриплым, как у погонщика скота, а песни мои отяжелели, потому что я все продумывал наперед.

— Любопытно, а как и почему вырос я? — сказал Роберт.— В памяти у меня не осталось ничего. Быть может, юность покидала меня, прилипая к монетам, а быть может, она и сейчас живет в странах, о которых я грезил. Но Генри наяву купается в своих грезах, и порой я ему люто завидую. Знаешь, Мерлин, очень странно... Моя мать, Гвенлиана, верила, будто у нее есть дар ясновидения, и мы ей потакали, потому что не хотели лишать ее радости. И вечером, перед тем как Генри ушел, она предсказала его будущую жизнь. Мерлин, почти каждое ее слово сбылось! Неужели мысли развертывались перед ней,

как свиток с цветными картинками? Это же очень странно, невероятно!

— Возможно, она распознала его желание и силу этого желания. Я научил старую Гвенлиану очень многому из того, что называют магией. Она обладала редкой способностью истолковывать знаки... и выражение лица.

Старый Роберт встал и потянулся.

— Ну, что же, мне пора. Спускаться по этой тропе такому старику, как я, и трудно, и долго, и тоскливо. Домой я доберусь только к ночи. Вон идет Уильям со своей киркой, он ведь с ней так и родился. Часть пути я пройду с ним и послушаю, как живут в Лондоне. Наверное, ты любишь слова, Мерлин, если у тебя их такой большой запас. А я, должно быть, люблю боль, раз сам себе ее причиняю. И, Мерлин, по-моему, ты фокусник и обманщик. Всякий раз я ухожу от тебя в убеждении, что ты изрекал великие истины, но потом никак не могу припомнить ни одной. По-моему, твой мягкий голос и звон твоих арф полны хитрых чар.

И, когда он начал спускаться по тропе, арфы пропели ему вслед «Прощание колдуна».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В 1670 году, когда Генри Морган задумал ее разрушить, Панама была чудесным городом — могущественным, процветающим — и по праву носила название Золотая Чаша. Никакое другое селение во всем грубом Новом Свете не могло сравниться с ней ни красотой, ни богатством.

За столетие с лишним до того времени Бальбоа достиг берега неведомого океана. Он облачился в начищенный панцирь и поножи, а потом вступил в воды Тихого океана и пошел вперед, пока ласковые волны не начали плескаться у его бедер. Тогда он обратился к морю с цветистой властной речью и объявил все омываемые им земли собственностью Испании. Он потребовал от него покорности и верности, ибо ему предстояло быть славным внутренним озером Кастильи и Арагона.

За спиной Бальбоа ютилась кучка тростниковых хижин — индейская деревня. Называлась она Панама, что на туземном языке означало «место, где хорошо ловится рыба». Когда испанские солдаты сожгли деревушку и на ее месте построили городок, они оставили ему название

«Панама», звучавшее, как песня. И вскоре смысл этого слова оправдался, ибо из этого городка Испания забросила сети на все четыре стороны света.

Педрериас Авила отправился с ними на север и опутал ими города древних майя. Часть своего улова он отправил в Панаму — змей странной формы, жуткие маски и крохотных жучков. Все они были из чистого золота. Когда украшений более не осталось, когда храмы превратились в пустые каменные пещеры, тогда Педрериас Авила бросил испанскую сеть на туземцев и бичами погнал их в рудники.

Писарро поплыл на юг с лошадьми, с солдатами в сверкающей броне, и могучее государство инков пало перед ним. Он убил правителей и разрушил машину правления. Затем алмазы, украшения с храмовых стен, золотые изображения солнца и церемониальные золотые щиты были отправлены в Панаму. А сломленный народ инков Писарро бичами загнал в рудники.

Сотня капитанов повела небольшие отряды на восток и на юго-восток, где свирепые индейцы Дариена обитали на деревьях и в пещерах. Здесь испанцы нашли кольца, вдевавшиеся в нос, ножные браслеты, ритуальные палочки и стержни орлиных перьев, набитые золотом. Все это сваливалось в мешки и на мулах отвозилось в Панаму. Когда ни в одной могиле не осталось ни единого золотого украшения, бичи принудили даже диких индейцев копать в земле.

На западе испанские корабли нашли много островков, в мелких бухтах которых можно было собирать жемчуг, если нырнуть поглубже. И вскоре уже обитатели островков ныряли в воды, кишевшие акулами. А в Панаму отправлялись мешочки с жемчужинами.

Древние чудесные изделия из золота, над которыми трудились искусные ремесленники, кончали свой путь в Панаме, где раскаленные тигли поглощали их, как пылающие нетерпением лакомки, и преобразовали в толстые золотые поленья. Склады ломились от золотых штабелей, ожидавших каравана в Испанию. Иногда на улицах складывались поленницы серебряных слитков, не уместившихся на складе. Впрочем, тяжесть надежно предохраняла их от воров.

А городок тем временем вырос и оделся великолепиям. Богатства поработанных народов употреблялись на постройку тысяч роскошных домов с красными крышами и небольшими внутренними двориками, где росли редкостные

цветы. Под воздействием бесформенных кусочков золота все искусства и удобства старой Европы устремлялись на запад, чтобы украсить дома панамцев.

Первые вторгшиеся на перешеек испанцы были жестокими и алчными грабителями, но с солдатской выучкой, не страшившиеся кровавых битв. Их небольшие отряды захватили Новый Свет почти без применения силы, только твердостью духа. Но когда народы Никарагуа, и Перу, и Дариена были превращены в стонающих рабов, когда опасность ушла в прошлое, в Панаме начали селиться люди из иного теста. Это были купцы, решительные и беспощадные, когда можно было с помощью закона отнять землю у ее владельца или поднять цены на съестные припасы, предназначенные для дальних колоний, но робкие и трусливые, когда сталь начинает звенеть о сталь.

Купечество вскоре подмяло под себя весь перешеек. Одни солдаты умерли, другим приелась скука мирных дней, и они отправились на поиски новых опасных земель, предоставив лавочникам превращать съестные припасы в орудия грабежа и соперничать между собой в пышности. Купцы тщательно отмеривали муку и вино, а взамен прятали в свои сундуки драгоценные камни и золотые слитки. Стакнувшись между собой, эти торгаша требовали за провизию одинаково большие деньги и воздвигали на выручку дома из кедра, крытые розовой черепицей. Своих женщин они одевали в заморские шелка, а на улицах каждого сопровождала огромная свита дворовых рабов.

В городе обосновалась компания генуэзских работорговцев, которые построили огромный сарай для своего товара. Там в расположенных ярусами клетках сидели чернокожие, пока их не выводили на свет, и покупатели, хорошенько ощупав каждого, рьяно торговались.

Красивый это был город — Панама. Две тысячи великолепных домов из кедра располагались вдоль главных улиц, а дальше стояли более скромные жилища приказчиков, посыльных и наемных королевских солдат. По окраинам теснились бесчисленные крытые листьями хижины, где помещались рабы. В центре города были воздвигнуты шесть церквей, два монастыря и величественный собор — во всех священная утварь из золота, усыпанные драгоценностями облачения. К этому времени в Панаме успели прожить свою жизнь и скончаться двое святых, пусть и не слишком известных, но все же заслуживающих, чтобы мощи их обрели достойные раки.

Большой квартал занимали здания, конюшни и казармы, принадлежавшие королю. Там в ожидании очередного каравана судов хранилась десятая часть всех даров здешней земли. В назначенное время волы отвозили королевскую долю на восточный берег перешейка, а там ее грузили на корабли. Панама содержала испанское королевство, оплачивала новые дворцы короля и войны, которые он вел. В благодарность за наличность, пополнявшую его казну, король возвысил Панаму. Она гордо именовалась «Высокоблагородным и верным городом Панамой» и была приравнена по рангу к Кордове и Севилье — разве не носили ее правители золотые цепи на шее? Даровал король своему верному городу и блистательный герб: щит на золотом поле, слева ярмо, а справа две каравеллы и горсть серых стрел. Сверху Полярная звезда — светоч мореходства, а львы и башни двух соединенных испанских королевств располагались вокруг щита. Воистину Панама принадлежала к самым возвышенным городам Мира!

В центре Золотой Чаши была широкая мощеная площадь с помостом посередине, на котором по вечерам играли музыканты. Жители города прогуливались под музыку и доказывали свою значительность, тщательно выбирая собеседников: купеческая аристократия была весьма надменной. Днем человек мог торговаться из-за цены на муку, как последний еврей, но вечером на городской площади он слезудостаивал поклона знакомых менее богатых, чем он сам, и чуть заметно заискивал перед более богатыми.

Безопасность изнежила их. Город слыл неприступным. С одной стороны его оберегал океан, свободный от чужеземных кораблей, а с трех остальных — крепкие стены и болота, которые с приближением опасности можно было затопить, что превратило бы город в настоящий остров. К тому же вражеской армии пришлось бы прорубить себе путь сквозь густые леса, пробраться по узким горным проходам, которые с успехом мог бы оборонять даже небольшой отряд. Так какому здравомыслящему военачальнику взбрело бы в голову напасть на Панаму? А потому, когда Кампече, и Пуэрто-Белло, и Маракайбо становились добычей флибустьеров, купцы Золотой Чаши только пожимали плечами и возвращались к своим обычным делам. Разумеется, весьма досадно, нет, даже очень печально, что их соотечественников постигла такая беда и они лишились всего своего добра, но чего еще им было ждать? Города-то их стояли не на том берегу! Панама могла жалеть их, но тревожиться? Господь добр, а дела идут... да-да, ужас-

но! Денег нет, а крестьяне заламывают разбойничьи цены.

Губернатором Золотой Чаши был дон Хуан Перес де Гусман, тихий вельможа, посвятивший жизнь тому, чтобы во всем являть себя истинным дворянином — и только. Он муштровал свою небольшую армию, менял один мундир на другой и заботливо устраивал браки своих родственников. Всю свою жизнь он был военным — быть может, плохим начальником, но зато весьма видным офицером. Приказы подчиненным он писал великолепные, сдачи индейской деревушки требовал в безупречнейшем стиле. Панамцы любили своего губернатора. Он одевался так изысканно! И был так горд! Но обходителен. Каждый день, когда он скакал по улицам во главе конного отряда, они оглушали его приветственными криками... Если кому-то в душу и закрадывалась мысль о нападении врагов, она тут же исчезала, стояло вспомнить бравую посадку дон Хуана. Кровь его была самой благородной в городе, а его склады — самыми богатыми.

Так счастливо они и жили в Панаме: с наступлением жары уезжали в загородные поместья, а с наступлением сезона дождей возвращались в город на балы и ассамблеи. Именно такой была Золотая Чаша, когда Генри Морган задумал завладеть ею.

Однажды по Панаме поползли слухи, что чудовище Морган собрался на нее походом. Сначала жители только посмеивались, но вестники продолжали прибывать, и город предался лихорадочной деятельности. Жители спешили в церкви, исповедовались, прикладывались к мощам и бежали домой. Сотни священнослужителей торжественной процессией обходили городские улицы, неся чудотворные реликвии. Члены братства кающихся яростно бичевали себя и таскали по улицам тяжелый крест, чтобы все могли видеть истовость их покаяния. Проломы в стенах не чинились, проржавелые пушки не заменялись новыми. Дон Хуан отстаивал на коленях мессу за мессой, произносил речи перед обезумевшими от страха жителями и дал совет, чтобы город обошла процессия из всех духовных лиц.

Начались страшные рассказы: флибустьеры и не люди вовсе, а страшные звери с крокодильими головами и львиными когтями. Солидные люди рассуждали об этом на улицах.

— Да будет ваш день благословенным, дон Педро!

— Да благословит вас Пресвятая Дева, дон Гуеррмо!

— Что вы думаете об этих разбойниках?

— Ах! Ужас, дон Гуеррмо, ужас! Говорят, они не люди, а демоны!

— Но, по-вашему, правда ли, что сам Морган, как я слышал, имеет три руки и в каждой держит по сабле?

— Кто знает, друг мой! Дьявол ведь и не на такое способен. Кто знает пределы, положенные Силам Зла? Рассуждать об этом — кощунство.

И через несколько минут:

— Вы говорите, дон Педро, что слышали это от дон Гуеррмо? Он, конечно, не стал бы вторить глухим побасенкам — человек с его-то богатством!

— Я только повторяю его слова, что Морган посылает пули из каждого своего пальца, что он изрыгает серное пламя. Дон Гуеррмо прямо так и сказал.

— Пойду расскажу моей жене, дон Педро.

Вот так умножались эти истории, пока жители совсем не ополоумели. Вспомнились известия об ужасах, творившихся в захваченных городах, и купцы, которые тогда лишь пожимали плечами, теперь белели как полотно. Они не могли поверить... но должны были поверить, потому что пираты уже приближались к устью Чагреса и во всеуслышание объявили, что намерены захватить и разграбить Золотую Чашу. В конце концов дон Хуан был вынужден выйти из собора и отрядить пятьсот солдат в засаду у дороги через перешеек. Молодой офицер испросил аудиенцию.

— Ну-с, юноша,— начал губернатор,— что вам угодно?

— Если бы у нас были быки, ваше превосходительство, очень много диких быков! — вскричал офицер.

— Так найдите их! Пусть всю провинцию прочешут и поймают быков! Целую тысячу! Но зачем они нам?

— Мы выпустим их на врага, ваше превосходительство, и они его растопчут!

— Чудесный план! Гениальный стратег! Ах, дорогой друг, тысяча быков... Тысяча? Я пошутил! Пусть наловят десять тысяч самых диких быков!

Губернатор произвел смотр гарнизону — двум тысячам королевских солдат, а затем вернулся в собор и упал на колени. Дон Хуан не страшился битв, но, как благоразумный полководец, укреплял вторую линию обороны. К тому же то, что стоило так дорого, как заказанные им мессы, не могло не возыметь действия.

Первые слухи породили чудовищ. Перепуганные жители бросились закапывать свои драгоценности. Церковники бросали чаши и подсвечники на дно цистерн, а более ценные сокровища и реликвии замуровывали в подвалах.

Бальбоа укрепил бы стены и затопил бы подходы к городу. Армия Писарро к этому времени была бы уже на полпути к морю и там преградила бы путь флибустьерам. Но эти доблестные времена миновали. Панамские купцы думали только о своем имуществе, своей жизни и своих душах — в указанном порядке. Взяться за оружие? День и ночь заделывать проломы в стенах? А королевские солдаты на что? Им ведь платят хорошие деньги, чтобы они защищали город. Оборона? Пусть губернатор об этом заботится!

Дон Хуан провел смотр своего войска. А что еще мог сделать военачальник? Мундиры были выше всяких похвал, и его солдаты сделали бы ему честь на любом европейском смотре. Ну, а тем временем не повредит еще одна месса.

I

Пока флибустьеры швыряли на ветер сбросжения ограбленного Маракайбо, Генри Морган с головой ушел в планы нового завоевания. Для него требовалось много больше вольных бойцов, чем кому-либо удавалось собрать в прошлом. И посланцы капитана Моргана отправились во все концы флибустьерского моря. Весть достигла Плимута и Нового Амстердама. Даже до лесистых островов, где люди жили по образу и подобию обезьян, доходило его приглашение принять участие в неслыханном грабеже.

«Если мы добьемся своего, каждый станет богачом! — гласила весть. — Братство еще не наносило такого могучего удара. Мы оледеним ужасом самое сердце Испании. Наш флот собирается к октябрю у южного берега Тортуги».

И вскоре к месту встречи хлынули люди, направились суда и суденышки. Огромные новые корабли с белыми парусами и резными бушпритами, корабли, щетилящиеся бронзовыми пушками, гнилые посудины, до того обросшие под водой водорослями, что плыли они не быстрее носимых волнами стволов. Стекались туда шлюпы, и длинные канноэ, и плоскодонки, которых гнали по воде сильные удары весел. Добирались туда даже плоты под парусами, сплетенными из пальмового волокна.

Ну и, конечно, люди. Все хвастливое Братство Тортуги, старые опытные пираты из Гоава, французы, нидерландцы, англичане, португальцы — бесшабашные изгой со всего света. Рабы, бежавшие из испанской неволи, хотели принять участие в походе, потому что жаждали крови своих недавних хозяев. Рабы были карибами, неграми и белыми с изнурительной лихорадкой в крови. На пляжи лесистых островов выходили группы охотников и с первым попутным кораблем отправлялись на южный берег Тортуги.

Среди больших кораблей были фрегаты и галеоны, захваченные в былых схватках. Ко дню отплытия у капитана Моргана было под командой тридцать семь кораблей и две тысячи бойцов, не считая матросов и юнг. Среди разношерстных судов стояли в гавани и три стройных новых шлюпа из Новой Англии. Они явились не сражаться, а торговать — порох за долю в добыче, виски за золото. Порох и виски — два самых грозных орудия наступления. И еще эти торговцы из Плимута покупали старые бесполезные суда ради их железных частей и такелажа.

Капитан Морган отправил охотников в леса стрелять быков и суда на материк паграбить зерна. Когда они все вернулись, экспедиция была обеспечена провиантом.

Во всей этой многоязычной разношерстной толпе, собравшейся в завоевательный поход, только Кёр-де-Гри и Генри Морган знали, что именно предстоит им завоевать. Никому не было известно, куда они поплывут и с кем будут драться по прибытии на место. Полчища храбрых воров привлекло имя Моргана, они алчно полагались на его обещание неисчислимой добычи.

А Генри Морган не осмеливался назвать свою цель. Каким бы обаянием ни обладало его имя, флибустьеры не решились бы выступить против столь неприступной крепости. Если бы им дали время помыслить о Панаме, они в ужасе разбежались бы, ибо более полувека на всех островах только и говорили, что о том, какие могучие силы ревниво оберегают Золотую Чашу. Панама — город в небесной выси — почти неземная, почти потусторонняя и вооружена молниями. Правда, многие свято верили, что улицы там вымощены золотом, а окна в соборе вырезаны из цельных изумрудов, и эти легенды были достаточно заманчивы, чтобы у них не осталось времени вспомнить об опасности.

Когда корабли были проконопачены, днища их отскоблены, все паруса починены, пушки начищены и проверены, а трюмы загружены провиантом, только тогда Генри Мор-

ган созвал своих капитанов, чтобы подписать торжественный договор и разделить флотилию на отряды.

Они собрались в дубовой адмиральской каюте — тридцать капитанов, приведших свои корабли на место встречи. Фрегат капитана Моргана прежде был гордым испанским военным кораблем, и, пока не попал в пиратские руки, командовал им герцог. Каюта в панелях из темного дуба, со стенами, чуть закругленными кверху, походила на парадную гостиную. Потолок пересекали мощные балки, увитые резными лозами с пзящными листьями. На одной стене прежде красовался герб Испании, но лезвие кинжала соскоблело и сцарапало краску почти повсюду.

Капитан Морган сидел за широким столом с резными ножками в форме сказочных львов, а вокруг него на табуретах расселись тридцать командиров его флота и армии. Они нетерпеливо ждали его слов.

Был среди них невысокого роста хмурый капитан Сокинс, чьи глаза пылали фанатическим огнем пуританства. Он оправдывал свои убийства текстами из Писания и после успешного кровавого грабежа возносил благодарственную молитву с пунечного лафета.

Был там и Черный Гришо, уже старик, согбенный своими жалкими мерзостями. В конце концов он уверился, что его Бог — просто терпеливый полицейский, которого можно ловко провести. Совсем недавно он пришел к заключению, что сумеет очиститься от грехов, покайсявшись на исповеди во всей их совокупности, и невинным возвратиться в лоно матери-церкви. Вот это он и намеревался проделать, когда еще один поход принесет ему золотой подсвечник, чтобы поднести его отцу-исповеднику как залог благочестивых намерений.

Хольберт и Тенья, Сюлливен и Мейтер сидели на табуретах возле капитана Моргана. В темном углу примостились двое неразлучных друзей, известных всему Братству. Называли их просто Этот Бургундец и Тот Бургундец. Первый был невысокий толстяк с лицом, как багровое опухшее солнце, нервный и застенчивый. Он изнывал от смущения, едва чем-нибудь привлекал к себе внимание. Когда он говорил, его лицо багровело еще больше, и он становился похожим на клопа, который отчаянно ищет щель, куда бы спрятаться. Его товарищ Тот Бургундец служил ему защитником и поводырем. Тот Бургундец был выше ростом и крепче сложен, хотя и лишился левой руки по локоть. Ходили они, сидели — их всегда видели вместе. Говорили они редко, но правая, целая рука Того Бургунд-

ца неизменно покровительственно обвивала толстые плечи его коротышки друга.

Капитан Морган придал своему голосу жесткость и холодность. В глубокой тишине он прочел условия договора. Тот, кто привел свой корабль, получит такую-то и такую-то плату, плотнику с собственными инструментами назначается такое-то вознаграждение, такие-то суммы откладываются для близких тех, кто падет. Затем он перешел к наградам: столько-то тому, кто первым увидит врага, столько-то тому, кто первый убьет испанского солдата, столько-то тому, кто первым ворвется в город. Он прочел договор до конца.

— А теперь подписывайте! — приказал капитан Морган, и они начали один за другим подходить к столу и ставить на пергаменте свои подписи или знаки.

Когда все снова сели, Сокинс сказал:

— Награды назначены вчетверо больше, чем требует обычай. Почему? — Пуританское воспитание Сокинса внушило ему глубокое отвращение ко всякому мотовству.

— Нашим людям понадобится мужество, — спокойно ответил капитан Морган. — Их надо будет поощрять. Ведь мы отправляемся брать Панаму.

— Панаму! — Это был почти стон ужаса.

— Да, Панаму. Вы подписали договор, а дезертирова вешаю. Последите за боевым духом своих людей. Вам кое-что известно о богатствах Панама — достаточно, чтобы у них слюнки потекли, а я хорошо изучил все опасности и знаю, что они преодолимы.

— Но... Панама... — начал было капитан Сокинс.

— Дезертирова вешаю, — сказал капитан Морган и вышел из каюты, оставив Кёр-де-Гри молчать и слушать. Пусть потом доложит об их настроении.

Воцарилось долгое молчание. Каждый вспоминал все, что ему доводилось слышать о Панаме.

— Опасно, — сказал наконец Сокинс. — Очень опасно, но богатства поистине велики. А капитан поклялся, что знает план города и все трудности осады.

Эти слова внезапно их ободрили. Если капитан Морган знает, то бояться нечего. Морган непогрешим. И завязался торопливый нервный разговор.

— Деньги? Так они там по ним гуляют. Я слышал, что собор...

— Но лес непроходим.

— Вино в Панаме отличное. Мне довелось его попробовать на Тортуге.

И внезапно они разом вспомнили про Красную Святую.

— Так ведь она же там... Санта Роха...

— Да, верно. Она там. Кому, по-вашему, она достанется?

— Капитан до женщин не охоч. Так, значит, Кёр-де-Гри, не иначе. Он ведь у нас главный ходок по этой части.

— Что так, то так. Кёр-де-Гри не миновать кинжала какого-нибудь ревнивца. Да я и сам бы его убил, ведь если не я, то уж другой-то навсерняка с ним разделается. Так пусть это будет мой кинжал.

— Но как сладить с такой женщиной? Тут ведь линьком не обойтись.

— По чести сказать, толстенские дублоны более надежное средство. Они ведь так блестят!

— А нет! Вот послушайте. Какая женщина не вернет себе драгоценности ценой своей добродетели? Была бы добродетель, а драгоценности заполучить назад нетрудно.

— А что об этом думает Однорукий? Эй, Тот Бургундец, будешь спорить за Красную Святую для своего жирного приятеля?

Тот Бургундец поклонился.

— Этого не понадобится, — сказал он. — Мой друг и сам весьма способен. Я мог бы рассказать вам... — Он обернулся к Этому Бургундцу. — Ты позволишь, Эмиль?

Этот Бургундец словно бы отчаянно старался провалиться сквозь пол, но все-таки умудрился кивнуть.

— Ну так, господа, я расскажу вам одну историю, — начал Тот Бургундец. — Жили-были в Бургундии четыре друга — трое поцелмюжку надаивали кислое молоко из сосцов искусства, а четвертый имел состояние. И жила в Бургундии прелестная девушка — красавица, умница, ну, словом, сущая Цирцея, и не было ей равных во всем краю. Четверо друзей влюбились в это нежное совершенство. И каждый преподнес ей в дар самое дорогое, что у него было. Первый воплотил свою душу в сонет и положил к ее ногам. Второй заставил виолу петь ее имя, а я... то есть третий, хотел я сказать, написал ее прекрасное лицо. Вот так мы, служители муз, соперничали из-за нее между собой, оставаясь друзьями. Но истинным художником оказался четвертый. Он был молчалив, он был тонок. Что за актер! Он завоевал ее одним несравненным жестом — открыл ладонь, и с ее подушечки засмеялась розовая жемчужина. Они поженились. И вскоре после свадьбы в Дельфине открылись новые добродетели, о которых прежде никто не подозревал. Она стала не только образцовой супругой,

но и восхитительно стыдливой любовницей не одного, а всех трех друзей своего мужа. Эмиль, муж, ничего не имел против. Он любил своих друзей. Да и что тут такого? Они были ему истинными друзьями, пусть и бедными.

Ах, есть ли сила более слепая, более глупая, чем мнение людское? На этот раз она стала причиной двух смертей и одного изгнания. Эта гидра, Людское Мнение,— вот сами посудите, что она натворила! Вынудила Эмиля вызвать своих друзей на дуэль. Даже и тогда все могло бы кончиться поцелуем, объятием — «моя честь удовлетворена, дорогой друг!» — если бы не прискорбная привычка Эмиля погружать на ночь кончик своей шпаги в кусок протухшего мяса. Двое умерло, а я потерял руку. И вновь вмешалось Людское Мнение, словно тупой, ошалевший вол. Оно настояло на дуэли, и оно же заставило победителя покинуть Францию. Вот он, Эмиль, рядом со мной — благородный влюбленный, фехтовальщик, художник, землевладелец. А Людское Мнение... Но моя ненависть к этой злобной силе заставила меня отвлечься! Я просто хотел сказать вам, что Эмиль не просит ни жалости, ни уступок. Я знаю, может показаться, будто сотни голодных муравьев изгрызли его мужество, но дайте ему узреть великую красоту, пусть в этих глазах отразится Красная Святая, и вы увидите... вы вспомните мои слова. Он молчалив, он тонок, он художник. Пусть другие вопят: «Натиск! Принуждение! Насилие!» — но Эмиль носит в кармане розовую жемчужину, приворотное зелье, не знающее равных.

II

Вверх по реке Чагрес плыла огромная флотилия плоскодонок, и каждая сидела в воде почти по самым бортам, столько набилось в нее вольных братьев. Французы в полосатых колпаках и широчайших панталонах — французы, которые некогда покинули Сен-Мало или Кале, а теперь не имели родины, куда могли бы вернуться. Несколько барок переполняли уроженцы лондонских трущоб, чумазы, почти все с гнилыми зубами, со шныряющими глазками мелких воришек. Угрюмые, молчаливые мореходы из Голландии грузно горбились на своих скамьях и обводили берега Чагреса тупыми взглядами обжор.

Тяжелые широкие плоскодонки толкали вверх по течению карибы и мароны — радостно-свирепые люди, которые так беззаветно любили войну, что добровольно гнули гладкие коричневые спины, раз в награду за их труд им посу-

лили кровь. Плыли в этой пиратской процессии и негры, недавно бежавшие из испанского рабства. На обнаженной груди каждого, точно две раны, пересекались две алые перевязи. Вожак, дюжий верзила с лицом, как морда черного лося, облекся только в широкий желтый пояс, а голову его прикрывала широкополая шляпа из тех, какие носили английские дворяне, сражавшиеся за короля против круглоголовых. Пышное перо вяло свисало вниз, загибаясь у него под подбородком.

Длинная вереница плоскодонок ползла и ползла вверх по течению. Англичане хриплыми голосами выкрикивали слова песен, раскачиваясь, чтобы не выбиться из ритма; французы тихонько мурлыкали о недолгой веселой любви, которая выпадала, а может быть, и не выпадала им на долю; мароны и недавние рабы бормотали свои бесконечные ни к кому не обращенные монологи.

А впереди вился Чагрес, выписывая огромные, почти смыкающиеся петли. Желтая вода, точно пораженная проказой боязливая женщина, робко поглаживала плоские днища. Весь день можно было без отдыха толкать и толкать шестом свою лодку, а вечером разбить лагерь всего лишь в полумиле по прямой от места прошлого ночлега — таков был Чагрес, ленивая, застойная река, вся в отмелях и косах, сверкающих на солнце желтым поском. Чагрес был жалким дилетантом в извечном искусстве рек, чья общепризнанная цель — добраться до океана с наименьшей затратой усилий и хлопот. Чагрес сонно кружил и кружил по перешейку, будто не желая проститься со своей ленивой личностью в беспокойном океане.

Через некоторое время к реке с обеих сторон подступили густые заросли и изогнулись над ней, как две замерзшие зеленые волны. Между деревьями пробирались пятнистые тигры, с печальным любопытством следя за людьми. Порой огромная змея соскальзывала в воду с теплого бревна, на котором дремала под солнечными лучами и плыла, высоко подняв голову, чтобы лучше рассмотреть вереницу невиданных чудищ. По лианам металась стаи возбужденных обезьян, притворно рассерженных таким вторжением. Они негодуяюще вопили и швыряли в лодки листья и сучки. Тысяча четыреста невиданных существ вторглись в священные пределы Зеленой Матери всего сущего — и ведь даже самая облезлая обезьяна в мире имеет право выражать свой протест.

Дневная жара навалилась, как дыхание лихорадки, — тяжелая, гнетущая, дурманящая. Песни замерли в хрипе,

словно на головы поющих набросили горячие одеяла. Флибустьеры апатично поникли на скамьях, но индейцы продолжали отталкиваться шестами, плавно раскачиваясь. Мышцы их красиво вылепленных рук вились, словно встревоженные змеи, спиралями вздувались на плечах. Их хмурый мозг предвкушал бойню, вынашивал восхитительно кровавые грезы. «Вперед! — требовал их мозг. — Вперед! Ак! Битва ближе на два толчка! Вперед! Вперед! Ак! Панама, залитая кровью равнина, ближе еще на два толчка!» Длинная вереница плоскодонок извивалась по реке, как чудовищная многочленистая змея.

Долгий знойный день приближался к вечеру, но на берегах они так и не заметили ни единого человека. А это было очень серьезно: в плоскодонки не погрузили никаких съестных припасов. Для них не хватило места. Люди и оружие занимали все свободное пространство до последнего дюйма. И так уже волны накатывались на почти погруженные в воду настилы с пушками и ядрами. Однако, как было хорошо известно, на реку выходило много плантаций, где могла подкрепиться голодная армия, и потому пираты ринулись через перешеек к Панаме, не обременяя себя провиантом. Весь день они высматривали эти плантации, но не видели ничего, кроме зеленых непроходимых зарослей.

Вечером головная плоскодонка поравнялась с пристанью из жердей. Над высокой шпалерой аккуратно посаженных деревьев лениво курчавилась струйка дыма. С радостными воплями флибустьеры попрыгали в воду и вброд выбрались на берег. Проклятия и отчаяние: здания были сожжены и покинуты. Дым поднимался от почерневшей кучи, которая еще недавно была хлебным амбаром, но в ней не уцелело ни единого зернышка. В сырых зарослях темнели провалы — очевидно, тут гнали скот, но следы были двухдневной давности.

Голодные пираты вернулись на плоскодонки. Ну ничего, один день можно и поголодать. Голод — обычный спутник военных походов, и его положено переносить без жалоб. Но уж завтра они, конечно, увидят дома, где в погребах их ждет восхитительно холодное вино. И загоны, где жирные коровы глупо поматывают головами в ожидании мясницкого ножа. Флибустьер — истинный флибустьер — заплатит жизнью за чашу кислого вина и веселый разговор со смуглой полуиспанкой. В этом радость бытия, и справедливо, если человека заколют, прежде чем он осушит чашу до дна или закончит разговор. Но голод... Ну да ладно, завтра они наедятся досыта.

Но вновь солнце взошло, точно белесая гнойная язва в небе. А река все выписывала сумасшедшие петли, по берегам встречались только брошенные пепелища, а еды не было никакой. Весть об их высадке опередила их и пронеслась по речным берегам, как жуткая весть о чуме. И на берегах не осталось ни единого человека, чтобы приветствовать флибустьеров, ни единого домашнего животного.

На третий день они нашли груды жестких позеленевших коровьих шкур и начали отбивать их камнями, чтобы легче было разжевать толстую кожу. Некоторые съели свои пояса. В догорающем хлебном амбаре они нашли кучу испекшихся кукурузных зерен, и некоторые так объелись, что умерли в страшных судорогах. Они пытались охотиться в зарослях, выискивая хоть что-нибудь съедобное. Но даже пятнистые кошки и обезьяны словно стакнулись с Испанией. Заросли были теперь безмолвны и безжизненны. И в воздухе реяли только насекомые. Кое-кому удавалось поймать змею, и он поджаривал ее на костре, ревниво оберегая свой ужин. В руки пиратов попадались мыши, их пожирали сразу, чтобы добыча не попала в руки воров.

На пятый день река так обмелела, что плоскодонки пришлось оставить. Пушки вытянули на берег и потащили по узкой тропе. Флибустьеры брели нестройной колонной, а впереди них индейцы, подкрепляясь кровавой мечтой, тяжелыми ножами прорубали проход в зарослях. Иногда удавалось заметить небольшие группы испанских беглецов, а порой из чащи, словно испугнутые рябчики, выскакивали покорные испанцам индейцы, но никто не останавливался, не возвращался, чтобы дать им бой. Потом идущие впереди обнаружили место засады: земляной вал, множество кострищ и — никого. Высланных сражаться с ними солдат объял ужас, и они сбежали.

Теперь флибустьеры еле брели к Панаме. Они уже не смаковали грядущую победу, а проклинали своего вождя за то, что он не позаботился взять провиант. Но вперед они тащились все-таки потому, что на них еще действовал пример капитана Моргана.

С самого начала он вел их, но теперь, продолжая шагать во главе своего измученного войска, Генри Морган не мог решить, так ли уж ему хочется дойти до Панамы. Он пытался вспомнить силу, которая толкнула его на этот путь, — магнит неведомой красоты. Санта Роха стерлась в его воображении: слишком сильно терзал его голод. Он уже толком не помнил владевшего им желания. Но пусть желание даже совсем угаснет, идти вперед он должен.

Один-единственный промах, один-единственный миг колебаний, и былой успех упорхнет от него, как испугнутый голубь.

Кёр-де-Гри шел рядом с ним, как и в первые часы, но совсем измученный Кёр-де-Гри, которого еле держали ноги. Капитан Морган поглядывал на своего лейтенанта с жалостью и гордостью. Он видел глаза, подобные потускневшим кристаллам, и видел в них огонек разгорающегося безумия. Капитан Морган чувствовал себя не таким одиноким, потому что рядом с ним был этот юноша. Он понял, что Кёр-де-Гри стал частью его самого.

Солнечный жар рушился с небес, как палящий ливень. Он ударялся о землю, а потом медленно вновь поднимался вверх, обремененный сыростью и тошнотворным смрадом гниющих листьев и корней. Жар свалил Кёр-де-Гри на колени, но он тут же поднялся и побрел дальше. Генри Морган посмотрел, как он пошатывается, и с сомнением взглянул на тропу впереди.

— Не сделать ли нам привал? — сказал он. — Люди совсем измучены.

— Нет и нет. Мы должны идти вперед, — ответил Кёр-де-Гри. — Если мы остановимся здесь, нам будет только труднее встать потом и брести дальше.

Генри Морган произнес задумчиво:

— Но почему ты с такой жадностью стремишься осуществить мой замысел? Ты рвешься вперед, когда я начинаю сомневаться в себе. Что надеешься ты найти в Панаме, Кёр-де-Гри?

— Ничего я не надеюсь там найти, — ответил юноша. — Или вы стараетесь подловить меня, толкнуть на предательские слова? Я и сейчас, когда мы еще туда не добрались, знаю, что приз будет вашим. И признаю это, сэр. Но, видите ли, я как большой круглый камень, который покатился с горы. Вот и все, что ведет меня в Панаму. А столкнули с места меня вы, сэр.

— Странно, что я так возжелал Панамы, — сказал Генри.

Лейтенант с гневом повернул к нему покрасневшее лицо.

— Не Панамы вы возжелали. Женщину вы возжелали, а не Панаму! — голос его был таким же горьким, как и его слова, и он прижал ладони к вискам.

— Правда, — тихо сказал капитан. — Правда, я возжелал эту женщину, но тем более это странно.

— Странно? — Кёр-де-Гри вспыхнул бешенством, он закричал: — Странно?! Что странного в том, чтобы томиться по женщине, славящейся красотой? Или вы называете странным каждого из этих людей, всякое мужское начало на земле? Или вы пылаете богоподобной похотью? Или у вас тело титана? Странно! Да, поистине, мой капитан, совокупление и его предвкушение — это нечто неслыханное в мире мужчин!

Капитан Морган был изумлен, но в нем шевельнулся и ужас. Словно перед ним прошел омерзительный немислимый призрак. Неужели эти люди могут чувствовать так же, как чувствует он?

— Но мне кажется, это более, чем похоть, — сказал он. — Ты не можешь понять моего жгучего томления. Словно я необоримо стремился к какому-то непостижимому покою. Эта женщина — венец всех моих поисков. Я ведь думаю о ней не как о женском теле с руками и грудью, но как о мгновении безмятежного мира после бури, как о благоухании после барахтанья в смрадной грязи. Да, для меня это странно! Вспоминая прошедшие годы, я дивлюсь тому, чем занимался. Я сворачивал горы ради глупых золотых безделушек. Мне неведома тайна, превращающая землю в огромного хамелеона. Мои крохотные войны кажутся бессмысленными потугами человека, мне незнакома, человека, который не ведал способов, заставляющих мир менять цвет. Я тосковал — в былые времена, — ибо каждое сбывшееся желание тут же умирало в моих объятиях. Не странно ли, что все они умирали? Нет, тайна мне неведома. И ты не можешь понять моего томления.

Кёр-де-Гри сжимал ладонями поющие виски.

— Я не понимаю! — презрительно крикнул он. — По-вашему, я не понимаю? Я знаю, вам ваши чувства в новинку, открытие неожиданной важности. Ваши неудачи не имели себе подобия. Такое необъятное самодовольство не позволит вам поверить, что щуплый лондонец у вас за спиной — да, тот самый, который катается по земле в припадках, — что он способен надеяться и отчаиваться, как и вы. Вы не в силах поверить, что все эти люди чувствуют не менее глубоко, чем вы. Уж, наверное, вам дико покажется, если я скажу, что хочу эту женщину не меньше, чем вы, что нашептывать нежности Санта Рохе я, быть может, сумел бы лучше вашего!

Капитан Морган покраснел под плетью его слов. И не поверил им. Что за чудовищная мысль! Будто эти людиш-

ки способны чувствовать, как чувствует он! Подобное сравнение его почему-то унижало.

— Не понимаете, почему я говорю все это? — продолжал Кёр-де-Гри. — Так я вам объясню. Боль свела меня с ума, и я сейчас умру.

Он молча прошел десяток шагов, пронзительно застонал и рухнул на землю.

Целую минуту капитан Морган молча смотрел на юношу. Потом в груди у него словно взметнулась беспощадная волна. В эту минуту он понял, как сильно полюбил своего молодого помощника, понял, что не в силах потерять Кёр-де-Гри. И упал на колени перед неподвижно распростертым телом.

— Воды! — крикнул он флибустьеру, остановившемуся рядом, а когда тот тупо на него уставился, продолжал кричать: — Воды! Принеси воды... воды! — Его рука судорожно дергала рукоятку заткнутого за пояс пистолета. Ему принесли воды в чьей-то шляпе. Все пираты увидели, что их холодный капитан стоит на коленях и поглаживает мокрые блестящие волосы Кёр-де-Гри.

Веки юноши медленно разомкнулись. Он попытался встать.

— Простите, сэр. Такая боль в голове... Солнце выпило мой разум. Но поднимитесь, сэр! Люди утратят уважение к вам, если увидят, как вы стоите тут на коленях.

— Лежи, мальчик! Лежи тихо. Тебе нельзя двигаться. Я боюсь. На миг мне почудилось, что ты умер, и весь мир сжался. Лежи тихо! А теперь я рад. Тебе нельзя двигаться. Теперь мы вместе возьмем Золотую Чашу, и это будет чаша с двумя ручками. — Он подхватил Кёр-де-Гри в объятия и отнес его в тень огромного дерева. Пираты растянулись на земле, отдыхая, пока их лейтенант приходит в себя.

Кёр-де-Гри полулежал, прислонившись спиной к стволу, и улыбался капитану со странной женственной нежностью.

— Так я похож на лондонца? — спросил Генри Морган тоскливо. — На припадочного лондонца!

Кёр-де-Гри засмеялся.

— Но вы же ничего о нем не знаете! А то, быть может, вы бы гордились таким сходством. Я вам расскажу, чтобы он не остался для вас просто деревянным болваном, обязанным выполнять приказы. Фамилия его Джонс. Всю жизнь он мечтал стать проповедником слова божьего. Он верил, что припадки насылает на него Дух Святой, испытывая для какого-то божественного служения. Однажды, ког-

да он стоял на перекрестке двух улиц и взывал к жителям Лондона, его схватили городские стражники. Судья признал его бродягой и сослал на острова. Отбыв свой срок, Джонс стал пиратом, чтобы не умереть с голоду. Как-то при дележке добычи ему досталась рабыня, испанка с примесью негритянской крови. Он женился на ней, чтобы спасти ее доброе имя. Он не знал, что спасти было уже нечего. Видите ли, сэр, его жена оказалась католичкой. Когда он дома, она запрещает ему читать Библию. И знаете, сэр, он от души верит, что воровка-судьба ограбила его, не дала ему преуспеть. Не так, как понимаем это слово мы, но на ниве господней по особому божьему соизволению. Он воображает, будто мог стать протестантским Савонаролой.

— Но его припадки,— сказал Генри Морган.— Его отвратительные припадки.. Я сам видел.

И снова юноша засмеялся.

— Припадки? А! Так припадки — это же дар избранным... родовое наследство.

— И ты думаешь, он способен чувствовать?

— Да, возможно. Вспомните, он женился, чтобы спасти ее доброе имя, и не расстался с ней, когда узнал, какое это имя! И вот увидите, при разделе добычи он смущенно попросит какое-нибудь распятие. И привезет ей в подарок распятие из Панамы. Нет, вы только подумайте! Он же сектант из сектантов. Для него пательные кресты и распятия — кощунственная мерзость!

III

Вперед, вперед к Панаме тащились флибустьеры. Они ели кожу и горькие корешки, крыс, мышей, змей, обезьян. Щеки их превратились в глубокие впадины под скулами, глаза блестели жаром лихорадки. От недавнего их одушевления не осталось и следа. Идти вперед их заставляла лишь вера в непогрешимость своего капитана: Морган не мог потерпеть неудачи, потому что еще никогда не терпел неудач. Уж конечно, у него есть план, который набьет их карманы золотом Нового Света! А слово «золото», хотя и утратило реальный смысл, было сильнее слова «голод».

На восьмое утро вернулся разведчик и доложил капитану Моргану:

— Дорога преграждена, сэр. Они насыпали поперек нее невысокий земляной вал и поставили на нем пушки.

Раздалась команда, голова извивающейся колонны свернула влево и начала прогрызать путь сквозь густой

подлесок. К вечеру они вышли на вершину небольшого круглого холма и увидели внизу прямо перед собой Панаму, купающуюся в золотом сиянии западного солнца. И каждый заглянул в глаза соседа, проверяя, что узрел не бредовое видение, явившееся ему одному.

Кто-то замер над самым склоном, испустил безумный вопль, и внезапно его товарищи увидели, что он стремительно бежит вниз, на ходу вытаскивая саблю из ножен. В лощине под ними паслось стадо, брошенное там каким-то бестолковым испанцем. Мгновение спустя все четырнадцать сотен пиратов ринулись туда. Они рубили коров саблями, кололи шпагами, вонзали ножи в перепуганных животных. И скоро, очень скоро по бородам изголодавшихся людей заструилась свежая кровь, и красные капли обогрили их рубашки. В этот вечер они объелись до беспамятства.

Но в предрассветной мгле пиратские разведчики уже рыскали по равнине, как волки-оборотни. Они подобрались к самым стенам города и пересчитали солдат перед воротами.

А на ранней заре капитан Морган разбудил своих людей и созвал их, чтобы сообщить план сражения. Генри Морган хорошо изучил души флибустьеров. Он завладел их рассудком, подготовил его для битвы. Он воззвал к их страху:

— Назад до устья реки, где ждут корабли, девять дней пути — девять дней и никакой провизии. До кораблей вам не добраться, даже если вы просто сбежите. А Панама — вот она. Пока вы храпели, как боровы, разведчики занимались делом. Перед городом стоят четыре тысячи солдат с кавалерией на флангах. Это не крестьяне, вооружившиеся мушкетами и ножами, но обученные солдаты в алых мундирах. И это еще не все. На вас выпустят быков — на вас, охотников!

Ответом ему был смех. Многие из них долго жили в зарослях, охотясь на одичавший скот.

Капитан разжег их алчность.

— В городе столько золота и драгоценных камней, что немыслимо сосчитать. Если мы одержим победу, все вы до единого станете богачами.

Воззвал он и к их голоду:

— Подумайте о тушах на вертелах, о бочках вина в погребах, о пудингах с душистыми приправами!

И к похоти:

— В городе полно рабынь, да и других женщин там

тысячи, бог свидетель! Ждет вас только одна помеха — слишком трудно будет сделать выбор — столько их попадет к нам в руки. И не чумазных крестьянок, а знатных дам, привыкших нежиться на шелковых простынях. Как с непривычки почувствуют себя ваши грубые шкуры в таких постелях!

И в заключение — потому что он знал о них все — дошла очередь до их тщеславия.

— Имена тех, кто примет участие в этой битве, высоко поднимутся по ступеням истории! Ведь это не грабительский поход, но достославная война. Представьте себе, что жители Тортуги будут указывать на каждого из вас, говоря: «Этот человек брал Панаму! Этот человек герой, и он богач!» Подумайте, как будут бегать за вами женщины Гоава, когда вы вернетесь домой. Вот перед вами Золотая Чаша. Побежите ли вы? Многие сложат сегодня головы на поле брани, но те, кто останется жив, унесут золотую Панаму к себе домой в карманах и кошельках.

Раздались хриплые крики одобрения. Французы посылали Генри Моргану воздушные поцелуи, карибы что-то бормотали и закатывали глаза, голландские обжоры тупо смотрели на белый город.

— Еще одно, — сказал капитан. — Враги выстраиваются в линию, или я ничего не знаю об испанских офицерах. Они любят покрасоваться. Стреляйте в их центр, все разом, а когда центр дрогнет, атакуйте и прорвите его.

Они двинулись на равнину, как черная туча, — впереди двести лучших стрелков, остальные за ними.

Дон Хуан, губернатор Панамы, выстроил своих вымуштрованных пехотинцев в длинную линию, каждую роту в две ровные шеренги. Он оглядел рваный строй противника с брезгливым презрением. И с почти веселой улыбкой дал сигнал.

На равнину вылетела испанская кавалерия и понеслась вперед, проделывая сложные эволюции. Всадники образовывали то клин, то квадрат. На рысях они меняли построение, как во время смотра, — треугольники сменялись подобиями буквы «Т». Внезапно все сабли разом вспыхивали в солнечных лучах, легкий поворот кисти — и они словно исчезали, чтобы вновь блеснуть через секунду. Дон Хуан застонал от восторга:

— Смотрите на них, друзья мои, смотрите! Взгляните на Родригеса, моего любимого капитана. Ах, Родригес! Неужели это я научил тебя подобному? Неужели это тот самый Родригес, которого я еще так недавно качал на

руках? Тогда он был младенец, но сейчас он мужчина и герой. Взгляните, как уверенно, как точно они держат строй! Полюбуйтесь Родригесом и его всадниками, друзья мои! Как эти животные смогут противостоять моей кавалерии?

Родригес во главе своих всадников словно услышал похвалы губернатора. Его плечи напряглись. Он приподнялся на стременах и дал сигнал атаковать. Вэволнованно запели трубы. Копыта глухо загремели по траве. Эскадрон катился вперед, точно алая волна с серебряным гребнем. Родригес повернулся в седле и гордо посмотрел на несущихся за ним кавалеристов, выполнявших его приказы так, словно они были членами единого огромного тела, которым управлял его мозг. Каждая сабля замерла в одну линию с лошадиной шеей. Родригес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на свою любимую Панаму перед сечей. И тут весь эскадрон карьером влетел в трясину. Да, они знали, что тут есть трясина, но в радостном волнении, в упоении своим искусством они про нее забыли. И во мгновение ока кавалерия Панамы превратилась в бесформенные груды людей и лошадей. Они были словно мухи, бьющиеся на зеленой липкой бумаге.

Дон Хуан ошеломленно уставился на хаотическое нагромождение искалеченных, извивающихся тел и разрыдался, как ребенок, вдруг увидевший, что его красивая игрушка валяется разбитая в придорожной канаве. Губернатор не знал, что ему делать. Красный туман горя одурманил его мозг. Он повернулся и побрел к городским воротам. «Надо пойти в собор послушать мессу», — подумал он.

Испанский штаб впал в смятение. Алые и золотые мундиры метались из стороны в сторону. Каждый офицер выкрикивал приказы во всю силу своего голоса. Наконец, всех перекричал молоденький лейтенант, под чьей командой были дикие быки.

— Пускайте быков... быков! — надрываясь повторял он, и наконец его вопль подхватили остальные. Индейцы, державшие быков, вырвали кольца из ноздрей могучих животных и принялись тыкать их сзади острыми палками. Стадо медленно двинулось вперед по равнине. Потом рыжий великан перешел на рысь и увлек за собой остальных.

— Они втопчут разбойников в землю, — уверенно сказал испанский офицер. — Там, где они промчатся, мы найдем на окровавленной траве пуговицы, обломки оружия — и ничего больше.

Быки тяжело бежали к беспорядочному авангарду флибустьеров. Внезапно двести стрелков упали на колени и выстрелили — выстрелили быстро, как охотники по бегущему зверю. И на пути стада словно стала ревущая брыкающаяся стена. Быки, не задетые пулями, остановились как вкопанные, учуяли кровь, повернулись и в панике ринулись назад, туда, где стояли испанцы. Офицер не ошибся. Там, где они промчались сквозь ряды солдат, остались только пуговицы, обломки оружия да окровавленная трава.

И следом за стадом бросились в атаку флибустьеры. Они ворвались в бреши, оставленные быками, и погнали отделенных друг от друга защитников города вправо и влево. Боевые кличи почти не гремели, но все равно европейские солдаты просто не понимали законов такой рукопашной. Страшные бродяги хохотали и поражали врагов обеими руками. Испанские солдаты попытались дать отпор, но затем их сердца под алыми мундирами утратили последнюю каплю мужества, и они кинулись прятаться в зарослях. Кое-где флибустьеры устремлялись в погоню и закалывали замешкавшихся. Вскоре от четырех тысяч испанцев на равнине не осталось никого. Одни вскарабкались на деревья и спрятались в листве, другие заблудились в горах и погибли там. Золотая Чаша лежала перед Генри Морганом, никем не обороняемая.

Вопящая орда вломилась в ворота и повалила вперед по широкой улице. На каждом перекрестке часть сворачивала в боковые переулки, словно река потекла по своим притокам. У каждого внушительного дома от общего потока отделялось несколько человек: удары в дверь, общий натиск, створка падала в прихожую, точно крышка переплета огромной книги, нападающие протискивались в проем, а затем крики, два-три отчаянных вопля... Из какого-то окна высунулась старуха, с любопытством разглядывая страшного врага. Внезапно ее лицо вытянулось от разочарования.

— Э-эй! — окликнула она соседку напротив. — Ты только погляди! Эти разбойники точно две капли похожи на наших испанцев. Никакие они не дьяволы, а мужчины как мужчины! — И она захлопнула окно, словно негодуя, что они оказались всего лишь людьми.

Днем вспыхнул пожар. Огромные языки пламени взметнулись к небу. Занялся квартал, улица — и запылала половина города.

Генри Морган направился к губернаторскому дворцу и увидел, что в дверях стоит дон Хуан Перес де Гусман с обнаженной шпагой в руке.

— Я губернатор,— сказал дон Хуан тоскливо.— Горожане уповали, что я обороню их от этой беды. Меня постигла неудача, но, может быть, я сумею убить тебя!

Генри Морган опустил глаза. Что-то в этом отчаявшемся человеке внушило ему робость.

— Города я не поджигал,— сказал он.— Наверное, кто-то из твоих рабов запалил его в отместку.

Дон Хуан сделал шаг вперед и поднял шпагу.

— Защищайся! — крикнул он.

Капитан Морган остался стоять, как стоял.

Шпага выпала из руки губернатора.

— Я трус... трус! — вскричал он.— Почему я не нанес удар сразу, без лишних слов? Почему ты не выхватил свою шпагу? О, я трус! Я слишком долго выжидал! Мне надо было молча проколоть тебе горло. Мгновение тому назад я хотел умереть, искупить смертью мою вину, но прежде — убить тебя, чтобы умиротворить свою совесть. Панама погибла, и я тоже должен был погибнуть! Как может палец жить, если тело умерло? Но теперь я уже не могу умереть. У меня не хватит духа. И убить тебя я тоже не могу. Я обманывал сам себя! Ах, если бы я нанес удар сразу! Если бы я не заговорил... — Он побрел к воротам, за которыми начиналась равнина. Генри Морган смотрел, как, пьяно шатаясь, он вышел из города.

Наступила черная ночь. Почти весь город был объят пламенем — багровый огненный цветник. Башня собора рухнула, и к звездам взвился вихрь алых искр. Панама умирала на пылающем одре, а флибустьеры убивали ее жителей, где настигали их.

Всю ночь капитан Морган сидел в Приемном Зале губернаторского дворца, а его люди носили и носили туда все новую добычу. Золотые слитки они сваливали на полу, точно поленья, но такие тяжелые, что каждый несли двое. Как небольшие стожки, сверкали кучи драгоценных камней, а в углу громоздились церковные облачения и утварь, будто в лавке райского старьевщика.

Генри Морган сидел в резном кресле, словно обвитом множеством змей.

— Вы нашли Красную Святую?

— Нет, сэр. Здешние женщины больше смахивают на дьяволиц.

К нему приводили пленников и зажимали их пальцы в тисках, взятых из городской тюрьмы.

— На колени! Твое богатство? (Молчание). Поверни разок, Джо!

— Смилуйтесь! Смилуйтесь! Я покажу! Клянусь! В цистерне возле моего дома...

Следующий.

— На колени! Твое богатство! Поверни разок, Джо!

— Я покажу вам...

Они были спокойными, беспощадными и бесчувственными, как мясники на бойне.

— Вы нашли Санта Роху? Если хоть волос упадет с ее головы, я вас всех повешу.

— Ее никто не видел, сэр. А наши почти все уже перепились.

И так всю ночь... Едва очередная жертва сдавалась, ее уводили три-четыре человека, которые затем возвращались с чашами, серебряными блюдами, золотыми украшениями и одеждой из цветных шелков. Блистающие сокровища в Приемном зале сливались в единую гигантскую кучу.

А капитан Морган устало спрашивал:

— Вы нашли Красную Святую?

— Не нашли, сэр. Но ищем по всему городу и спрашиваем... Может быть, когда рассветет, сэр...

— Где Кёр-де-Гри?

— По-моему, он напился, сэр, но...— И говорящий отвел глаза.

— Что — но? О чем ты? — крикнул капитан.

— Да ни о чем, сэр. Что он напился, это верно, а только, чтобы опьянеть, ему не один галлон надо выпить, ну, и тем временем, может, он нашел подружку.

— Ты его с ней видел?

— Да, сэр. Видел с женщиной, и она была пьяна. И Кёр-де-Гри был пьян, хоть присягнуть.

— А эта женщина, по-твоему, могла быть Красной Святой?

— Да что вы, сэр! Куда там! Просто одна из городских, сэр.

На кучу с громким бряканьем упало золотое блюдо.

IV

Желтый рассвет прокрался на равнину с пестрых холмов перешейка, все больше набираясь дерзости. Солнце выкатилось из-за вершины, и его золотые лучи хлынули

на любимый город. Но Панама погибла, мгновенно истлела в огне за одну алую ночь. Однако солнце — непостоянное светило, и любопытные лучи тут же нашли себе новую игрушку. Они освещали печальные развалины, щекотали мертвые повернутые вверх лица, скользили по заваленным улицам, потоком лились в руины внутренних двориков. Добрались они и до белого губернаторского дворца, прыгнули в окна Приемного Зала и забежали по золотой горе на полу.

Генри Морган спал в змеином кресле. Его лиловый кафтан был весь в глине равнины. На полу рядом с ним лежала шпага в обтянутых серым шелком ножнах. Он был в зале один, потому что все те, кто ночью помогал дочи-ста обглодать кости города, отправились пить и спать.

Зал был высоким и длинным, натертые воском кедровые панели на стенах матово сияли. Потолочные балки казались черными и тяжелыми, словно их когда-то отлили из чугуна. Это был судебный зал, свадебный зал, зал, где торжественно принимали и где убивали послов. Одна дверь выходила на улицу. Другая под сводчатой аркой вела в прелестный сад, вокруг которого обвился дворец. В самой середине сада маленький мраморный кит выбрасывал воду в бассейн непрерывной струей. В красных глазурованных кадучках стояли огромные растения с лиловатыми листьями, все в цветках, чьи лепестки пестрели узорами — наконечники стрел, сердечки, квадратики цвета кардинальского пурпура. Кудрявые кусты сверкали бешеными красками тропического леса. Обезьянка, чуть больше котенка, перебирала песок на дорожке, ища семена.

На одной из каменных скамей сидела женщина, обрывая лепестки желтого цветка и напевая обрывки нежной глупой песенки: «Я для тебя цветок зари сорву, любовь моя. Я отыщу его во тьме рассветной». Глаза ее были черными и матовыми. Они отливали плотной чернотой крыльев издохшей мухи, а под нижними веками виднелись четкие штрихи морщинок. Она умела приподнимать нижние веки таким образом, что глаза искрились смехом, хотя жесткая спокойная линия губ не изменялась. Кожа у нее была снежно-белой, а волосы прямыми и черными, как обсидиан.

Она поглядывала то на любопытные солнечные лучи, то на сводчатый вход в Приемный Зал. Пение ее смолкло. Она напряженно прислушалась, а потом вновь начала воркующую песню. Это были единственные звуки, нарушавшие тишину, если не считать отдаленного треска огня на

окраинах города, где догорали пальмовые хижины рабов. Обезьянка смешно, боком, вприпрыжку подбежала к женщине, остановилась и сжала над головой черные лапки, словно вознося молитву.

Женщина сказала ей ласково:

— Ты хорошо выучил свой урок, Чико. Твоим учителем был кастилец с грозными усищами. Я хорошо с ним знакома. Знаешь, Чико, он жаждет того, что считает моей честью. Он не успокоится, пока не прибавит мою честь к своей собственной, и уж тогда разве что не станет хвастать вслух. Ты и понятия не имеешь, как уже велика и тяжела его честь. А тебе было бы довольно и ореха, верно, Чико?— Она бросила зверьку лепесток, он схватил его, сунул в рот и с отвращением выплюнул.

— Чико! Чико, ай-ай-ай! Ты забыл наставления своего учителя. Какой промах! Так ты женской чести не получишь. Прижми цветок к сердцу, поцелуй с громким чмоканием мою руку и удались походкой свирепой овцы на поиски волков.— Она засмеялась и снова посмотрела на дверь под аркой. Хотя все было по-прежнему тихо, она встала и быстро направилась туда.

Генри Морган чуть-чуть повернулся в кресле, и в веки ему ударил солнечный свет. Внезапно он выпрямился и посмотрел по сторонам. Его взгляд с удовлетворением остановился на груде сокровищ, а затем встретился с пристальным взглядом женщины под широкой аркой.

— Ну, как, вы довольны, что сумели уничтожить наш город? — спросила она.

— Я города не сжигал,— поспешно сказал Генри.— Его подпалил кто-то из ваших испанских рабов.— Слова эти вырвались у него невольно, и тут же он вспомнил, что был удивлен: — Кто вы? — властно спросил он.

Она переступила порог зала.

— Меня зовут Исобель. Говорят, вы меня разыскивали.

— Разыскивал? Вас?

— Да. Глупые юнцы дали мне прозвище Санта Роха,— сказала она.

— Вы... вы — Красная Святая?

В его мозгу давно уже жил образ — образ юной девушки с ангельски-голубыми глазами, которые опускаются даже под пристальным взглядом мыши. Но эти глаза не опустились. Под своей черной бархатистостью они, казалось, смеялись над ним, не ставили его ни во что. Черты

ее были резкими, как у кречета. Да, она, бесспорно, была красавицей, но красота ее была жестокой и страшной красотой молнии. И кожа у нее оказалась снежно-белой, без малейшего розового оттенка.

— Вы — Красная Святая?

Он не был готов к такой перемене представлений. Его потрясло низвержение предвкушаемого идеала. Однако, шепнуло его сознание, более тысячи двухсот человек пробились сквозь заросли и сокрушительной волной хлынули в город; сотни людей мучительно умирали от смертельных ран, сотни были искалечены, Золотая Чаша лежит в развалинах — и все ради того, чтобы Санта Роха принадлежала Генри Моргану. Все эти приготовления доказывали, что он ее любит. Он не явился бы сюда, если бы не любил ее. Как ни оглушила его ее внешность, некуда было деваться от логического вывода, что он ее любит. Быть могло только так. Он всегда помнил о слове «Святая» в ее прозвище, и теперь ему стало ясно, что породило этот эпитет. Но в нем шевельнулось странное чувство, чуждое логике. Оно подкралось к нему из давно забытого времени — эта женщина влекла его и отталкивала, он чувствовал, что в ее власти — заставить его мучиться. Морган закрыл глаза, и во тьме его мозга возникла тоненькая девочка с золотыми волосами.

— Вы похожи на Элизабет, — произнес он монотонным голосом спящего. — Вы с ней похожи, хотя между вами нет сходства. Быть может, вы подчинили себе силу, которая в ней лишь пробуждалась. Мне кажется, я люблю вас, но не знаю, так ли это. Я не уверен.

Он открыл полусомкнутые веки и увидел перед собой живую женщину, не призрачную Элизабет. И она смстrelа на него с любопытством, а может быть, даже, подумалось ему, с дружеской нежностью. Странно, что она сама пришла к нему, хотя никто ее к этому не принуждал. Наверное, ее воображение покорено. И он покопался в памяти, выбирая одну из речей, которые сочинял в походе через перешеек.

— Ты должна стать моей женой, Элизабет... Иsobель. Мне кажется, я люблю тебя, Иsobель. Ты должна уехать со мной, жить со мной, быть моей женой, оберегаемой моим именем и моей рукой.

— Но я уже состою в браке, — перебила она. — И весьма удачном браке.

Но даже такое возражение он предвидел.

По ночам во время похода он обдумывал эту кампанию с той же тщательностью, как любое предстоящее сражение.

— Но когда встречаются двое и вспыхивают белым огнем, по какому праву должны они разлучаться на угрюмую вечность? Потерять друг друга в унылой бесконечности, унося черные угли огня, который не догорел сам собой? Какая сила во вселенной может воспретить нам сгореть в этом пламени? Небеса даровали нам бессмертное масло, мы протягиваем друг к другу наши факелы. О, Иsobель, дерзни отрицать это, спрячься от истины, если хочешь. Но под моими руками ты запоешь, как старинная скрипка. Мне кажется, ты страшишься. Тебя грызет тайная боязнь перед миром, пазойливым миром, злобным миром. Но не страшись, ибо, говорю тебе, мир этот — слепой, безмозглый червяк, которому ведомы лишь три страсти: зависть, любопытство и ненависть. И победить его не составит труда, лишь бы ты превратила свое сердце в свою собственную вселенную. Червь, лишенный сердца, не способен разгадать механизмы чужого сердца. И он лишается всякой силы под звездами нового мироздания. Почему я говорю тебе все это, Иsobель, и знаю, что ты должна понять мои слова? Да, ты должна их понять. Быть может, меня убедила темная сладостная музыка твоих глаз. Может быть, я способен читать бисерные сердца на твоих губах. Твое быющее сердце — это маленький барабан, призывающий меня на битву с твоими страхами. Твои губы точно двойной лепесток алого гибискуса. И если ты мне кажешься прекрасной, неужто меня ввергнет в страх скучная житейская подробность? Ведь тебе я могу поведать мысль, которая касается тебя лишь чуть меньше, чем меня самого! Так не разминемся в вечности, унося черные угли огня, который не догорел сам собой.

Когда он заговорил, она слушала его с большим вниманием, затем легкая тень боли набежала на ее лицо, но когда он закончил, в глазах у нее были веселые искры, а под черным бархатом пряталась злая насмешка. Иsobель негромко засмеялась.

— Вы забыли только одно, сударь, — сказала она. — Я ведь не горю. И не знаю, выпадет ли мне гореть когда-нибудь еще. И факела вы мне не протягиваете. А ведь я надеялась... И пришла нынче в этой надежде. Но ваши слова я слышала так часто! Так часто и в Париже, и в Кордове. Я устала от этих никогда не меняющихся слов. Или влюбленные перед решительным объяснением

все заглядывают в один какой-то учебник? Испанцы говорят то же самое, но жестикулируют с большей отточенностью, а потому и более убедительно. Вам еще многому надо поучиться.

Она умолкла. Генри уставился в пол. Изумление заволочило его мозг туманом тупости.

— Я взял ради вас Панаму! — сказал он жалобно.

— А! Вчера мне пригрезилось, что это так и было, но нынче... Мне очень жаль... — Говорила она тихо и грустно. — Когда я слышала про вас и ваши хвастливые деяния на морском просторе, вы почему-то представились мне единственным реалистом в мире колебаний и неопределенностей. Мне грезилось, что в один прекрасный день вы ворветесь ко мне, вооруженный безмолвной всевластной похотью, и по-звериному наброситесь на мое тело. Я изнывала по бессловесному, безрассудному зверю. Нескончаемые мысли о нем служили мне поддержкой, когда мой муж гордо выставлял меня напоказ. Он меня не любил, но ему льстила уверенность, что я его люблю. Это придавало ему важности и обаяния в собственном мнении. Он возил меня по улицам, и его глаза кричали: «Посмотрите, на ком я женат! Заурядный мужчина никогда бы не женился на подобной женщине, но я-то ведь незауряден!» Он боялся меня — мелкий человечешко боялся меня. Он имел обыкновение говорить: «С вашего разрешения, моя дорогая, я осуществляю прерогативу законного супруга». Ах, как я его презираю! Я томилась по силе — слепой нерассуждающей силе, по любви не к моей душе, не к каким-то воображаемым красотам моего ума, но к белому фетишу моего тела. Нежность мне не нужна. Я сама нежна. Мой муж натирал ладони душистыми мазями, прежде чем прикоснуться ко мне, а его пальцы похожи на жирных влажных слизняков. Мне нужны сокрушающие объятия, восхитительная мука...

Она внимательно всмотрелась в его лицо, словно еще раз пытаюсь найти то, что было безвозвратно утрачено.

— Когда-то я рисовала вас себе так ярко! Вы стали бесстыдно-дерзким порождением ночной темноты. И вот... вы оказались болтуном, произносящим сладкие, тщательно взвешенные слова, да еще весьма неуклюже. И вы совсем не реалист, а всего лишь высокопарный путаник. Вы хотите жениться на мне, оберегать меня. Все мужчины, за одним исключением, хотели меня оберегать. В любом отношении я способна оберегать себя куда лучше, чем могли бы вы. Еще на заре моих воспоминаний меня тошнило от

сладких фраз. Меня одевали в уподобления и кормили восхвалениями. Те мужчины, как и вы, не говорили, чего они хотели. Как и вы, они считали необходимым оправдать свою страсть в собственных глазах. Они, как и вы, чувствовали необходимость внушить не только мне, но и себе, будто они меня любят.

Генри Морган повесил голову, точно от стыда. Но теперь он шагнул к ней.

— Тогда я заставляю тебя силой! — вскричал он.

— Слишком поздно... Волей-неволей я буду вспоминать, как вы стояли столбом и декламировали заранее придуманные слова. Пока вы будете копать в моей одсжде, я буду видеть, как вы пресмыкались передо мной, выпаливая фразы. И, боюсь, не сдержу смеха. Возможно, я даже начну защищаться, а вы, как знаток всех видов насилия, должны знать, чем это кончится. Нет, вы потерпели неудачу... И я жалею об этом.

— Я люблю вас, — сказал он тоскливо.

— Вы говорите так, словно это нечто новое, нечто необъятное. Меня любили многие мужчины, сотни объявляли об этом. Но как вы намерены поступить со мной, капитан Морган? Мой муж в Перу, и мое наследство там же.

— Я... я не знаю.

— Но я теперь рабыня, пленница?

— Да. Я должен забрать вас с собой. Иначе мои подчиненные будут надо мной смеяться. А это погубит дисциплину.

— Если уж я вынуждена стать рабыней, — сказала она, — если уж я вынуждена покинуть родину, то, надеюсь, я буду вашей рабыней... вашей, или собственностью очаровательного юного флибустьера, с которым познакомилась вчера вечером. Но не думаю, что вы возьмете меня с собой, капитан Морган. Нет, не думаю, что вы заставите меня отправиться с вами, ведь я, быть может, поверну нож, который уже вонзила в вашу грудь.

Генри Морган очнулся.

— Что это за юный флибустьер? — спросил он сердито.

— А, почувствовали нож! — сказала Исобель. — Но откуда мне знать? Только был он очарователен, и мне хотелось бы опять его увидеть.

Глаза капитана пылали яростью.

— Вас запрут, — сказал он грубо. — Вы останетесь в темнице, пока мы не отправимся назад в Чагрес. И по-

смотрим, окажется ли этот ваш нож достаточно острым, чтобы удержать вас здесь, в Панаме!

Она пошла за ним через сад к своей будущей тюрьме и вдруг звонко рассмеялась.

— Знаете, капитан Морган, мне только что пришло в голову... видимо, из самых разных мужчин выходят совершенно одинаковые мужья.

— В темницу! — приказал он.

— Ах да, капитан Морган! На ступенях дворца вы найдете старуху. Мою дуэнью. Пришлите ее ко мне, будьте добры. А пока, сударь, прощайте, подходит время молитвы. Грех, капитан Морган, должен раствориться в искренности. А искренность для души вредна.

Он медленно вернулся в свое кресло в Приемном Зале, мучимый стыдом за такое поношение своей мужественности. Словно она выхватила из ножен его шпагу и исцарапала ему лицо острым кончиком, а он покорно стоял перед ней и терпел. Она взяла верх над ним словно бы без малейших усилий. И теперь он содрогался при мысли, как будут хохотать его люди, когда узнают, в какое дурацкое положение он попал. За спиной у него зашелестят смешки. Кучки пиратов будут замолкать при его появлении и хвататься за животы, едва он пройдет мимо. Мысль об этих тайных смешках ввергла Генри Моргана в ужас. В нем подняла свои многочисленные головы гидра ненависти. Ненависти не к Исобель, но к его подчиненным, которые будут смеяться над ним, к жителям Тортуги, которые будут рассказывать эту историю в кабаках, ко всему побережью и островам.

Тут из тесной темницы за садом донесся пронзительный голос, взывающий к Пресвятой Деве. Въедливый звук наполнил дворец лихорадочной какофонией. Обостренный стыдом слух Генри Моргана выискивал скрытую насмешку в словах или в тоне. И не находил. Вновь и вновь пронзительно возглашалось «Аве, Мария»... «Аве, Мария»... и тоном изнывающей от ужаса, молящей о милосердии грешницы: «Ора про nobis — молись за нас!» Сокрушенный мир, почернелый скелет золотого города... Молись за нас! Ни тели насмешки, но смиренное раскаяние сокрушенного сердца, возносящего умиленную мольбу под шелканье четок. Пронзительный женский голос, всепроникающий, исступленный, он словно бился об огромный, не знающий прощения грех. Она сказала, что это — грех искренности. «Я была честна сущностью моей, а для души это черная ложь. Прости моему телу его человечность.

Прости моему рассудку, знающему свою ограниченность. Прости мою душу за то, что на краткий миг она была скована с ними обоими. Молись за нас!» Безумное бесконечное щелканье четок въедалось в мозг Генри. Наконец капитан, схватив шпагу и шляпу, выбежал из зала на улицу. Позади него, улыбаясь в косых лучах солнца, лежали сокровища.

Улицы вокруг губернаторского дворца пожар пощадил. Капитан Морган шел по мостовой, пока не оказался перед пепелищем. Камни почерневших стен раскатились поперек улицы. Дома, построенные из кедра, превратились в кучи дымящейся золы. Кое-где трупы убитых горожан скалились в небеса.

— К вечеру их лица почернеют,— подумал Генри.— Надо распорядиться, чтобы их убрали, не то начнется мор.

Над сгоревшими кварталами все еще колыхались клубы дыма, наполняя воздух едким запахом паленого. Зеленые холмы по ту сторону равнины казались Генри несбыточным видением. Он долго смотрел на них, а потом оглянулся на город. Разрушение, которое ночью выглядело таким страшным, таким полным, в конце концов оказалось до жалости ничтожным и ограниченным. Генри почему-то не думал, что холмы останутся зелеными, целыми и невредимыми. Иными словами, завоевание Панамы, в сущности, большого значения не имело. Да, город лежит в развалинах. Он разрушил город, но женщина, которая приманила его к Золотой Чаше, ускользнула от него. Она спаслась, оставаясь в его власти. Генри содрогнулся от своего бессилия, и его пробрал холод при мысли, что об этом узнают другие.

Несколько флибустьеров рылись в золе, ища расплавившуюся драгоценную посуду, не разысканную накануне. Обогнув угол, Генри натолкнулся на Джонса, щуплого лондонца, и заметил, как тот поспешно сунул руку в карман. Пламя ярости забушевало в капитане Моргане. Кёр-де-Гри сказал, что меж этим замухрышкой-эпилептиком и Генри Морганом нет никакой разницы?! Этот карлик — вор! Бешенство преобразилось в неистовое желание причинить боль щуплому человечку, ошпарить его позором, облить презрением, как был облит презрением Генри Морган. От жестокого желания губы капитана побелели и сжались в узкую линию.

— Что у тебя в кармане?

— Ничего, сэр... совсем ничего.

— Покажи, что у тебя в кармане! — Капитан навел на него тяжелый пистолет.

— Да ничего, сэр, только маленькое распятие. Я его нашел...— И он вытащил усаженный алмазами золотой крест с фигуркой Христа из слоновой кости.— Это для моей жены,—объяснил щуплый лондонец.

— А! Для твоей жены-испанки!

— Она наполовину негритянка, сэр.

— Ты знаешь, как наказывается сокрытие добычи?

Джонс посмотрел на пистолет, и его лицо посерело.

— Вы же не... Сэр, сэр, вы же не...— начал он придушенно. И тут его словно стиснули невидимые гигантские пальцы. Руки вытянулись, прижались к бокам, рот вяло приоткрылся, глаза потускнели, остекленели. Губы покрыла пена. Тело задергалось, как марионетка на ниточках.

Капитан Морган выстрелил.

На мгновение лондонец стал еще меньше. Его плечи ссутулились, почти заслоняя грудь, точно крылья-обрубки. Кулаки сжались, и бесформенный ком повалился на землю, сотрясаясь, как густой живой студень. Губы оттянулись, открыв зубы в последнем идиотическом оскале.

Генри Морган потыкал труп ногой, и что-то начало меняться в его сознании. Он убил этого человека. Его право — убивать, сжигать, грабить. И не потому, что он блюдет заповеди, и даже не потому, что он умен, а только потому, что у него сила. Генри Морган — владыка Панамы и всех, кто в ней. И нет в Панаме иной воли, кроме воли Генри Морган. Он может перебить тут всех людей, если пожелает. Это так. Неопровержимая истина. Но там, во дворце, заперта женщина, которая презирает и его власть, и его волю. И это презрение оказалось более сильным оружием, чем его воля. Она наносила укол за уколом его смущению, где и когда хотела. Но как же так? —возразил он себе. В Панаме нет владыки, кроме него; в доказательство он только что убил человека. Под таранными ударами его доводов сила Иsobель ослабела и медленно исчезла вовсе. Он сейчас же вернется во дворец и принудит ее, как обещал. С этой женщиной обходились слишком учтиво. Она не понимает, что такое — быть рабыней, и не знает, из какого железа скован Генри Морган.

Он повернулся на каблуках и зашагал назад к дворцу. Пистолеты он бросил в Приемном Зале, но серая шпага осталась висеть у него на боку.

Иsobель стояла на коленях перед святым образом в тесной беленой каморке, когда туда ворвался Генри Морган. При виде его высохшая дуэнья забилась в угол, но Иsobель внимательно посмотрела на его налившиеся

кровью лицо, на прищуренные свирепые глаза. Она услышала его тяжелое дыхание и с легкой улыбкой поднялась с пола. Язвительно усмехнувшись, она вытащила из корсажа длинную булавку и встала в позу фехтовальщика: выдвинула одну ногу, левую руку заложила для равновесия за спину, а булавку выставила перед собой, как рапиру.

— *En garde!*¹ — воскликнула она. И тут капитан набросился на нее. Его руки обхватили ее плечи, пальцы начали рвать одежду. Иsobель стояла неподвижно, только рука с булавкой находилась в непрерывном движении и жалила, жалила, как стремительная белая змейка. На щеках и шее Генри выступили капли крови.

— Теперь очередь ваших глаз, капитан, — произнесла она спокойно и трижды уколола его в скулу. Генри отпустил ее и попятился, стирая кулаком кровь с лица. Иsobель засмеялась. Мужчина может избить, может подвергнуть любому насилию женщину, которая пробует с плачем убеждать, но он бессилен перед ней, если она не уступает ему и только смеется.

— Мне слышался выстрел, — сказала она. — И я подумала, что вы убили кого-то, чтобы доказать свою мужественность. Но что с ней будет теперь? Что от нее останется? Так или иначе, по разговорам о том, что произошло здесь, вам не избежать. Вы ведь знаете, как быстро распространяются такие слухи. Все будут говорить, что вы отступили перед булавкой в руке женщины! — Тон ее был злорадным и жестоким.

Рука Генри скользнула вниз, и тонкая шпага выползла из ножен, как оледеневшая змея. Свет сладострастно облизывал и облизывал узкое лезвие. Наконец появился острый кончик, он взметнулся и нацелился в грудь женщины.

Иsobель стало дурно от ужаса.

— Я грешница, — сказала она, и внезапно лицо ее прояснилось. Она сделала знак дуэнье подойти и заговорила по-испански, быстро, дробно.

— Это правда, — сказала старуха. — Это правда.

Умолкнув, Иsobель бережно откинула края кружевной мантильи, чтобы на них не попала кровь. Дуэнья же начала переводить:

— Сударь, моя госпожа говорит, что верный католик, гибнущий от руки еретика, идет в рай. Это правда. Еще

¹ В позицию! (франц.)

она говорит, что католичка, которая принимает смерть, защищая святость своей супружеской клятвы, идет прямо в рай. Это тоже правда. И, наконец, она полагает, что со временем такую женщину могут канонизировать. Такое бывало. Ах, сударь! Капитан, будьте великодушны! Позвольте мне поцеловать ее руку, прежде чем вы нанесете удар. Великая благодать — поцеловать руку святой при ее жизни! Это может пойти на пользу моей грешной душе!

Исобель сказала ей еще что-то.

— Моя госпожа просит вас нанести ей удар. Нет, она требует этого, умоляет. Над ее головой витают ангелы. Она видит неземное сияние, и райская музыка звучит в ее ушах.

Кончик шпаги опустился, Генри Морган отвернулся и посмотрел в залитый солнцем сад. Крошка Чико вприпрыжку пробежал по дорожке и сел на пороге открытой двери. Зверек сжал лапки и поднял их над головой, словно молясь. Шпага со свистом вошла в ножны. Капитан Морган нагнулся, подхватил обезьянку и ушел, поглаживая голову Чико указательным пальцем.

V

Генри Морган извлек из груди сокровищ золотую чашу, удивительно тонкую, изящную, с длинными изогнутыми ручками и серебряным ободком. Снаружи по ней гнались друг за другом четыре неслепых ягненка, а внутри, на дне, обнаженная девушка вздымала руки в чувственном экстазе. Капитан повертел чашу в руках и внезапно запустил ее в сияющую всеми огнями пирамиду алмазов. Камни рассыпались с сухим шорохом. Генри Морган повернулся и пошел к своему змеиному креслу. Он думал о щуплом лондонце, о Джонсе, думал о холодной руке эпилепсии, схватившей того в последние мгновения жизни. Эта рука всегда нависала над ним, гигантская рука, скручивавшая человека, пока на его губах не выступали белые капли невыносимой муки. Генри не мог понять, почему ему вдруг захотелось причинить боль жалкому человечку, пытать его и, наконец, убить. Всю жизнь Джонса за ним неотступно следовал бессонный палач. Да, конечно, причиной этого убийства были слова Кёр-де-Гри, который сказал, что Джонс похож на Генри Морган. Теперь он понял это и испытал жгучий стыд. Зачем ему понадобилось ссылаться на выдуманное воровство? Почему он не мог убить его безо всяких объяснений?

А Кёр-де-Гри? Где он сейчас? Он видел Исобель, это несомненно, и она его заметила. Быть может, она полюбила Кёр-де-Гри с его солнечными волосами и непонятным умением прельщать женщин. А как сделать, чтобы юноша не узнал о его бесславном поражении? О забавном приключении с булавкой и о всех других невыносимых унижениях, каким подвергла Генри Моргана Санта Роха? Пистолет, убивший Джонса, валялся на полу. Генри поднял его и принялся тщательно заряжать. Он боялся не насмешек Кёр-де-Гри, а его сочувствия и понимания. Генри сейчас не хотел понимания. Его помощник поглядит на него с состраданием, с жалостью. И в жалости этой будет превосходство, легкая ирония. Это будет жалость красивого молодого мужчины, который сочувствует любовной неудаче другого мужчины, не такого красивого. И ведь Кёр-де-Гри умеет многое угадывать верно, точно женщина, точно Исобель. Он ведет наблюдения тайным невидимым глазом.

А Красная Святая? Ес, конечно, надо будет взять с собой. Ничего другого не остается. Быть может, через долгое-долгое время она в него влюбится, но только не за его достоинства. Ес пренебрежение убедило его в том, что никаких достоинств у него нет, что он чудовищный уродок, изгой из-за какого-то неназываемого уродства. Прямо она этого не сказала, но дала ясно понять. Да, в нем нет тех качеств, которые могли бы привлечь к нему женщину, пока вокруг есть другие мужчины. Но, быть может, если других мужчин она видеть не будет, то забудет, что он этих качеств лишен. Быть может, когда-нибудь она решит довольствоваться тем, что в нем есть.

Он вспомнил свою последнюю схватку с ней. Теперь, когда он успокоился, его дикий поступок выглядел хвастливым ломаньем толстого мальчишки. Но мог ли мужчина поступить иначе? Она отразила его нападение смехом, злым, жестоким смехом, который извлек на свет его тайные побуждения и превратил их в забаву. Он чуть ее не убил... Но какой мужчина мог бы убить женщину, которая хочет, чтобы ее убили, которая умоляет, чтобы ее убили? Немыслимо! Он загнал пулю в ствол пистолета.

В дверях показалась измятая оборванная фигура. Это был Кёр-де-Гри, забрызганный грязью, с красными глазами, еще не смывший с лица кровавых следов битвы. Он поглядел на груды соковок.

— Мы богаты,— сказал он без всякого воодушевления.

— Где ты был, Кёр-де-Гри?

— Где был? Так я же напился. Быть пьяным после сражения очень хорошо.— Он сардонически улыбнулся и облизал губы.— Но вот перестать быть пьяным совсем не хорошо. Прямо, как роды. Необходимо, но неприятно и безобразно.

— Ты был мне нужен,— сказал Генри Морган.

— Нужен? А мне сообщили, что вам никто не нужен, что вы довольны и счастливы самим собой, а потому я напился еще больше. Видите ли, сэр, мне не хотелось помнить, почему вы пожелали остаться одни.— Он помолчал.— Мне сказали, сэр, что Красная Святая была тут! — Кёр-де-Гри засмеялся над чувством, которое не сумел скрыть, и большим усилием воли изменил тон. Он заговорил шутливо:

— Скажите мне правду, сэр. Узнать, чего он лишился,— для человека пусть малосъный, но подарок. Многие люди на протяжении всей своей жизни только такими подарками и обходятся. Скажите мне, сэр, сдался ли нежный враг? Капитулировала ли крепость плоти? Развевается ли флаг Моргана на розовой башне?

Лицо Генри побагровело. Пистолет в его руке поднялся, направляемый неумолимым безумием. Раздался громкий треск, поплыло белое облачко дыма.

Кёр-де-Гри остался стоять. Он словно бы прислушивался к дальней барабанной дробн. Затем его лицо исказила гримаса ужаса. Пальцы отчаянно зашарили по груди и проследили струйку крови до ее источника — маленькой дырочки в легком. Мизинец медленно заполз в дырочку. Кёр-де-Гри снова улыбнулся. Случилось то, чего он не боялся. И теперь, когда он знал это твердо, его страх прошел.

Капитан Морган тупо смотрел на пистолет в своей руке. Он как будто удивился, увидев его в ней, как будто поразился такому открытию.

Кёр-де-Гри истерически засмеялся.

— Моя мать вас возненавидит,— с сожалением произнес он.— И обрушит на вас все свои древние проклятия. Моя мать...— Его голос захлебнулся.— Не говорите ей. Придумайте какую-нибудь сияющую ложь. Увенчайте мою жалкую жизнь золотым шпилем. Пусть она не уподобится недостроенной башне. Впрочем, нет... вам достаточно будет заложить фундамент, а уж она сама воздвигнет памятник из героических подвигов. Она построит мне гробницу из белоснежных неверных мыслей.— В горле у него заклокотала кровь.— Почему вы это сделали, сэр?

Капитан оторвал взгляд от пистолета.

— Сделал? — Он поглядел на окровавленные губы, на простреленную грудь, приподнялся в кресле и снова в него рухнул. Тоска обводила его глаза морщинами. — Не знаю, — сказал он. — Наверное, я знал, но забыл.

Кёр-де-Гри медленно опустился на колени и уперся кулаками в пол.

— Мои колени, сэр... — извинился он. — Они меня не держат. — И снова как будто прислушался к барабанной дробі. Внезапно его голос зазвенел в горькой жалобе:

— Это сказки, будто умирающие думают о том, что ими сделано. Нет... нет... Я думаю о том, чего я не сделал, о том, что я мог бы сделать в грядущие годы, которые умирают вместе со мной. Я думаю о губах женщин, которых мне не доведется увидеть, о вине, еще дремлющем в виноградном семечке, о быстрых любящих ласках моей матери в Гоаве. Но главное, я думаю о том, что мне уже не встать и не пойти — никогда уже я не выйду под солнечные лучи, никогда больше не вдохну густых запахов, которые полная луна извлекает из земли... Сэр, почему вы это сделали?

Генри Морган опять тупо посмотрел на пистолет.

— Не знаю, — угрюмо пробормотал он. — Наверное, знал, но позабыл. Когда-то я убил собаку... и только что убил Джонса. А почему — не знаю.

— Вы великий человек, капитан, — сказал Кёр-де-Гри с горечью. — А великие люди могут оставить свои побуждения творческой фантазии апологетов. Но я... — так я же, сэр, теперь уже ничто. Минуту назад я был редкостным фехтовальщиком, а теперь моего существа, того, что сражалось, и сыпало проклятьями, и любило, — словно бы никогда и не было.

Руки его ослабели, он упал и закашлялся, как будто стараясь избавиться от кома, заткнувшего ему горло. И некоторое время в зале слышались только его хриплые вздохи. Вдруг он приподнялся на локте и засмеялся — засмеялся какой-то вселенской шутке, шутке огромных вращающихся сфер, засмеялся с торжеством, словно решил трудную загадку и обнаружил, что была-то она очень простой. Этот смех поднял волну крови к его губам, и он захлебнулся ею. Смех перешел в булькающий стон, Кёр-де-Гри медленно опустился на бок и замер, потому что его легкие уже не могли дышать.

Генри по-прежнему смотрел на пистолет в своей руке. Потом медленно перевел взгляд на открытое окно. В потоке солнечного света сокровища на полу сияли невыноси-

мым блеском, как расплавленный металл. Его глаза обратились на труп перед ним. Он содрогнулся. А потом подошел к Кёр-де-Гри, поднял его и усадил в ближайшее кресло. Обмякшее тело перевесилось через ручку. Генри подхватил его и усадил прямо. Потом вернулся к змеиному креслу.

— Я поднял руку вот так...— сказал он, наводя пистолет на Кёр-де-Гри.— Я поднял руку вот так. Иначе же быть не могло. Ведь Кёр-де-Гри мертв. Вот так я поднял ее. Вот так... и навел... Как же я это сделал? — Он опустил голову, потом откинул ее со смешком.

— Кёр-де-Гри! — окликнул он.— Кёр-де-Гри! Я хотел рассказать тебе про Санта Роху. Ты знаешь, она ездит верхом на лошадях. В ней нет ни следа женской стыдливости... совсем нет, а красота ее не так уж и велика.— Он прищурился на неподвижную фигуру в кресле. Веки Кёр-де-Гри не совсем сомкнулись и теперь поползли вниз, а глаза словно начали проваливаться в глазницы. На лице застыла гримаса последнего горького смеха.

— Кёр-де-Гри! — закричал капитан, вскочил, быстро подошел к трупу и положил ладонь ему на лоб.

— Мертвец,— сказал он задумчиво.— Всего лишь мертвец. Вокруг него будут роиться мухи, и того гляди начнется мор. Надо приказать, чтобы его тотчас убрали. Не то сюда налетят мухи. Кёр-де-Гри! Нас провели. Эта баба фехтует, как мужчина, и ездит на лошадях в мужском седле. Мы так старались—и все напрасно! Но вольно же нам было верить всяким слухам, э, Кёр-де-Гри? Да нет, это ведь только мертвец, и на него слетятся мухи.

Его отвлекли тяжелые шаги на ступеньках. В зал ввалились пираты, волоча бедного перепуганного испанца — вымазанного в грязи, парализованного ужасом испанца. Кружева были сорваны с его шеи, а по рукаву ползла струйка крови.

— Это испанец, сэр,— объявил вожак.— Он вошел в город, держа белый флаг. Надо нам уважать белый флаг, сэр? У него седло с серебряной отделкой. Убить его, сэр? Может, он лазутчик.

Генри Морган пропустил эту речь мимо ушей и указал на труп в кресле.

— Это просто мертвец,— объявил он,— а не Кёр-де-Гри. Я отослал Кёр-де-Гри. Но он скоро вернется. А это... Я поднял руку вот так... видите? Я точно знаю, как я это сделал — я поднимал и поднимал руку. Но это только

мертвец. Он приманит сюда мух.—И Генри Морган закричал:— Да унесите же его и закопайте в землю!

Один из флибустьеров шагнул к креслу.

— Не тронь его! Не смей к нему прикасаться! Оставь его в покое. Он же улыбается! Ты видишь, он улыбается? Но вот мухи... Нет, оставь его. Я сам о нем позабочусь.

— А испанец, сэр? Что нам с ним делать? Убить?

— Какой испанец?

— Да вот этот, сэр! — И говоривший подтолкнул испанца вперед. Генри словно очнулся от тяжкого сна.

— Что тебе надо? — спросил он грубо.

Испанец с трудом подавил ужас.

— Мне... У меня... мой патрон послал меня с поручением к некоему капитану Моргану, если ему будет угодно меня выслушать. Я парламентар, сеньор... а не лазутчик, как решили эти... эти господа.

— Какое у тебя поручение? — Голос Генри стал бесконечно усталым.

И парламентар приободрился.

— Меня прислал очень богатый человек, сеньор. У вас его жена.

— Её жена? У меня?

— Её схватили здесь в городе, сеньор.

— Имя?

— Она зовется донья Иsobель Эспиноса Вальдес и лос Габиланьес, сеньор. Простые люди привыкли называть её Санта Роха.

Генри Морган долго смотрел на него и молчал.

— Да, она у меня,— сказал он наконец.— В темнице. Что угодно её супругу?

— Он предлагает за неё выкуп, сеньор. У него есть причина желать, чтобы супруга к нему вернулась.

— Какой выкуп он предлагает?

— А какой хотели бы вы, ваша светлость?

— Двадцать тысяч дублонов,— быстро ответил Генри.

Парламентар даже пошатнулся.

— Двадцать ты... вьенте мил...— Он полностью произнес цифру на родном языке, чтобы осознать чудовищность этой суммы.— Видимо, ваша светлость, вам она нужна самому.

Генри Морган посмотрел на труп Кёр-де-Гри.

— Нет,— сказал он.— Мне нужны деньги.

Парламентар почувствовал большое облегчение. Он уже готов был счесть этого великого человека великим дураком.

— Я сделаю все, что можно будет сделать, сеньор. Я вернусь к вам через четыре дня.

— Через три!

— Но если я не успею, сеньор?

— Если не успеешь, я увезу Красную Святую с собой и продам ее на невольничьем рынке.

— Я приложу все усилия, сеньор.

— Будьте с ним обходительны! — приказал капитан. — Чтобы никто пальцем его не тронул. Он привезет нам золото.

Они направились к дверям, но один обернулся и взглядом обласкал сокровища.

— Когда будет дележ, сэр?

— В Чагресе, болван! Или ты думал, что я разделю добычу сейчас?

— Но, сэр, нам бы хотелось поддержать что-нибудь в руках... ну, почувствовать, что оно наше, сэр! Мы же вон как за него дрались!

— Убирайся вон! Никто ни монеты не получит, пока мы не вернемся к кораблям. Или ты думаешь, я хочу, чтобы вы выбросили свою долю здешним бабам? Пусть ее у вас отберут женщины Гоава.

Флибустьеры вышли из Приемного Зала, недовольно ворча.

VI

Они праздновали победу. В самый большой склад Панамы прикатили десятки бочек вина. Середину помещения очистили от тюков и ящиков, и там теперь началась буйная пляска. Туда пришло немало женщин — женщин, которые предались пиратам. Они кружились и прыгали под вопли флейт, словно их ноги ступали вовсе не по могиле Панамы. Они, милые экономистки, возвращали частицу утраченных богатств с помощью оружия, не столь быстрого, но столь же верного, как шпага.

В углу склада сидел Этот Бургундец со своим одноруким опекуном.

— Погляди, Эмиль, вон на ту! Как тебе ее бедра, а?

— Вижу, Антуан, ты очень любезен. Не думай, будто я не замечаю, как ты стараешься доставить мне удовольствие. Но я настолько глуп, что взыскую идеала даже в простом совокуплении. И тем доказываю себе, что я все еще художник, пусть более и не землевладелец.

— Но ты погляди, Эмиль! Что за пышная грудь!

— Нет, Антуан, я не замечаю тут ничего такого, что могло бы подвергнуть опасности мою розовую жемчужину. Пока она останется у меня.

— Право же, друг мой, ты теряешь вкус к красоте! Где тот взыскательный глаз, которого мы столь боялись, когда он всматривался в наши холсты?

— Глаз на месте, Антуан. Все еще на месте. Это твои подслеповатые буркалы видят нимф в пегих кобылах.

— Ну, тогда... Ну, тогда, Эмиль, раз уж ты упорно не хочешь прозреть, так, может быть, ты будешь столь любезен, что одолжишь мне свою розовую жемчужину... Благодарю тебя. Я не замедлю ее вернуть.

Посреди пола сидел Гриппо и хмуро пересчитывал пуговицы у себя на рукаве:

— ... восемь... девять... А было десять! Какой-то прохвост украл мою пуговицу. Что за мир—вор на воре! Но с меня хватит. За эту пуговицу я убью ублюдка. Моя любимая пуговица! Раз, два, три...

А вокруг него бушевала пляска, и воздух вонзался в уши пронзительной мелодией флейт.

Капитан Сокинс жег пляшущих угрюмым взглядом. Он твердо верил, что танцы — кратчайший путь в ад. Рядом с ним капитан Зейглер печально следил, как пустеют винные бочки. Зейглер был известен под прозвищем «Морской Кабатчик». Он имел обыкновение после успешного плавания оставаться в море до тех пор, пока его команда не спускала всю свою долю добычи, попивая ром, который он продавал им. По слухам, был случай, когда у него на корабле вспыхнул бунт, потому что он три месяца ходил и ходил вокруг одного и того же острова. Но что ему было делать? У матросов еще не кончились деньги, а у него не кончился ром. И сейчас его угнетал вид пустеющих бочек, ибо возлияния не сопровождалось мелодичным звоном монет, сыплющихся на стойку. В этом ему чудилось что-то противоестественное и злое.

Генри Морган сидел один в Приемном Зале. Визгливая музыка флейт едва доносилась туда. Весь день в зал входили небольшие компании его людей и пополняли кучу драгоценностями, выкопанными из земли или подцепленными железными крючьями в цистернах. Одна старуха проглотила алмаз, чтобы не расстаться с ним, но они покопались и нашли его.

Теперь в Приемном Зале сгустился сумрак. Весь день Генри Морган просидел в своем высоком кресле, и этот день преобразил его. Грезящие глаза, смотревшие за грань

горизонта, обратились внутрь. Он глядел на себя — озадаченно глядел на Генри Моргана. Всю свою жизнь, в каждом своем предприятии, он с такой полнотой верил в поставленную перед собой цель, какова бы она ни была, что ни о чем другом не задумывался. Но в этот день он обратил взгляд на себя, на Генри Моргана, и сейчас в сером сумраке это зрелище ставило его в тупик. Генри Морган не казался достойным славы, он вообще не казался чем-то стоящим внимания. Те желания, те честолюбивые стремления, за которыми он с лаем гнался через весь мир, точно гончая по следу, оказались жалкими и ничтожными, когда он заглянул в себя. И в Приемном Зале это недоумение окутывало его вместе с сумраком.

В полутьме к его креслу прокралась сморщенная старая дуэнья и встала перед ним. Ее голос был, как шелест сми-наемой бумаги.

— Моя госпожа желает поговорить с вами, — сказала она.

Генри встал и тяжелой походкой побрел за ней к тюрьме.

Перед святым образом на стене горела свеча. Мадонна была толстой испанской крестьянкой, которая с печальным недоумением взидала на дряблого младенца у себя на коленях. Священник, изобразивший ее на картине, пытался придать ей благоговейный вид, но он толком не знал, что такое благоговение. Однако ему удалось написать педурной портрет своей любовницы и ее ребенка. И получил он за этот портрет четыре реала.

Исобель сидела под образом. Когда вошел Генри, она быстро поднялась ему навстречу.

— Говорят, меня должны выкупить?

— Ваш муж прислал парламентаря.

— Мой муж? Так я должна вернуться к нему? В его надушенные руки?

— Да.

Она указала на стул и вынудила Генри сесть.

— Вы меня не поняли, — сказала она. — Вы не могли меня понять. Вам следует узнать хоть что-то о жизненном пути, который я прошла. Я должна рассказать вам, и вы поймете меня, а тогда...

Она выждала, чтобы он выразил интерес. Генри молчал.

— Разве вы не хотите узнать? — спросила она.

— Хочу.

— Ну, она коротка. Моя жизнь. Но мне нужно, чтобы вы меня поняли, а тогда...

Она впиалась глазами в его лицо. Губы Генри были сжаты, точно от боли. Глаза смотрели недоуменно. Он словно не заметил, что она умолкла.

— А было вот что,— начала она.— Я родилась здесь, в Панаме, но родители очень скоро отправили меня в Испанию. Я жила в монастыре в Кордове, носила серые платья и, когда приходила моя очередь провести ночь в молитве и бдении, лежала ниц перед изображением Пресвятой Девы. Иногда вместо того, чтобы молиться, я засынала. И за такую распушенность терпела наказание. Я прожила там многие годы, а потом разбойники напали на плантацию моего отца здесь, в Панаме, и перебили всю мою семью. У меня не осталось никого, кроме старика деда. У меня не осталось никого, я тосковала от одиночества — и некоторое время не засынала на полу перед Пресвятой Девой. Выросла я красавицей — поняла я это, когда навестивший монастырь важный кардинал посмотрел на меня, и у него задрожали губы, а пока я целовала его кольцо, на обеих его руках вздулись вены. Он сказал: «Мир тебе, дочь моя. Не хочешь ли ты в чем-нибудь исповедаться мне наедине?» Я слышала крики водоноса за оградой и слышала шум ссор. Однажды я влезла по доске, выглянула на улицу и увидела, как двое мужчин дрались на мпатах. А как-то ночью молодой человек отвел девушку в тень арки над воротами и лежал там с ней в двух шагах от меня. Я слышала, как они шептались: она боялась, а он ее успокаивал. Я перебирала складки моего серого платья и думала, стал бы он уговаривать меня, если бы увидел. Когда я рассказала об этом одной из сестер, она сказала: «Грех слушать такое, но еще больший грех — думать о таком. Надо положить на тебя епитимью за твои любопытные уши. А у каких, ты сказала, это было ворот?»

Разносчик рыбы кричал: «Идите-идите сюда, серенькие ангелочки, посмотрите, какой у меня нынче улов! Идите сюда из своей святой темницы, серые ангелочки!» Как-то ночью я перелезла через стену и ушла из города. Не стану тебе рассказывать о моих странствованиях, а расскажу только про тот день, когда я пришла в Париж. По улице ехал король, и его карета сверкала золотом. Я стояла на цыпочках в толпе и смотрела на его свиту. Внезапно передо мной возникло смуглое лицо, железные пальцы стиснули мою руку. И меня увели в подворотню, где никого не было. Капитан, он бил меня жестким кожаным ремнем, которым обзавелся только для этого. В его лице все время

чуть просвечивала оскаленная морда зверя. Но он был свободным — дерзким свободным вором. И убивал, прежде чем украсть — всегда убивал. И мы ночевали в подворотнях, на каменном церковном полу, под арками мостов, и мы были свободны — свободны от мыслей, свободны от забот и тревог. Но однажды он ушел от меня, и я нашла его на виселице, о, на огромной виселице — повешенных на ней болталось не меньше десятка. Вы способны понять это, капитан? Видите ли вы это, как видела я? И хоть что-нибудь это для вас значит, капитан?

Она на миг умолкла. Ее глаза пылали.

— Я вернулась в Кордову, мои босые ноги были все в ранах. Я каялась, пока все мое тело не покрылось ранами, но изгнать из него дьявола я так и не сумела. Изгонял его и священник, но дьявол забрался в меня слишком глубоко. Можете вы понять это, капитан? — Она посмотрела в лицо Генри и увидела, что он не слушает. Тогда она встала перед ним и провела пальцами по его седеющим волосам.

— Вы изменились, — сказала она. — Какой-то свет в вас угас. Что за страх овладел вами?

— Не знаю.

— Мне сказали, что вы убили своего друга. Вас гнетет это?

— Я его убил.

— И теперь оплакиваете.

— Быть может. Не знаю. Мне кажется, я оплакиваю что-то другое, что-то, что умерло. Возможно, он был моей неотъемлемой частью, и с ее гибелью я остался получеловеком. Нынче я был словно связанный раб на белой мраморной плите, а вокруг толпились вивисекторы. Меня считали здоровым рабом, но скальпели обнаружили, что я страдаю болезнью, название которой — заурядность.

— Мне жаль.

— Вам жаль? Почему вам жаль?

— По-моему, мне жаль вашего погасшего света. Мне жаль, потому что храбрый беспощадный ребенок в вас умер — хвастливый ребенок смеялся надо всем и верил, что его смех сотрясает престол господень, доверчивый ребенок, милостиво позволявший миру сопровождать его в полете через космические бездны. Этот ребенок умер, и мне жаль. Теперь я бы пошла с вами, если бы думала, что его еще можно согреть и оживить.

— Странно, — сказал Генри. — Два дня назад я строил планы, как вырву целый континент из тисков установлен-

ного порядка и увенчаю литой из золота столицей — для вас. В уме я сотворил для вас империю и обдумывал, какую диадему возложу на вашу голову. А теперь я еле помню того, кого занимали все эти мысли. Он для меня — таинственный незнакомец на неустойчивом шаре. А вы... мне с вами только чуть неловко. Я больше вас не боюсь, я больше вас не хочу. Меня томит тоска по черным горам моей родины, по речи моих земляков. Мне хотелось бы сидеть на широкой веранде и слушать рассуждения старика, которого я когда-то знал. Оказывается, я устал от кровопролитий и жадной погоны за целями, которые тут же меняются, за всем тем, что в моих руках сразу утрачивает былую цену. Это страшно! — вскричал он. — Я больше ничего не хочу. Желания больше не горят во мне, все мои страсти — сухой шелестящий прах. И мне осталась лишь смутная потребность в покое — и в досуге, чтобы размышлять в поисках постижения непостижимого.

— Больше вам уже не брать золотых чаш, — сказала она. — Больше не превращать тщеславные грезы в никчемные завоевания. Мне жаль вас, капитан Морган. И вы ошиблись — раб был действительно болен, но болезнь вы назвали неверно. Грехи же ваши, я полагаю, огромны. Все люди, ломающие решетки заурядности, творят ужасающие грехи. Я буду молить за вас Пресвятую Деву, и Она станет вашим ходатаем перед Небесным Престолом. Но что делать мне?

— Полагаю, вы вернетесь к мужу.

— Да, вернусь. Вы сделали из меня старуху, сеньор. Вы рассеяли грезы, на которых воспарял мой свинцовый дух. И я задаю себе вопрос: не начнете ли вы в грядущие годы винить меня в смерти своего друга?

Генри багрово покраснел.

— Я уже сейчас ловлю себя на этом, — сказал он. — Лгать дальше кажется бессмысленным: вот еще одно доказательство, что юность во мне умерла. А теперь прощайте, Иsobель. Я хотел бы любить вас сейчас так, как, мнилось мне, я любил вас еще вчера. Возвращайтесь в надушенные руки своего мужа.

Она улыбнулась и возвела глаза к святому образу на стене.

— Да будет мир с вами, милый дурак, — прошептала она. — Ах, я тоже утратила свою юность. Я стара... стара... потому что не могу утешить себя мыслью о том, чего вы лишились.

Генри Морган стоял в дверях Приемного Зала и смотрел, как к дворцу приближается небольшая кавалькада. Со всех сторон ее окружала густая толпа флибустьеров. Впереди ехал тот же парламентар, но выглядел он теперь совсем другим, блистая нарядом из алого шелка. Только плюмаж и ножны были белыми в знак мирных намерений. За ним ехало шестеро солдат в серебряных панцирях и испанских шлемах, которые формой напоминали половинку горчичного зерна. Последний вел на поводу белую кобылу в малиновой сбруе с золотыми колокольчиками на налобном ремне. Белоснежный чепрак почти касался земли. За кобылой выступали шесть мулов, нагруженные тяжелыми кожаными мешками. Замыкали процессию еще шестеро солдат.

Кавалькада остановилась перед дворцом. Парламентар спрыгнул с коня и поклонился Генри Моргану.

— Я привез выкуп,— сказал он. Вид у него был озабоченный и усталый. Груз порученного ему дела угнетал его душу. По его приказанию солдаты перенесли мешки в Приемный Зал, и лишь когда последний мешок лег рядом с прочими сокровищами, тревога исчезла с его лица.

— А-ах!— сказал он.— Так-то лучше. Вот выкуп. Двадцать тысяч дублонов — и ни один не пропал по дороге. Соболаговолите пересчитать их, сеньор! — И он стер пыль, прилипшую к носку его сапога.— Быть может, мои люди могли бы подкрепиться, сеньор? Глоток вина...— добавил он вопросительно.

— А, да-да! — Генри сделал знак одному из своих приближенных.— Присмотри, чтобы их хорошо накормили и дали им вина. И будьте с ними обходительны, если цените свою жизнь.

Затем он направился к мешкам и начал пересчитывать выкуп. Он строил башенки из сверкающих монет и двигал башенки по полу. «Монеты красиво блещут,— думал он.— И невозможно придать им более очаровательную форму. Квадрат не подошел бы. И эллипс тоже. Да и вообще деньги стоят дороже денег!» Он опрокинул башенку и принялся воздвигать ее заново. Как они неколебимо надежны... деньги. Всегда заранее известно, что будет, если привести их в движение. Во всяком случае, до какой-то степени. А что сверх, то уже значения не имеет. На деньги можно купить вина. И вот у тебя есть вино. А если приказчик убьет купца ради тех же самых монет, это прискорбно,— возможно, это Рок или еще что-нибудь столь же высокое, но вино-то у тебя есть. И вся груда золотой

утвари, все эти распятия, подсвечники, шитые жемчугом облачения тоже станут вот такими деньгами. Эти золотые и серебряные слитки будут нарублены на круглые бляшки, и на каждой будет вычеканено изображение. И оно будет не просто изображением. Как поцелуй святого, оно наделит бляшку особой силой, подарит ей самостоятельность и страшную властительную душу. Он смахнул монеты в кучу и терпеливо принялся вновь выкладывать их столбиками. Тут хватит башен и для Иерусалима!

Из сада вошла Исобель и встала рядом с ним.

— Сколько денег! — сказала она. — Это мой выкуп?

— Да, золото, за которое вас покупают.

— Но ведь его тут очень много! Неужто я стою столько? Как по-вашему?

— Для вашего мужа стоит. Он уплатил его за вас. — Генри сдвинул десять башенок в стройный ряд.

— А для вас... сколько? Какого количество этих золотых кружков?

— Видимо, столько же и для меня. Ведь цену назначил я.

— Как весело прыгали бы они по воде! — сказала она. — Ах, как весело! Знаете, я умею бросать по-мальчишески, сгибая руку в локте.

— О ваших способностях рассказывали многое, — отзывался он.

— Но неужели я и правда стою столько?

— Деньги здесь, и вы должны уехать. Они вас купили. Товар должен стоить того, что за него платят, иначе торговля невозможна.

— Прекрасно, — сказала она. — Утешительно знать себе цену до последнего реала. А вы не знаете, капитан, какова ваша цена?

Генри Морган сказал:

— Если меня возьмут в плен и потребуют выкупа, я не буду стоять и медяка. Мои псы только плечами пожмут и расхохочутся. Тут же найдется новый капитан, чтобы их возглавить, а я... ну, я останусь в распоряжении моих победителей, и, думаю, могу безошибочно предсказать, как они мной распорядятся. Видите ли, последние дни я оценивал себя заново. Возможно, я буду представлять какую-то ценность для историков, потому что сумел кое-что разрушить. Строитель вашего собора уже забыт, но я, тот, кто сжег ваш собор, возможно, буду жить в памяти людской еще сто лет. И, пожалуй, из этого можно сделать те или иные выводы обо всем человечестве.

— Но что во мне может стоять такого количества золота? — не отступала она. — Мои плечи, как вам кажется? Мои волосы? Или то, что я воплощаю в себе тщеславие моего мужа?

— Не знаю, — сказал Генри. — Вместе с моей переоценкой изменилась вся шкала стоимости чувств и людей. Если бы я назначил выкуп сегодня, возможно, вы не были бы польщены.

— Вы так сильно ненавидите меня, капитан Морган?

— Нет, никакой ненависти я к вам не испытываю, но вы одна из звезд на моем небосклоне, которые все оказались метеорами.

— Это нелюбезно, сударь. Еще и недели не прошло с того дня, когда вы говорили совсем другое! — сказала она ядовито.

— Да. Это нелюбезно. Мне кажется, с этих пор любезен я буду только ради денег и своего возвышения. Прежде я старался быть любезным, так же как и доблестным, во имя одной лишь чистой радости сущего. Видите ли, я был честен с собою раньше, и я честен с собою теперь. Но эти две честности противоположны друг другу.

— Вас томит горечь.

— Нет. Я даже горечи не испытываю. Во мне больше не осталось того, чем питается горечь.

— Я сейчас уеду, — сказала она тихо и жалобно. — Вам больше нечего сказать про меня? И нечего попросить у меня?

— Нечего, — ответил он и пришлось вновь строить золотые башенки.

С улицы вошел парламентар, который от радости, что все позади, порядком напился. Стараясь сохранить равновесие, он осторожно поклонился Иsobель, а потом Генри Моргану.

— Нам пора отправляться, сеньор, — объявил он громко. — Дорога предстоит длинная.

Подведя Иsobель к белой кобыле, он помог ей сесть в седло, и по его сигналу кавалькада тронулась в обратный путь. Иsobель оглянулась. Видимо, она заразилась от Генри Моргана его настроением — на губах у нее играла недоуменная улыбка. Но тут же она наклонилась к шее кобылы и принялась тщательно рассматривать белую гриву.

Парламентар задержался в дверях рядом с Генри. Они оба смотрели на удаляющуюся вереницу всадников. Солнце вспыхивало на солдатских панцирях, и белая кобыла в середине живой изгибающейся цепи казалась жемчужиной в серебряной оправе.

Парламентер положил руку Генри на плечо.

— Мы умеем понимать друг друга, мы — мужи, вершащие важные дела, — произнес он заплетающимся языком. — Мы же не дети, чтобы играть в секреты. Мы ведь мужчины, храбрые и сильные. И можем довериться друг другу. Если желаете, сеньор, то откройте мне заветную тайну сердца.

Генри стряхнул его руку с плеча.

— Мне нечего вам открывать, — сказал он резко.

— А-а! Ну, так я вам кое-что открою. Быть может, вас удивляет, почему муж этой женщины не отказался заплатить за нее такие огромные деньги. Она ведь всего лишь женщина, скажете вы. И есть много женщин, которых можно купить куда дешевле, иных так за один-два реала. Ее муж глупец, скажете вы. Но я не желаю, чтобы вы думали так о моем патроне. Он не дурак. Я объясню вам, в чем тут дело. Ее дед еще жив, а ему в Перу принадлежат десять серебряных рудников и пятьдесят лиг плодородной земли. Дочь Исобель — единственная наследница. И если бы ее убили, или увезли... Но вы же понимаете, сеньор... Фр-р-р! Все богатство отходит королю! — Он засмеялся логичности своих рассуждений. — Мы понимаем друг друга, сеньор. У нас крепкие головы, а не хрупкие головенки цыплят. Двадцать тысяч дублонов... Что такое двадцать тысяч дублонов против десяти серебряных рудников? О, да! Мы понимаем друг друга, мы — мужи, вершащие важные дела.

Он вскарабкался в седло и дернул поводья, все еще хохоча. Генри Морган увидел, как он догнал кавалькаду и в колыхающейся серебряной оправе рядом с жемчужиной заалел рубин.

Капитан Морган вернулся к сокровищу. Он сел на пол и зачерпнул полные пригоршни монет.

«Самая человеческая из человеческих черт — это непостоянство, — думал он. — И постигая это, человек испытывает сильное потрясение, почти такое же сильное, как от сознания своей человечности. И почему мы должны узнавать это напоследок? Среди сумасшедших нелепостей жизни, ее папыщенно-высокопарных глупостей я хотя бы находил надежный якорь в самом себе. Что значили бесхребетные колебания и метания других людей, если я верил в собственную негибасмую неизменность? И вот теперь я гляжу на растрепанный обрывок каната, а мой якорь исчез безвозвратно. Мне неизвестно, был ли канат перерезан, или сам мало-помалу перетерся, но мой якорь исчез

безвозвратно. И я плыву, плыву, плыву вокруг острова, на котором нет железа! — Он задумчиво пропустил между пальцами несколько золотых. — Но, быть может, вот этот металл послужит мне железом, чтобы выковать новый якорь. Он тверд и тяжел. Цену его, правда, немного колеблют экономические течения, но, во всяком случае, у него есть назначение, причем строго одно. В нем — абсолютный залог безопасности. Да, пожалуй, вот он — единственный истинный якорь, единственный, на который можно положиться безусловно. Его лапы надежно закрепляются в благополучии и безопасности. А именно благополучие и безопасность, как ни странно, влекут меня теперь!»

«Однако часть этого золота принадлежит не тебе, а другим!» — возразил какой-то уголок его мозга.

«Нет, милая моя совесть, мы кончили играть и притворяться. Я надел новые очки. А вернее сказать, их на меня надели и заперли на замок, и потому я должен устраивать свою жизнь в соответствии с тем, что вижу сквозь новые стекла. А вижу я, что честность — общественная честность — может служить лестницей к более благопристойному, более доходному преступлению, а правдивость служит оружием более толкому лицемерию. У этих людей нет никаких законных прав. Слишком уж вольно они обращались с правами других людей, чтобы требовать уважения к своим... (Он случайно споткнулся об эту мысль, но она оказалась поистине счастливой находкой!) Они крадут, а потому добыча их будет украдена!.. Однако я же сказал, что покончил с уловками и заговариванием совести. При чем тут права... или разум, или логика, или та же совесть? Мне нужны эти деньги. Меня манят благополучие и безопасность, и я держу в своих руках средство обеспечить себе и то и другое. Пусть далеко от идеалов юности, но так повелось с начала времен. Пожалуй, следует только радоваться, что не юность правит миром. А к тому же, — заключил он, — эти безмозглые дураки не заслуживают и горстки золота. Они тут же спустили бы свою долю в борделях, стоило бы нам вернуться на Тортугу!»

VIII

Флибустьеры ушли из погибшей Панамы. Они погрузили сокровища на мулов и отправились назад через перешеек. До устья Чагреса они добрались совсем измученные, тем не менее дележ назначили на следующий день. Для

упрощения дела все золото было погружено на один корабль — на большой галеон, которым командовал герцог, пока его не захватили пираты. Там каждому и предстояло получить свою долю. Капитан Морган был в прекрасном расположении духа. Все труды остались позади, сказал он своим людям, и теперь настало время праздновать. Он приказал выкатить на берег сорок бочек рома.

На заре какой-то пират протер красные глаза и посмотрел на море. Там, где накануне стоял галеон, он увидел лишь чистую воду и кинулся будить своих товарищей. Минуту спустя берег был запружен людьми, которые торопливо вглядывались в горизонт. Галеон ушел глубокой ночью, и все богатства Панама ушли с ним.

Флибустьеры захлебывались от ярости. В погоню! Они настигнут беглецов и предадут капитана Моргана самым страшным пыткам! Но преследовать предателей было не на чем. Все остальные суда оказались выведенными из строя. Одни лежали на песчаном дне с большими дырами, просверленными в бортах. На остальных были поднилены мачты.

Над берегом гремели проклятия, небу грозили сжатые кулаки. Они поклялись в братстве во имя мести. Они придумывали ужасающие возмездия. И рассеялись кто куда. Одни погибли от голода. Других замучили индейцы. Некоторых поймали и задушили испанцы, а нескольких добродетельно повесили англичане.

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

На берегу в Порт-Ройале толпились чуть ли не все его обитатели. Они явились поглазеть на капитана Моргана, который разграбил Панаму. Одетые в китайские шелка благородные дамы не могли не прийти — как-никак Генри Морган принадлежит к именитой семье, он же племянник бедного милого вице-губернатора, павшего в сражении. Моряки явились потому, что он был моряк, мальчишки — потому что он был пират, девушки — потому что он был герой, купцы — потому что он был богат, рабы — праздника ради. Шлюхи, подкрашенные губы соком ягод, останавливали взгляд беспокойных глаз на мужчинах, стоявших в одиночестве, а совсем еще юные девочки лелеяли в сердце святую надежду, что великий человек посмотрит в их сторону и вдруг поймет, что перед ним — воплощение его мечты.

В толпе стояли матросы, хваставшие тем, что самолично слышали, как умеет ругаться капитан Морган, а также портные, шившие ему панталоны. Каждый человек, который когда-нибудь видел капитана Моргана и слышал его голос, собирал вокруг себя восхищенных поклонников. Эти счастливцы как бы заимствовали у него частицу славы.

Рабы-негры, отпущенные с плантаций в столь знаменательный день, смотрели огромными пустыми глазами на покачивающийся в бухте галеон. Их хозяева прохаживались среди простонародья, во всеуслышание сообщая, что они скажут Генри Моргану, когда он будет у них обедать, и какие советы дадут ему. Тон их был небрежным и веселым, словно они частенько принимали у себя в доме людей, ограбивших Панаму. Двое-трое содержателей таверн выкатили на берег бочонки вина и бесплатно угощали всех желающих. Свою прибыль они намеревались получить, утоляя жажду, которую сейчас только раздражали.

На небольшой пристани ожидали приближенные губернатора — brave молодцы, все в галунах и серебряных пряжках. Солдаты с пиками придавали встрече надлежащую официальность. Море накатывало на песок веера пологих волн. Приближался полдень, и солнце пылало в небе раскаленным добела тиглем, но никто не замечал жары. Для людей на берегу существовал только галеон, покачивающийся в бухте.

Миновал полдень, и только тогда Генри Морган, следивший за берегом в подзорную трубу, решил отправиться в город. Выбор времени и мизансцены диктовались не только его тщеславием. В ночной темноте к борту галеона приткнулся челнок, привезший весть, что его могут арестовать за победу над врагами короля. Генри решил, что восторги горожан должны склонить чашу весов в его пользу. И все утро с одобрением наблюдал возрастающее возбуждение толпы.

Но теперь его шлюпка была спущена, и матросы заняли свои места. Едва она приблизилась к берегу, как зеваки разразились приветственными криками, которые быстро слились в оглушительный рев. Люди подбрасывали шляпы, прыгали, приплясывали, гримасничали, перекликались друг с другом. С пристани к Генри потянулись руки, когда он еще не успел встать. Едва он выпрыгнул из шлюпки среди посланцев губернатора, как солдаты построились вокруг них и с пиками наперевес принялись расчищать дорогу сквозь толпу толкающихся, дерущихся зрителей.

Генри с тревогой покосился на строй солдат.

— Я арестован? — спросил он у ближайшего из бравых молодых.

— Арестованы? — расхохотался тот. — Конечно, нет! Мы бы не посмели вас арестовать, даже если бы хотели. Чернь разорвала бы нас в клочья. А если бы нам все же удалось посадить вас за решетку, они разобрали бы тюрьму по камешку голыми руками, чтобы освободить вас. Сэр, вы не представляете себе, что вы такое для этих людей. Все эти дни они только и говорили, что о вас. Но губернатор желает видеть вас немедленно, сэр. Сам он не мог быть здесь по понятным причинам.

Так они добрались до губернаторского дворца.

— Капитан Морган, — сказал губернатор Модлифорд, когда они остались наедине, — не знаю, сообщу ли я вам хорошие новости или дурные. Известие о вашем завоевании достигло ушей короля. Нас обоих вызывают в Англию.

— Но у меня было предписание...

Толстые щеки и плечи губернатора заколыхались в скорбном отрицании.

— О предписании, капитан, я бы на вашем месте умолчал, хотя и выдано оно мной самим. Там есть статьи, которые могут нас обоих поставить в ложное положение. Хотя нам и так грозит виселица. Впрочем, не знаю, не знаю... Разумеется, сейчас между Испанией и Англией мир, но отношения остаются прохладными, весьма и весьма. Король сердит на нас, но, полагаю, несколько тысяч фунтов, врученные кому следует, могут смягчить его гнев, в каком бы он ни был безенстве. Английский народ с ликованием узнал о столь славной победе. Будьте спокойны, капитан. Я, во всяком случае, спокоен. — Он выразительно посмотрел на Генри. — Надеюсь, в пужную минуту у вас найдутся эти тысячи?

Генри произнес официальным тоном:

— Я старался служить моему государю, следуя духу его воли, а не букве политической игры... — Затем он добавил: — Право, сэр Чарльз, мне есть чем заплатить за королевскую милость, пусть это обойдется и в полмиллиона. Говорят, король добрый человек и большой знаток женской красоты, а мой опыт свидетельствует, что этому всегда сопутствует нужда в деньгах.

— И еще одно, капитан, — с некоторой неловкостью сказал губернатор, — некоторое время тому назад ваш дядя был убит. Его дочь живет здесь у меня. Сэр Эдвард

умер почти ниимущим. Разумеется, мы, как вы понимаете, будем рады, если она навсегда останется с нами, но, боюсь, ей это несколько в тягость. Мне кажется, ее смущает мысль, что ей благодетельствуют. Разумеется, вы позаботитесь о ней. Сэр Эдвард погиб благородно, он заслужил благодарность короля, но, к сожалению, благодарности короны денежной стоимости не имеют.

Генри улыбнулся.

— Мой дядя мог погибнуть только самым благородным образом. Я уверен, что мой дядя делал все — да-да, даже ногти подстригал — так, словно с него не спускали злорадных глаз знатнейшие придворные. А как он скончался? Произнес краткую достойную случая речь? Или плотно сжав свои проклятые узкие губы, словно смерть неприлична людям, занимающим его положение? Что за человек! Его жизнь сводилась к простой, но эффектной роли, которую он неплохо играл. — Тон Генри был шутливым. — Я ненавижу дядю. Мне кажется, я его побаивался. Он принадлежал к весьма немногим людям, которые были способны внушить мне страх. Но скажите, как он умер?

— Шептались, что один раз он застонал. Я выяснил, как возникли эти слухи, и оказалось, что какой-то лакей спрятался за занавесом. Без сомнения, он и распустил их.

— Жаль! Жаль! Какая жестокая насмешка судьбы — запятнать безупречную жизнь, не совладав с выдыхаемым воздухом! Но теперь я его больше не боюсь. Если он застонал, значит были в нем и человечность, и слабость. Я презираю, но и люблю его за это. Что до моей кузины, будьте спокойны, я избавлю вас от хлопот о ней. Мне кажется, я ее помню: высокая девочка с белокурыми волосами, девочка, которая очень скверно играла на арфе. То есть мне казалось, что скверно, а возможно, что и превосходно.

Моддифорд заговорил о том, чего уже давно хотел коснуться:

— Я слышал, что в Панаме вы встретили Красную Святую и отпустили ее за выкуп. Как это было? Говорили, что она — жемчужина из жемчужин!

Генри покраснел.

— Ну-у,— протянул он,— по-моему, легенда ей польстила. Бесспорно, она очень недурна собой и, наверное, способна пленить некоторых мужчин. Но она не принадлежит к женщинам, которых я нахожу достойными восхищения. Понимаете ли, она несдержанна в выражениях, и рассуждала о вещах, которых, мне кажется, женщинам

касаться не подобает. К тому же она ездит верхом по-мужски и фехтует. Короче говоря, в ней нет той стыдливости, которую мы привыкли находить в женщинах благородного происхождения.

— Но как любовница... Только как любовница?..

— Видите ли, я получил за нее семьдесят пять тысяч дублонов. На мой взгляд, не родилась еще женщина, ради которой стоило бы отказаться от этой суммы.

— Такой выкуп! Но почему за нее дали столько?

— Наведя справки, я выяснил, что ее ждет большое наследство. Ну, и как я уже сказал, она очень недурна собой, хотя, конечно, легенда ей польстила.

Тем временем в другой комнате леди Моддифорд наставляла Элизабет.

— Душенька, вижу, я должна поговорить с вами как мать. Я думаю только о вашем будущем. Нет никаких сомнений, что ваш кузен позаботится о вас, но будете ли вы счастливы? То есть всецело завися только от его щедрости? Однако взгляните на него по-иному! Он богат, приятен лицом. Вы понимаете, душенька, что тут delicate пичать нельзя. И даже не так уж и желательно, мне кажется. Почему бы вам не выйти замуж за вашего кузена? Не говоря уж обо всем остальном, вы окажетесь тогда единственной женщиной на свете, которой не в чем будет упрекнуть родню мужа...

— Но, леди Моддифорд,— кротко возразила Элизабет,— то, о чем вы говорите... Ведь, кажется, браки между двоюродными братьями и сестрами считаются недозволенными?

— Ничуть, душенька. Ни установления церкви, ни установления государства нигде этого не запрещают, а что до меня, так, по-моему, подобные браки вообще предпочтительнее. Сэра Чарльза и вашего кузена вытребовали в Англию. Сэр Чарльз полагает, что речь может пойти о возведении в рыцарский сан. Тогда вы станете леди Морган и будете богаты.

Элизабет задумалась.

— Я видела его только раз какую-то минуту, и, если не ошибаюсь, мне он не очень понравился. Такой он был возбужденный, весь красный. Но держался он почтительно и учтиво. Мне кажется, он хотел узнать меня поближе, но отец... вы ведь помните его... Может быть, из него выйдет хороший муж,— dokonчила она.

— Душенька, из любого мужчины выйдет хороший муж, если за него взяться, как следует.

— Да, пожалуй, так будет лучше всего. Мне надоело, что меня жалеют за мою бедность. Но он сейчас окружен такой славой, заметит ли он меня, как вы думаете? Позволит ли ему гордость снизойти до нищей кузины?

— Милая Элизабет,— твердо сказала леди Моддифорд,— неужели вы до сих пор не поняли, что почти любая женщина может выйти за любого мужчину, если только не помешает другая женщина? Но я уж приглашу, чтобы вам никто не встал поперек дороги. Можете на меня положиться.

Элизабет приняла окончательное решение.

— Ах, знаю! Я сыграю ему. Я слышала, как музыка чарует необузданных мужчин. Я сыграю ему новые пьесы — «Состязание эльфов» и «Господь дарит успокоенье душе усталой».

— Нет-нет! — перебила леди Моддифорд.— Ни в коем случае! На вашем месте я не стала бы... Вдруг он не любит высокую музыку? Есть способы надежнее...

— Но вы же сказали, что это прелестные вещицы, вы так сами сказали! И я ведь читала, как музыка трогает мужчин — они еле выдерживают!

— Хорошо-хорошо, душенька! Сыграйте ему, если вам так хочется. Быть может, он... Но сыграйте ему что-нибудь. Быть может, у вас в роду... То есть я хотела сказать, что любовь к музыке у вас, возможно, семейная черта. Но, разумеется, вы понимаете, что вам следует восхищаться им и чуть-чуть его побаиваться. Пусть он почувствует, что вы несчастное, беспомощное создание, со всех сторон окруженное тиграми. Впрочем, сами придумайте, как это лучше устроить. Во всяком случае, первый шаг вам уже облегчен — ведь вы можете сразу же отдаться под его защиту! — Она вздохнула.— Право, не знаю, что мы делали бы, если бы не нуждались в защитнике. Даже вообразить не могу, как бы иначе сэр Чарльз собрался с духом сделать мне предложение! Бедняжка немел от страха. Однажды мы сидели рядом на скамье под деревом, и я все глаза высмотрела, ища, чего бы мне испугаться. Мы просидели так часа три, не меньше, но в конце концов на дорожку выползла крохотная змейка, и я в ужасе припала к его груди. Нет, не представляю себе, что мы делали бы, если бы нам не у кого было искать защиты. Сэр Чарльз держит особого сторожа, который дни и ночи напролет следит, чтобы в сад не забралась змея.

А я, знаете, всегда любила змей. И девочкой держала дома целых трех.

На следующее утро леди Моддифорд свела их вместе и удалилась, едва позволили приличия.

Элизабет посмотрела на своего кузена с боязливым трепетом.

— Какие великие, ужасные деяния совершали вы в оксоне, капитан Морган! При одной мысли о них кровь стынет в жилах! — произнесла она, запинаясь.

— Они были не столь уж великими и не слишком ужасными. Ничто не бывает таким хорошим или таким дурным, каким выглядит в описаниях.

А про себя он подумал: «Я неправильно судил о ней. Совсем неправильно. Она ничуть не спесива. Наверное, ее отец... этот дьявол, внушил мне неверное мнение о ней. Нет, она очень мила».

— Ах, я уверена, что ваши деяния были великими, хотя из скромности вы не хотите это признать, — тем временем продолжала она застенчиво. — Знаете, как я трепетала, слушая рассказы о вас, как надеялась, что вас не постигло никакое горе, что вы не терпите никакой нужды!

— Неужели? Но почему? Мне казалось, вы меня даже не заместили.

Ее глаза наполнились слезами.

— У меня ведь было свое горе.

— Я знаю. Мне рассказали про ваше горе, и я вас очень жалел, кузиночка Элизабет. И надеюсь, вы позволите мне помочь вам в вашем горе. Элизабет, вы не сядете поближе ко мне?

Она стыдливо посмотрела на него.

— Если хотите, я вам сыграю, — сказала она.

— О... да-да, пожалуйста.

— Это «Состязание эльфов». Слушайте! Различаете, как их ножки бегут по траве? Все говорят, что это прелестная вещица. — Ее пальцы аккуратно пощипывали струны.

Генри порхающие по арфе руки показались очень красивыми. Он забыл про музыку, следя за ее руками. Точно две белые бабочки, такие изящные и трепетные! Даже страшно прикоснуться к ним, столь хрупкими они кажутся, и все же хочется их нежно гладить. Вещица завершилась громкими басовыми аккордами. Ну, вот и все. Когда перестала дрожать последняя струна, он сказал:

— Вы играете очень... очень аккуратно, Элизабет.

— О, я играю ноту за нотой, как они расположены, —

ответила она.— Я никогда не забываю, что композитор разбирался в своем деле лучше меня.

— Справедливо. И слушать вас — большое удовольствие. Утешительно знать, что все будет точно на своем месте, даже ноты. Вы избавились от неспосной вольности, которую я замечал в игре некоторых девиц и молодых дам. Манера эта, конечно, мила, непосредственна, душевна, но разрешает небрежность, как уступку страсти. Да, с возрастом мне все больше нравится видеть именно то, чего я ожидал. Зыбкость только мешает. Случай утратил надомной прежнюю власть. Я был глупцом, Элизабет. Я отправлялся в плавание за плаванием, ища нечто... да, пожалуй, нечто несуществующее. А теперь я утратил былые несбыточные желания, и если и не стал счастливец, то обрел тихое спокойствие.

— Как мудро и по-житейски умно, и чуточку цинично! — заметила она.

— Если тут есть мудрость, значит, мудрость — это жизненный опыт. И как я мог бы обходиться без житейского ума? Ну, а цинизм — всего лишь мох, который налипает на камень.

— Во всяком случае, это очень тонко замечено, — согласилась она. — Наверное, вы были знакомы со многими такими девицами и дамами?

— С какими девицами и дамами, Элизабет?

— Ну, с теми, кто играл плохо.

— А-а! Да, с некоторыми доводилось.

— И вы... вам... они нравились?

— Я терпел их, потому что они были хорошими знакомыми моих хороших знакомых.

— И они в вас влюблялись? Я знаю, что спрашивать об этом не принято, но вы же мой кузен, почти мой... мой брат.

— Некоторые утверждали, что да... Но, подозреваю, их прельщали мои деньги.

— Не может быть! Но я вам сыграю еще. Теперь — печальную пьесу. «Господь дарит успокоенье душе усталой». Я считаю, что необходимо сочетать более легкую музыку с серьезной.

— Да, — сказал он. — Да-да, конечно.

И вновь ее пальцы принялись трудолюбиво пощипывать струны.

— Очень красиво и печально, — сказал Генри, когда Элизабет кончила. — Мне очень понравилось, но не кажет-

ся ли вам, Элизабет, не кажется ли вам, что шестую струну от того конца следовало бы... немного подтянуть?

— Ах, я ни за что на свете не позволю, чтобы ее трогали! — вскричала она. — Когда мы с папà покидали Англию, он пригласил человека... настройщика арф, и поручил ему привести ее в полный порядок. Я буду очень мучиться из-за папà, если арфу будут трогать. Он терпеть не мог, когда трогали вещи.

После этой вспышки они несколько минут сидели молча, а потом она умоляюще заглянула ему в глаза.

— Вы не сердитесь на меня из-за струны, кузен Генри? Просто у меня чувства очень глубокие! Что я могу с ними сделать?

— Нет, конечно, я не сержусь.

Она такая хрупкая и беспомощная, подумал он.

— И куда вы собираетесь поехать теперь, когда вы разбогатели, покрыли себя славой и осыпаны почестями?

— Не знаю. Я хочу жить в незыблемости и предугаданности.

— Ах, это именно то, чего хочется мне! — воскликнула она. — Значит, мы в чем-то похожи. То, чего не видишь, само к тебе приходит, я так считаю. И я почти всегда наперед знаю, что со мной будет, потому что очень-очень надеюсь, а потом сижу и жду.

— Да, — сказал Генри.

— Смерть папà была большим ударом, — сказала она, и вновь ее глаза наполнились слезами. — Так ужасно остаться сиротой без... почти без родственников и друзей. Разумеется, Моддифорды были со мной очень добры, но ведь заменить мне близких они не могут! А-а-х! Мне было так одиноко. И ваш приезд, кузен Генри, так меня обрадовал хотя бы потому, что мы с вами одной крови. — Ее глаза блестели от слез, нижняя губка жалобно дрожала.

— Не плачьте! — ласково сказал Генри. — Вам не нужно больше ни о чем тревожиться, Элизабет. Я здесь, чтобы снять с ваших плеч все заботы. Я буду помогать вам и беречь вас, Элизабет. Дивлюсь, как вы перенесли поразившее вас горе. Сколько в вас стойкости, если вы сумели держать голову так высоко, когда вашу душу грызла тоска!

— У меня была моя музыка, — сказала она. — Если горе становилось слишком тяжким, я находила утешение в музыке.

— Но теперь, Элизабет, вам и она не понадобится. Когда я отправлюсь в Англию, вы поедете со мной. И всег-

да будете жить в довольстве и безопасности под моей защитой.

Она отпрянула от него.

— Но о чем вы говорите? Что вы мне предлагаете? — вскричала она. — Ведь это же, кажется, грех, или нарушение закона... когда женятся двоюродные братья и сестры?

— Женятся?

— О! — Она залилась краской, и вновь ее глаза засверкали быстрыми слезами. — О, мне так стыдно! Вы говорили не о том, чтобы пожениться? Мне так стыдно! — Было больно смотреть, как она расстроилась.

«Но в конце-то концов, почему бы и нет? — подумал Генри. — Она милостива. О ее происхождении мне известно все, а кроме того — в ней воплощена та надежность, та тихая безопасность, за которые я теперь ратую. Если она станет моей женой, ничего выходящего из ряда вон я уже никогда не совершу. А я теперь как будто только тихой безопасности и хочу. К тому же, — завершил он свою мысль, — я просто не могу позволить, чтобы она так страдала».

— Ну, конечно, я говорил о том, чтобы нам пожениться. Как по-вашему, о чем еще мог я говорить? Просто я неуклюж, груб. Я испугал вас, обидел. Но, милая Элизабет, в этом нет ни нарушения закона, ни греха. Двоюродные братья и сестры очень часто вступают в брак между собой. Мы знаем друг о друге все, мы принадлежим к одной семье. Вы должны выйти за меня замуж, Элизабет. Право же, я вас люблю, Элизабет.

— Ах! — пролепетала она. — А-ах! Я и подумать не в силах... То есть мне... мне дурно. То есть у меня голова закружилась. Вы так порывисты в своих поступках, Генри, так неожиданны. Ах, позвольте мне уйти. Я должна поговорить с леди Моддифорд. Она посоветует, что мне ответить.

II

Король Англии Карл Второй сидел с Джоном Ивлином в уютной библиотеке. В камине весело трещали поленья, и отблески пламени озаряли корешки книг по стенам. На столике перед собеседниками стояли бутылки и рюмки.

— Нынче я возвел его в рыцари, — говорил король. — За две тысячи фунтов он получил прощение и рыцарский сан.

— Что же, две тысячи фунтов...— пробормотал Джон Ивлин.— Кое-какие придворные поставщики весьма поражаются его рыцарству.

— Не в том дело, Джон. Я мог бы получить и двадцать. Из Панамы он увез добрый миллион.

— Ну, что же, две тысячи фунтов...

— Я приказал ему явиться сюда вечером,— сказал король.— От этих моряков и пиратов можно услышать парую другую забавных историйк. Но тебя он разочарует. Совсем неотесан, если тут подходит это слово. Впечатление, словно от какой-то бесформенной груды. А ходит он так, будто толкает вперед невидимую клетку, в которой заперт.

— Вы могли бы наградить его титулом,— посоветовал Джон Ивлин.— Как-то жаль упустить миллион, даже не попытавшись прибрать его к рукам.

Доложили о саре Генри Моргане.

— Входите, сударь, входите! — Король тут же распорядился, чтобы ему дали рюмку вина. Генри испуганно посмотрел на нее и вышел залпом.

— Отлично вы разделались с Панамой,— заметил король.— Лучше было сжечь ее теперь, а не после. Ведь после мы бы ее все равно, так или иначе, сожгли.

— Я как раз это и подумал, когда взял в руки горящий факел, государь. Свины-испанцы хотят заполонить весь свет.

— Знаете, капитан, в свое время пиратство... ах, нет, флибустьерство, будем деликатны, было очень полезно для нас и очень вредно для Испании. Но оно превращается в досадную помеху. Чуть ли не все свое время я трачу на приношение извинений испанскому послу. Я намерен сделать вас вице-губернатором Ямайки.

— Государь!

— Обойдемся без изъявлений благодарности. Я поступаю в соответствии с известной поговоркой. Пиратству надо положить конец немедленно. Эти люди слишком долго играли в мелкие войны.

— Но, государь, я сам был флибустьером! Вы хотите, чтобы я вешал моих товарищей?

— Вот именно, сударь. Кто способен отслеживать их лучше вас, кому известны все их тайные убежища?

— Государь, они сражались бок о бок со мной.

— О-о! Совесть? А я слышал, что вы распоряжаетесь своей совестью, как вам заблагорассудится.

— Не совесть, государь, а жалость.

— Жалость — чувство неуместное в слуге закона

или в разбойнике. Человек поступает так, как ему выгодно. Вы сами делом доказали две эти предпосылки. Посмотрим, как вы справитесь с третьей! — ядовито добавил король.

— Не знаю, смогу ли я...

— Раз не знаете, то сможете, — вставил Джон Ивлии.

— Так пейте же! — сказал король совсем другим тоном. — Немножечко веселья нам не помешает, а потом, возможно, и забористая песня. Расскажите нам какую-нибудь историю, капитан, и не забывайте при этом пить. Вино добавляет заглавные буквы и многоточия к хорошей истории, истинной истории.

— Рассказать вам что-нибудь, государь?

— Ну да. Что-нибудь о колониальных красотках, о какой-нибудь маленькой идиллии среди пиратских дел. — Он знаком приказал слуге следить, чтобы рюмка Генри не пустовала. — Я что-то слышал о некой женщине в Панаме. Расскажите о ней.

Генри осушил рюмку. Лицо его все больше краснело.

— Да, про нее можно рассказать, — сказал он. — Она была смазлива, а к тому же наследница огромного состояния. Признаюсь, мне она понравилась. Ей предстояло унаследовать серебряные рудники. Ее муж предложил за нее выкуп в сто тысяч дублонов. Ему хотелось заполучить рудники. Таков был вопрос, государь, и не берусь судить, многие ли мужчины стояли перед подобным выбором! Взять женщину или взять сто тысяч?

Король наклонился вперед.

— Так что же выбрали вы? Скорей скажите.

— Я на некоторое время задержался в Панаме, — ответил Генри. — Как вы поступили бы на моем месте, ваше величество? Я получил и то и другое. А может быть, и больше. Как знать, не унаследует ли эти рудники когда-нибудь мой сын?

— Я бы так и поступил! — воскликнул король. — Вы совершенно правы. Именно так я и поступил бы. Это было умно, сударь. Выпьем, капитан, за предусмотрительность. Как вижу, ваши воинские таланты не ограничиваются только войной. Говорят, вы не потерпели ни единого поражения в бою. Но скажите, не приходилось ли вам терпеть поражение в любви? Это великолепно, это большая редкость, если мужчина признает, что кто-то взял над ним верх в любви. Такое признание ведь идет вразрез со всеми мужскими инстинктами. Еще рюмочку, сударь, и расскажите нам о вашем поражении.

— Не от женщины, государь... Но однажды мне на-

несла поражение Смерть. Есть вещи, которые так обжигают душу, что боль не оставляет нас всю жизнь. Вы просили рассказать вам истинную историю. Ваше здоровье, государь! Родился я в Уэльсе среди гор. Мой отец был джентльмен. Однажды летом, когда я был еще отроком, к нам в горы приехала маленькая французская принцесса подышать целительным воздухом. Свита при ней была небольшая, и ей удалось обрести некоторую свободу, потому что отличалась она живостью нрава, своеволием и умом. Как-то утром я увидел ее, когда она купалась в реке совсем одна. Обнаженная, не знающая стыда. Через час — такая уж жаркая кровь струится в жилах ее соотечественниц! — она поконилась в моих объятиях. Государь, никакие мои странствования, никакие красавицы, никакие взятые мной города не дали мне той радости, какой были наполнены дни того счастливого лета. Когда ей удавалось незаметно убежать, мы играли в горах точно юные боги. Но этого нам было мало. Мы хотели пожениться. Она задумала отказаться от своего высокого положения и бежать со мной в Америку... А потом настала осень. И однажды она сказала: «Меня вот-вот увезут, но я не поеду». На другой день она не пришла. Ночью я прокрался к ее окну, и она бросила мне записку: «Я заперта здесь. Меня высекли». Я вернулся домой: что мне оставалось делать? Я не мог сразиться с ними, с дюжиной солдатами, которые ее охраняли. Глубокой ночью раздался стук в дверь и крики: «Где найти доктора? Маленькая принцесса отравилась!»

Генри поднял глаза. Король иронически улыбался, Джон Ивлин барабанил пальцами по столу.

— Да? — сказал король. — Да? — Он усмехнулся.

— Ах, стар я стал, стар! — простонал Генри. — Все это выдумки. Она была крестьянской девочкой, дочкой бедного испольщика.

Он, пошатываясь, поднялся на ноги и побрел к двери. Его лицо горело от стыда.

— Капитан Морган, вы забываетесь!

— Я... забываюсь?..

— Существуют определенные знаки вежливости. И обычай требует, чтобы вы оказывали их нашей особе.

— Молю о прощении, государь. И прошу вашего разрешения удалиться. Я... я болел. — Отвешивая поклоны, он вышел из комнаты.

Король улыбался, прихлебывая вино.

— Как может, Джон, такой большой военачальник быть таким большим дураком?

Джон Ивлин ответил:

— Чего же вы хотите? Не будь великие люди дураками, от мира уже давным-давно ничего не осталось бы. Как же иначе? Безумие и испорченное зрение — вот основы величия.

— Ты хочешь сказать, что я все вижу искаженно?

— Нет, я ничего подобного не думал.

— Следовательно, ты наме...

— Я еще не кончил с Генри Морганом. У него был талант к пиратству, сделавший его великим. А вы тут же вообразили его великим правителем. И сделали его вице-губернатором. Чем уподобились большинству. Вы считаете, что человек, блистающий в чем-то одном, обязательно будет блистать и на любом другом поприще. Если человеку удаются хитроумные механические игрушки, вы уже полагаете, что он способен командовать огромными армиями или управлять государством. Вы думаете, раз вы хороший король, то должны быть хорошим любовником. И наоборот.

— Наоборот?

— Шутливая альтернатива, государь. Словесный выкрутас, чтобы заслужить улыбку, не более того.

— Ах, так! Ну, а Морган и его безумие?..

— Конечно, он дурак, государь, не то он сейчас ковырял бы землю в Уэльсе или ломал камни в рудниках. Но он чего-то хотел и по глупости решил, что сумеет добиться своего. И благодаря глупости действительно добился... отчасти. Вспомните принцессу!

Король уже снова улыбался.

— Мне еще не встречался мужчина, который говорил бы правду женщинам или о женщинах. Почему бы это, Джон?

— Пожалуй, государь, вы поймете, если сначала объясните, что это за царапина у вас под правым глазом. Вчера ее там не было, и она очень похожа...

— Да-да... неловкий брадобрей. Уместе вы, Джон, оскорблять исподтишка. Порой вы даже не замечаете как. Научитесь владеть собой, если намерены оставаться при королевских дворах на долгий срок.

III

Генри Морган восседал в судейском кресле в Порт-Ройале. Перед ним на полу слепящим надгробием лежала глыба белого солнечного света. Бесчисленные мушиные

оркестры выводили свои надоедливые симфонии во всех углах обширного зала. Жужжащие голоса адвокатов и стряпчих вели более громкие партии, но в той же тональности. Сонно бродили судебные приставы, и одно дело сменялось другим.

— Ваша милость, пришло сие пятнадцатого числа сего месяца. Уильямсон вошел в сад Картрайта, дабы самолично убедиться... убедиться, ваша милость, что дерево растет именно так, как описывалось. Но пока он находился там...

Дело было доведено до монотонного финала. Сэр Генри по ту сторону широкого стола сонно полусветился. Стражники ввели угрюмого бродягу в рубище из рваной парусины.

— Обвиняется в краже четырех сухарей и зеркальца у Имярека, ваша милость.

— Доказательство?

— Его захватили на месте преступления, ваша милость.

— Украл ты или не украл четыре сухаря и зеркальце? Лицо обвиняемого стало еще угрюмее.

— Я им сказал.

— Ваша милость,— рявкнул стражник.

— Ваша милость.

— С какой целью ты украл означенные предметы?

— По нужде.

— Говори «ваша милость»!

— Ваша милость.

— Какой нужде?

— Сухари, чтоб съесть.

— Ваша милость.

— Ваша милость.

— А зеркальце?

— Зеркальце, чтоб на себя посмотреть.

— Ваша милость.

— Ваша милость.

Преступника увели отбывать срок его заключения.

Затем стражники поставили перед судьей исхудалую женщину с землистым лицом.

— Обвиняется в блуде и притонодержательстве, ваша милость.

— Притонодержательство противозаконно,— с раздражением сказал сэр Генри,— но с каких это пор мы караем людей за блуд?

— Ваша милость, природа этой женщины... Попечение об общественном здоровье... Мы полагали, что суть обвинения ясна.

— А-а! Да-да. Под замок ее! И побыстрее!

Женщина завывала.

Сэр Генри уткнул лоб в ладони и даже не взглянул на очередных арестантов.

— Обвиняются в пиратстве, ваша милость, в нарушении королевского мира, в военном нападении на подданных дружественной державы.

Сэр Генри быстро покосился на обвиняемых. Один был толстячком с выпученными от ужаса глазами, другой тощим, седым и одноруким.

— Доказательства их вины?

— Показания пяти свидетелей, ваша милость.

— Ах, так? Признаете вы себя виновными или нет?

Высокий обнял единственной рукой плечи товарища.

— Признаем, ваша милость.

— Признаете, что виновны? — в изумлении вскричал сэр Генри. — Но пираты никогда не сознаются. Таких прецедентов еще не было!

— Мы признаем себя виновными, ваша милость.

— Но почему?

— Пятьдесят человек видели все своими глазами, ваша милость. Зачем нам отнимать у вас время, запираясь, если пятьдесят свидетелей тут же опровергнут нас под присягой? Нет, мы смирились со своим жребием, ваша милость. Мы не стыдимся ни последнего нашего деяния, ни всей нашей жизни. — Жилистая рука крепче обвила плечи флибустьера, смахивавшего на бочонок.

Несколько мгновений Генри хранил молчание. Потом поднял на них утомленный взгляд.

— Я приговариваю вас к повешению.

— К повешению, ваша милость?

— За шею. Пока в вас не угаснет жизнь.

— Вы сильно изменились, сэр.

Сэр Генри наклонился вперед и вперил взгляд в арестантов, потом его губы растянулись в улыбке.

— Да, — сказал он негромко. — Я изменился. Тот Генри Морган, которого вы знали, это вовсе не сэр Генри Морган, который приговорил вас к смерти. Теперь я убиваю не в свирепых схватках, не в ярости, а холодно — потому что не могу иначе. — Сэр Генри повысил голос: — Очистить зал, но поставить охрану у дверей. Я желаю допросить обвиняемых с глазу на глаз.

Когда они остались одни, он сказал:

— Я сам знаю, что изменился, но скажите мне, какие изменения вы заметили?

Бургундцы переглянулись.

— Скажи ты, Эмиль.

— Вы вот в чем изменились, сэр. Прежде вы знали, что вы делаете. Были уверены в себе.

— Вот-вот,— перебил второй.— Теперь вы не знаете... вы больше в себе не уверены. Когда-то вы были самим собой. А такому человеку можно доверять. Теперь же вас словно трое. И доверься мы одному из вас, то опасались бы остальных двух.

Сэр Генри засмеялся.

— Это более или менее верно. Моей вины тут нет, но это верно. Цивилизованность расщепляет человека, а тот, кто не хочет расщепляться, погибает.

— Мы про цивилизованность позабыли, спасибо нашей матери-родине,— злобно пробурчал Антуан.

— Как жаль, что приходится вас повесить.

— А так ли уж это обязательно, сэр? Нельзя ли нам бежать или получить помилование?

— Нет, повесить вас необходимо. Я очень сожалею, но ничего изменить не могу. Это мой долг.

— Но ваш долг по отношению к друзьям, сэр? К людям, которые сражались рядом с вами, мешали свою кровь с вашей...

— Послушай, Тот Бургундец! Долг существует двоякого рода — вспомни хотя бы свою Францию! Ты сослался на один, менее святой. А другой, ненарушимый долг, это, так сказать, долг во имя видимости. Вешаю я вас не потому, что вы пираты, а потому, что мне положено вешать пиратов. Мне вас жаль. Я рад был бы отправить вас в тюрьму, снабдив напильниками, но не могу. Пока я исполняю все, что положено, я остаюсь судьей. Если же я в чем-то уклонюсь, неважно из каких побуждений, меня могут повесить самого.

— Да, это так, сэр. Я вспомнил.— Он повернулся к своему другу, которого била дрожь ужаса.— Видишь, как обстоит дело, Эмиль? Ему трудно говорить нам это, он ведь страдает. Быть может, он таким способом наказывает себя за то, что сделал или не сумел сделать. Быть может, он вспоминает Чагрес, Эмиль.

— Чагрес! — Сэр Генри с интересом наклонился вперед.— Что произошло, когда я уплыл? Расскажите!

— Таких проклятий, сэр, мало кому доставалось на долю прежде или потом. И как только вас не пытали в фантазиях! Пожирали ваше сердце сырым, а душу спроваживали в преисподнюю. Редко когда мне выпадало так позабавиться, сэр, потому что я-то знал, что каждый, кто вас поносит, в душе изнывает от зависти к вам. Я был горд за вас, сэр.

— И они разбежались кто куда?

— Разбежались и погибли, бедные несмышленные ребяташки!

— Ну, не хотел бы я попасть в лапы этих ребяташек! Скажите мне...— Голос сэра Генри погрузнел.— О Панаме... Мы ведь отправились туда, правда? Мы действительно взяли Панаму, верно? И разграбили ее? И вел вас я, так?

— Да. Великолепное было сражение и горы добычи. Впрочем, о ней вы знаете больше нас.

— Порой я сомневаюсь: а правда ли это тело побывало в Панаме? Я уверен, что этот мозг там не бывал. Я рад бы посидеть с вами подольше, потолковать о старых временах, но меня ждет жена. Она всегда пилит меня, если я опаздываю ко второму завтраку.— И он спросил шутливым тоном: — Когда вы желаете, чтобы вас повесили?

Бургундцы зашептались.

— Ну, вот опять — «повесили»! Когда нам хотелось бы сунуть голову в петлю? Да когда угодно, сэр. Нам не хочется доставлять вам лишние хлопоты, но раз уж вы настаиваете, то в любое время, когда виселица и палач будут свободны.— Антуан шагнул к столу.— Эмиль желает предложить вам последнее доказательство своего уважения. Это подарок для вашей супруги — подарок, одна история которого делает его бесценным. Эмиль свято хранил его до последнего дня — и немалый урожай собрал он с этого талисмана, ибо поистине, сэр, в нем заключена волшебная сила. Но Эмиль считает, что талисман отслужил свое, сэр. Он полагает, что таким способом положит конец ходу событий, порожденному его сокровищем. Сам же Эмиль, к несчастью, пользоваться им больше не сможет. Эмиль целует ручку леди Морган и выражает ей свое глубокое почтение с надлежащей благородной учтивостью.

Тот Бургундец уронил на стол розовую жемчужину и быстро отвернулся.

Когда их увели, сэр Генри откинулся в кресле и уставился на жемчужину. Потом сунул ее в карман, вышел на улицу и направился к приземистому белому дворцу вице-

губернатора, точно такому же, каким он был при жизни сэра Эдварда. Леди Морган очень мучилась бы, если бы хоть что-то было переделано или переставлено. Она встретила Генри на пороге.

— Мы сегодня обедаем у Воонов. Но что мне делать с кучером? Он пьян. Сколько раз я говорила, чтобы вы запирали свой шкафчик, но вы никогда меня не слушаете. Он прокрался в дом и стащил бутылку с вашей полки. Другого объяснения нет!

— Протяните руку, душенька. У меня для вас подарок. Он положил ей на ладонь розовую жемчужину.

Несколько мгновений она созерцала розовый овал, щеки ее окрасил румянец радости, но тут же ее взгляд стал подозрительным.

— Что вы такое затеяли?

— Затеял? Я заседал в суде.

— И там нашли вот это? — Ее лицо просветлело. — Понимаю! Вы, наконец, догадались, что вчера я была вами недовольна. Если хотите знать правду, вы были петресвы! Все смотрели на вас и перешибывались! Не возражайте! Я видела их и видела вас. И вот теперь вы хотите задобрить меня, мою совесть.

— Наконец догадался! Я догадывался, что вы мной недовольны, еще когда мы возвращались домой, а потом почти до самого утра. Вы правы. Я догадывался. По правде говоря, я даже не сомневался. Но о жемчужине я расскажу вам всю правду.

— Да, конечно, так как знаете, что не сумеете меня обмануть. Когда же, наконец, Генри, вы перестанете внушать себе, будто способны утаить от меня хоть одну свою мысль!

— Но я не думал вас обманывать. Вы не дали мне времени объяснить.

— Чтобы сказать правду, времени требуется не больше, чем...

— Пожалуйста, дослушайте меня, Элизабет. Утром я судил двух пиратов, и они отдали ее мне.

Она улыбнулась улыбкой бесконечного превосходства.

— Отдали ее вам? Почему? Вы их отпустили? Как это было бы на вас похоже! Порой я думаю, что вы так бы и остались одним из них, если бы не я. Мне кажется, вы не отдасте себе отчета, Генри, что это я сделала вас тем, что вы есть — человеком, носящим рыцарский сан, и джентльменом. Вы же сделали себя флибустьером! Но ответьте, вы отпустили этих пиратов?

— Нет. Я приговорил их к смерти.

— А-а! Так почему же они отдали вам жемчужину?

— Душенька, они отдали ее мне, потому что им некуда было ее деть. Конечно, они могли бы преподнести ее палачу, но как-то не совсем ловко осыпать жемчугом того, кто сейчас наденет тебе петлю на шею. По-моему, вряд ли можно подружиться с собственным палачом. А потому они отдали ее мне, я же...— Тут он улыбнулся широко и простодушно.— Я же дарю ее вам, потому что люблю вас.

— Ну, мне нетрудно узнать, что у вас там было с пиратами. А ваша нежность... Вы любите меня, пока я не спускаю с вас глаз, и ни минутой дольше. Я вас знаю досконально. Но я рада, что их повесили. Лорд Воон говорит, что они опасны даже нам. Он говорит, что они того и гляди перестанут допскать Испанию и примутся за нас. Он говорит, что их надо истребить, как бешеных собак, и чем скорее, тем лучше. И каждый раз, когда одним становится меньше, я чувствую себя чуть в большей безопасности.

— Но, душенька, лорд Воон ничего о флибустьерах не знает, тогда как я...

— Генри, почему вы держите меня тут, хотя знаете, что у меня еще тысяча дел? Раз у вас самого свободного времени хоть отбавляй, вы полагаете, что у меня нет других занятий, кроме как помогать вам бездельничать? А теперь возьмитесь за кучера. Я окажусь в очень неловком положении, если он не сможет держаться прямо. Ведь на Джейкобе ливрея будет сидеть мешком, как се ни ушивай. Я сказала вам, что он пьян? Хоть утопите его, но чтобы к вечеру он протрезвел! А теперь поторопитесь. Я буду мучиться, пока не услышу, что он способен держать спину прямо.— Она уже собралась войти в дом, но повернулась и поцеловала его в щеку.

— А жемчужина очень миленькая. Благодарю вас, дорогой,— сказала она.— Разумеется, я позабочусь, чтобы мосье Банзе оценил ее как следует. Послушав, что говорил лорд Воон, я утратила всякое доверие к пиратам. Возможно, они хотели подкупить вас подделкой, ведь вы бы ничего не заметили!

Сэр Генри побрел к конюшне. Как случалось уже не раз, ему стало не по себе. Время от времени ему начинало казаться, что утверждения Элизабет, будто она знает его досконально, соответствуют действительности. И ему становилось тревожно.

Сэр Генри Морган лежал в огромной кровати. В кровати такой широкой, что его тело под простыней казалось снежным горным хребтом, разделяющим две несобятные равнины. Со стен спальни на него смотрели поблескивающие глаза его предков. Самодовольные усмешки на их губах говорили: «О да, рыцарский сан, как же, как же! Но мы-то знаем, чем ты купил свое рыцарство!» Воздух в комнате был тяжелый, душный и жаркий. Таким всегда кажется воздух в комнате, где кто-то умирает.

Сэр Генри смотрел в потолок. Уже час этот таинственный потолок ввергал его в недоумение. Никакой подпорки в середине — так почему он не падает? Час был поздний. Все в спальне хранило молчание: шныряют вокруг, притворяются привидениями, думал он. Пытаются впустить ему, будто он уже умер. И он закрыл глаза — не то от слабости, не то от равнодушия. Потом услышал, как вошел врач, почувствовал, что пальцы пацунывают его пульс. Затем гудкий самодовольный голос грянул:

— Мне очень жаль, леди Морган. Но сделать больше ничего нельзя. Я даже не знаю, что с ним. Какая-то застарелая лесная лихорадка, должно быть. Можно еще раз отворить ему кровь, но мы уже выпустили много крови, а пользы это словно бы не принесло. Впрочем, если ему станет хуже, я попробую.

— Так он умрет? — спросила леди Морган. Генри подумал, что в ее вопросе было больше любопытства, чем печали.

— Да, он умрет, если только бог его не исцелит. Одни лишь бог знает, что ждет его пациентов.

А затем комнату освободили от людей. Генри знал, что его жена сидит возле кровати. Он слышал, как она тихо плачет где-то совсем рядом. «Как жаль,— думал он,— что нельзя отплыть в смерть на корабле, не то она могла бы упаковать мой сундучок. Ей было бы так приятно знать, что я войду в небесные врата с приличным запасом чистого белья».

— Муж мой... Генри... муж мой...

Он повернул голову и с любопытством посмотрел на нее. Его взгляд проник в самую глубь ее глаз. Внезапно им овладело отчаяние.

«Эта женщина любит меня,— сказал он себе.— Эта женщина любит меня, а я и не знал. Мне не дано было узнать такую любовь. Ее глаза... ее глаза... нет, все это

далеко превосходит мое понимание. Неужели она меня всегда любила? — Он посмотрел еще раз. — Она близка к богу. По-моему, женщины ближе к богу, чем мужчины. Говорить про это они не умеют, но, черт возьми, это так и светится у них в глазах. И она любит меня. Любила все время, пока пилила меня, допекала и ела поездом... любила, а я даже не знал. Ну, а если бы и знал, так что?» Он отъезрнулся. Эта печаль была такой огромной, такой жгучей и страшной, что ее невыносимо было видеть. Страшно смотреть, как в глазах женщины сияет ее душа.

Так, значит, он сейчас умрет. Довольно приятно, если смерть — вот такая. Ему тепло, только он бесконечно устал. Вскоре он уснет, это и будет смерть — Сестра Смерть.

Он понял, что в комнату вошел кто-то. Его жена наклонилась над ним, и он не отвел устремленный вверх взгляд. Она рассердилась бы, если бы знала, что он может повернуть голову, если захочет.

— Дорогой, пришел священник, — сказала его жена. — Будь с ним милым. О, пожалуйста, выслушай его! Это может помочь тебе... потом.

А! Заботлива, как всегда! Уж она постарается, насколько это будет зависеть от нее, чтобы со Вседержителем был заключен тот или иной договор. Ее привязанность была деятельной силой, но ее любовь — та, что светила у нее в глазах, — ввергала в ужас.

Генри почувствовал, что его руку взяла теплая мягкая рука. Приятный голос в чем-то убеждал его. Но слушать было трудно — потолок угрожающе покачивался.

— Бог — это Любовь, — говорил голос. — Вы должны уповать на бога.

— Бог — это Любовь, — машинально повторил Генри.

— Помолимся, — сказал голос.

Внезапно Генри посетило воспоминание детства. У него ужасно болит ухо, и мать держит его в объятиях. Кончиками пальцев она поглаживает его запястье. «Все вздор! — говорит она. (Он хорошо помнит, как она это сказала.) — Все вздор! Бог — это Любовь! Он не позволит, чтобы маленьким мальчикам было больно. Ну-ка, повторяй за мной: «Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться». Словно давала ему лекарство. Точно таким же тоном она скомандовала бы: «Ну-ка, проглоти эту микстуру!»

Генри почувствовал, как теплые пальцы священника перебрались на его запястье и принялись поглаживать, поглаживать...

— Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться,— сонно бормотал Генри.— Он покоит меня на злачных пажитях...— Поглаживание продолжалось, но со все большим нажимом. Голос священника стал громким, властным, словно после многих лет терпеливого ожидания церковь наконец-то прибрала Генри Моргана к рукам. Голос звучал почти злорадно.

— Вы раскаялись в своих грехах, сэр Генри?

— В моих грехах? Нет, я о них не думал. Мне надо раскаться в Панаме?

Священник смутился.

— Ну, Панама была патристическим завоеванием. Король его одобрил. Да и речь шла о папистах.

— Но каковы же тогда мои грехи? — продолжал Генри.— Я помню только самые приятные и самые тягостные из них. В приятных мне почему-то раскаиваться не по душе. Словно я предаю их, а они ведь были прелестны. Тягостные же грехи несли искупления в самих себе, точно тайные книжалы. Так как же я могу раскаться, сударь? Предположим, я переберу всю свою жизнь, называя и оплакивая каждый свой поступок, начиная от выплюнутой соски и кончая последним посещением борделя. Я могу раскаться во всем, что припомню, но если забуду хотя бы один грех, мое покаяние окажется бессмысленным.

— Вы раскаялись в своих грехах, сэр Генри?

И тут он понял, что не произнес ни слова. Говорить было трудно, язык стал ленивым и неповоротливым.

— Нет,— сказал он.— Я не могу их толком припомнить.

— Ищите в сердце своем алчность, похоть, злобу. Вы должны изгнать скверну из своего сердца.

— Но, сударь, я не помню, был ли случай, когда я нарочно поступал плохо. Да, я совершал поступки, которые после выглядели дурными, но цель у меня всегда была хорошая.— И вновь он понял, что вслух не сказал ничего.

— Помолимся! — произнес голос.

Генри неимоверным усилием заставил свой язык шепельнуться.

— Нет! — вскричал он.

— Но ведь вы молились прежде!

— Да, я молился прежде... потому что моей матери это доставило бы удовольствие. Ей бы хотелось, чтобы я помолился хотя бы один раз — в доказательство, что она хорошо меня воспитала, в подтверждение, что она исполнила свой долг по отношению ко мне.

— И вы готовы умереть без покаяния, сэр Генри? Неужели вы не боитесь смерти?

— Я слишком устал, сударь, и слишком ленив, чтобы задумываться о покаянии. А смерти я не боюсь. Я видел много кровопролитий, но из тех, к кому я питал уважение, ни один не боялся смерти. Нет, только умирая. Видите ли, сударь, смерть — чисто умозрительный вопрос, но умирание — это боль, боль, боль. А эта моя смерть, сударь, пока очень приятна. Нет, сударь, я даже умирая не боюсь. Оно нетрудно и только баюкало бы, если бы меня оставили в покое. Я словно погружаюсь в сон после отчаянных усилий.

Он снова услышал голос священника, но, хотя теплая рука все еще поглаживала его запястье, голос доносился откуда-то издалека.

— Он не отвечает мне, — говорил священник. — Я тревожусь за его душу.

И тут он услышал, что с ним говорит его жена.

— Вы должны помолиться, дорогой. Ведь все молятся. Как вы сможете попасть на небеса, если не будете молиться?

Ну, вот она опять тщится заключить договор с богом. Но Генри не захотел посмотреть на нее. Пусть ее философия простодушна, но глаза у нее столь же глубоки и столь же печальны, как безграничный небосвод. Ему хотелось сказать: «Я не хочу попасть на небеса, когда умру. Я не хочу, чтобы меня беспокоили». Какую суету подняли они вокруг его смерти!

В комнату вернулся врач.

— Он без сознания, — объявил гулкий голос. — Нет, все-таки кровь пустить надо.

Генри почувствовал, как скальпель царапнул ему руку. Это было приятно. Он был бы рад, если бы его опять царапнули, и опять, и опять... по концы с концами где-то не сходились. Ему следовало чувствовать, как он теряет кровь, а вместо этого он ощущал, что в его тело проникает таинственное тепло. По груди и плечам разливался бодрящий жар, словно в жилах у него текло крепкое старинное вино.

И вдруг начались странные перемены. Он обнаружил, что способен видеть сквозь закрытые веки, способен видеть все вокруг, не поворачивая головы. И врач, и жена, и священник, и даже комната отодвигались от него.

«Они движутся, — подумал он. — Я не двигаюсь. Я не двиним. Я центр всего сущего и не могу пошевелить-

ся. Я тяжел, как вселенная. Быть может, я и есть вселенная».

В его сознание вливался низкий сладостный аккорд, звенящий, глубокий органнй аккорд, и переполнял его, и словно порождался его мозгом, и наводнял его тело, и изливался на весь мир. С легким изумлением он заметил, что комната исчезла. Он лежал в бесконечном темном гроте, по стенам которого тянулись ряды толстых приземистых колонн из зеленого мерцающего хрусталя. Он по-прежнему лежал на спине, а длинный грот скользил мимо. Внезапно движение прекратилось. Его окружили непонятные существа с детскими телами, тяжелыми вздутыми головами, но без лиц. На месте лица виднелся только плотный гладкий слой кожи. Эти существа говорили и верещали сухими хриплыми голосами. Генри не понимал, как они могут говорить, если у них нет рта.

Очень медленно он понял, что это его поступки и его мысли, живущие у Сестры Смерти. Все они, едва появившись на свет, отправлялись жить у Сестры Смерти. Когда он понял, кто они такие, безликие крошки тесно сомкнулись вокруг его одра.

— Зачем ты меня совершил? — кричал один.

— Не знаю. Я тебя не помню.

— Зачем ты меня подумал?

— Не знаю. Наверное, знал, а потом забыл. Здесь, в гроте, память покидает меня.

Но они продолжали навязчиво спрашивать, их голоса становились все более и более пронзительными, и они заглушили великий Аккорд.

— Мне, мне ответь!

— Нет, мне!

— Оставьте меня, дайте мне отдохнуть, — утомленно сказал Генри. — Я устал, да и все равно мне вам нечего ответить.

Тут он заметил, что все они склоняются перед приближающейся фигурой, поворачиваются ей навстречу, дрожат, падают на колени и с мольбой тянут к ней руки.

Генри сосредоточил свое внимание на неведомом видении. Да это же... К нему шла Элизабет, маленькая Элизабет с золотыми волосами и лицом, полным юной мудрости. Ее стан обвивала гирлянда из васильков, а темные от странного недоумения глаза сияли. Она удивленно вздрогнула, узнав Генри.

— Я — Элизабет, — сказала она. — Ты не пришел повидать меня перед тем, как покинул дом.

— Да. Мне кажется, я боялся заговорить с тобой. Но я стоял в темноте под твоим окном, и я свистнул.

— Правда? — Она радостно улыбнулась ему. — Какой ты милый! Только я не понимаю, почему ты меня боялся, такой маленькой девочки? Дурачок.

— Я не знаю, почему, — ответил он. — Я убежал. Мной владела сила, которая теперь ускользает из всех миров. Мои воспоминания покидают меня одно за другим, точно дряхлые лебеди, улетающие на затерянный в море остров, чтобы умереть. Но ты же стала принцессой? Ведь правда? — спросил он с тревогой.

— Да, может быть. Мне хотелось бы верить, что стала. Я тоже забываю. Скажи, ты правда стоял там в темноте?

Генри заметил одну странность. Стоило ему пристальнее посмотреть на припавшее к земле безликое создание, как оно исчезало. Забавляясь, он переводил взгляд с одного на другое, пока там не осталось ни одного.

— Ты правда стоял там в темноте?

— Не знаю. Может быть, я просто об этом подумал.

Он поглядел на Элизабет, но и она исчезла. Остался только красный раскаленный уголек, но и он быстро угасал.

— Подожди, Элизабет... Подожди! Скажи, где мой отец? Я хочу увидеть моего отца.

Гаснущий уголек ответил:

— Твой отец мертв и тем счастлив. Он боялся изведать даже смерть.

— Ну, а Мерлин?.. Где Мерлин? Если бы мне только удалось его отыскать!

— Мерлин? О нем ты бы должен знать. Мерлин пасет грезы на Авалоне.

С сухим резким щелчком уголек погас. И больше нигде не было никакого света. На мгновение Генри уловил глубокое мелодичное биение Аккорда.

РАЙСКІЕ ПАСТБИЩА

Кажется, в 1776 году, когда в Альта Калифорния возникла миссия Кармело, человек двадцать новообращенных индейцев однажды ночью внезапно предали веру и наутро покинули свои хижины. Событие это, не столь уж значительное, могло, однако, послужить дурным примером и к тому же задерживало работы по производству необходимого кирпича в местных глиняных карьерах.

После короткого совещания церковных и светских властей был отправлен взвод кавалеристов во главе с испанцем капралом, дабы вернуть в лоно церкви ее заблудших детей. Этот поход по долине Кармело, а затем дальше, в горы, оказался не из легких, да и поплутать пришлось немало, ибо беглецы с каким-то дьявольским искусством запутывали свои следы. На поиски ушло не менее недели, и когда солдаты обнаружили наконец сретиков, мирно сидящих среди зарослей папоротника на берегу небольшой реки, они их уже ненавидели всеми фибрами души.

Разгневанные каратели схватили индейцев и, невзирая на их вопли, привязали к длинной, тонкой цепи. Затем колонна развернулась и направилась обратно в Кармело, дабы предоставить бедным неопитам возможность искупить свою вину, трудясь в глиняных карьерах.

На следующий день, уже под вечер, вдруг выскочил олсенок, промчался перед ними и скрылся за горой. Капрал бросился за ним вдогонку, покинув своих подопечных. Тяжеловесная кобыла с трудом карабкалась по крутому склону, острые шипы раздирали в кровь лицо капрала, но он рьяно преследовал вожака оленей. Через несколько минут он был уже на горном кряже и остановился как вкопанный, пораженный развернувшейся перед его взором картиной — уходящая вдаль зеленая долина, на которой паслось стадо оленей. На ней росли огромные дубы, а опоясывающие долину горы заботливо оберегали ее от ветров и туманов.

Перед лицом этой безмятежной красы дрогнул железный капрал. Тот капрал, который бичом раздирал в клочья коричневые спины рабов; неистовый родоначальник новой расы, в дальнейшем населившей Калифорнию,

носитель цивилизации, бородатый и дикий, порывисто спрыгнул с седла и сорвал с головы каску.

— Матерь Божья,— прошептал он.— Да ведь это зеленеют райские пастбища, и сам Господь привел нас сюда.

Его потомки почти белые. Мы можем только представлять себе, каким благоговением он был охвачен, увидев долину, но название, которое он ей дал, сохранилось и поныне. Она известна, как *Las Pasturas del Cielo*¹. Судьба оберегала этот дивный уголок — ни один испанский гранд не стал его обладателем благодаря своему богатству либо женитьбе. Забытая всеми, окруженная горами, долина долго оставалась ничьей. Капрал, первооткрыватель Райских Пастбищ, всю жизнь собирался вернуться туда. Как многие наделенные необузданной энергией люди, он с тоской мечтал мирно закончить свои дни на берегу речушки, в глинобитном домике и слушать по ночам, как вздыхают за стеной коровы.

Но случилось так, что он заразился оспой от индианки, и когда недуг изуродовал его лицо, друзья заперли его в старом амбаре, дабы предотвратить распространение заразы; там он тихо скончался, ибо оспа, хоть и ужасна на вид, для отправляющегося в лучший мир не самый скверный спутник.

Спустя много лет несколько переселенцев с семьями осели в Райских Пастбищах, поставили изгороди, вырастили там фруктовые деревья. Поскольку законного владельца не было, соседи ссорились без конца. Прошло сто лет, в Райских Пастбищах жило двадцать семей на двадцати небольших фермах. В середине долины расположились лавка и почта, а в полумиле от них, на берегу реки, стояло ветхое строение — школа, стены которой были сплошь испещрены инициалами.

Но вот в конце концов жизнь односельчан потекла спокойно и зажиточно. Земля была плодородна, возделывать ее было легко. В садах созревали самые вкусные фрукты в Калифорнии.

¹ Райские Пастбища (исп.).

Ферма Бэттлов слыла среди обитателей Райских Пастбищ местом проклятым, ребятишки же считали, что там обитают привидения. И хотя земля на ферме была плодородная, сочная, никто ее не домогался; и в доме никто не хотел жить, ибо печалью и угрозой вст от земли и дома, внезапно покинутых теми, кто любил их и здесь трудился. И деревья вокруг брошенного дома были темные, и тени их на земле возбуждали тревогу.

Вот уже пять лет как опустела ферма Бэттлов. Сорняки, забывшие, что такое мотыга, вымахали выше кустов. В саду мощно разрослись фруктовые деревья, ветви их переплелись между собой. Фруктов стало больше, но размером они сделались помельше. Ежевика проросла сквозь корни яблонь, яблоки, падая, скрывались в ней.

Сам дом, двухэтажное, добротное, прямоугольное здание, был прекрасен и величав, пока не потемнела его белая окраска, но затем произошли события, которые сделали его заброшенным и одиноким. Дикие растения оплели веранды, стены дома стали серыми от ветра и дождей. Мальчишки, эти лейтенанты, всегда готовые к войне против творений рук человеческих, повывивали во всех окнах стекла и вытащили из дома все, что только можно было вытащить. Мальчишки ведь считают, что каждый предмет, достаточно легкий, чтобы его уволочь, и не имеющий хозяина, всегда сгодится дома для какой-нибудь игры. Они выпотрошили дом, забросали всяким мусором колодцы, а потом по чистой случайности, тайно покуривая на сеновале настоящий табак, сожгли до основания амбар. Пожар, как водится, свалили на бродяг.

Опустошенная, заросшая сорняками ферма находилась почти в центре долины. По обе стороны от нее расположились самые богатые, процветающие участки в поселке. Она торчала, как бельмо в глазу, рядом со своими нарядными, ухоженными соседками. Жителям поселка это место казалось зловещим, поскольку с ним были связаны ужасная история и совершенно непостижимая тайна.

Два поколения Бэттлов прожили на ферме. Джордж Бэттл пришел сюда, на запад, в 1863 году из штата Нью-Йорк; был он тогда молод — призывного возраста. Мать дала ему денег на покупку фермы и на постройку большо-

го, просторного дома. Когда все было сделано, Джордж Бэттл послал за матерью. Старуха собралась в путь, наивно полагая, что весь мир это не более чем десять миль во все стороны от ее деревни. Она увидела легендарные города — Нью-Йорк, Рио и Буэнос-Айрес. Едва отплыв от Патагонии, она умерла, и моряки похоронили ее в серых волнах океана, а гробом ей послужил кусок холста и три звена привязанной к ногам якорной цепи, а она-то мечтала лечь в могилу на домашнем кладбище, где полно своих.

Джордж Бэттл стал присматривать себе женщину, в которую не жалко было бы вложить капитал. В Салинасе он обрел мисс Мерتل Камерон, старую деву тридцати пяти лет, обладательницу небольшого приданого. Мисс Мерتل не вышла замуж оттого, что страдала некоторой склонностью к эпилепсии, болезни, которую в те времена называли «падучей» и приписывали гневу божьему. Джордж не стал тревожиться из-за этого. Он понимал, что не все ему по карману. Мерتل стала его женой, родила ему сына, а потом, после того как она дважды попыталась поджечь дом, ее заключили в маленькую частную тюрьму в Сан Хозе, под названием «Санитариум Липмана». Остаток дней своих она прожила там, вышивая на холсте картины из жизни Иисуса Христа.

А затем хозяйство в доме Бэттлов ввели многочисленные раздражительные домоправительницы из тех, кто помещает в газетах объявление: «Вдова, 45 лет, ищет место экономки на ферме. Хорошо готовит. Грамотна». Они являлись одна за другой и в течение нескольких дней были милы и печальны, пока не узнавали о существовании Мертел. Тут они, сверкая глазами, принимались громко топтать по всему дому, глубоко возмущенные тем, как их ловко облапошили.

Джордж Бэттл к пятидесяти годам превратился в сгорбленного работой старика, сурового и неприветливого. Он не поднимал глаз от земли, которую так терпеливо обрабатывал. Руки — грубые, темные, в трещинах, похожие на медвежьи лапы. А ферма была прекрасна. Деревья в саду, все, как одно, аккуратно подстрижены и ухожены. На ровных, сделанных как по линейке грядках зеленели свежие овощи. Джордж любил свой дом, он разбил перед домом цветник. Второй этаж так и остался необитаемым. Эта ферма представляла собою поэму, сложенную человеком, не умеющим говорить. Он терпеливо создавал ландшафт и ждал свою Сильвию. Сильвию он не дождался, но, ожидая ее, продолжал выхаживать свой сад. Все эти годы рядом с отцом рос сын, но Джордж почти

не обращал внимания на мальчика. Для него существовали только фруктовые деревья и зеленые, свежие грядки на огороде. Когда сын его Джон покинул дом — он стал странствующим проповедником, — Джордж не скучал о нем. Он продолжал трудиться, с каждым годом все ниже пригибаясь к земле. Соседи никогда не заговаривали с ним, — все равно он их не слушал. У него были всегда скрючены руки, и постепенно они превратились в некие приспособления — рукоятки всевозможных инструментов, словно срастались с его ладонями. Он умер в шестьдесят пять лет — от старости и кашля.

Джон Бэттл вернулся в своей повозке домой и вступил во владение фермой. От матери он унаследовал эпилепсию и фанатичную веру в бога. Всю свою жизнь Джон посвятил борьбе с нечистой силой. В бытность миссионером он, вздымал руки, вызывал бесов и тут же сокрушал их, изгонял, искоренял духов зла. Но и по возвращении домой нечистая сила требовала его внимания. Овощи на грядках рассыпали семена, несколько раз проросли новые всходы, но победили в конце концов сорняки. Ферма двинулась назад, к первоначальному состоянию, бесы же становились все сильнее и совсем обнаглели.

Чтобы спастись от них, Джон Бэттл вышел на одежде и шляпе маленькие белые крестики и, экипированный таким образом, объявил войну легионам духов тьмы. В сумерки он бродил с большой палкой по ферме. Бросался на кустарник, молотил палкой по кустам, яростно выкрикивая проклятия, пока черти не уберутся. В ночном мраке продирался сквозь заросли кустов к месту сборищ нечистой силы и бесстрашно на них бросался, избивал без жалости. А днем уходил в дом и спал: днем черти прячутся.

Как-то под вечер, на закате, Джон крался к кусту сирени возле дома. Он знал, что этот куст служит тайным пристанищем демонов. Приблизившись настолько, что нечистым уже некуда было бежать, он вскочил и с громким воплем бросился на куст, размахивая палкой. Удары палки разбудили змею, она зашипела спросонья, медленно поднимая свою плоскую головку. Джон выронил палку и затрясся — кровь холодеет, когда слышишь шипение змеи. Он упал на колени и начал молиться. Но вдруг он вскрикнул: «Знаю, что это за змея! Вон отсюда, дьявол!» — и набросился на нее с голыми руками. Трижды ужалила его змея в шею — там не было крестиков, его защиты. Борьба продолжалась недолго — через несколько минут он умер.

Соседи нашли его, лишь заметив, что канюки стали пи-

кировать с неба, обнаружили они его в таком виде, что навсегда прониклись ужасом перед фермой Бэттлов.

Ферма пустовала десять лет. Ребятишки говорили, что в доме завелись привидения, и бегали туда по вечерам — дети любят страшное. Что-то жуткое было в старом, мрачном доме с глазницами выбитых окон. Краска осыпалась белой шелухой, задралась лохмотьями кровельная дранка. Участок пришел в полное запустение. Он достался в наследство дальней родственнице Джорджа Бэттла, но она ни разу не видела ферму.

В 1921 году хозяевами фермы Бэттлов стали Мastroвичи. Их появление было неожиданным и загадочным. Внезапно прибыли однажды утром старик и его старуха, тощие, кожа желтая, блестящая, туго натянутая на выдающихся скулах. Они не говорили по-английски. И объяснялись с жителями долины, только прибегая к помощи сына. Это был крупный мужчина с такими же, как у родителей, выпирающими скулами, с неровно подстриженными и спадающими на лоб черными волосами, с угрюмыми, тусклыми черными глазами. Он говорил по-английски с акцентом, да и то только тогда, когда ему было что-нибудь нужно.

Встречаясь с младшим Мastroвичем в лавке, соседи пытались расспросить его, но не получали ни малейших сведений.

— А мы думали, у вас там духи водятся. Вы их не видели? — спросил его как-то Т. Б. Аллен, хозяин лавки.

— Нет, — ответил молодой Мastroвич.

— Ферма будет что надо, только сорняки выполоть. Мastroвич направился к выходу.

— Что-то там не так, — сказал Аллен. — Кто на этой ферме ни поселится, все терпеть не могут разговоров.

Стариков Мastroвичей мало кто видел, молодой же человек работал с утра до ночи. Он очистил участок и засадил его, подрезал деревья и опрыскивал их — все без помощников. Когда ни пройдешь, он все работает, работает, лихорадочно, прямо бегом носится, а лицо такое, будто он боится, что время остановится прежде, чем он успеет собрать урожай.

Вся семья жила и спала в кухне большого дома. Остальные комнаты были заперты и пусты, выбитые стекла не вставляли. Чтобы спастись от сквозняков, Мastroвичи заклеили кухонные окна липкой бумагой от мух. Красить дом они не стали, да и вообще ничего с ним не делали, но под напором лихорадочных усилий их сына ферма снова рас-

цвела. Едва начинало светать, он уже выходил из дома, возвращался же в сумерки.

Но вот как-то утром Пэт Хамберт по пути в лавку заметил, что в доме Мастровичей не идет дым из трубы.

— А ферму-то вроде снова бросили,— сказал он Аллену.— Кроме этого парня, мы, правда, никогда там никого не видали, но что-то не так. Я, понимаешь, чувствую — бросили дом.

Три дня соседи по деревне поглядывали на трубу с опаской. Им ужасно не хотелось приступать к расследованиям — занятие предельно идиотское. На четвертый день Пэт Хамберт, Т. Б. Аллен и Джон Уайтсайд направились все-таки к дому. Там было подозрительно тихо. И впрямь подумаешь: жильцы уехали. Джон Уайтсайд постучал в дверь кухни. Поскольку не последовало ни ответа, ни даже шороха, он повернул ручку. Дверь отворилась. На кухне было безупречно чисто, стол накрыт, на нем — блюда, тарелочки с кашей, яичница, хлеб нарезан. На продуктах уже образовался налет плесени. В лучах света, проникавшего в помещение сквозь открытую дверь, роились мухи.

— Есть тут кто-нибудь? — крикнул Пэт Хамберт, сам понимая, что вопрос звучит глупо.

Они старательно осмотрели весь дом, он был пуст. Мебели в комнатах не было — только на кухне. Ферму бросили, причем насовсем, бросили молниеносно.

Впоследствии, когда шерифу сообщили о случившемся, он тоже ничего не обнаружил. Мастровичи заплатили за ферму наличными и исчезли, не оставив ни малейших следов. Никто не видел, как они уехали, их вообще больше никто не видел. И никаких таких особых преступлений в этом районе тоже не совершалось. Мастровичи исчезли внезапно, вот будто сели однажды утром позавтракать — и вдруг исчезли. В лавке Аллена об этом много толковали, но загадка так и осталась загадкой.

Земля снова заросла сорняками, плющ опутал ветви фруктовых деревьев. Ферма словно приучилась дичать, разруха наступила быстро. За неуплату налогов ее продали монтерейской компании по торговле недвижимым имуществом, а жители Райских Пастбищ, кто про себя, кто вслух, твердили, что ферма Бэттлов — проклятое место. «Земля-то хороша,— говорили они,— но мне ее и даром не нужно. Уж не знаю, что там такое, только странные дела творятся, даже в дрожь бросает. Так и в нечистую силу поверить недолго».

У жителей Райских Пастбищ перехватило дыхание, ког-

да они узнали, что на ферме Бэттлов снова появились обитатели. Пэт Хамберт, увидев возле фермы машины, принес эту новость в лавку Т. Б. Аллена, а уж тот пустил ее дальше. Фантазия Аллена заработала, он вообразил себе все обстоятельства, связанные с появлением новых владельцев, и доверительно рассказывал о них своим посетителям, неизменно начиная со словечка «говорят».

— Говорят, тот малый, что купил ферму, он из тех, кто ищет призраков, а потом о них пишет.

Это свое «говорят» Т. Б. Аллен использовал как прикрытие, точно так же, как в газетах пишут: «согласно сообщению».

Берт Мэнро еще не стал владельцем нового имени, а в Райских Пастбищах о нем уже ходили легенды. Он чувствовал, что новые соседи за ним подглядывают, но ни разу не застукал их за этим занятием. Это тайное подглядывание у деревенских жителей достигает уровня высокого искусства. Ни одна мелочь от них не укроется. Разглядят одежду, запомнят и разложат все по полочкам так, что в конце концов точно знают, какого цвета у вас глаза, какой формы нос, и сведут определение вашей внешности и личности к трем-четырем прилагательным, а вы и не заметите, что они за вами наблюдали.

Купив ферму, Берт Мэнро занялся двором и огородом, а в доме тем временем работали плотники. Всю мебель, до последней щепочки, вынесли во двор и сожгли. Все стенки и перегородки заменили новыми. Оклеили их обоями, крышу покрыли шифером. И, наконец, покрасили дом светло-желтой краской.

Берт самолично срезал разросшийся плющ, подстриг деревья перед домом, чтобы сделалось светлее. Три недели спустя дом уже ничем не напоминал жуткое обиталище нечистой силы. С каждым ударом кисти гения он постепенно делался неотличимым от тысячи точно таких же деревенских домов Запада.

Едва снаружи и внутри подсохла краска, начала прибывать мебель: мягкие стулья и диван, эмалированная плита, металлические кровати, покрашенные под дерево и гарантирующие надежный уют. Прибыли и зеркала в резных рамах, и толстые, пушистые ковры, и гравюры современных художников, от которых пошла мода на «синьку».

Вместе с мебелью на ферму прибыли миссис Мэнро и трое юных Мэнро. Миссис Мэнро, полная женщина, носила пенсне на шнурочке. Миссис Мэнро была хорошей хозяйкой. Мебель двигали с места на место бесчисленное количество

раз, пока она, наконец, не приходила к выводу, что все в порядке, но уж придя к этому выводу и бросив пристальный, последний взгляд на обретшую пристанище вещь, она кивала, улыбалась, после чего вещь закреплялась за своим местом навсегда,—ее сдвигали только во время уборки.

Ее дочь Мэй была хорошенькая девушка с круглыми щечками и красными, как вишня, губками. У нее была соблазнительная фигурка, но очаровательная складочка под подбородком сулила в будущем такую же полноту, как у ее матери. Ее глаза, доброжелательные и доверчивые, особенно ума не выдавали, впрочем, глупыми они тоже не выглядели. Чувствовалось, что Мэй постепенно превратится в двойника своей мамы, станет хорошей хозяйкой, матерью здоровых детей, безупречной и верной женой.

В своей новой комнате Мэй засунула в зеркало — между рамой и стеклом — программки танцев. На стенах развесила вставленные в рамочку фотографии своих друзей из Монтерея, положила на тумбочку возле кровати альбом и запертый на замочек дневник. В дневнике от любопытных глаз таились никому не интересные отчеты о танцульках, вечеринках, о небольших увлечениях Мэй и рецепты приготовления конфет. Она купила и повесила у себя в комнате бледно-розовые тюлевые занавески с воланами из разноцветного крестона. На кровати, на атласном покрывале разбросала пять будуарных подушек, на них пристроила длинноногую французскую куклу с наклеенными светлыми волосами и с тряпичной сигаретой, свисавшей с вялых губ. Мэй казалось, что эта кукла утверждает широту ее взглядов, ее терпимость к тому, чего она в душе не одобряла. Она любила заводить подружек «с прошлым», потому что, разговаривая с ними, освобождалась от сожаления о своей собственной полнейшей непорочности. Ей было девятнадцать; больше всего она думала о замужестве. Отправляясь куда-нибудь с молодыми людьми, она не без волнения говорила им об идеалах. Что такое идеалы, она представляла себе смутно, но они каким-то образом помогали ей регулировать страстность поцелуев на пути с танцплощадки домой.

Джимми Мэнро было семнадцать лет, он только что окончил среднюю школу и был полон скептицизма. В обществе родителей он обычно бывал замкнут и угрюм. Он прекрасно понимал, что поделиться с ними своим житейским опытом и взглядами невозможно — они ничего не поймут. Родители принадлежали к поколению, не имеющему ни малейшего понятия о том, что такое грех, равно

как и о том, что такое героизм. Родители едва ли возликуют, узнав, что он твердо решил сперва перебеситься, а затем посвятить жизнь науке. Под наукой Джимми подразумевал радио, археологию и аэропланы. Он представлял себе, как в Перу на раскопках он извлекает из земли золотые сосуды. Мечтал замкнуться где-нибудь в подвале и после многих лет страдания и насмешек выйти оттуда с аэропланом новой конструкции, развивающим неслыханную скорость.

Как только Джимми обосновался в своей комнате в новом доме, она тотчас превратилась в свалку всяких механизмов. Был там и детекторный приемник с наушниками, и индуктор с действующим телеграфным ключом, и медный телескоп, и куча прочих изделий, разобранных на части. И у Джимми был свой тайник — дубовый сундучок с тяжелым висячим замком. В нем находились полбанки пистонов с динамитом, старый револьвер, пачка сигарет «Меларино», три безделушки, известные под названием «Веселые вдовушки», бутылочка персикового бренди, нож в форме кинжала для разрезания бумаги, четыре связки писем от четырех разных девиц, шестнадцать карандашей губной помады, стибренных у партнерш по танцам, коробочка с сувенирами — засушенные цветы, носовые платки и пуговицы, и драгоценнейший из всех — подвязка с черными кружевами. Джимми забыл уже, как он утащил эту подвязку. То, что он помнил, было куда существенней. Он всегда запирает дверь, перед тем как раскрыть сундучок.

В школе Джимми грешил не больше многих своих друзей, некоторые же сильно его обогнали. Но приехав в Райские Пастбища, он обнаружил, что превзошел здесь всех своей порочностью. И он стал считать себя утихомирившимся повесой, но утихомирившимся не настолько, чтобы вновь нечаянно не оступиться. Эта житейская искушенность придавала ему особый шик в глазах местных девушек, делала его жизнь наполненной. Джимми обладал довольно приятной наружностью: стройный, хорошо сложенный, с темными волосами и глазами.

Мэнфред, младший мальчик, — его обычно называли Мэнни — был серьезный семилетний ребенок с припухшим и отечным из-за аденоидов лицом. Родители знали, что у него аденоиды, иногда даже говорили, что их надо удалить; Мэнни до смерти боялся «удаления», и заметив это, мать всегда грозила ему операцией, если мальчик плохо себя вел. Кончилось это тем, что при первом же упоминании об аденоидах Мэнни от ужаса принимался истерически

рыдать. Мистер и миссис Мэнро считали его очень умным, чуть ли не гением. Обычно он играл сам с собой, или часами сидел, уставившись в пространство, «мечтал», как говорила мать. Родители несколько лет не догадывались, что Мэнни ненормальный, что аденоиды затормозили его умственное развитие. Мэнни был хорошим мальчиком, послушным; припугнув, его легко было заставить делать что угодно, но если родители перегибали палку, у него начиналась истерика, он выходил из себя и даже утрачивал чувство самосохранения. Тогда он принимался биться лбом об пол и разбивал его до крови — так сильно, что кровь заливала глаза.

Берт Мэнро приехал в Райские Пастбища передохнуть от борьбы с силой, неизменно его побеждавшей. Он ввязывался во многие предприятия и везде терпел поражения, не по своей вине — его преследовали неудачи, каждая из которых сама по себе была чистой случайностью. Но когда Берт рассматривал эти случайности вкупе, они ему представлялись кознями коварной, недоброй судьбы, не допускавшей его успеха. Он устал сражаться с безымянным нечто, ставившим преграды на всех его путях. Берту было всего только пятьдесят пять лет, но он устал; он был убежден, что над ним тяготсет проклятие.

Много лет назад он построил гараж при выезде из города. Дело пошло хорошо, в карман потекли денюжки. Он уже совсем уверенно почувствовал себя, но тут вдруг магистраль пересели на другую улицу, он прогорел, остался на мели. Через год или чуть позже он продал гараж и открыл бакалейную лавку. Ему снова повезло. Он расплатился с долгами, даже открыл счет в банке. Но тут местные бакалейщики объединились против него, сбили цену и принудили его отказаться от дела. Берт был ранимый человек. Такие штуки приключались с ним по меньшей мере десять раз. Именно тогда, когда успех казался прочным, его настигала беда. Он перестал верить в себя. Когда началась война, он уже почти совсем пал духом. Берт знал, что можно делать деньги на войне, но, битый столько раз, он просто трусил.

Ему пришлось долго уговаривать себя, прежде чем он решился заключить свой первый контракт с действующей армией на поставку бобов. В первый год предприятие дало пятьдесят тысяч долларов дохода, во второй — двести тысяч. На третий год он закупил урожай бобов с нескольких тысяч акров земли еще до того, как они были засеяны. В договорах он гарантировал выплату десяти центов за

каждый фунт бобов. Он рассчитывал продать их по восемнадцать центов фунт. Война окончилась в ноябре, и он продал весь урожай по четыре цента за фунт. Денег у него осталось несколько меньше, чем в тот день, когда он к делу приступал.

На этот раз он окончательно уверовал, что проклят. Неудачи сломили его — часто он подолгу не выходил из дома. Работая в саду, он раздумывал о своей горькой участи. В течение этих смутных лет в нем росла постепенно тоска по земле. Единственную возможность обойти свою проклятую судьбу он видел теперь в том, чтобы стать фермером. Он решил, что где-нибудь на маленькой ферме обретет, наконец, покой.

Ферма Бэттлов была объявлена к продаже компанией недвижимого имущества в Монтерее. Берт осмотрел ферму, понял, как привести ее в человеческий вид, и купил. Сперва его семья была против переезда, но когда он вычистил двор, провел в дом электричество и телефон, обставил его получше, все они прямо влюбились в свою новую ферму. Впрочем, для миссис Мэнро всякая перемена была к лучшему — лишь бы Берт перестал, наконец, уныло шляться по двору.

Как только Берт купил ферму, он почувствовал себя свободным. Он победил судьбу. Теперь он твердо знал, что сбросил с себя проклятие. За один-единственный месяц у него расправились плечи, просветлело лицо. Он увлеченно занялся новым делом, зачитывался книгами по сельскому хозяйству, нанял батрака и сам работал от зари до зари. Каждый новый день его чем-нибудь удивлял. В каждом проросшем зерне он видел обещание свободы. Он был счастлив, вернулась уверенность в себе, а вместе с нею и желание обрести здесь друзей.

В деревне трудно сразу стать своим. Для этого требуется большой такт. К вселению семьи Мэнро жители Райских Пастбищ отнеслись с некоторой неприязнью. На ферме Бэттлов ведь нечисто. Так считали все, даже те, кто сам же над этим смеялся. А тут вдруг появился человек, который показал им — проклятия не существует. Более того, он изменил сам дух этих мест — проклятая ферма стала вполне безобидной и даже процветающей. А люди между тем уже привыкли думать, что над фермой Бэттлов тяготеет проклятие, и в глубине души не одобряли перемен.

То, что Берту удалось побороть их враждебность, факт весьма примечательный. Через три месяца он уже был здесь своим — порядочный человек, да и сосед хороший.

Он брал у соседей займы инвентаря и сам частенько им одалживал какую-нибудь нужную по хозяйству мелочь. Спустя шесть месяцев его выбрали в попечительский совет школы. Именно это — ощущение счастья, освобождения от злых демонов собственной души и влекло к нему людей. К тому же он был человек добрый, ему нравилось помогать друзьям, и, что еще важнее, он и сам охотно принимал их помощь.

Однажды в лавке, разговорившись с фермерами, Берт изложил свое кредо. Им понравилась его искренность. Случилось это вскоре после того, как Мэнро перебрался в долину. Т. Б. Аллен задал ему свой обычный вопрос:

— Мы всегда считали, что у Бэттлов нечисто. Странные там бывали вещи! Вы привидений еще не встречали у себя?

Берт рассмеялся.

— Если не раскидывать по дому всякую дрянь, крыс в нем не будет, — сказал он. — А я выбросил из дома затахлость, гниль и тьму — это за них цеплялись призраки.

— Да, вы из фермы конфетку сделали, — согласился Аллен. — Лучшей земли во всех Пастбищах не найти, конечно, если содержать ее в порядке.

Берт нахмурился, как бы переваривая только что возникшую мысль.

— Мне часто не везло, — сказал он. — Много я затевал всяких дел, но все они плохо кончались. Пока я не переехал сюда, мне казалось, что я проклят. — Вдруг он рассмеялся, осененный неожиданной мыслью. — И что ж я делаю? Перво-наперво покупаю ферму, о которой говорят, что она тоже проклята. Но тут мне пришло в голову: а что, если мое проклятие схлестнулось с проклятием фермы и они друг друга уничтожили, а? Вот клянусь, я совершенно уверен, что призраков теперь нет, все ушли!

Соседи рассмеялись. Т. Б. Аллен хлопнул рукой по прилавку.

— Неплохо придумано! — воскликнул он. — Но вот вам еще одна идея, похлеще. Что если ваше проклятие и проклятие, которое лежит на ферме, сошлись и забрались в какую-нибудь крысиную нору, словно две гремучие змеи. А там, глядишь, народится целая туча маленьких проклятий и расползется по нашим Пастбищам. Вот тогда-то мы попляшем!

Тут хохот достиг апогея. Этот разговор почему-то так глубоко запал Аллену в память, что он и много лет спустя вспоминал его до мельчайших подробностей. «Ну, прямо как в театре!» — думал он.

III

Эдвард Уикс жил в маленьком угрюмом доме у дороги. За домом находились большой огород и сад, в котором росли персики. Пока Эдвард занимался персиками, его жена и красавица дочь копались в огороде, где выращивали горох, бобы и раннюю клубнику и продавали их потом в Монтерее.

У Эдварда Уикса было грубое загорелое лицо и маленькие, холодные глазки, почти лишенные ресниц. В долине Райских Пастбищ его считали ловкачом. Он вел дела похитрому, и не было для него большей радости, чем выжать из своих персиков на несколько центов больше, чем сосед. Он занимался помаленьку и барышничеством, и в деревне уважали его за оборотистость, но странное дело — он почему-то не богател. Впрочем, ему правилось делать вид, будто он вкладывает деньги в ценные бумаги. На заседаниях в школе он советовался с соседями о разных денежных вкладах, и никто не сомневался, что у него большие сбережения. В долине его называли Акула Уикс.

— Акула-то? — говорили соседи. — Да у него уж тысяч двадцать, а то и больше. Этому пальца в рот не клади.

А в действительности он ни разу в жизни не держал в руках более пяти сотен долларов.

Акула очень радовался, что его считают богатым. Это доставляло ему такое удовольствие, что он и сам поверил в свое богатство. Как-то раз вообразив, что накопил уже пятьдесят тысяч, он завел счетную книгу, подсчитывал свои доходы и вел записи капиталовложений. Эти манипуляции доставляли ему ни с чем не сравнимую радость.

В Салинасе образовалась нефтяная компания, которая решила бурить скважину в южной части округа Монтерей. Узнав об этой новости, Акула отправился на ферму Джона Уайтсайда обсудить надежность акций новой компании.

— Я вот тут подумываю насчет этой... Южной нефтяной компании, — сказал он.

— Ну что ж, судя по сообщениям геологов, там действительно что-то есть,— сказал Джон Уайтсайд.— Я давно уже слышу, что в тех местах должна быть нефть. Много лет об этом слышу.— Джон Уайтсайд привык давать консультации по подобным вопросам.— Но, конечно, вкладывать туда слишком много я бы не стал.

Уикс потрогал нижнюю губу и задумался.

— Обмозговывал я это дело,— сказал он.— По-моему, очень стоящее. У меня есть тысяч десять, и лежат они почти что без толку. Надо бы ими заняться всерьез. Только сперва хотелось узнать ваше мнение.

В действительности Акула уже принял решение. Придя домой, он вытащил счетную книгу и спял с воображаемого банковского счета десять тысяч. Затем приписал к своему списку капиталовложений тысячу долларов, вложенных в акции Южной нефтяной компании. С этого дня он с лихорадочным вниманием следил за курсом своих акций на бирже. Чуть поднимется цена, он себе ходит и пошвыстывает, упадет — у Акулы от мрачных предчувствий сразу в горле комок. И наконец, когда акции Южной компании внезапно резко взлетели вверх, он так возрадовался, что тотчас же отправился в лавку, где приобрел каминные часы из черного мрамора с колонками из оникса по обе стороны от циферблата и с бронзовой лошадыо наверху. Те, кто был в лавке, сразу же смекнули и стали першешептываться: Акула, мол, сорвал солидный куш.

А неделю спустя стоимость акций катастрофически упала и компания лопнула. Едва услышав эту новость, Акула вытащил счетную книгу и записал туда, что продал акции за неделю до краха, продал с прибылью в две тысячи долларов.

Пэт Хамберт, возвращаясь из Монтерей, остановил автомобиль на дороге перед домом Акулы.

— Я слышал, ты здорово накрылся с этой Южной компанией,— сказал он.

Акула самодовольно усмехнулся.

— Да за кого ты меня принимаешь, Пэт? Я продал все еще позавчера. Я ведь не грудной младенец, и тебе это отлично известно. Я знал, что эти акции дутые, но, кроме того, я знал, что некоторое время они будут подниматься, и кто захочет, выйдет сухим из воды. Начали играть на понижение, и я не отстал от других.

— Здорово ты обернулся! — восхитился Пэт.

В лавке он передал новость дальше. Фермеры кивали головами и прикидывали в уме, сколько ж у Акулы нако-

пилось денег. Все сошлись на том, что он деляга будь здоров.

А Акула тем временем взял в монтерейской банке четыреста долларов в долг и купил подержанный трактор «фордзон».

Мало-помалу слава о предприимчивости Акулы и его деловой сметке так возросла, что ни один из местных фермеров теперь уж не решался приобрести хоть одну акцию или клочок земли, или даже лошадь, не посоветовавшись предварительно с Акулой Уиксом. И с каждым из своих почитателей Акула обсуждал все подробности дела, после чего давал на редкость толковый совет.

Спустя несколько лет его счетная книга свидетельствовала, что путем обдуманных капиталовложений Акула накопил сто двадцать пять тысяч долларов. А за то, что он живет, как бедняк, соседи еще больше его уважали — не закружилась, значит, от богатства голова. Уж ему-то пальца в рот не клади. Его жена и красавица дочь по-прежнему возились с овощами и готовили их для продажи, а Акула усердно работал в саду.

Он прожил жизнь, не зная романтической любви. Когда ему было девятнадцать лет, он трижды пригласил на танец Кэтрин Маллок, которую никто не приглашал. Так все и пошло, а потом он на ней женился, потому что этого ожидали и все соседи, и ее семья. Кэтрин не была хорошенькой, зато она обладала крепкой свежестью весенней травы и задором молодой кобылки. После замужества она утратила и свежесть и задор, как цветок после опыления. Она раздалась в бедрах, у нее обвисли щеки, и Кэтрин покорила новую участь — работать и работать без конца.

В обращении с женой Акула никогда не проявлял ни жестокости, ни нежности. Он обходился с нею ласково и непреклонно, точь-в-точь как с лошадьми. Быть жестоким казалось ему столь же неразумным, как потакать. Он не разговаривал с женой, как разговаривают с человеком, он не рассказывал ей о своих мыслях, надеждах, потерях, о своем богатстве, существовавшем только на бумаге, и об урожае на персики. Если б он когда-либо заговорил с ней о чем-то подобном, Кэтрин бы встревожилась и удивилась. В ее жизни и без того хватало сложностей, совершенно незачем было к ним добавлять груз чужих проблем и мыслей.

Ничего более безобразного, чем бревенчатый дом и двор вокруг, на ферме Уиксов не было. Мусор, хлам, который за год оставляет природа, весь уходит в землю,

а вот мусор, оставляемый людьми, куда более долговечен. На земле валялись старые мешки, бумага, битая посуда, перепутанные мотки проволоки. На всем участке было одно лишь место, где не росли ни трава, ни цветы,— утрамбованная земля возле дома; эта земля стала бесплодной и пустынной, потому что на нее без конца выплескивали лохани мыльной воды. Персиковый сад Акула орошал, а вот лить чистую воду у стен собственного дома казалось ему баловством.

Когда родилась Элис, местные фермерши толпой нагрянули к Уиксам и каждая заранее приготовилась вскричать: «Ах, какое милое дитя!» Но увидев, что дитя действительно прекрасно, они разом онемели и не знали, что сказать. Стоило ли ахать, выражая восторг, ведь это делают обычно с целью утешить молодую мамашу и уверить ее, что кошмарный лягушонок, которого она держит на руках,— и в самом деле особь человеческого рода и не станет чудищем, когда вырастет. И в глазах Кэтрин, устремленных на ребенка, не было того фальшивого восторга, за которым молодые матери обычно прячут разочарование. Когда Кэтрин увидела, что девочка так красива, ее охватили самые разноречивые чувства — изумление, ужас, тревога. Красота Элис была чудом, а за чудом должна была последовать расплата. Красивые дети, уверяла себя Кэтрин, потом становятся уродами. Она твердила это словно заклинание, словно стремясь опередить судьбу и помешать ее козням, предугадав все заранее.

В тот день, когда к ним впервые навселись соседки, Акула слышал, как одна из них с удивлением говорит подруге: «А девочка-то и правда красивая. Как это вышло, ума не приложу».

Услыхав эти слова, Акула возвратился в спальню и долго глядел на ребенка. А потом сидел в саду и снова размышлял. Девочка и в самом деле необыкновенно хороша собой. Дураку понятно, что она не унаследовала эту красоту ни от него, ни от Кэтрин, ни от кого-либо из их родственников — у них в роду все были неказисты. И раз судьба даровала ему такую драгоценность — а драгоценность каждый норовит присвоить,— Элис следует оберегать. Размышляя таким образом, Акула искренне веровал в Бога, только Бог представлялся ему загадочным созданием, которое творит совершенно непонятные вещи.

Элис росла и становилась все красивее. Кожа гладкая и яркая, как маков цвет; черные волосы, блестящие

и мягкие, словно стебли папоротника; глаза — бездонное небо надежд. Заглянув в серьезные глаза ребенка, человек начинал думать: «В этих глазах есть нечто такое, что я давно уж знаю, нечто такое, о чем невозможно забыть, или же наоборот — нечто такое, что я ищу всю жизнь и не могу найти». Тут Элис поворачивала головку. «Батюшки! Да это ведь всего-навсего хорошенькая дсв-чушка!»

Акула видел — на его дочку многие так глядят. Он видел, как, взглянув на нее, краснеют взрослые мужчины, а мальчишки дерутся, как тигры, когда она рядом.

В каждом мужчине он подозревал злоумышленника. Работая в саду, Акула изводил себя, воображая, как его дочь утащили цыгане. По десять раз на день он предупреждал ее обо всем, что может оказаться опасным: не подходи сзади к лошади, стукнет копытом; не лезь на забор — свалишься; в овраг спускаться опасно, а переходить дорогу, не оглядевшись, самоубийство. Каждый сосед, каждый бродячий торговец и уж, конечно, каждый незнакомый человек был в его глазах потенциальным похитителем. Услыхав, что в округе появились бродяги, он не спускал с Элис глаз. Люди, приезжавшие на пикник, изумлялись, когда он яростно изгонял их.

Что до Кэтрин, то ее тревожные предчувствия росли по мере того, как Элис становилась все красивей. Судьба, конечно же, готовит ей удар, а пока что копит силы, чтобы удар был поистине страшный. Кэтрин превратилась в рабыню собственной дочери, следила за каждым ее движением, выполняла любое желание — так потакают тяжелобольным.

Но хотя супруги Уикс благоговели перед дочерью, смертельно за нее боялись и тряслись, словно скряги, над ее красотой, оба они знали, что их хорошенькая дочка на редкость глупая, тупая, просто умственно отсталая девочка. Акуле только подбавляло страхов убеждение, что Элис не сумеет за себя постоять и с легкостью станет добычей любого, кто захочет ее украсть. А Кэтрин была довольна, что дочь глупа — это обстоятельство давало матери множество возможностей помочь неразумной дочке. И помогая ей, Кэтрин укреплялась в сознании своего превосходства, что до некоторой степени уменьшало разделяющую их пропасть. Каждый промах Элис ее радовал — благодаря ему она становилась для дочки более близкой и более необходимой.

Когда Элис сравнялось четырнадцать, к тем заботам, что мучили ее отца, добавилась еще одна. До сих пор Акула лишь боялся, что его дочку украдут или изуродуют, теперь он холодел от ужаса при мысли, что ее могут лишить невинности. И чем больше он раздумывал об этом, тем сильнее эта последняя тревога заслоняла обе предыдущие. Как-то ему пришло в голову, что если дочь его лишат невинности, то ее тем самым одновременно и украдут, и изуродуют. С тех пор стоило какому-нибудь мужчине или парню оказаться возле их участка, Акула становился сам не свой.

Эта мысль терзала его, как кошмар. Он то и дело твердил Кэтрин, что с Элис глаз нельзя спускать.

— Откуда ты знаешь, что может случиться, — повторял он, и его белесые глазки горели недобрым огнем. — Откуда ты знаешь, что может случиться с ней.

Он боялся бы гораздо меньше, если б Элис не была глупа. Над такой дурой всякий может надругаться, думал он. Останется с ней где-нибудь наедине и тут же изнасилует. А эта дуреха не сумеет себя соблюсти. Ни один владелец породистой суки не оберегал ее во время течки так, как охранял Акула свою дочь.

Дальше — больше: без твердых гарантий он просто места себе не находил. Каждый месяц приставал он к жене. Он помнил числа лучше, чем она. «Ну, как там у нее, все в порядке?» — допытывался он.

Кэтрин высокомерно отвечала:

— Пока нет.

И через несколько часов:

— Ну, как там у нее, все в порядке?

Он повторял и повторял этот вопрос, пока Кэтрин наконец не говорила:

— Ну, конечно, у нее все в порядке. А ты что думал?

Успокоенный ответом, он на месяц умолкал, но бдительность не утрачивал. Элис сохранила целомудрие, а это значит, что его по-прежнему надо оберегать.

Он понимал, что рано или поздно Элис захочет выйти замуж, но упорно отгонял от себя эту мысль — замужество дочери казалось ему столь же возмутительным, как то, что ее могут соблазнить. Она была драгоценностью, а драгоценность нужно хранить и лелеять. Да и сама эта проблема для него была скорее эстетического, чем морального свойства. Лишенная невинности, Элис тут же перестанет быть тем сокровищем, которое он рьяно охраняет. Он любил ее не так, как отец любит свое дитя. Скорее можно

сказать, Акула с алчностью отстаивал свое право на владение красивой, редкой вещью. Периодически повторялся все тот же вопрос: «Ну, как там у нее, все в порядке?» и так месяц за месяцем... Девственность Элис стала символом ее здоровья, ее целостности и сохранности.

Однажды — Элис было уже шестнадцать лет — Акула подошел к жене встревоженный:

— Понимаешь, наверняка-то мы не можем сказать, что у нее все в порядке... одним словом... наверняка мы этого не знаем, покуда доктор ее не поглядел.

Кэтрин ошеломленно вскинула на него взгляд, пытаясь понять, о чем он толкует. А потом впервые в жизни рассердилась.

— Дрянь ты этакая, ишь чего придумал! — крикнула она. — Пошел вон отсюда. И если еще раз такое брякнешь, я... я тебя брошу.

Эта вспышка немного удивила Акулу, но не испугала. Впрочем, с мыслью о медицинском обследовании ему пришлось расстаться и ограничить себя ежемесячными вопросами.

А тем временем богатство, зафиксированное лишь в счетной книге, все возрастало. Каждый вечер, когда жена и дочь ложились спать, доставал он заветную книгу. Сощутив свои блеклые глазки, с хитрым выражением на бледном лице, он обдумывал, куда поместить капитал, и подсчитывал проценты. Его губы медленно шевелились — Акула отдавал распоряжение по телефону, — играть на повышение или на понижение. Непреклонное, но в то же время и печальное выражение появлялось на его лице — он не разрешал продлить закладную хозяевам отличной фермы. «Мне это тоже очень неприятно, — говорил он шепотом. — Но, сами понимаете, дело есть дело».

Акула обмакнул перо в чернильницу и записал в счетную книгу, что в продлении закладной отказано. «Салат, — размышлял он. — Все взялись за салат. Как пить дать, наводнят теперь им рынок. Заняться что ли картошкой? Мне кажется, на этом можно заработать. Есть у меня на примете хорошая земля в низинке». И он пометил в книге, что нужно отвести триста акров под картошку. Его глаза блуждали по строчкам. В банке лежат триста тысяч долларов и приносят проценты, только проценты. Досадно. Деньги, можно сказать, без толку лежат. Он задумался, в его белесых глазках появилось угрюмое выражение. Вот интересно, надежная это фирма — «Сан Хосе, строительство и ссуды»? Шесть процентов платят, между

прочим. Но ввязываться в такое дело очертя голову нельзя. Закрывая на ночь счетную книгу, Акула решил, что потолкует с Джоном Уайтсайдом. Бывает ведь, компании такого рода прогорают, а учредители удирают с чужими деньгами, думал он с тревогой.

До того, как семья Мэнро переселилась в долину, Акула подозревал в дурных умыслах всех мужчин и парней, но как только он увидел Джимми Мэнро, его страхи и подозрительность сосредоточились на этом многоопытном юнце. А юноша и в самом деле был хорош собой и строен, с чувственным, красиво очерченным ртом, и глаза его блеснули оскорбительно дерзко, что присуще окончившим школу юнцам. Говорили, что Джимми пьет джин; он носил городские костюмы, комбинезонов никогда не надевал. Волосы он смазывал брилантином, а от всей его осанки и повадки веяло такой лихостью, что молодые жительницы Райских Пастбищ тут же принимались ерзать и хихикать, обуянные смущением и восторгом. Джимми взирал на своих поклонниц спокойными, циничными глазами и старался выглядеть как можно более распущенным. Он знал, что молодых девиц привлекают молодые люди с прошлым. А у Джимми было прошлое. Он несколько раз напился в «Риверсайд Данс Пэлас»; он целовался по крайней мере с сотней девушек; а три девушки с ним согрешили под сенью ив на берегу реки Салинас. Джимми очень старался, чтобы на его лице отражались следы порока, но опасаясь, что чисто внешнего впечатления недостаточно, он распустил о себе множество пикантных слухов, которые разнеслись по Райским Пастбищам с лестной для него быстротой.

Слухи дошли и до Акулы Уикса. Ушлый Джимми Мэнро вызывал в нем такой страх, что Акула его возненавидел. Разве сможет, размышлял Акула, красивая и глупая Элис устоять против такого опытного соблазнителя?

Элис еще ни разу не видела юношу, а Акула уже запретил ей с ним встречаться. Он требовал этого так настойчиво, что даже в ее темном сознании зашевелился некий интерес.

— Ты гляди мне, не вздумай болтать с этим Джимми Мэнро,— внушал он дочке.

— А кто это — Джимми Мэнро, папа?

— Не твое дело! Не смей с ним болтать — и конец. Слышала? Шкуру с тебя спущу, если ты на него только взглянешь.

Акула ни разу в жизни не поднял руку на Элис по той же самой причине, по которой он не мог нанести удар по фарфоровой вазе. Он даже не решался приласкать дочку — вдруг останется какой-то след. Да и наказывать ее было незачем. Элис всегда была добрым и послушным ребенком. Дурные наклонности возникают от честолюбия или вследствие какой-нибудь идеи. А у Элис не было ни того, ни другого.

И опять:

— Ну, как там, этот Джимми Мэнро с тобой не разговаривал?

— Нет, папа.

— Ну, смотри, не дай бог я вас застукаю за разговором.

После того, как Акула много раз повторил свой запрет, в дремучий разум Элис вкралось убеждение, что хорошо бы ей познакомиться с Джимми Мэнро. Он ей даже один раз приснился — признак глубочайшего интереса. Элис редко что-либо снилось. В этом сне некий мужчина, похожий на индейца из ее настенного календаря и носивший имя Джимми, подкатил к ней на сверкающем автомобиле и преподнес огромный сочный персик. Элис вонзила в персик зубы, сок потек по подбородку, и ей стало стыдно. Тут мать ее разбудила, так как Элис храпела. Кэтрин радовало, что дочка храпит. Эти мелкие недостатки их уравнивали. Но в то же время храпеть так не женственно.

Акула Уикс получил телеграмму. «Тестя Нелли скончалась прошлой ночью. Похороны субботу». Он сел в свой «форд» и двинулся на ферму Джона Уайтсайда сообщить, что не сможет присутствовать на заседании попечительского совета. Уже перед самым уходом Акула озабоченно сказал:

— Вот хотел спросить, как вы считаете насчет фирмы «Сан Хосе, строительство и ссуды»?

Джон Уайтсайд улыбнулся.

— Об этой фирме я мало что знаю.

— Понимаете ли, в банке у меня лежат тридцать тысяч и приносят всего три процента. Я вот подумал, надо бы их куда-нибудь повыгодней пристроить.

Джон Уайтсайд сморщил губы и легонечко подул на палец.

— Ну, пока что я могу сказать только одно: с такой компанией, как «Строительство и ссуды», рискнуть, пожалуй, можно.

— Нет, я так дела не делаю. Никакого риска,— резко возразил Акула.— Я пальцем не пошевелю, если не уверен в выгоде. Охотников до риска без меня хватает.

— Я, пожалуй, слишком осторожно выразился, мистер Уикс. Я хотел сказать, что все эти строительные и ссудные компании, как правило, бывают надежны. И процент выплачивают немалый.

— Ну, что ж, займусь этим,— решил Акула.— Я сейчас еду в Окленд на похороны тети Нелли, так задержусь заодно часика на три в Сан Хосе и загляну к ним, в эту компанию.

В этот день Акула посоветовался еще с несколькими людьми, а к вечеру в лавке снова состоялся разговор на тему, сколько же он все-таки накопил.

— Одно я вам скажу,— заключил Т. Б. Аллен.— Он и у того спросит совета, и у другого, а голова-то, между прочим, у него работает, и пока он сам во все не вникнет, по чужой указке поступать не будет.

— Это уж точно, уж он не дурак,— дружно согласилась вся компания.

В субботу утром Акула отправился в Окленд, а его жена и дочь впервые в жизни остались на ферме одни. В тот же вечер к ним пожаловал Том Бремен пригласить Кэтрин и Элис в школу на танцы.

— Ох, мне кажется, это не понравилось бы мистеру Уиксу,— сказала Кэтрин,— она и испугалась, и разволновалась.

— Разве он вам запретил туда ходить?

— Нет, он ничего не говорил, но... до сих пор он ведь никуда и не уезжал. Боюсь, это ему не понравится.

— Да ему в голову просто не приходило, вот и не говорил,— успокаивал се Том Бремен.— Ну, пойдете. Собирайтесь!

— Пойдем, мама,— сказала Элис.

Кэтрин понимала — дочери решать легко, она слишком глупа, чтоб бояться. Элис не способна думать о последствиях. И о тех мучительных разговорах, что начнутся после возвращения Акулы. Кэтрин казалось, она уже слышит, как он бубнит: «Ума не приложу, чего это вам вздумалось бежать на танцы, как только я уехал. Я-то думал, вы будете за фермой приглядывать, а они сразу на танцульку понеслись». Ну, а потом пойдут вопросы: «С кем Элис танцевала? Хм... И что он ей говорил? Это почему же ты не слышала? Должна была слышать». Злиться он не будет, он будет без конца ее пилить, пока ей не станет тош-

но даже думать о танцах. А потом наступит это самое число, и пойдут его любимые вопросики, они будут жужжать, как москиты, до тех пор, пока он не убедится, что Элис не ожидает ребенка. Вряд ли удовольствие сходить на танцы стоит того, чтобы терпеть потом эту мороку.

— Пойдем, мама,— упрашивала Элис.— Мы ведь с тобой никогда не выходили из дому без папы.

Волна острой жалости захлестнула Кэтрин. Бедная девочка, в ее жизни не было совершенно ничего. И с парнями никогда не перемолвилась словечком, ведь отец с нее глаз не спускал.

— Ладно,— согласилась она наконец.— Если мистер Бремен подождет, пока мы соберемся, мы пойдем на эти танцы.

Она представила себе, что будет вытворять Акула, и почувствовала себя ужасно храброй.

Деревенской девушке так же плохо быть слишком красивой, как и уродливой. Когда молодые фермеры смотрели на Элис, у них перехватывало дух, они не знали, куда девать вдруг ставшие слишком большими руки, их затылки багровели; никакая сила в мире не могла принудить хотя бы одного из них с нею заговорить, пригласить ее на танец. Они отчаянно отплясывали с менее красивыми партнерами, вели себя шумно, как застеснявшиеся мальчуганы, и вытворяли бог знает что. Стоило Элис отвернуться, они украдкой на нее косились, но когда она сама глядела на них, старательно делали вид, что ее не замечают. Элис к этому давно привыкла и даже не догадывалась, что красива. Она покорялась своей участи «подпирать стену».

Когда Кэтрин и Элис вошли в зал, где были танцы, Джимми Мэнро уже находился там. Он стоял у стенки, элегантно небрежный, скучающий, высокомерный. Ширина его штанин достигала чуть ли не полметра, носки лакированных туфель были квадратны, как кирпичи. Черный галстук-бабочка украшал его белую шелковую рубашку, волосы, смазанные брильянтином, блестели. Джимми был горожанин в отличие от остальных. Он устремился к своей жертве неспешно и неотвратно, как ястреб. Не успела Элис снять пальто, как он уж был рядом. Усталым тоном, усвоенным в старших классах школы, он предложил:

— Станцуем, детка?

— Чего? — спросила Элис.

— Я сказал, пойдите танцевать?

— Танцевать, вы говорите?

Она обратила на него бездонные, что-то обещающие

глаза, и смешной, глупый вопрос прозвучал насмешливо и призывно, в нем, казалось, таился намек, от которого разволновался даже циник Джимми.

«Танцевать? И только-то?» — казалось, спросила она. Несмотря на всю свою искушенность, Джимми ощутил, что у него перехватило дух, что он не знает, куда девать руки и ноги, и кровь бросилась ему в голову.

Элис повернулась к матери, которая уже вела с миссис Бремен оживленный разговор на кулинарные темы.

— Мама, можно я потанцую? — спросила Элис.

Кэтрин улыбнулась ей.

— Ступай, ступай, — ответила она. — Повеселишься хоть раз в жизни.

Как сразу обнаружил Джимми, Элис танцевала скверно. Когда музыка умолкла, он сказал: «Тут очень жарко, а? Давай пройдемся». И увел ее под ивы во дворе.

Спустя некоторое время сидевшая на крылечке соседка вошла в зал, подошла к Кэтрин и что-то ей шепнула. Кэтрин вздрогнула и ринулась во двор.

— Элис! — раздался ее отчаянный крик. — Элис, сюда, сюда же минутой!

Когда двое беглецов возникли из темноты, Кэтрин яростно набросилась на Джимми.

— Не смей к ней подходить, ты слышишь, что я говорю? Не смей к ней подходить, а то плохо будет, слышишь!

Джимми порядком перетрусил. Он чувствовал себя, как маленький мальчик, которому велели немедленно отправляться домой. Противно, конечно, но приходится подчиниться.

Кэтрин схватила дочь за руку и потащила в дом.

— Тебе папа говорил, чтоб ты не связывалась с Джимми Мэнро? Говорил он тебе или нет? — яростно накинулась она на Элис. Кэтрин была вне себя от ужаса.

— А это он? — спросила Элис шепотом.

— Кто же, как не он? И что ты там делала с ним?

— Целовалась, — испуганно пролепетала Элис.

Кэтрин словно обухом ударили по голове.

— О, господи, — сказала она. — О, господи, что ж мне делать?

— А это плохо, мама?

Кэтрин нахмурилась.

— Плохо? Нет, нет, это совсем не плохо! — вскрикнула она. — Это... даже хорошо. Только вот что: пусть папа об этом не знает. Даже если спросит, не говори ему! Он... да он с ума сойдет. А сейчас вот что: будешь сидеть весь

вечер рядом со мной, и никаких там Джимми Мэнро, ясно? Может, папа все-таки об этом не узнает. Господи, ну сделай так, чтоб не узнал!

В понедельник Акула Уикс сошел с вечернего поезда в Салинасе и сел в автобус, направлявшийся к перекрестку, от которого ответвлялась дорога на Пастбища. А уж оттуда он пешком потащил свой саквояж — до дому оставалось четыре мили.

Ночь была ясная, теплая, все небо в звездах. Горы таинственным приглушенным шумом приветствовали его возвращение домой и настроили на мечтательный лад. Он шел задумавшись.

Похороны понравились Акуле. Красивые цветы, и к тому же так много. Женщины плакали, мужчины передвигались по дому торжественно, бесшумно, и все это пробудило в его душе тихую и, в общем, приятную печаль... Даже отпевание, торжественный ритуал, которого никто не понимает и в который никто не вслушивается, таинственным образом влил в его душу некие целительные токи, благотворные для тела и ума. Целый час он пробыл в церкви, отрешившись от мирской суеты; аромат ладана и цветов навеял на него тихую благодать, и перед взором его приоткрылась вечность. Все это возникло в нем благодаря величественной процедуре отпевания.

Тетушку Нелли он почти не знал, но ее похороны доставили ему огромное удовольствие. А родственники, вероятно, уже проведали о его богатстве и обходились с ним почтительно. И сейчас по дороге домой он вспоминал все это, и время пролетело незаметно, путь сократился — Акула неожиданно быстро дошел до Райских Пастбищ и до лавки.

Владелец лавки Т. Б. Аллен всегда был в курсе всех новостей; кроме того, старик любил и умел раздувать в слушателях интерес, притворяясь, будто бы он до смерти не хочет ничего рассказывать. Самая пустая сплетня превращалась в волнующее известие, когда за дело брался старик Т. Б.

Когда Акула вошел в лавку, там был только хозяин. Т. Б. уселся на откидной стул у стены, и глаза его зажглись любопытством.

— Люди говорят, ты уезжал, — произнес он тоном заговорщика.

— Я был в Окленде, — сказал Акула. — Надо было на похоронах побывать. А заодно я там надумал проверить одно дельце.

Т. Б. выждал ровно столько, сколько полагал необходимым и спросил:

— Ну и как, серьезные дела?

— Да я бы не сказал. Заглянул в одно предприятие.

— И акции купил? — почтительно поинтересовался Аллен.

— Купил кое-что.

Оба опустили головы и сосредоточенно разглядывали пол.

— А без меня тут что-нибудь случилось?

И тотчас же на лице старика появилось выражение досады. Видно было, ему ужасно не хочется рассказывать о том, что произошло; видно было, сплетничать ему просто противно.

— В школе танцы были, — промямлил он наконец.

— Знаю, слышал.

Аллен заерзал на своем откидном стуле. Видно было: в нем шла внутренняя борьба. Выложить все, как есть, Акуле для его же пользы или промолчать? Акула следил за ним с интересом. Он такие вещи уже много раз видал.

— Ну, выкладывай, — сказал он наконец.

— Вот, говорят, свадьба скоро будет.

— Да? А где ж это?

— Да уж прямо скажем, недалеко искать.

— Где? — опять спросил Акула.

Т. Б. сделал попытку побороть себя, но не смог.

— В твоём доме, — сказал он со вздохом.

Акула хмыкнул.

— В моем?

— Элис, говорят, выходит замуж.

Акула окаменел и в ужасе уставился на старика. Потом он шагнул к нему, надвинулся на него с угрозой.

— Это как понять? Как понять это, выкладывай, слышишь ты!

Т. Б. уразумел, что назад пути нет. Он съежился.

— Ну, хватит вам, мистер Уикс! Хватит, что вы в самом деле!

— Говори, что это значит! Говори все.

Акула схватил Т. Б. за плечи и встряхнул, дрожа от злости.

— Да ничего особенного, на танцах это случилось... просто на танцах.

— Элис ходила на танцы?

— Ага.

— И что она там натворила?

— Не знаю. То есть, ничего.

Акула рывком стащил его со стула; у Аллена подгибались колени.

— Говори! — взревел он.

Старик жалобно захныкал:

— Да ей-богу, ничего, с Джимми Мэнро она во двор выходила.

Уикс схватил его за плечи и принялся трясти насмерть перепуганного лавочника, как мешок с мукой.

— А что они там делали? Выкладывай!

— Не знаю я, мистер Уикс.

— Говори!

— Ну... мисс Берк... мисс Берк сказала... они целовались.

Тут Акула выронил его и сел. Он похолодел от ужаса — выходит, все пропало. Он сверлил старика злобным взглядом, не в силах переварить эту весть — его дочь утратила невинность. Ему в голову не приходило, что дело обошлось только поцелуями. Потом он отвернулся, его взгляд растерянно блуждал по лавке. Вдруг Аллен увидел, что этот взгляд остановился на выставленных в витрине ружьях.

— Эй, Акула, ты не вздумай! — крикнул он. — Эти ружья не твои.

О ружьях Акула не думал, он даже их не замечал, но сейчас, когда ему о них напомнили, он бросился к витрине, открыл ее и вытащил тяжелую винтовку. Оторвал ярлык с ценой и сунул коробку патронов в карман. Потом, решительно шагая, вышел и даже не посмотрел в сторону лавочника. Звук его шагов еще не замер в темноте, а старик Т. Б. уже звонил по телефону.

Акула быстро шел к ферме Мэнро, и в голове его царил полный сумбур. Лишь одно он знал наверняка — понял, прошагав совсем немного: он ни в коем случае не собирается убивать Джимми Мэнро. Мысль застрелить Джимми подсказал ему лавочник, сам он и в голове такого не держал. Ну, а теперь-то что делать? Он попытался представить себе, как будет вести себя в доме Мэнро. Может, все-таки придется его застрелить. Может, все сложится так, что ему волей-неволей надо будет совершить убийство, дабы защитить свою честь.

Акула услышал, что к нему приближается машина, и спрятался в кустах, а автомобиль с ревом промчался мимо. Идти ему уже совсем недолго, а между тем чувства ненависти к Джимми Мэнро нет как нет. И ни к кому нет



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». VII



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». IX

этого чувства, есть лишь ноющее ощущение пустоты, возникшее, когда он услышал, что его дочь утратила невинность. И сейчас ему упорно чудилось, что Элис уже нет в живых,— она для него умерла.

Он увидел огоньки, это светились окна в доме Мэнро. И тут Акула понял: он не может застрелить Джимми. Пусть хоть вся деревня смеется над ним, он не в силах выстрелить в этого парня. Он вообще не может никого убить. Тогда он решил просто заглянуть в калитку, а после этого пойти домой. Пусть их смеются, если угодно, он не способен ни в кого стрелять.

И тут вдруг из-за куста вышел человек и крикнул:

— А ну, Уикс, бросай винтовку и руки вверх!

Акула положил винтовку на землю, покорно и устало. Он узнал по голосу помощника шерифа.

— Приветствую, Джек, — сказал он.

Потом его окружили. Позади тех людей, что его схватили, маячило перепуганное лицо Джимми. И Берт Мэнро тоже порядком струхнул.

— Что это ты надумал стрелять в моего Джимми? — испуганно спрашивал он.— Он тебе ничего плохого не сделал. Старик Т. Б. мне позвонил и все сказал. А теперь уж не беспокойся, я тебя упрячу в такое место, где ты будешь смирно сидеть.

— У нас нет права засадить его в тюрьму,— вмешался помощник шерифа.— Сделать-то он ничего не успел. Мы только можем взять с него штраф.

— Правда? Ну что ж, ладно, штраф так штраф,— у Берта срывался голос.

— А вы потребуйте с него большой штраф,— посоветовал помощник шерифа.— Акула ведь у нас богач. Поехали с нами. Мы отвезем его в Салинас, и вы изложите там свою жалобу.

На следующее утро Акула Уикс вошел в свой дом, едва волоча ноги, и сразу же улегся в кровать. Глаза у него были тусклые, усталые, но Акула их не закрывал. Руки висели, как плети. Он лег и в неподвижности пролежал несколько часов.

Кэтрин, работавшая на огороде, видела, как он вернулся. Ей было и приятно, и в то же время тяжело, что он так идет — с поникшими плечами, беспомощно понутив голову, но когда наступила пора варить обед, она вошла в дом на цыпочках и предупредила Элис, чтоб не шумела.

В три часа Кэтрин заглянула в спальню.

— У Элис все в порядке,— сообщила она.— Ты бы у меня сперва спросил, а потом за винтовку хватался.

Акула не сказал ни слова и не пошелохнулся.

— Ты не веришь мне,— ее напугало, что он лежит, как неживой.— Если не веришь, можно доктора позвать. Давай я сразу же за ним пошлю, если не веришь.

Акула даже головы не повернул.

— Я тебе верю,— ответил он вяло.

Кэтрин, стоя на пороге, глядела на мужа, и незнакомое ей прежде чувство охватило ее. Она и не подозревала, что может так себя вести. Что-то теплое шевельнулось в сердце. Она села на край кровати и уверенным движением положила себе на колени голову мужа. Она сделала это инстинктивно, а потом повинувшись все тому же сильному, решительному чувству, стала гладить его по голове. Он, казалось, совсем обессилел.

Она гладила его по голове, а он глядел и глядел в потолок, а потом все-таки заговорил, монотонно, дребезжащим голосом.

— Денег-то у меня нет,— сказал он.— Притащили в суд и говорят, мол, плати десять тысяч штрафа. Пришлось все рассказать судье. И все это слышали, все. Теперь, стало быть, все знают, что у меня нет денег. Нет и никогда не было. Поняла? Эта моя счетная книга — чистая фикция. Все, что я туда записывал,— ложь. Все до последней строчки. Я все сам придумал. А теперь это знает каждый, мне ведь пришлось сказать правду судье.

Кэтрин ласково гладила его по голове, и незнакомое, теплое чувство, что шевельнулось вдруг в ее душе, росло. Ей казалось, что она сильнее всех на свете. Вот, весь мир лежит сейчас у нее на коленях и ждет от нее утешения. Сострадание сделало ее могущественной. Она может, думалось ей, утолить все скорби мира.

— Я никого не собирался трогать,— продолжал Акула.— В этого Джимми я и не думал стрелять. Я просто не успел еще назад повернуть, а они меня уже цапали. Решили, я хочу его убить. А сейчас все знают. У меня совсем нет денег.— Он валялся на кровати, как тряпка, и все глядел, глядел в потолок.

И тут внезапно жаркое сочувствие к мужу превратилось в силу,хватило всю ее. В одно мгновение Кэтрин поняла, что от нее зависит очень многое. Она ликовала от счастья, и в этот миг была прекрасна.

— Тебе просто не везло,— сказала она тихо.— Связался с этой старой фермой, а разве здесь чего добьешься?

Вот тебе и негде было счастья попытать. Ну, чего это ты вдруг решил, что разбогатеть не сможешь. А я считаю — сможешь. Даже убеждена.

Кэтрин говорила уверенно. Она знала, что сейчас сумеет сделать все, что жизнь ее прошла в ожидании этого мига. В этот миг она была богиней, вестницей судьбы. Поэтому она не удивилась, когда увидела, что муж пришел в себя. Она все гладила его по голове.

— Мы уедем, — внушала она. — Ферму продадим и уедем. И тогда уж тебе повезет. Вот увидишь. Я знаю, на что ты способен. Я в тебя верю.

Живая искорка зажглась в глазах Акулы. Он встал. Он смотрел на Кэтрин и видел, что она прекрасна, а пока он глядел на нее, жар ее души передался ему. Он уткнулся головой в ее колени.

Кэтрин опустила голову и посмотрела на него. Силы начали оставлять ее, и она испугалась. Вдруг Акула приподнялся и сел на кровати. Он успел уже забыть о Кэтрин, но в глазах его светилась та энергия, которую она передала ему.

— Ждать недолго! — крикнул он. — Продам ферму и уеду. И тогда удача от меня не уйдет. Я своего добыю. Они еще увидят.

Тайна происхождения Туляречито покрыта мраком. А вот о том, как он появился в здешних местах, ходит легенда. Жители Райских Пастбищ в нее не очень-то верят, так же, впрочем, как они не верят в привидения.

У Франклина Гомеса был работник, мексиканский индеец по имени Панчо, больше у него не было ничего. Раз в три месяца Панчо, захватив свои сбережения, отправлялся в Монтерей, исповедовался в грехах, исполнял спитимью, получал отпущение грехов и напивался — все это именно в такой последовательности. К тому времени, когда салуны закрывались, Панчо добирался до своей повозки и засыпал, если, конечно, ему удавалось не угодить в тюрьму. Лошадь сама знала дорогу и к утру привозила его домой — так что Панчо успевал позавтракать и отправиться на работу. Панчо всегда прибывал на ферму спящим; вот почему его там встретили однажды утром с особым интересом: дело в том, что на сей раз он влетел в загон галопом, причем не только бодрствовал, но и что-то орал во всю глотку.

Франклин Гомес оделся и вышел узнать, что случилось. Из бессвязного, путаного рассказа индейца он выяснил примерно вот что: Панчо ехал домой, как всегда, конечно, абсолютно трезвый. Неподалеку от Черного Места, в кустах полыни возле дороги он услышал плач ребенка. Он остановил повозку и пошел взглянуть — малых детей в таких местах обычно не бывает. В зарослях полыни он и в самом деле нашел грудного младенца. Панчо показалось, что ему месяца три. Он его поднял, зажег спичку, чтоб рассмотреть находку, и вдруг — о ужас! — малютка ехидно ему подмигнул и сказал басом:

— Посмотри, какие у меня острые зубки!

Панчо не стал смотреть. Он отшвырнул свою зловещую находку, прыгнул в повозку и галопом погнал к дому, нахлестывая старую кобылу и подвывая по-собачьи.

Франклин Гомес задумчиво чесал в затылке. Насколько он знал, Панчо мужик спокойный, дурь на него не напа-

дает даже «под мухой». Подъезжая к дому, Панчо не спал — одно это уже свидетельствовало о том, что он действительно видел нечто странное в пустыни. В конце концов Франклин Гомес велел оседлать коня, разыскал ребенка и привез его домой. В течение трех лет дитя больше ничего не говорило; и зубов у него, как выяснилось, не было. Тем не менее Панчо был твердо убежден, что все случилось именно так, как он рассказывал.

У младенца были коротенькие, толстые ручки и длинные, растопыренные, как у лягушки, ноги. Большая голова без всяких намеков на шею сидела на слишком широких плечах. Из-за плоского лица и необычного телосложения младенца, разумеется, прозвали Туляречито — Лягушонок. Впрочем, Франклин Гомес часто называл его «Койот». «Потому, — объяснял он, — что есть в лице этого малыша какая-то древняя мудрость, что-то от койота».

— Ну, а как же руки, ноги и плечи, сеньор? — возражал в таких случаях Панчо. И за ребенком закрепилось прозвище «Туляречито».

Кто оставил на дороге это маленькое, уродливое существо, осталось тайной. Франклин Гомес считал его членом семьи, Панчо ходил за ним, как нянька, и все же так и не смог освободиться до конца от страха перед мальчиком. Ни годы, ни суровые сны не могли вытравить то впечатление, которое произвела на него их первая встреча.

Мальчик рос быстро, но после пяти лет его умственное развитие прекратилось. В шесть лет Туляречито мог выполнять работу взрослого человека. Его руки с длинными пальцами были сильнее, чем у взрослого мужчины, и намного проворней. Удивительно умелые и ловкие, они делали его на ранчо незаменимым. Пальцы мальчика легко справлялись с самыми тугими узлами. У Туляречито были руки настоящего художника. Его чувствительные пальцы ни разу не повредили ни одного молодого ростка, ни одной привитой веточки. В то же время эти безжалостные пальцы без всякого усилия могли свернуть голову индюку. У Туляречито был еще один удивительный дар: ногтем большого пальца он вырезал из песчаника фигурки животных. Весь дом Франклина Гомеса был заставлен фигурками койотов, пум, цыплят и белок. С потолка в столовой на проволочках свисало изображение парящего ястреба. Панчо, который никогда не считал мальчика человеком, приписывал его способности ваять дьявольским козням.

Хотя жители Райских Пастбищ и не верили в потустороннее происхождение Туляречито, в его присутствии они чувствовали себя неловко. Что-то неприятное, пещерное было в его глазах. В лице мальчика было нечто от троглодита. Его необычные способности и огромная физическая сила пугали местных фермеров. Дети его избегали.

Вывести Туляречито из себя можно было только одним способом. Когда кто-нибудь — мужчина, женщина или ребенок — неосторожным прикосновением разрушал плоды его трудов, он приходил в ярость. Глаза его вспыхивали, и он бросался на обидчика, готовый его убить. В этих случаях Франклин Гомес трижды прибегал к крайней мере — связывал Туляречито по рукам и ногам и оставлял в таком виде до тех пор, пока к нему не вернется обычное добродушие.

Когда Туляречито исполнилось шесть лет, он не пошел в школу. Прошло еще лет пять. За это время инспектор по делам несовершеннолетних и директор школы несколько раз весьма решительно рекомендовали Гомесу заставить мальчика учиться. Тот соглашался, он даже настойчиво выталкивал его из дома в школу, но Туляречито так ни разу туда не добрался. Он боялся, что школа окажется местом отнюдь не привлекательным, и просто исчезал дня на два. Только когда мальчику исполнилось одиннадцать, — у него уже были плечи атлета и руки настоящего разбойника — согласованными усилиями ревнители закона усадили его за парту.

Как и думал Франклин Гомес, Туляречито не стал учиться. Зато у него сразу же проявился новый талант — он начал рисовать так же хорошо, как вырезал фигурки из песчаника. Когда мисс Мартин, учительница, заметила это, она предложила ему нарисовать парад зверей. Туляречито долго трудился после уроков, и на следующее утро на доске появилась удивительная процессия. Там были все животные, которых Туляречито когда-либо видел, все птицы, которые водились у них в горах. Вслед за коровой ползла гремучая змея, койот с гордо поднятым хвостом шел следом за свиньей. Были там и кошки, и козы, и суслики, и черепахи. Каждый зверь был нарисован абсолютно точно.

Мисс Мартин поразили способности Туляречито. Она похвалила его перед всем классом и прочитала маленькую лекцию о каждом из нарисованных им животных. В своем воображении она уже купалась в лучах славы, которую ей принесет открытие нового, удивительного таланта.

— Я еще много чего могу,— сообщил Туляречито.

Мисс Мартин похлопала его по широкому плечу.

— Вот и отлично,— сказала она.— Ты будешь работать каждый день. Этот дар ниспослан тебе богом.— Тут она вдруг поняла, как важно то, что она произносит. Наклонившись к Туляречито и испытующе глядя в его хмурые глаза, она медленно повторила: — Этот дар ниспослан тебе богом.— Мисс Мартин посмотрела на часы и решительно добавила: — Четвертый класс — арифметика. У доски.

Четвероклассники выскочили из-за парт, схватили ластик и начали стирать рисунки, чтоб освободить доску. Увидев, что они уничтожают плоды его трудов, Туляречито кинулся на них с кулаками. Это был страшный день. Мисс Мартин с помощью всей школы не смогла с ним справиться. В ярости Туляречито обретал силу взрослого мужчины, и к тому же — сумасшедшего мужчины. В ходе битвы класс подвергся странным разрушениям: парты лежали вверх тормашками, чернила текли рекой, по всей комнате валялись цветы. Платье мисс Мартин изодрали в клочья, старшие мальчики, на чьи плечи в основном легло бремя сражения, были жестоко избиты. Туляречито дрался руками, ногами и головой. И при этом кусался. Никаких правил чести он не признавал и в конце концов одержал победу. Все ученики с мисс Мартин в арьергарде бежали с поля боя, оставив его во власти разъяренного Туляречито. Когда в школе не осталось никого, кроме него, он запер дверь, стер кровь с лица и принялся восстанавливать рисунки.

Вечером мисс Мартин зашла к Франклину Гомесу и потребовала, чтобы он выпорол мальчишку.

Гомес пожал плечами.

— Вы в самом деле хотите, чтоб я его высек, мисс Мартин?

Лицо учительницы было все в царапинах, у рта легла скорбная складка.

— Да, хочу,— сказала она.— Если бы вы видели, что он сегодня натворил, вы бы меня не осуждали. Я уверена: его следует проучить.

Гомес снова пожал плечами и позвал Туляречито. Он спял со стены тяжеленный арапник. Во время экзекуции мальчик ласково улыбался мисс Мартин, которая невольно вздрагивала при каждом ударе. Когда наказание было окончено, Туляречито ощупал себя и, все так же улыбаясь, отправился спать.

Мисс Мартин с ужасом за ним наблюдала.

— Господи, да это просто животное,— воскликнула она.— Похоже было, будто бьют собаку.

На лице Франклина Гомеса мелькнула тень презрения.

— Собака выла бы от страха,— сказал он.— Ну вот, вы получили, что хотели, мисс Мартин. Вы говорите, он — животное, но, ей-богу, это доброе животное. Вы велели ему нарисовать картинки, потом сами же их стерли. Туляречито это не понравилось...— Мисс Мартин попыталась его перебить, но он быстро продолжал: — Не надо было Лягушонку ходить в школу. Он умеет работать; у него золотые руки, но в школе он не выучится ничему. Он не сумасшедший, просто бог не дал себе труда доделать его до конца. Я уже говорил это директору, но он сказал, что по закону Туляречито должен ходить в школу, пока ему не исполнится восемнадцать лет. Значит, еще семь осталось. Семь лет мой Лягушонок будет торчать в первом классе, потому что так велит закон. Ну, что ж, ничего не поделаешь.

— Его надо изолировать! — прорвалась наконец мисс Мартин.— Он опасен. Если б вы его сегодня видели!

— Нет, мисс Мартин, пусть гуляет на свободе. Он не опасен. Вы знаете, как он работает в саду? А как он доит корову? Он добрый мальчик. Он может усмирить поровистую лошадь, не садясь в седло; патаскать пса, даже пальцем его не тронув, но закон велит ему еще семь лет сидеть в первом классе и повторять за вами: «К, О, Т — кот». Если бы он был опасен, он бы запросто убил меня, когда я только что хлестал его арапником.

Мисс Мартин поняла, что существуют вещи, которые выше ее разумения и, поняв это, испытала к Франклину Гомесу острую неприязнь. Она чувствовала, что поступила подло, а он был великодушен. Прийдя на следующее утро в школу, она застала там Туляречито. Все стены класса сплошь были покрыты изображениями животных.

— Видите? — сказал он, и глаза его засияли.— Теперь их куда больше. А еще у меня есть книга со всякими другими животными, я бы их всех нарисовал, да места не хватило.

Мисс Мартин не стала стирать картинки, классную работу выполняли теперь на бумаге, но в конце полугодия она уволилась, сославшись на здоровье.

Мисс Морган, новая учительница, была очень молоденькая и очень хорошенькая — с точки зрения пожилых жителей деревни, слишком молоденькая и опасно хоро-

шенькая. В старших классах занимались парни лет семнадцати. Вполне естественно, что возникли серьезные сомнения, сумеет ли такая молодая и в то же время такая хорошенькая учительница поддерживать в школе хоть какой-то порядок.

Мисс Морган была просто влюблена в свою профессию. Все были поражены, ибо давно привыкли к старым девам, чьи лица выражали только беспредельную усталость. А мисс Морган буквально наслаждалась процессом преподавания, пудную процедуру школьной учебы она превратила в настоящий праздник.

Туляречито произвел на нее сильное впечатление. Оказывается, она уже все о нем знала — читала в книгах, слушала на лекциях. Услышав о сражении, разыгравшемся в школе, освободила ему место в верхней части доски, чтобы он мог рисовать, никому не мешая. Когда он использовал все свободное место, она на свои деньги купила ему пачку бумаги и мягкий карандаш. С тех пор его уже не беспокоили по поводу правописания. Он каждый день прилежно рисовал, а к концу уроков преподносил мисс Морган чудесные картинки, изображавшие все тех же птиц и зверей. Она развесила его рисунки над доской.

Ученики с восторгом приняли ее реформы. В школе стало интересно. Даже те, кто снискал завидную репутацию «трудных детей», теперь гораздо меньше увлекались проектом поджога школы.

А потом мисс Морган ввела правило, за которое ученики стали просто ее обожать. Каждый день около получаса она уделяла чтению. Она читала им «Айвенго», «Талисман»; рыбачьи рассказы Зейна Грина, охотничьи — Джеймса Оливера Кервуда; «Морского волка» и «Зов предков», не какие-то там детские сказки про лису, гусей и рыжую курицу, а настоящие взрослые книги.

Читала она превосходно. Ей удалось покорить даже самых отпетых хулиганов. Никому теперь и в голову не приходило играть на уроках в хоккей. Все слушали, затаив дыхание.

Один Туляречито продолжал рисовать, лишь изредка отрываясь от своего занятия, чтобы взглянуть на учительницу и тоже послушать. Иногда он пытался понять, что интересного в этих рассказах, повествующих о чужих людях и далеких событиях. Он считал, что все это было на самом деле — иначе зачем об этом писать? Рассказы напоминали ему уроки, и он не слушал их.

Со временем мисс Морган поняла, что несколько пере-

борщила с чтением для старших. Сама она любила сказки. Ей нравилось думать, что люди, уверовавшие в чудеса, могут увидеть их воочию. В кругу своих близких друзей, эрудитов и интеллектуалов, она часто говорила, что духовный голод, поразивший Америку, возник отчасти и оттого, что люди разучились верить в чудеса. И вот очередные полчаса она стала посвящать чтению сказок.

Тут с Туляречито произошла перемена. Сперва мисс Морган читала об эльфах и домовых, о проделках фей и волшебников. Туляречито заинтересовался, он даже отложил рисунок, и всегда занятый работой карандаш празднично лежал у него на ладони. Потом мисс Морган начала читать о гномах, об их нравах и обычаях. Туляречито выронил карандаш и вытянул шею, чтобы не пропустить ни слова.

После работы мисс Морган шла пешком до фермы, где снимала комнату. Ей нравилось идти по безлюдной дороге, сбивая головки чертополоха прутом. Она радовалась, когда ей удавалось вспугнуть камнем перепела и тот с криком взлетал вверх. Ей хотелось завести собаку — любознательного, резвого пса, он делил бы с нею все ее захватывающие приключения. Он понимал бы тайный, колдовской смысл вырытых в земле нор, магию звериных следов, странных и печальных птичьих криков и таинственных, бодрящих запахов земли.

Как-то днем мисс Морган забралась на меловой холм, чтобы вырезать свои инициалы на его белом боку. Карабкаясь по склону, она до крови поранила о колючку палец. Вместо инициалов она выцарапала: «Здесь я оставила частицу себя» — и приложила свой кровоточащий палец к пористой меловой поверхности скалы.

Вечером она писала одному из своих друзей: «Когда у человека есть все необходимое, главным для него становится стремление оставить память о себе, какое-нибудь доказательство того, что он действительно существовал на свете. Эти доказательства мы запечатлеваем либо на камне или дереве, либо в судьбах других людей. Это стремление глубоко сидит в каждом из нас — от мальчишки, который пишет непристойности на стенах общественной уборной, до Будды, оставившего свой образ в сознании целых народов. Жизнь так нереальна. По-моему, мы сомневаемся всерьез, существуем ли мы на самом деле, и всеми способами пытаемся доказать себе и другим — да, существуем».

Копию письма она сохранила.

В тот день, когда она читала школьникам про гномов, мисс Морган, как всегда, шла в одиночестве домой. Вдруг трава у обочины зашевелилась, и из нее возникла голова Туляречито.

— Ой! Как ты меня испугал! — воскликнула мисс Морган. — Разве так можно?

Туляречито встал. Он робко улыбался и от смущения похлопывал шляпой по бедру. Вдруг мисс Морган испугалась, ее захлестнула волна страха. На дороге так пустынно, а ей уже не раз приходилось слышать о выходках сумасшедших. Собравшись с духом, она дрожащим голосом произнесла:

— Что... что тебе надо?

Туляречито улыбнулся еще шире и еще сильнее стал хлопать себя по бедру.

— Ты что, просто так здесь лежал, или тебе что-нибудь надо?

Мальчик пытался что-то сказать, но не сумел и снова беззащитно улыбнулся.

— Ну, если тебе ничего не нужно, я пойду.

Она и вправду уже приготовилась к бегству.

Туляречито снова попытался заговорить.

— Про этих... ну, про человечков...

— Про каких еще человечков? — резко спросила она.

— Ну, которые в книжке...

Мисс Морган с облегчением рассмеялась, ощущая, что ее волосы уже не стоят дыбом.

— Ах, ты о... об этих, как их?.. гномах?

Туляречито кивнул.

— А что бы ты хотел о них узнать?

— Я их никогда не видел, — сказал Туляречито. Говорил он монотонно, без всякого выражения в голосе.

— Ну, знаешь, я думаю, их мало кто видел.

— Но я о них знал.

Мисс Морган с любопытством на него посмотрела.

— Правда? Кто же тебе о них рассказал?

— Никто.

— Ты сам их никогда не видел, и никто тебе о них не рассказывал? Откуда же ты о них знаешь?

— Знаю, и все. Может, я их слышал. В книжке про них написано, это точно. Я узнал их.

«Почему я должна мешать этому несчастному мальчугану верить в гномов? Не станет ли его жизнь счастливей и богаче, если он будет в них верить? Что в этом, в сущности, плохого?» — подумала мисс Морган.

— А ты когда-нибудь пробовал их найти?

— Нет, никогда. Я просто знал, что они есть. А теперь я буду их искать.

Тут мисс Морган решила, что все складывается просто великолепно. Перед нею чистый лист бумаги, скала, на которой можно изваять все, что угодно! Судьба предоставила ей возможность создать чудесную историю, которая будет гораздо правдивее тех, что рассказаны в книгах.

— Как же ты будешь их искать? — спросила она.

— Я буду рыть норы, — степенно сообщил Туляречито.

— Но ведь гномы выходят только по ночам, Туляречито. Тебе придется караулить их ночью. И как только ты увидишь хоть одного, ты придеши и расскажешь мне, ладно?

— Хорошо, — пообещал он.

Она ушла, чувствуя на себе его взгляд. Всю дорогу она себе представляла, как Туляречито темной ночью ищет гномов. И картина эта льстила ее самолюбию. Может быть, он их найдет и в самом деле? Может быть, он будет жить среди них, с ними разговаривать? Вот ведь стоило ей только намекнуть этому мальчику на возможность чуда, и она сразу превратила его жизнь в чудесную сказку, такую далекую от бессмысленного существования других людей. Теперь она даже завидовала ему.

Вечером Туляречито надел пиджак и взял лопату. Старый Панчо попался ему навстречу, когда он выходил из сарая.

— Куда собрался, Лягушонок? — спросил он.

Туляречито беспокойно переминался с ноги на ногу.

— Иду, и все. Впервой мне, что ли, на ночь глядя?..

— А лопату зачем взял? Может, золото ищешь?

Лицо мальчика стало серьезным.

— Я иду копать лазы к маленьким человечкам, которые живут под землей.

Тут Панчо забеспокоился, его охватил ужас.

— Не ходи, Лягушонок! Послушай ты меня, своего старого друга, своего крестного отца, не ходи! Ведь это я нашел тебя в кустах полыни, это я спас тебя от чертей. Теперь ты — христианин. Не ходи ты к своим родственникам! Послушайся старика, Лягушонок!

Туляречито стоял, потупившись, он пытался переварить эти новые для него сведения.

— Ты должен был сказать мне, что они мои родственники! — крикнул он. — Я не такой как все. Я одинокий без моего народа, а они живут глубоко в сырой земле. Когда

я прохожу мимо беличьего дупла, мне хочется там спрятаться. Мой народ, они как я, и они меня зовут. Мне надо вернуться домой, Панчо.

Панчо отступил на шаг и поднял скрещенные пальцы.

— Тогда отправляйся к своим родственникам, отправляйся к чертям. Я не могу воевать с дьяволом, я не святой. Но смотри! Я поднимаю крест против тебя и против всего вашего отродья!

И Панчо осенил его крестом.

Туляречито грустно улыбнулся и зашагал прочь.

Его сердце прыгало в груди от радости — он возвращался домой. Всю жизнь он был парисей, одиноким и чужим для всех этих людей, а теперь он шел домой. Как всегда, он слышал голоса земли — где-то вдалеке наслысь коровы, и их колокольчики тихо позвякивали, квохтал потревоженный перелет, тихо повизгивал койот, — этой ночью ему не придется петь свои песни, стрекот тысяч насекомых сливался в единую симфонию. Но не это интересовало сейчас Туляречито: он хотел услышать тихие голоса подземного народа.

Один раз он остановился и позвал:

— Отец! Я вернулся, — но ответа не было.

Он заглядывал в беличьи дупла и шептал:

— Эй, гномы, где вы? Не бойтесь, это я, Туляречито. Я вернулся.

Но ответа не было. Мало того, он и не чувствовал, чтобы где-то поблизости были гномы. Туляречито знал, что где-то тут, совсем рядом пасутся олень с оленихой, знал, что за кустом стоит в засаде, поджидая кроликов, дикая кошка. Все это он чувствовал, хотя и не видел. А вот гномы не подавали никаких признаков жизни.

Из-за гор вышла полная сахарная луна.

— Сейчас звери выйдут на охоту, — тихим шепотом, почти как безумный, произнес Туляречито, — тогда и мой народ появится.

На краю ложбины заросли обрывались. Дальше начинался фруктовый сад — массивные зеленые кроны деревьев. Это был сад Берта Мэнро. Когда усадьба стояла заброшенная — тогда здесь водились черти, — Туляречито частенько приходил сюда по вечерам, лежал под деревом, глядя на звездное небо, и своими нежными пальцами перебирал звезды. Войдя в сад, он понял, что где-то здесь, совсем рядом, живут гномы. Он еще не слышал их, но знал, что они тут. Он стал звать их, но они не появлялись.

— Может, им не нравится, что сейчас так светло,— сказал он, глядя на полную, яркую луну.

Под большим персиковым деревом Туляречито вырыл нору — очень глубокую и довольно широкую, в три фута шириной. Он работал всю ночь, останавливаясь на минутку лишь для того, чтобы послушать, не появились ли гномы. Он ничего не слышал, но был уверен, что они где-то рядом. На рассвете он бросил работу, забрался в кусты и уснул.

После завтрака Берт Мэнро вышел проверить капкан,— он недавно поставил капкан на койота,— и обнаружил под деревом нору.

— Что за черт! — буркнул он. Потом сообразил: — Наверно, ребяташки роют туннель. Но это же опасно! Вдруг их засыплет, или кто-нибудь свалится в яму и сломает ногу?

Он вернулся в дом, взял лопату и забросал нору землей.

— Мэнни,— спросил он у младшего сына,— это не ты вырыл яму в саду?

— Э-а! — сказал Мэнни.

— А не знаешь, кто?

— Э-а! — сказал Мэнни.

— Понимаешь, кто-то вырыл глубокую яму. Это опасно. Скажи ребятам, чтоб не копали, а то их засыплет.

Спустилась ночь. Туляречито проснулся и вылез из кустов. Увидев, что ямы нет и труды его пропали даром, он зарычал как зверь, но потом подумал и даже рассмеялся.

— Они тут были,— решил он.— Они не знали, кто вырыл яму, испугались и снова зарыли ее. Сурки тоже так делают. А вот теперь я спрячусь, и когда гномы придут зарывать нору, я им скажу, кто я такой. И тогда они возьмут меня к себе.

Туляречито снова принялся копать и вырыл нору еще глубже вчерашней, потому что земля была уже рыхлая. Перед самым восходом солнца он спрятался в кустах и стал наблюдать.

Перед завтраком Берт Мэнро снова вышел посмотреть капкан и опять наткнулся на яму.

— Вот черти! — выругался он.— Нейдется им... Нет, без Мэнни здесь не обошлось!

Он осмотрел яму и стал сбрасывать в нее землю ногой. Дикая крик, похожий на рычание зверя, заставил его обер-

нуться. По-лягушачьи подпрыгивая на своих длинных ногах и размахивая лопатой, на него шел Туляречито.

Когда Джимми вышел позвать отца к столу, он оторопел. Берт Мэнро лежал на куче земли с разбитой головой. По его подбородку текла кровь. Из ямы кто-то полными лопатами выбрасывал землю.

Джимми решил, что этот человек убил его отца и собирается теперь зарыть тело. Одурев от страха, он бросился в дом и стал обзванивать соседей.

Сбежалось полдюжины мужиков. Туляречито сражался как раненый лев и сопротивлялся до тех пор, пока его не стукнули по голове его же собственной лопатой. Тогда его связали и отправили в тюрьму.

В Салинасе мальчика обследовала медицинская комиссия. Когда врачи задавали ему разные вопросы, он смущенно улыбался и ничего не отвечал. Франклин Гомес рассказал комиссии все, что знал о нем, и просил оформить его опекуном.

— Поверьте, мистер Гомес, это невозможно, — сказал в конце концов судья. — Вы говорите — он добрый мальчик. Но вчера он пытался убить человека. Поймите, мы никак не можем оставить его на свободе. Рано или поздно, он опять на кого-нибудь кинется.

Поразмыслив, судья решил отправить Туляречито в Напу, в сумасшедший дом для преступников.

Элен Ван Девентер была высокая женщина с правильным, красивым лицом и трагическими глазами. Всю свою жизнь она воспринимала как одну большую трагедию. Кто-то отравил ее персидского котенка, и Элен — ей тогда было пятнадцать лет — выглядела безутешной вдовой. Она оплакивала его в продолжение шести месяцев — не на показ, а сдержанно, тихо. Когда умер ее отец, — а умер он шесть месяцев спустя после смерти котенка, — она просто продолжала горевать. Казалось, она жаждет трагедий, и жизнь обильно снабжала ее ими.

Двадцати пяти лет она вышла замуж за Хьюберта Ван Девентера, румяного, жизнерадостного мужчину, заядлого охотника. Шесть месяцев в году он проводил, преследуя какое-нибудь несчастное четвероногое с намерением всадить в него пулю. Через три месяца после свадьбы он самым нелепым образом всадил пулю в себя, запутавшись в кустах куманики. Хьюберт был человеком изысканных вкусов. Когда он лежал под деревом и умирал, его друг спросил, не хочет ли он передать что-нибудь жене.

— Хочу, — сказал Хьюберт. — Скажите ей, чтобы она набила из меня чучело и поставила в библиотеке между лосем и снежным козлом. Скажите, что уж этот экспонат я не купил у лесника.

Элен Ван Девентер заперла гостиную со всеми находившимися в ней трофеями. С тех пор комната целиком принадлежала духу покойного Хьюберта. Шторы на окнах всегда оставались опущенными. В гостиной говорили только шепотом и только в случае крайней необходимости. После смерти мужа Элен не рыдала — это было не в ее натуре, — просто глаза ее стали еще огромней, и она подолгу смотрела в одну точку отсутствующим взглядом, будто пребывала в иных мирах. Хьюберт оставил ей дом на Рашн Хилл в Сан-Франциско и весьма солидное состояние.

Через шесть месяцев после того, как погиб Хьюберт, у нее родилась дочь Хильда, прелестный, похожий на куклу ребенок с огромными, как у матери, глазами. Хильда



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». IX



«РАЙСКИЕ ПАСТБИЩА». XI

почти всегда была нездорова, она с пугающей поспешностью переболела всеми детскими болезнями. Характер девочки стал проявляться с первых же дней ее жизни: лежа в колыбельке, она заливалась нескончаемым плачем, а научившись ходить, обрела страсть к разрушению. Если она была не в духе, она била вдребезги все, что можно разбить. Элен Ван Девентер никогда не наказывала ее за эти выходки — напротив, обходилась с ней еще ласковее, чем обычно, в результате чего разрушительные склонности Хильды становились все сильнее.

Когда Хильде исполнилось шесть лет, доктор Филлипс, домашний врач, сказал миссис Ван Девентер то, о чем она уже давно догадывалась.

— Поймите,— сказал он,— Хильда не вполне нормальна. Я считаю, что ее необходимо показать психиатру.

Темные глаза матери страдальчески расширились.

— Вы уверены, доктор?

— Абсолютно уверен. Я не специалист. Вам надо показать ее кому-то, более компетентному в этих вопросах.

Элен смотрела в сторону.

— Я думала об этом, доктор, но я не могу обратиться к другому врачу. Ведь вы всегда нас лечили. Я вас знаю. И никогда не смогу довериться другому доктору.

— Что значит «довериться»? — вскинулся доктор Филлипс.— Поймите, ее можно вылечить, но нужен правильный подход.

Элен чуть приподняла руки и тут же горестно их уронила.

— Она никогда не будет совсем здорова, доктор. Она родилась в плохое время. Смерть отца — это такой удар... Вы же понимаете — у меня просто не было сил ее выносить.

— Так что ж вы собираетесь делать? Позвольте заметить — вы рассуждаете довольно неумно.

— А что мне остается делать, доктор? Я могу только надеяться и ждать. Я понимаю, ее следовало бы показать психиатру. Я все понимаю, но доверить ее другому врачу не могу. Я буду ухаживать за ней, я буду о ней заботиться, в этом теперь смысл всей моей жизни.

Она печально улыбнулась и страдальчески развела руками.

— А вам не кажется, что вы сами себе придумываете мучения? — раздраженно сказал врач.

— От судьбы не уйдешь. Я умею терпеть. В этом я уверена и горжусь этим. Как бы тяжел ни был крест,

я все стерплю. Лишь одного я не перенесу, доктор. Хильду нельзя забрать от меня. Она должна оставаться со мной, а вы, как прежде, будете навещать нас, и никто другой пусть не вмешивается.

Доктор Филлипс покинул дом с тяжелым и неприязненным чувством. Бессмысленное многотерпение этой женщины приводило его в ярость. «Если бы я был Паркой,— думал он,— меня и тогда бы мучило желание сокрушить ее упрямство».

Вскоре после визита доктора у Хильды появились галлюцинации и кошмары. Жуткие твари, когтистые и клыкастые, кидались на нее во сне и пытались убить. Какие-то маленькие уродцы щипали ее и скрипели зубами прямо у нее над ухом. Элен Ван Девентер увидела в этом новое испытание, которому подвергала ее судьба.

Утром Хильда просыпалась в слезах и жаловалась:

— Приходил тигр, он стащил с меня одеяло.

— Не бойся его, милая.

— Но он хотел прокусить мое одеяло, мама.

— Сегодня ночью я посижу с тобой, моя родная. Он испугается и не придет.

Теперь она стала проводить целые ночи возле кровати своей девочки. Сознание собственного подвижничества наложило на нее отпечаток: еще ярче горели теперь ее глаза; в них появился лихорадочный блеск.

Но сильнее ночных кошмаров волновало ее то, что Хильда стала сочинять небылицы.

— Сегодня утром я вышла в сад, мама. На улице сидел старик. Он позвал меня к себе домой, и я пошла. У него был большой золотой слон, и он позволил мне на нем покататься.

Рассказывая все это, девочка отрешенно глядела в пространство.

— Не надо говорить неправду,— умоляла мать.— Ты же знаешь, ничего такого не было.

— Нет, было, мама. И старик дал мне часы. Я сейчас покажу. Вот,— и она протянула украшенные бриллиантами ручные часики.

Руки Элен тряслись от страха. На какой-то миг выражение стойкого терпения на ее лице сменилось гневным.

— Где ты их взяла, Хильда?

— Это старик мне дал их, мама.

— Да нет, скажи мне, где ты их нашла! Ты же их нашла, да?

— Нет, мне их дал старик.

На крышке часов была выгравирована монограмма — инициалы, незнакомые Элен. Она бессмысленно рассматривала буквы.

— Мама возьмет их себе, — сказала она резко.

Ночью она крадучись вышла в сад и совком закопала часы. За неделю вокруг сада возвели высокую металлическую ограду, и с тех пор Хильде запрещено было выходить одной.

Когда Хильде исполнилось тринадцать лет, она убежала из дома. Элен наняла частных детективов, но на четвертый день Хильду обнаружил полицейский. Она спала в пустой конторе по продаже недвижимости в Лос-Анжелесе. Элен забрала дочь из полицейского участка.

— Родная моя, почему ты сбежала? — спросила она.

— Ну, мне захотелось поиграть на пианино.

— Но у нас же есть пианино. Почему ты не поиграла на нем?

— Мне хотелось поиграть на другом, на большом пианино.

Элен посадила Хильду к себе на колени и крепко обняла ее.

— И что же ты сделала, дорогая?

— Я вышла на улицу, и какой-то мужчина позвал меня с ним покататься. Он дал мне пять долларов. Потом я встретила цыган и немножко пожила у них. Они сделали меня своей королевой. Потом я вышла замуж за молодого цыгана, и мы уже собирались родить ребеночка, но тут я устала и села. А потом меня взял к себе полицейский.

— Милая моя, бедненькая моя, — говорила Элен, — ты же знаешь, все это неправда. Ничего этого не было.

— Нет, было, мама.

Элен позвала доктора Филлипса.

— Она говорит, что была замужем за цыганом. Вы не думаете... вы не думаете, что она способна на такое? Я этого не перенесу.

Доктор внимательно осмотрел девочку. Закончив осмотр, он сказал со злостью:

— Я уже говорил вам — ее должен вести специалист. — Он подошел к девочке. — Скажи, Хильда, к тебе приходила недавно старуха? Такая мерзкая, старая карга?

Руки Хильды судорожно дернулись.

— Да, она приходила прошлой ночью и привела с собой обезьяну. Большую такую обезьяну, прямо огромную. И еще она хотела меня укусить.

— Так вот, запомни: ничего плохого она тебе теперь не сделает. Теперь я сам буду присматривать за тобой. Эта старуха меня боится. Если она опять придет, ты только ей скажи, что я всегда за тобой наблюдаю. Увидишь, как она сейчас же убежит, только пятки засверкают!

Девочка устало улыбнулась.

— И обезьяна тоже?

— Конечно. Может, я еще что-нибудь придумаю, а пока вот тебе леденец для твоей дочурки.— Он достал из кармана пачку мятных леденцов.— Дай-ка их своей Баббете, ведь ее так зовут, правда?

Хильда схватила конфеты и выбежала из комнаты.

— Так вот,— обратился доктор к Элен,— к сожалению, мне не хватает ни опыта, ни знаний, чтобы вылечить Хильду, но у меня достаточно и того и другого, чтобы верно судить о ее состоянии. Сейчас Хильде значительно хуже. У нее наступил период полового созревания. Это время перемен. Ее переполняют эмоции. Ее душевная болезнь может начать прогрессировать самым неожиданным образом, и не берусь предсказать, чем это обернется. Может, возникнет тяга к самоубийству, или наоборот — она сбежит с первым попавшимся мужчиной. Словом, если вы не обратитесь к специалисту, если вы не начнете серьезно ее лечить, может статься, вы сильно пожалеете об этом. Ее последняя выходка только предвестник будущих. Продолжаться так больше не может. Вы не выдержите.

Элен сидела перед ним неподвижно. Ее лицо выражало упорство, приводившее доктора в ярость.

— Так что ж вы предлагаете? — спросила она осипшим голосом.

— Отправить ее в лечебницу для душевнобольных,— сказал он. И ему самому понравилось, что он ответил так грубо.

Лицо ее стало еще более жестким. Непреклонное упорство отразилось на нем.

— Этого я не сделаю! — крикнула она.— Она моя, и я за нее отвечаю. Я всегда буду с ней, доктор. Я глаз с нее не спущу. Но она останется со мной.

— Каковы будут последствия, вам известно,— сказал он резко. Доктор чувствовал, что он бессилен убедить эту женщину, и это сердило его.— Элен, вот уже многие годы я ваш друг. Что заставляет вас так рисковать и взваливать на себя такие страдания?

— Я все выдержу, только пусть она будет со мной.

— Вам бы власяницу носить,— проворчал он.— Я вижу, вам просто доставляет удовольствие мучиться. Вам непременно нужно превратить жизнь в трагедию и ни капельки из этой трагедии не упустить.— Он был в бешенстве.— Элен, в жизни каждого мужчины бывают такие минуты, когда ему хочется ударить женщину. Я всегда считал себя человеком мягким, но теперь я с удовольствием бы вам вмазал.— Он всмотрелся в ее темные глаза и увидел в них лишь готовность терпеть, вытерпеть и эту новую трагедию.— Я ухожу,— сказал он.— Больше не вызывайте меня. Потому что... я начинаю вас ненавидеть.

* * *

Узнав, что у них в долине хочет поселиться богатая дама, жители Райских Пастбищ отнеслись к этому известию с недоброжелательным интересом. Не без иронии наблюдали они, как въезжают в Кристмас Кэньон грузовики с бревнами и досками. Они посмеивались над этими явно дорогостоящими хлопотами. Берт Мэнро поднялся в Кристмас Кэньон и полдня смотрел, как возводят дом плотники.

— Красивый, должно быть, домик получится,— рассказывал он потом в лавке.— Бревна отличные. И, знаете, там уже садовники работают. Сажают деревья — не саженцы, а настоящие большие деревья в цвету. Эта миссис Ван Девентер, видно, богатая.

— Это уж они хватили через край,— согласился Пэт Хамберт.— Им, богачам, только бы повыпендриваться, это точно.

— А вы дальше послушайте,— продолжал Берт.— Это уж... ну, совершенно по-дамски! Ни за что не угадаете, что там присобачили к некоторым окнам — решетки! Не железные, а такие большие, толстые дубовые решетки. Наверно, старая леди боится койотов.

— Интересно, много ли она притащит с собой слуг,— задумчиво произнес Т. Б. Аллен.— Хотя, боюсь, покупки она будет делать в городе. Такие люди всегда делают покупки в городе.

Когда дом был построен и сад приведен в надлежащий вид, Элен Ван Девентер и Хильда, повар-китаец и слуга-филиппинец подъехали к Кристмас Кэньон. Плотники пропитали бревна специальным раствором, предохраняющим от гниения, а садовники приложили все усилия, чтобы сад выглядел старым. Они оставили в неприкосновенности

кусты лавра и дубы, а под ними высадили алые, белые и голубые цинерарии. Вдоль дорожек цвели лобелии удивительного голубого цвета.

Повар и слуга сразу поспешили по своим делам, а Элен взяла за руку Хильду и повела ее гулять в сад.

— Ну, разве это не прекрасно! — восклицала Элен. Ее лицо даже немного повеселело. — Как ты думаешь, моя хорошая, нам понравится здесь?

Хильда выдернула из земли цинерарию и хлестнула цветком по стволу дуба.

— Дома лучше.

— Но почему, дорогая моя? В городе ведь нет таких прелестных цветов и таких деревьев. А, кроме того, здесь мы можем каждый день ходить гулять в горы.

— Нет, мне больше нравится дома.

— Но почему, дорогая моя?

— Там все мои друзья, вот почему. Там я могла смотреть через забор, как мимо идут люди.

— И все-таки, когда ты привыкнешь, Хильда, здесь тебе понравится больше.

— Нет, не понравится. Мне никогда не понравится здесь.

Хильда расплакалась, а потом, безо всякого перехода, стала злобно вопить. Неожиданно она схватила палку и ударила мать. Сзади бесшумно возник слуга, связал ей руки и потащил ее в дом. Девочка брыкалась и отчаянно вопила.

У себя в комнате Хильда принялась методически ломать мебель. Разодрала подушки, и по комнате полетели перья. Потом она разбила окно, высадила рамы, билась о дубовые решетки и визжала от ярости. Элен сидела в своей комнате с плотно сжатыми губами. Один раз она было встала, чтобы пойти к Хильде, но снова рухнула в кресло. Был такой момент, когда ее терпение чуть не лопнуло... но нет, запас его не только не иссяк, но, кажется, еще возрос. Визг, доносившийся из комнаты Хильды, на нее не действовал. Слуга бесшумно вошел в комнату Элен.

— Опустить жалюзи, хозяйка? — спросил он.

— Нет, не надо, Джо. До ближайшего жилья далеко. Никто не услышит.

Берт Мэнро видел, как автомобиль с новоселами проехал по направлению к Кристмас Кэньон, к деревянному дому.

— Одинокой женщине трудно начинать жизнь на новом месте,— сказал он жене.— Думаю, мне надо бы сходить к ним и узнать, не нужна ли помощь.

— Любопытство замучило,— поддразнила его жена.

— Ладно. Если ты так думаешь, я не пойду.

— Да я ведь просто так,— ответила она.— Я думаю, ты поступаешь по-соседски. Как-нибудь мы вместе с миссис Уайтсайд тоже к ним заглянем. Да, наверно, нам надо бы туда заглянуть. Ну, а пока сходи, посмотри, как они там устроились.

Он зашагал по берегу весело журчащего ручья, который тек по дну Кристмас Кэньон.

«Овощи тут не вырастут,— рассуждал он сам с собой,— но место очень славное. И я мог бы жить в таком вот уголке — просто жить и все,— если б война не кончилась так неожиданно».

И, как всегда, ему стало стыдно за эти мысли о войне.

Когда до усадьбы оставалось примерно четверть мили, он услышал вопли Хильды.

«Что за черт? — пробормотал он.— Похоже, там кого-то режут». И Берт прибавил шагу.

Зарешеченное окно Хильды выходило на тропинку, которая вела к воротам. Берт увидел девочку, прижавшуюся к решетке, с безумными от гнева и ужаса глазами.

— Привет! — сказал он.— Что стряслось? За что это тебя тут заперли?

Хильда прищурилась.

— Они морят меня голодом,— сказала она.— Они хотят, чтобы я умерла.

— Глупости какие,— сказал Берт.— Кому это надо, чтоб ты умерла?

— Это все из-за денег,— сообщила она.— Пока я не умру, они не получают мои деньги.

— Как же это, ты ведь еще совсем маленькая.

— Я не маленькая,— угрюмо ответила Хильда.— Я взрослая женщина. Я выгляжу маленькой, потому что они морят меня голодом и бьют.

Берт помрачнел.

— Ну, это мы сейчас выясним,— сказал он.

— Ой, только не говорите им ничего! Лучше помогите мне отсюда выбраться, тогда я получу свои деньги и выйду за вас замуж.

Тут Берт впервые заподозрил, что девочка не совсем нормальна.

— Конечно, я тебе помогу.— Он говорил сочувственно,

мягко.— Только подожди немного, я непременно тебе помогу.

Он подошел к входной двери и постучал. Дверь почти тут же приоткрылась. На пороге стоял слуга и смотрел на него с неприязнью.

— Могу я видеть хозяйку дома? — спросил Берт.

— Нет, — сказал слуга и захлопнул дверь.

Берт вспыхнул от стыда за свою неудачу и опять, теперь уж довольно сердито постучал в дверь. Дверь снова чуть-чуть приоткрылась, за ней мелькнули черные глаза.

— А я вам повторяю: я хочу видеть хозяйку. Я хочу с ней поговорить о девочке, которая заперта в доме.

— Хозяйка очень плохо. Прошу извините, — сказал слуга.

Он снова закрыл дверь. На сей раз Берт услышал, как опустилась щеколда. Он побрел прочь.

«Скажу жене, чтобы ноги ее там не было, — решил он.— Девчонка чокнутая, а слуга этот — хам. Да катись они все к чертовой матери!»

Элен крикнула из спальни:

— Джо, что там такое?

В дверях появился слуга.

— Человек приходил. Говорит, пришел вас видеть. Я сказал — вы плохо.

— Правильно. А кто он? Он сказал, зачем я ему нужна?

— Моя не знает. Он сказать, пришел видеть вас насчет молодой хозяйки.

Элен мгновенно оказалась у дверей. Ее лицо пылало от гнева.

— Что он хотел? Кто он такой?

— Моя не знает, хозяйка.

— И ты его выпроводил! Совсем распустился. Пошел вон!

Она снова упала в кресло и закрыла глаза.

— Хорошо, хозяйка.— Джо уже собирался уходить.

— Эй, Джо, иди сюда! — Он вернулся и стоял позади ее кресла, пока она не открыла глаза.— Прости меня, Джо. Я сама не знаю, что говорю. Ты все сделал правильно. Ты останешься у меня, правда?

— Да, хозяйка.

Элен встала и торопливо подошла к окну.

— Сама не знаю, что со мной сегодня творится. Мисс Хильда успокоилась?

— Да, молодая хозяйка теперь хорошо.

— Ладно, разожги, пожалуйста, огонь в камине. Там, в гостиной... А потом, чуть погода, приведи ее ко мне.

Элен сделала из своей гостиной некое подобие памятника покойному супругу. Она придала ей вид охотничьего домика. Это была большая комната, отделанная панелями и балками из красного дерева. Оленьи морды всех родов и мастей высывали между ними свои любопытные носы. Одну из стен целиком занимал огромный, сложенный из неотесанных камней камин, над которым висел рваный французский боевой флаг, где-то найденный Хьюбертом. Ружья Хьюберта хранились в запертом ящике со стеклянной крышкой, каждое в своем гнезде. Элен казалось, что, пока она может здесь уединиться, муж не окончательно для нее потерян.

На Рашн Хилл она проводила в кабинете, грезя наяву, весьма приятные часы. И ей хотелось, чтобы это и здесь продолжалось. Она создала целый обряд, с помощью которого ей удавалось материализовать свою мечту. Элен садилась перед горящим камином, сложив на коленях руки. Затем она подолгу останавливала взгляд на каждом трофее, всякий раз повторяя: «Хьюберт касался тебя рукой». В конце концов перед ней появлялось видение мужа. Она почти ощущала его рядом с собой. В своем воображении Элен могла до мельчайших деталей представить его себе: руки, узкие бедра и длинные ноги. Потом она вспоминала, как он произносил слова, все его интонации, вспоминала, как лицо его то всныхивало, то бледнело, когда он чем-то был взволнован. Она вспоминала, как он водил гостей от одного трофея к другому: перед каждым муляжем или чучелом Хьюберт останавливался, покачиваясь с пятки на носок и заложив руки за спину, и подробно, не упуская ни единой мелочи, рассказывал, как он убил этого зверя.

— Луна спряталась. Вокруг никаких признаков жизни. Фред, мой лесник, говорит: «Ничего нам сегодня не светит». Помнится, в то утро нам здорово не везло. Но вот, знаете, не покидало меня это ощущение — надо бы еще побродить, посмотреть, может, что обломится.

В эти минуты Элен словно наяву слышала, как он рассказывает свои истории — дурацкие, пустые истории, всегда кончавшиеся одинаково:

— Ну, расстояние было порядочное. Ветер дул слева и притом дьявольски сильно, но я как-то пристроился. Я еще подумал: «А, все равно, ничего не выйдет, ну и черт с ним, промажу так промажу». Так что мне, можно считать, просто повезло.

Хьюберту вовек не хотелось, чтобы слушатели думали, что ему и в самом деле «просто повезло». Это был некий изящный жест, долженствующий показать его спортивную честность и скромность. Элен никак не могла понять, почему спортсмен не может признаться в том, что он умеет что-то делать хорошо.

Так она грезила. По кусочкам лепила в своем воображении его образ, и вот он уже заполнял всю комнату, неся с собой всепокоряющую энергию великого охотника. И наконец, завершив всю картину, Элен ее уничтожала. Внезапный звонок в дверь звучал тревожно. Перед ее глазами возникали хмурые и растерянные лица его друзей: они рассказывали ей, как все случилось. Грезы прекращались в тот момент, когда в дом вносили его тело. Сокрушительная волна печали наполняла ее грудь. Она бессильно откидывалась на спинку кресла.

Элен упорно не хотела допустить, чтобы он ушел из ее памяти. Так ей удалось сохранить мужа в мире живых. Замужем она была всего три месяца. Всего три месяца! Ее охватывала безнадежная тоска. Элен понимала, что возбуждает в себе это чувство намеренно, но считала, что Хьюберт это заслужил, она должна его отблагодарить, храня о нем вечную память. Да, она, конечно, должна горевать и тем не менее не поддаваться печали.

Элен продумала заранее, как проведет первую ночь в новом доме. И здесь, в новом загородном доме, где так ярко горят в камине дрова, а их свет отражается в стеклянных глазах животных, она тоже собиралась наслаждаться грезами.

Джо вернулся в спальню.

— Огонь гореть, хозяйка. Моя теперь звать мисси Хильда?

Элен смотрела в окно. С гор спускались сумерки. Вот и летучие мыши судорожно закружили в саду, и перепела подавали голос, потихоньку спускаясь к воде. Где-то далеко за каньоном, возвращаясь на скотный двор, мычали коровы. Нечто новое происходило сейчас с Элен. Ее наполняло незнакомое ей до сих пор чувство умиротворения и защищенности. Она раскинула руки и вздохнула всей грудью. Джо, стоя в дверях, ждал ответа.

— Что? — сказала Элен. — Мисс Хильда? Нет, не надо. Скоро ужин будет готов. Если Хильда не выйдет к столу, я зайду к ней попозже.

Элен вовсе не хотела видеть Хильду. Она боялась испугнуть это новое, восхитительное чувство покоя. Ей

хотелось сидеть и наслаждаться странным светом сумерек, слушать, как перекликаются в кустах перепела, пробираясь к воде по склону, чтобы напиться до наступления темноты.

Элен накинула на плечи шелковую шаль и вышла в сад. Тишина, казалось, стремительно обрушилась с гор и захватила все ее существо. На газоне она заметила маленького серого кролика с белым хвостиком. Она даже задрожала — такое неожиданное и сильное удовольствие доставило ей это зрелище. Кролик повернул мордочку, с минуту смотрел на нее, а потом стал снова щипать травку. Вдруг Элен почувствовала себя очень счастливой, безрассудно счастливой. Что-то должно произойти — что-то необычайно радостное, яркое, что-то поистине восхитительное. И, повинувшись этому чувству нежданной радости, она заговорила с кроликом.

— Ешь, пожалуйста, ешь на здоровье эти увядшие цветы. Завтра я посажу для тебя капустку. Ты ведь ее любишь, правда, Питер? А ты знаешь, Питер, что тебя так зовут? Это очень глупо, но всех кроликов зовут Питерами. Знаешь, я уже много лет ни о чем таком и не мечтала. Смешно, правда? А может, грустно? Но теперь я кое-что задумала. Правда, я представления не имею, что такое я задумала, но все равно я сгораю от нетерпения, просто сгораю. Глупо, правда, Питер? — Она немного отошла и помахала кролику рукой. — Я бы на твоём месте ела цинерарии, — сказала она.

Где-то внизу она услышала пение воды и спустилась к ручью. Когда она подошла к берегу, стайка перепелок с испуганным кудахтаньем бросилась в кусты. Элен почувствовала угрызения совести оттого, что нарушила их покой.

— Эй, вернитесь! — позвала она. — Да не буду я стрелять. Вот кролик меня совсем не боится. Даже если б я и захотела поохотиться на вас, все равно бы промахнулась.

Тут она вспомнила, как Хьюберт учил ее стрелять. С благоговейной торжественностью он показывал, как держать ружье, как целиться, непременно оставляя открытыми оба глаза.

— А теперь я подброшу банку, — говорил он. — Не нужно стрелять по неподвижной цели. Плох тот охотник, который стреляет в сидящую птицу.

И, пока у нее не одеревенело плечо, она стреляла наугад по жестянкам. По дороге домой он похлопал ее по спине.

— Да, в перепелку тебе еще долго не попасть, — сказал он. — Но бить кроликов ты научишься довольно скоро.

Потом она представила себе связки перепелов, которые он приносил домой — привязанные за шеи птицы гроздьями свисали с ременного шнура.

— Когда они подымают вот так, на ремне, они потом долго не портятся, — торжественно заявил Хьюберт.

И тут вдруг Элен поняла, что ей больше не хочется думать о Хьюберте. Воспоминание о нем чуть не уничтожило ее счастливое чувство умиротворения.

Стемнело. Ночь сладко пахла шалфеем. Она слышала, как повар на кухне зазвонил в коровий колокольчик, который она купила, чтобы созывать всех к обеду. Элен вздрогнула, плотнее закуталась в шаль и направилась к дому.

В столовой ее ждала дочь. На лице Хильды не осталось даже следов утренней яростной вспышки, казалось, она счастлива и весьма довольна собой.

— Дорогая, милая моя! Тебе лучше, верно? — воскликнула Элен.

— Да, мама!

Мать обошла вокруг стола и поцеловала Хильду в лоб. Потом на мгновение она судорожно прижала ее к себе.

— Когда ты увидишь, как тут прекрасно, ты полюбишь наш новый дом. Я уверена, что ты его полюбишь.

Хильда ничего не ответила, но ее глаза стали хитрыми.

— Тебе здесь понравится, правда, моя дорогая? — продолжала допытываться Элен.

Хильда держалась загадочно.

— Может, и понравится. А может быть, и нет.

— О чем ты это, дорогая?

— А может, я и пробуду здесь совсем недолго.

— Пробудешь здесь совсем недолго? — Элен быстро взглянула на дочь.

Видно было, Хильда что-то знает и пытается от нее утаить. У нее на лице это было написано.

— Может, я сбегу и выйду замуж.

Элен откинулась на спинку стула и улыбнулась.

— Ах, вот оно что! Что ж, возможно. Только надо подождать несколько лет. Кто же он на сей раз, дорогая? Снова принц?

— Нет, он не принц. Он бедный человек, но я его люблю. Мы сегодня уже все решили. Он, наверное, придет за мной.

Тут Элен вдруг вспомнила:

— Ах, это тот мужчина, который к нам сегодня заходил?

Хильда вскочила.

— Я тебе больше ничего не скажу! — крикнула она. — Ты не имеешь права меня допрашивать! Подожди, я тебе еще докажу... вот увидишь, не останусь я в этом старом доме.

Она выбежала из комнаты и захлопнула за собой дверь спальни.

Элен позвонила в колокольчик. Явился слуга.

— Джо, скажи мне точно, что говорил тот человек, который к нам сегодня заходил?

— Говорит — зайти узнать насчет маленький девочка.

— А какой он — старый?

— Не старый, хозяйка, и не молодой. Может он пятьдесят — моя так думал.

Элен вздохнула. Очередная маленькая драма, еще одна из тех историй, которые выдумывает Хильда. Как же она верит в них, бедный ребенок! Элен не торопясь посла, а потом села в гостиной перед камином и лениво начала сбивать угольки с тлеющего полена. Она везде погасила свет. Отблески огня отражались в глазах звериных голов, развешенных по стенам. Старая привычка вновь напомнила о себе. Элен поймала себя на том, что снова представляет себе Хьюберта, его руки, узкие бедра, длинные ноги. Но тут она обнаружила нечто новое. Когда она представила себе его руки и принялась восстанавливать в памяти все остальное, она заметила, что руки исчезли. После этого она уже не могла удержать весь его образ целиком в своем воображении — он разваливался. И тут она поняла: он ушел, совсем ушел. Это случилось впервые за много лет. Элен закрыла лицо руками и заплакала, ибо к ней возвратилось чувство покоя. И в то же время — страстного ожидания. Она вытерла глаза и медленно прошла по комнате. Со снисходительной улыбкой, как посторонний человек, разглядывала она головы животных, будто никогда не слышала, как погибло каждое из них. Комната выглядела совсем другой, в ней поселился другой дух. Она подошла к широким окнам и распахнула их. Ночной ветер ворвался в комнату, он омыл ее обнаженные плечи холодом покоя и умиротворения. Элен выглянула в окно и прислушалась. Множество смутных звуков доносилось из сада и с ближайших холмов. «Здесь все переполнено жизнью, — подумала она. — Жизнь просто кипит».

Прислушавшись, она вдруг уловила резкий, скрежещущий звук. Он раздался с другой стороны дома. «Если бы тут жили бобры, я подумала бы, что это бобер подгрызает дерево. Может, это дикобраз грызет фундамент дома.

Я слышала, они так делают. Но и дикобразов здесь не водится». Тут весь дом просто ходуном заходил. «Видно, эта тварь взялась за бревна», — произнесла она. Послышался не очень сильный удар, затем все смолкло. Элен тревожно вздрогнула. Она быстро прошла по коридору и остановилась перед дверью в комнату Хильды. Положив руку на задвижку (эта задвижка — довольно крепкая — запирала дверь снаружи), она окликнула Хильду:

— Родная моя, как ты себя чувствуешь?

Ответа не было. Элен тихонько отодвинула засов и вошла в комнату. Одна из дубовых решеток была выломана. Хильда исчезла.

Некоторое время Элен неподвижно стояла и тоскливо смотрела в открытое окно. Потом щеки ее побледнели, губы сжались — ее лицо приобрело обычное выражение непоколебимого упорства. Она машинально двинулась в гостиную, взобралась на стул, открыла коробку и взяла ружье.

* * *

Доктор Филлипс сидел рядом с Элен Ван Девентер в приемной следователя. Он присутствовал здесь в качестве лечащего врача, кроме того, он считал, что при нем Элен, возможно, будет чувствовать себя спокойней. Впрочем, она не выглядела испуганной. В ее суровом, неистово суровом трауре проступала твердость гранитной скалы, размыть которую бессильно даже море.

— Вы ждали этого? — спросил следователь. — Вы знали, что могло произойти нечто подобное?

Доктор Филлипс неловко взглянул на Элен и откашлялся.

— Я наблюдал ее с самого рождения. Это как раз тот случай, когда человек может убить или себя, или другого, смотря по обстоятельствам. Если бы она кого-нибудь убила, она могла бы жить потом долгие годы, никому не причиняя вреда и не прибегая больше к насилию. Тут, видите ли, ничего нельзя заранее предсказать.

Следователь подписывал какие-то бумаги.

— Какой чудовищный способ избрала она, чтобы расстаться с жизнью. Конечно, девочка была безумна, искать какие-то мотивы тут бессмысленно. К тому ж мотивы эти могут оказаться весьма деликатного свойства. Но каким все-таки жутким способом она расправилась с собой. Впрочем, она ведь ничего не соображала. Головой в ручей, и рядом ружье... Я уверен: это самоубийство, и я так

и напишу. Очень сожалею, что мне приходится говорить все это в вашем присутствии, миссис Ван Девентер. Для вас и так было страшным ударом... наткнуться на нее... в таком виде.

Доктор помог Элен спуститься по лестнице. Они вышли из здания суда.

— Да не переживайте вы так! — воскликнул он. — На вас посмотреть — вас будто на казнь ведут. Говорю вам, все к лучшему. Не надо так переживать.

Она на него даже не взглянула.

— Теперь я знаю. Да, теперь я знаю, в чем мое предназначение, — сказала она тихо. — Я и раньше подозревала об этом, а теперь я знаю наверняка. И сил у меня хватит, доктор. Я все выдержу. Не беспокойтесь обо мне.

Джуниус Молтби был молод и невысок ростом. Он происходил из хорошей интеллигентной семьи и получил приличное образование. Когда отец его скончался полным банкротом, Джуниус вынужден был занять место секретаря в какой-то конторе, где весьма неохотно проработал десять лет.

Возвращаясь после трудов домой, он взбивал на своем старинном кресле подушки и проводил вечера за чтением. Очерки Стивенсона он считал чуть ли не лучшим из того, что написано в английской литературе: он без конца перечитывал его «Путешествие с ослом».

Однажды вечером — ему тогда только что исполнилось тридцать пять лет, — Джуниус упал в обморок на пороге своего дома. Придя в себя, он впервые заметил, что ему трудно дышать. Джуниусу захотелось узнать, давно ли он болеет. Врач, к которому он обратился, был доброжелателен и даже его обнадежил.

— Дела ваши не так уж плохи, — сказал он. — Но с вашими легкими в Сан-Франциско делать нечего. Вы и года не протянете среди здешнего тумана и смога. Вам нужен теплый, сухой климат.

Эта внезапно свалившаяся на него болезнь даже обрадовала Джуниуса, ибо сразу рвала узы, связывавшие его с прежней жизнью, — узы, которые он не решался разорвать по собственной воле. У него было пятьсот долларов — денег он не копил, просто еще не успел их истратить.

— С такой суммой, — решил он, — я или выздоровлю и начну новую жизнь, или умру, что окончательно меня избавит от необходимости заниматься бизнесом.

Один из его сослуживцев рассказал ему о Райских Пастбищах — теплой, окруженной горами долине, и Джуниус немедленно отправился туда. Его привлекло название. «Либо это доброе предзнаменование и мне суждено остаться в живых, — размышлял он, — либо всего лишь символическая и прелестная замена смерти». Он чувствовал: это на-

звание каким-то образом с ним связано. И это доставляло ему удовольствие, ибо последние десять лет он не находил ничего в этом мире, что имело бы хоть какую-нибудь связь с его особой.

В Райских Пастбищах несколько семейств были готовы принять постояльца. Джуниус посетил их и остановил свой выбор на ферме вдовы Куокер. Вдова нуждалась в деньгах, а он, в свою очередь, был согласен спать не в доме, а в сарае. У миссис Куокер было двое детей. Кроме того, она держала работника.

Теплый климат благотворно сказался на легких Джуниуса Молтби. Через год он приобрел здоровый цвет лица и прибавил в весе. Он вел спокойную и счастливую жизнь и, что особенно его радовало, до предела облесился и совершенно выбросил из головы предыдущие десять лет своей жизни. Он перестал причесываться, очки держались на самом кончике носа: зрение его улучшилось, и очки он теперь носил, собственно, по привычке. Целый день он разгуливал с веточкой в зубах — тоже неизменная привычка людей ленивых и задумчивых. Он выздоровел в 1910 году.

Год спустя миссис Куокер забеспокоилась, что о ней скажут соседи. Когда ей пришло в голову, что присутствие в ее доме постороннего мужчины может быть истолковано превратно, она стала нервной и раздражительной. И когда Джуниус окончательно выздоровел, вдова сообщила ему о своих опасениях. Он женился на ней с радостью и без промедления. Теперь у него был дом и безоблачное будущее. Новоиспеченной миссис Молтби принадлежали двести акров лугов и пять акров земли, занятые садом и огородом. Джуниус послал за книгами и своим старым креслом с откидной спинкой, а кроме того, выписал довольно приличную копию «Кардинала» Веласкеса. Будущее представлялось ему приятным солнечным днем.

Миссис Молтби сразу рассчитала работника и попыталась приспособить к делу супруга, но встретила сопротивление, совершенно непреодолимое по той причине, что его вроде как бы и не было — все удары попадали в пустоту. Выздоровливая, Джуниус полюбил безделье. Он любил и долину, и свою ферму, но любил их в первозданном виде. Он совершенно не собирался что-нибудь сажать или, наоборот, выкорчевывать. Если миссис Молтби вручала ему лопату и отправляла в огород, несколько часов спустя — уж будьте уверены — она обнаруживала его где-нибудь на лугу, где он сидел, меланхолично свесив ноги в ручеек и листая книжку под названием «Похищение».

Тут он начинал просить прощения; в общем-то он и сам не понимал, как все это получилось. Но все неизменно получалось именно так.

Поначалу жена ворчала на него за лень и неряшливость, но довольно скоро он научился пропускать мимо ушей все, что она говорила. Просто невежливо, считал он, замечать ее, когда она ведет себя не как леди. Это все равно, что паяться на калеку. И миссис Молтби, так и не сумев перебороть его лень, спустя некоторое время сама перестала следить за собою. Теперь она часто плакала.

За последующие шесть лет Молтби сильно обеднели. Джуниусу просто-напросто было плевать на ферму. Им пришлось продать несколько акров лугов, чтобы купить продуктов и кое-что из одежды, но даже после этого они жили голодновато. Нищета оседлала ферму, семья Молтби ходила в отрепьях. У них не было приличной одежды, зато Джуниус открыл для себя статьи Дэвида Грейсона. Его единственной и постоянной одеждой был рабочий комбинезон; он проводил все время, сидя у ручья под платанами и предаваясь размышлениям. Иногда он читал жене и сыновьям очерки Стивенсона.

В начале 1917 года миссис Молтби поняла, что ждет ребенка, а в конце года, когда началась война, эпидемия инфлюэнцы нанесла их семье злобный, хладнокровный удар. Оба мальчика слегли в один день оттого, как видно, что постоянно недоедали. В течение трех дней болезнь, казалось, просто захлестнула дом. Ребятишки металась в жару и лихорадке. Они нервно теребили края одеял, словно цеплялись таким образом за жизнь. Три дня они сопротивлялись болезни, на четвертый мальчиков не стало. Мать не знала этого,—она в это время рожала, а у соседей, которые пришли помочь по дому, не хватило смелости, а возможно, жестокости, чтобы сообщить ей об этом. Когда она рожала, ее била свирепая лихорадка. Она умерла, так и не успев увидеть новорожденного.

Соседки, которые помогали при родах, рассказывали, что Джуниус Молтби сидел возле ручья и читал книгу, пока его жена и дети умирали. Но это было верно лишь отчасти. В тот день, когда умерли оба мальчика, Джуниус действительно сидел у ручья, болтая в воде ногами,—он просто не знал, что они заболели. Потом, когда он понял, что случилось, он был как в тумане: метался от одного к другому и нес какую-то чепуху. Старшему мальчику он рассказывал, как делаются бриллианты. Другому принялся объяснять красоту, происхождение и символику свасти-

ки. Один из мальчиков умер, пока он читал вслух вторую главу «Острова сокровищ», и он даже не заметил, что это случилось, пока не дочитал главу до конца и не поднял глаза. Все эти дни он был как помешанный. Он приносил им то немногое, что, по его мнению, могло скрасить их последние часы, но у них не было сил бороться со смертью. Он понимал это, и ему становилось совсем жутко.

Когда их похоронили, Джуниус снова пошел к ручью и прочитал несколько страниц из «Путешествия с ослом». Он тихо посмеялся над упрямством Модестины — ну кто, кроме Стивенсона, мог назвать ослицу Модестиной?

Одна соседка позвала его в дом и принялась отчитывать так яростно, что он растерялся и перестал ее слушать. Подбоченившись, она с презрением смотрела на него. Потом она принесла новорожденного — это был сын — и сунула его Джуниусу в руки. У калитки она оглянулась: он стоял с ревущим младенцем на руках. Положить его было некуда, и он стоял так еще долго.

Много всякого рассказывали о нем в деревне. Иные его недолюбливали: люди деловые и энергичные часто недолюбливают лентяев, — порой завидовали его беспечности, а чаще жалели — никчемный, бестолковый человек. Но никто в долине не догадывался, что он счастлив.

Рассказывали, что, по совету врача, Джуниус купил козу, чтобы кормить ребенка козьим молоком. Он не спросил даже, коза это или козел, ни слова не сказал он и о том, зачем нужна ему коза. Когда покупку привели к нему во двор, он заглянул ей между ног и спросил совершенно серьезно:

— Это нормальная коза?

— Конечно, — сказал хозяин.

— Но разве тут вот, между задних ног, не должно быть вымени или еще там чего-то — для молока?

Жители долины помирали со смеху, рассказывая этот случай. Позднее, когда Джуниус купил новую козу, лучше, он провозился с ней два дня, но не получил ни капли молока. Он уже собирался вернуть козу хозяину, сочтя ее неполноценной, но тот показал ему, как надо доить. Некоторые утверждали, что Джуниус просто клал ребенка рядом с козой и тот сосал ее, как козленок, но это выдумки. В конце концов, окрестные жители признались себе, что вообще не представляют, как он растит ребенка.

Как-то Джуниус съездил в Монтерей и нанял старика немца, чтобы тот помогал по хозяйству. Он заплатил своему новому работнику пять долларов авансом и с тех пор

ни разу ему не платил. Работничек через две недели совершенно обленился и делал на ферме не больше, чем хозяин. Они по большей части сидели вдвоем где-нибудь неподалеку от фермы и обсуждали проблемы, которые интересовали либо озадачивали их обоих: например, откуда цветы берут свой цвет, существует ли в природе символика, где находится Атлантида, как инки хоронили умерших.

Весной они сажали картофель — причем делали это всегда слишком поздно и никогда не клали в почву золу, чтобы предохранить клубни от вредителей. Кроме этого, они сеяли зерно, бобы, горох, какое-то время пытались ухаживать за своими посевами, потом начисто о них забывали. Участок зарастал сорняками. Нередко можно было наблюдать, как Джуниус роется в зарослях прекрасных диких мальв и спустя некоторое время появляется оттуда, держа в руках огурец почти белого цвета. Он перестал посить ботинки, поскольку ему нравилось ощущать тепло земли, кроме того, ботинок у него просто не было.

В тот день Джуниус много разговаривал с Джекобом Штутцем.

— Ты знаешь, — сказал он, — когда умерли дети — это был кошмар; я тогда подумал, что такого кошмара в моей жизни не было и быть больше не может. А потом, пока я еще только размышлял об этом, кошмар уступил место горю, а позже горе превратилось в печаль. Я, вероятно, толком не знал ни своих детей, ни жены. Возможно, потому, что они были всегда рядом. Страшная это штука — знать. Что люди знают — не более, чем какие-то мелочи. Есть умы дальнзоркие и есть близорукые. Я никогда не умел видеть вещей, которые находились со мною рядом. Ну, например, у меня гораздо более четкие представления о Парфеноне, чем о собственном доме.

Вдруг лицо Джуниуса затрепетало от восторга, его глаза возбужденно засияли.

— Джекоб, — сказал он, — ты когда-нибудь видел фриз Парфенона?

— Да! Он прекрасен! — ответил Джекоб.

Джуниус положил руку ему на колено.

— Ах, эти кони, — сказал он, — эти чудесные кони, скачущие по небесным пастбищам! А эти юноши, нетерпеливые и в то же время полные достоинства, они мчатся на сказочные празднества, которые развернулись на карнизе Парфенона. Я просто поражаюсь, откуда человек мог узнать, что чувствует лошадь, когда она счастлива; но скульптор знал это, иначе он никогда бы не сумел так изваять их.

Вот так они беседовали. Джуниус не обладал способностью сосредоточиться на одном каком-нибудь предмете. Частенько оба оставались голодными, потому что не успевали найти в траве к обеду куриное гнездо.

Сына Джуниуса называли Робертом Луисом. Так мысленно называл его Джуниус. Но Джекоб Штутц возражал против такой, как он считал, претенциозности и литературщины.

— У мальчишки имя должно быть, как у собаки, — настаивал он, — односложное. Даже «Роберт» слишком длинно. Зови его Боб.

Джекоб так и называл мальчика.

— Готов пойти на компромисс, — отвечал Джуниус. — Давай будем звать его Робби, Робби короче, чем Роберт, правда?

Он часто уступал Джекобу, так как Джекоб кое-что делал по дому: к примеру, вел постоянную борьбу с паутиной, опутавшей все вокруг, а временами он с каким-то добродетельным исступлением принимался прибирать в доме.

Робби рос серьезным. Он все время ходил вместе с отцом и Джекобом, прислушиваясь к их разговорам. Джуниус не обращался с ним как с ребенком — он и не знал, как обращаются с детьми. Если Робби делал какое-нибудь замечание, взрослые учтиво его слушали; замечания мальчика как-то сами собой вплетались в ткань беседы, а иной раз становились предметом очередного диспута. За день они успевали обсудить множество разных вещей. По нескольку раз в день они заглядывали в энциклопедию.

Огромный платан разросся и простер свои ветви прямо над ручьем. Во время их бесед все трое восседали обычно на толстом суку платана. Мужчины сидели, свесив ноги в воду и пошевеливая ими гальку. Робби изо всех сил старался подражать им, видимо, полагая, что если он сумеет, как они, дотянуться ногой до воды, у него появятся некоторые основания считаться взрослым мужчиной. К тому времени Джекоб тоже перестал носить ботинки, а Робби не носил их сроду.

Разговоры велись самые ученые. Робби не знал языка детей — он ни разу в жизни не слышал детских словечек. Беседы эти не имели плана; идеи разрастались совершенно свободно и самым непредсказуемым образом. Джуниус и Джекоб иной раз сами удивлялись причудливому ходу своих мыслей. Они никак не направляли их — не ограничивали и не приукрашивали, как это делает обычно большинство людей, и их беседы порой приносили самые неожиданные плоды.

Так и сидели они целыми днями втроем на суку платана. Одежда их давно превратилась в лохмотья, волосы они стригли только тогда, когда они начинали лезть в глаза. Оба философа носили длинные, нестриженные бороды. Они часами смотрели на водомерок, скользящих по поверхности пруда, и огромный платан тихо шелестел листьями над их головами. Иногда какой-нибудь лист падал, будто бурый носовой платок. Робби исполнилось пять лет.

— Я думаю, платан хорошее дерево,— заметил он, когда лист упал к нему на колени.

Джекоб взял лист и стал отщипывать от него кусочки.

— Верно,— согласился он.— Платаны ведь всегда растут возле воды, а все хорошее любит воду. Все скверное всегда сухое.

— Платан — большое и хорошее дерево,— сказал Джуниус.— Мне кажется, все хорошее непременно должно быть очень большим — чтобы выжить. Всех хороших, по маленьким истребляют маленькие и злые. Большой редко бывает вероломным или подлым. Вот почему в человеческом сознании большое непременно связано с добром, а маленькое — со злом. Ты понял, Робби?

— Да,— ответил Робби.— Понял. Это как у слонов.

— А ведь верно! Слоны часто бывают злыми, но мы почему-то считаем, что слоны всегда такие добрые, благородные.

— Ну, а как же вода,— вмешался в разговор Джекоб.— Ты ведь и про воду понимаешь?

— Нет.

— Это я понимаю про воду,— сказал Джуниус.— Вода — зерно жизни. Из трех первооснов вода — зародыш, земля — чрево, а солнечный свет — творец жизни.

Такой вот чепухе они его учили.

Жители Райских Пастбищ отшатнулись от Джуниуса Молтби после смерти его жены и детей. Легенды о чудовищном бессердечии, которое он проявил во время эпидемии, разрастались и образовали гигантское здание, которое рухнуло в конце концов под собственной тяжестью. И хотя соседи забыли, что Джуниус читал, когда умирали его дети, он по-прежнему был для них загадкой, которую непременно нужно было разгадать. Здесь, в этом благодатном краю, он жил в ужасной нищете. В то время как другие семьи понемногу сколачивали капитал, покупали «форды» и радиоприемники, проводили в дом электричество и дважды в неделю ездили в Монтерей или Салинас смотреть кино, Джуниус постепенно опускался и стал наконец

настоящим дикарем с виду. Его соседей просто бесило, когда они смотрели на отличный участок, заросший сорняками, с неподстриженными деревьями, с завалившимся набок забором. Женщины брезгливо представляли себе, какая грязь должна быть в доме, если двор завален всяким хламом, а окна не мыли годами. Праздность и полное отсутствие честолюбия вызывали всеобщую неприязнь. Поначалу соседи еще заходили к Джуниусу, надеясь исцелить его от лениости своим примером. Но он принимал их доброжелательно и на равных. Его нисколько не смущала ни бедность собственного жилища, ни рубище, прикрывавшее его тело. Постепенно Джуниус стал в глазах соседей своего рода парией. Никто больше не ходил к нему в гости. Его просто исключили из общества людей приличных и решили не принимать его у себя, буде он захочет нанести кому-нибудь визит.

Джуниус даже не догадывался о том, что вызывает такую неприязнь соседей. Он продолжал наслаждаться счастьем. Его жизнь была переальной, романтической и невесомой, как, впрочем, и его мысли. Ему вполне хватало того, что он может сидеть на солнышке, болтая ногами в ручье. Пусть у него нет приличной одежды, но ведь и ходить в приличной одежде ему некуда.

И хотя соседи не любили Джуниуса, малыша Робби они жалели. Женщины считали, что это просто ужас — ребенок растет в такой нищете. Но будучи в большинстве своем людьми мягкими и незлобивыми, обитатели долины не испытывали желания вмешаться в жизнь Джуниуса.

— Подождем, пока он пойдет в школу, — говорила миссис Бэнкс местным дамам, собравшимся в ее гостиной. — Сейчас мы ничего не можем сделать — все права у этого, с позволения сказать, папаши. А вот когда ему исполнится шесть лет, тут уж, уверяю вас, у администрации округа найдется что сказать.

Миссис Аллен кивнула.

— Да, мы будто бы совсем забыли, что это сын не только Молтби, но и Мэмми Куокер. Думаю, нам следовало бы вмешаться гораздо раньше. Но когда он пойдет в школу, мы дадим бедному мальчику все необходимое, все то, чего он до сих пор лишен.

— Самое малое, что мы можем сделать, это хоть одеть его прилично.

Казалось, вся долина затаилась в ожидании дня, когда Робби отправится в школу. Но вот Робби исполнилось шесть лет, и в первый день занятий он не явился в школу.

Джон Уайтсайд, секретарь попечительского совета, написал Джуниусу Молтби письмо.

— Надо же! А я и не подумал об этом,— сказал Джуниус, прочитав письмо.— Пожалуй, тебе придется отправиться в школу.

— Не хочу я идти в школу,— сказал Робби.

— Понимаю. И я не в восторге. Но существуют законы. А чтоб мы не забывали их исполнять, есть еще и наказания. За удовольствие нарушить закон приходится расплачиваться. Карфагеняне наказывали за неудачу. Если генералу не везло и он проигрывал сражение, его казнили. В наше время мы точно так же наказываем людей за несвезение, а иной раз вообще за то, что на белый свет родились.

Продолжая разговор на эту тему, они забыли о письме. Джон Уайтсайд написал второе, выдержанное в очень резком тоне.

— Ну, что ж, Робби, придется все-таки идти,— сказал Джуниус, прочитав это послание.— Там ты, несомненно, узнаешь много полезного.

— А почему меня не можешь учить ты? — жалобно спросил Робби.

— О, мне это не по силам. Я, понимаешь ли, забыл все, чему они там учат.

— Но мне совсем туда не хочется. И учиться я не хочу.

— Да знаю я, но что поделаешь?

И в одно прекрасное утро Робби потащился в школу. На нем были старые рабочие брюки, основательно протертые на коленях и на заднице, и голубая блуза с оторванным воротником. А больше ничего. Волосы его свисали, как челка у пони, которого долго не стригли.

Во дворе школы его окружили дети. Они рассматривали его в глубоком молчании. Все были наслышаны о крайней бедности и лени Джунуса Молтби. Мальчишки заранее предвкушали, как они будут изводить Робби. И вот час пробил: он стоял среди школьного двора, а они глазели на него, обступив со всех сторон. Впрочем, никто не спросил, как сперва собирались: «Где это ты оторвал такие брючки?» или «Какая дивная стрижка!». Мальчики и сами удивлялись, что в решающий момент так спасовали.

А Робби тем временем тоже стоял и рассматривал серьезными глазами окруживших его мальчишек. Он ничуть не испугался.

— Почему вы не играете? — спросил он. — Отец говорил, что вы играете в разные игры.

Толпа мальчишек разразилась криками:

— Да он ни во что не умеет играть!

— В «чижика» его научим, в «чижика»!

— В «негритоса»!

— Нст, послушайте, лучше сперва в «колдунчиков»!

— Он же не знает ни одной игры!

И, хотя они и сами не понимали, в чем дело, им почему-то казалось, что это прекрасно — ни во что не уметь играть.

На лице Робби появилось озабоченное выражение.

— Попробуем в «чижика», — решил он.

Поначалу он был неловок, но его юные учителя не сердились. Напротив, они даже ссорились за право быть его наставником и яростно оспаривали друг у друга привилегию показать ему, как держать палку. Существовало несколько школ игры в «чижика». Робби стоял в сторонке, прислушиваясь к спорам, потом сам решил, кто будет его учить.

Влияние Робби на других школьников обнаружилось незамедлительно. Старшие его не замечали, зато младшие подражали буквально во всем, включая драные коленки на брюках. Когда все усаживались у школьной стены на солнышке и принимались завтракать, Робби им рассказывал о своем отце, о тех беседах, которые они вели, сидя на суку платана. Они внимательно слушали и сожалели, что судьба не наградила их такими же беспечными и добрыми отцами.

Время от времени, обычно это бывало в субботу, кое-кто из мальчиков, вопреки запретам родителей, проникал во владения Молтби. Джуниус, естественно, отправлялся к платану, усаживался на свой сук, дети устраивались рядом, и он читал им «Остров сокровищ», или живописал галльские войны, или битву при Трафальгаре. Так не без помощи отца Робби очень быстро превратился в короля школьников. Об этом свидетельствовало и то, что у него не было какого-то одного закадычного друга, и то, что у него не было даже прозвища, и то, что он неизменно выступал арбитром во всех спорах. Положение его было столь высоким, что никто даже не пытался с ним подражаться.

А Робби понял, что он оказался вожаком, гораздо позже. Его самообладание и недетская зрелость заставляли его сверстников признать за ним право предводителя. Когда мальчишки обсуждали, во что им играть, его голос не-

изменно был решающим. В бейсболе он всегда был судьей — никто кроме него не умел судить, не вызывая всеобщего возмущения. И хотя сам он был неважным игроком, все вопросы соблюдения правил и этики неизменно были его прерогативой.

После довольно длительного совещания с Джуниусом и Джекобом, Робби изобрел две игры, ставшие очень популярными. Одна из них называлась «хитрый койот», местный вариант игры «сыщик и воры», а другая — «сломанная нога» — нечто вроде всем известных «салочек». Правила для этих двух игр он придумал сам, по собственному разумению.

Малыш вызвал большой интерес и у мисс Морган, — на занятиях он проявлял себя столь же удивительным образом, как и во время мальчишеских игр. Читал он замечательно, обладал лексикой взрослого человека, а вот писать совсем не умел. Ему были по плечу любые, самые большие числа, но учить правила арифметики он отказывался наотрез. Трудней всего Робби давалось письмо. Дрожащей рукой он выводил в своей тетради дикие каракули. В конце концов мисс Морган решила ему помочь.

— Возьми одну какую-нибудь фразу и пиши ее много раз подряд, пока не выйдет совсем красиво, — предложила она. — Только тщательно выводи каждую букву.

Робби порылся в памяти, пытаясь вспомнить какое-нибудь изречение, которое ему нравилось. Наконец он написал: «Нет ничего чудовищнее того, что мы можем внушить себе сами». Он любил это слово «чудовищно». Оно придавало мысли тембр и глубину. Если есть слова, способные благодаря одной лишь силе своего звучания повелевать демонами, в число их, несомненно, входит слово «чудовищно». Снова и снова он писал эту фразу, тщательнейшим образом вырисовывая свое «чудовищнее». Час спустя мисс Морган подошла к нему взглянуть, как продвигается дело.

— Робби, дорогой мой, скажи, ради бога, где ты мог это услышать?

— Это из Стивенсона, мэм. Мой отец знает его почти наизусть.

Мисс Морган, конечно, была в курсе всех сплетен, но в душе, невзирая на это, была расположена к Джуниусу. Теперь у нее возникло сильное желание его увидеть.

Между тем ребятам наскучили обычные игры. Однажды утром, отправляясь в школу, Робби пожаловался на это Джуниусу. Джуниус погрузился в размышления, задумчиво пощипывая бороду.

— Есть хорошая игра — в шпиона,— сказал он наконец.— Помнится, мне в свое время она очень нравилась.

— А кого мы должны выслеживать?

— Все равно. Кого хотите. Мы обычно следили за итальянцами.

Робби в сильном возбуждении помчался в школу и в тот же день, всесторонне изучив «словарь школьника», создал В.С.С.Ш.П.Я. Смысл этой аббревиатуры, которая произносилась только шепотом, расшифровывался так: Вспомогательная Секретная Служба Шпионажа Против Японцев. Одного лишь этого великолепного названия хватило бы, чтобы обеспечить организации вес и популярность. Робби по одному приводил мальчиков под зеленую теку старых ив, растущих на школьном дворе, и они клялись там хранить тайну, причем клятва по своей свирепости была достойна какой-нибудь тайной ложи. Позднее он собрал всю группу. Робби объяснил ребятам, что Америка, несомненно, в свое время вступит в войну против японцев.

— Это обязывает нас к готовности,— сказал он.— Чем больше мы узнаем о гнусных приемах этой гнусной расы, тем больше разведывательных сведений мы сможем передать нашей стране, когда начнется война.

Новобранцы тут же капитулировали перед столь великолепной формулировкой. Раз уж потребовались такие слова, значит, положение и в самом деле серьезно. Поскольку слежка стала делом всей школы, маленький Такаши Като, учившийся в третьем классе, с этих пор ни на минуту не мог остаться один. Если на уроке Такаши поднимал руку, Робби многозначительно смотрел на кого-нибудь из агентов Вспомогательной Службы, и тотчас же вторая рука яростно взлетала в воздух. Когда Такаши шел домой из школы, не менее пяти мальчишек крались за ним по кустам вдоль дороги. Дело кончилось тем, что мистер Като, отец Такаши, увидев как-то ночью у себя в окне чье-то бледное лицо, выстрелил из ружья. Робби вынужден был собрать Службу и отдать приказ — вести слежку только до захода солнца.

— Ночью они не опасны,— объяснил он.

А вообще-то Такаши не очень страдал от установленной за ним слежки, так как «службисты», которые должны были постоянно за ним наблюдать, не могли обойтись без него ни в одной сколько-нибудь важной экскурсии. Его всегда и всюду приглашали, поскольку никому не хотелось следить за ним, оставшись в одиночестве.

Такаши нанес Службе смертельный удар, когда попросил (он догадывался о существовании организации) принять и его туда же.

— Не представляю себе, как же мы можем тебя взять,— дружески объяснял ему Робби.— Понимаешь, ты же японец, а мы ненавидим японцев.

Такаши чуть не расплакался.

— Я родился здесь, как и вы все! — кричал он.— Я такой же американец, как вы, да!

Робби глубоко задумался. Ему вовсе не хотелось быть жестоким по отношению к Такаши. Потом лицо его прояснилось.

— Скажи, ты по-японски говоришь? — спросил он.

— Конечно, говорю совсем неплохо.

— Ну, тогда ты можешь быть нашим переводчиком и расшифровывать секретные донесения.

Такаши просиял от удовольствия.

— Вот здорово! — воскликнул он радостно.— Если хотите, мы даже будем отслеживать моего старика.

На этом все и кончилось. Кроме мистера Като, не с кем стало воевать, а мистер Като был человек нервный и чуть что, пулял из ружья. Прошли День всех святых и День благодарения. Робби оказывал на сверстников заметное влияние, которое выражалось как в росте их лексических познаний, так и в явной ненависти к ботинкам и к любой приличной одежде. Хотя Робби и не осознавал этого, он установил в школе свой стиль — не то, чтобы новый, но все же более суровый, чем раньше. Носить приличную одежду считалось недостойным мужчины, мало того, это рассматривалось как оскорбление Робби.

Как-то в пятницу, днем, Робби написал четырнадцать записок и тайно передал их на школьном дворе четырнадцати своим знакомым мальчуганам. Все записки были одинакового содержания. В них говорилось: «Индейцы взяли в плен през. С. Ш. и собираются сжечь его живьем, привязав к столбу возле моего дома завтра в десять часов утра. Пробирайтесь к нашему нижнему огороду и пролайте по-лисьи. Я выйду и поведу вас спасать его».

Вот уже несколько месяцев мисс Морган собиралась навестить Джуниуса Молтби. Ее интерес подогревали ходившие о нем рассказы, а также удивительные познания его сына. То и дело кто-нибудь из ребят делился очередной потрясающей новостью. Например, один мальчуган, слышавший последним дурачком, рассказал ей, что Хенгист

и Хорса¹ захватили Британию. Под ее нажимом он признался «по секрету», что получил эту информацию от Джуниуса Молтби. Давняя легенда о козе так развеселила учительницу, что она записала ее и послала в журнал, но журнал не стал ее печатать. Не раз и не два собиралась она нанести визит Джуниусу Молтби.

И вот однажды декабрьским утром, в субботу, мисс Морган проснулась с четким желанием осуществить наконец свое намерение. Солнце ярко сияло. Она позавтракала, надела вельветовую юбку и ботинки, в которых обычно совершала прогулки, и вышла из дому. Во дворе она побеседовала с собаками, попыталась их уговорить пойти с ней, но в ответ они только повиляли хвостами и снова улеглись на солнышке.

Ферма Молтби располагалась в двух милях в небольшом каньоне, носившем название Гато Амарильо. Вдоль дороги бежал ручеек, под ольхой буйно разросся щитовник. В каньоне было довольно прохладно, — солнце еще не вышло из-за гор. На секунду мисс Морган показалось, что она слышит впереди шаги и голоса, но, быстрым шагом дойдя до поворота, она никого не обнаружила. Тем не менее в кустах, росших у дороги, все время слышалось таинственное шуршание.

Хотя мисс Морган ни разу здесь не бывала, она сразу поняла, что это владения Молтби. Забор устало склонился к земле под тяжестью ежевики. Фруктовые деревья широко распростерли свои голые ветви. Лозы дикой куманики карабкались по стволам яблонь; белки и кролики выскакивали прямо у нее из-под ног и спасались бегством. Стая диких голубей, испуганная ее приближением, взмыла вверх, со свистом рассекая крыльями воздух.

Компания голубых соек, собравшись в ветвях высокой дикой груши, пронзительными голосами обсуждала какие-то свои проблемы, создавая невыносимую какофонию. Под вязом, одетым в мохнатую шубу инея, мисс Морган разглядела заросшую мхом крышу дома Молтби. Здесь царил тишина. Можно было подумать, что тут уже лет сто никто не живет. «Как все запущено! — подумала она. — И в то же время как все прелестно и естественно!» Она прошла во двор. Калитка держалась на одной петле. От дождя постройки стали серыми, а по стенам, похожие на пальцы огромной руки, вились дикие ползучие растения. Мисс Морган завернула за угол дома и замерла с откры-

¹ Хенгист (?—488) и Хорса, его брат. Хенгист возглавил первое нашествие германцев в Англию и основал королевство Кент.

тым от изумления ртом. По спине у нее пробежали мурашки. Посредине двора стоял толстый столб. К этому столбу был привязан какой-то старый оборванец. Другой человек, поменьше и помоложе, и еще более оборванный, складывал у ног пленника кучу хвороста. Мисс Морган похолодела. Она решила спрятаться за угол дома.

«Этого не может быть,— уговаривала она себя.— Это сон. Этого просто быть не может».

И тут она услышала, что эти двое беседуют самым дружелюбным образом.

— Скоро десять,— сказал палач.

Пленник ответил:

— Да, только, пожалуйста, когда станешь разводить костер, будь поосторожней. Убедись сначала, что они уже тут.

Мисс Морган чуть не вскрикнула от облегчения. Немного помедлив, она подошла к столбу поближе. Тот, который не был привязан, обернулся и увидел ее. Какое-то мгновение он стоял с несколько смущенным видом, но тут же справился с собой и поклонился. И когда этот человек, одетый в лохмотья, заросший густой нечесаной бородой, поклонился ей, это выглядело и смешно, и как-то по-особому мило.

— Я учительница,— едва переводя дыхание, представилась мисс Морган.— Я тут просто гуляла и увидела ваш дом. На минуту мне показалось, что это аутодафе всерьез.

Джуниус улыбнулся.

— Конечно, всерьез. Вы даже представить себе не можете, насколько все это серьезно. Я подумал было, что и вы пришли его спасать. Его спасут ровно в десять.

Дикий лисий лай, донесшийся издалека, разорвал тишину.

— Грядет освобождение,— продолжал Джуниус.— Извините меня, пожалуйста... мисс Морган, так ведь? Я Джуниус Молтби, а этого джентльмена зовут обычно Джекобом Штутцем. Но сегодня он президент Соединенных Штатов, индейцы взяли его в плен и собираются предать смертной казни на костре. Сперва мы думали, что он будет госпожой Гунивер¹, но, даже несмотря на свой костюм, он все-таки больше похож на президента, чем на Гунивер, вы не находите? К тому же он отказался надеть юбку.

— Юбки эти какие-то дурацкие,— добродушно заметил президент.

Мисс Морган рассмеялась.

¹ Жена короля Артура из легенды «Король Артур и рыцари Круглого стола».

— Можно мне посмотреть, как его освободят, мистер Молтби?

— Я не мистер Молтби, в настоящий момент я представляю собой целых триста индейцев.

Снова слышался лисий лай.

— Сойдите с тропинки,— сказал «триста индейцев».— Вас могут принять за индейца и зарезать.

Он бросил взгляд на ручей. Ветка ивы отчаянно раскачивалась. Джуниус чиркнул спичкой по брюкам и поджег хвост. Едва вспыхнул огонь, обступавшие дом ивы словно разорвались на куски. Мальчишки, выскочив из зарослей, кинулись в атаку. Их вооружение и амуниция были пестрыми, как у французов, идущих штурмовать Бастилию. И как только языки пламени взметнулись вверх, дабы поглотить несчастного президента, костер яростно разметали во все стороны. Спасители трясущимися руками развязали веревки, и вот наконец Джекоб Штутц предстал перед ними, свободный и счастливый. Затем последовала церемония не менее впечатляющая, чем сама боевая операция по спасению президента. Мальчики выстроились для приветствия, а президент обошел строй и приколот на грудь каждому свинцовый жетон, на котором было нацарапано слово «ГЕРОЙ». На этом игра завершилась.

— В следующую субботу мы повесим негодяев, пытавшихся осуществить этот подлый замысел,— заявил Робби.

— Почему не сейчас? Повесим их прямо сейчас!— завопило войско.

— О, нет, мои солдаты. У нас еще много дел. Нам нужно соорудить виселицу.— Он повернулся к отцу.— Думаю, нам придется вздернуть вас обоих,— сказал он. Потом он алчно посмотрел на мисс Морган, но секунду спустя неохотно отвел глаза в сторону.

В жизни мисс Морган это был, пожалуй, самый приятный день. Хотя ей и выделили почетное место на суку платана, ребята перестали смотреть на нее как на учительницу.

— Будет лучше, если вы снимете туфли,— предложил Робби, и она действительно обнаружила, что куда приятней снять туфли и болтать в воде босыми ногами.

В этот раз Джуниус рассказывал об индейцах-людоедах с Алеутских островов. Поведал он и о том, как наемники восстали против Карфагена. Он красочно описал лакедемонян, которые тщательно причесывались, прежде чем погибнуть в бою при Фермопилах. Он объяснил, откуда произошли макароны, а о том, как открыли медь, он рассказывал так, будто сам присутствовал при этом. И нако-

нец, когда непреклонный Джекоб стал возражать против его трактовки первородного греха и между ними вспыхнула небольшая ссора, мальчики стали собираться домой. Мисс Морган позволила им обогнать ее — ей хотелось спокойно, наедине с собой поразмыслить об этом странном джентльмене.

Каждый год и учителя, и ученики с одинаковым ужасом ожидали дня, когда школу должны были посетить члены попечительского совета. Это был напряженный день. Уроки проходили нервно. Каждая ошибка казалась преступлением. И никогда дети не делали столько немыслимых ошибок, и учителя никогда так не трепали себе нервы, как в этот день.

Попечительский совет Райских Пастбищ посетил школу пятнадцатого декабря, днем. Сразу же после ленча члены совета с мрачным, прямо-таки похоронным, хотя и несколько смущенным видом вошли в класс. Первым шел Джон Уайтсайд, секретарь совета, пожилой седовласый человек. К образованию он относился спокойно, что не раз вызывало критику в его адрес. За ним шел Пэт Хамберт. Пэта выбрали в совет, потому что он сам этого хотел. Он был одиноким человеком и не умел ни с кем сдружиться, но использовал любую возможность побыть в обществе. Он был одет в нелепый, негнувшийся костюм, как статуя Линкольна в Вашингтоне. За ними с унылым видом следовал Т. Б. Аллен. Поскольку Аллен был единственным торговцем в долине, место в совете принадлежало ему по праву. Следом шествовал Реймонд Бэкс, большой, веселый, краснолицый человек. Завершал процессию Берт Мэнро, только что избранный членом совета. Это был его первый визит в школу, поэтому, следуя за другими членами совета, он несколько напоминал овцу.

Когда члены совета заняли свои места, вошли их жены и расположились на стульях в другом конце класса, за спинами детей. Ученики смущенно ерзали. Они чувствовали себя, как солдаты, попавшие в окружение: все пути к бегству, если бы они вздумали бежать, были отрезаны. Обернувшись (точнее, извернувшись ужом), дети видели, как дамы, чинно сидящие сзади, улыбаются им самым доброжелательным образом. От их внимания не ускользнул и большой бумажный сверток, который держала на коленях миссис Мэнро.

Уроки начались. Мисс Морган с принужденной улыбкой приветствовала попечительский совет школы.

— Джентльмены, — сказала она, — занятия будут идти

как всегда, без малейших поблажек. Думаю, вам как официальным лицам будет интересно увидеть обычный день нашей школы.

Потом она пожалела об этих словах. Ни разу в жизни она не видела таких бестолковых детей. Те, кому удавалось выдать из себя хоть несколько слов, делали при этом несусветные ошибки. Читая, они запинаясь на каждом слове. Члены совета пытались сохранить достоинство, однако многие не могли сдержать смущенную улыбку. На лбу мисс Морган выступили капельки пота. Она уже представила себе, как разгневанные члены совета снимают ее с должности. Дамы в задних рядах напряженно улыбались. Время шло. Когда с грехом пополам ей удалось закончить урок арифметики, точнее — пародию на урок арифметики, — Джон Уайтсайд встал.

— Благодарю вас, мисс Морган, — сказал он. — С вашего позволения я скажу детям несколько слов, а потом вы их отпустите. За час, проведенный в нашем присутствии, они заслужили вознаграждение.

Учительница облегченно вздохнула.

— Значит, вы понимаете, что они отвечали хуже, чем обычно? Как я рада.

Джон Уайтсайд улыбнулся. Сколько таких вот молодых взволнованных учительниц перевидал он на своем веку.

— Если б я решил, что это все, на что они способны, я закрыл бы школу, — сказал он.

Потом он обратился к детям с краткой речью. Он говорил им, что они должны прилежно учиться и любить свою учительницу. Его речь была короткой и доброжелательной — он уже многие годы произносил ее в таких случаях. Закончив, он попросил учительницу отпустить детей. Ученики тихо вышли из класса, но на свежем воздухе их переполнило чувство свободы. Они устроили потасовку, орали, визжали и пытались прикончить друг друга путем отсечения головы и другими доступными им способами.

Джон Уайтсайд пожал руку мисс Морган.

— Никто из наших прежних учителей так хорошо не справлялся с классом, — любезно сказал он. — Думаю, вы были бы удивлены, если бы узнали, как любят вас дети.

— Но это же чудесные дети, — горячо произнесла мисс Морган. — Это просто прекрасные дети.

— Конечно, — согласился Джон Уайтсайд. — Кстати, как учится малыш Молтби?

— О, блестяще. Он любознательный мальчик. По-моему, у него просто исключительные способности.

— На заседании совета о нем тоже шла речь, мисс Морган. Вам, конечно, известно, что дома у него все обстоит совсем не так благополучно, как хотелось бы. Сегодня я за ним наблюдал. Бедный мальчик, посмотрите, во что он одет. Это же настоящее рубище.

— Да, это необычный дом.— Мисс Морган почувствовала, что ее долг защитить Джуниуса.— Дом со странностями, но вовсе не такой уж скверный.

— Поймите меня правильно, мисс Морган. Мы не собираемся вмешиваться в это дело. Просто мы подумали, что можно подарить ему кое-что из одежды. Его отец, вы сами знаете, очень беден.

— Я знаю,— тихо сказала она.

— Миссис Мэнро ему кое-что купила. Не будете ли вы так добры его позвать, и мы вручим ему подарок.

— О, нет, мне бы не хотелось...

— Ну почему же? Там всего только несколько рубашек, пара брюк и ботинки.

— Но, мистер Уайтсайд, он может расстроиться. Он очень гордый.

— Он расстроится из-за того, что у него будет приличная одежда? Чепуха. Мне кажется, его гораздо больше огорчает, что у него ее нет. К тому же ходить сейчас босиком просто холодно. На этой неделе каждую ночь заморозки.

— И все-таки, лучше не надо,— беспомощно проговорила мисс Морган.— Нет, правда же, лучше не стоит.

— Мисс Морган, вам не кажется, что вы делаете из мухи слона? Миссис Мэнро была так добра, что купила ему все эти вещи. Так будьте любезны, позовите мальчика, пусть она ему отдаст их.

И вот Робби предстал перед ними. Нечесанные волосы падали ему на лицо, в его глазах после недавней потасовки горел яростный огонек. Люди, столпившиеся в классе, рассматривали его вполне благодушно, стараясь не глядеть на дыры в одежде. Робби неловко озирался.

— Робби, миссис Мэнро хочет сделать тебе подарок,— сказала мисс Морган.

Тут миссис Мэнро вышла вперед и вложила в руки Робби сверток.

— Какой славный малыш!

Робби аккуратно положил сверток на пол и заложил руки за спину.

— Открой его,— строго произнес Т. Б. Аллен.— Что за манеры?

Робби взглянул на него с обидой.

— Да, сэр,— сказал он и развязал шпагат.

Перед ним лежали рубашки и новые брюки. Он смотрел на них и, казалось, ничего не понимал. Внезапно до него дошло, что это значит. Лицо его вспыхнуло. Какое-то мгновение он оглядывался, как затравленный зверек, а затем стрелой выскочил из класса. Он так и не взял подарок. Члены совета слышали, как он в два прыжка соскочил с крыльца и убежал.

Миссис Мэнро растерянно повернулась к учительнице.

— Что это с ним?

— Я думаю, он смутился,— сказала мисс Морган.

— Но почему? Мы же его не обижали.

Тут учительница попробовала объяснить, что же все-таки произошло, и, объясняя, немного на них рассердилась.

— Я думаю... понимаете... ну, в общем, мне кажется, до сих пор он просто не догадывался, что он беден.

— Это была моя ошибка,— признался Джон Уайтсайд.— Извините, мисс Морган.

— Как же нам быть? — спросил Берт Мэнро.

— Не знаю, честное слово, не знаю.

Миссис Мэнро обратилась к мужу:

— Берт, мне кажется, тебе нужно пойти к мистеру Молтби и поговорить с ним, может быть, тогда все уладится. Поговори с ним по-доброму, сердечно... ну, в общем, как ты умешь. Объясни ему, что маленьким детям в мороз нельзя ходить босиком. Может, это убедит его. И тогда мистер Молтби сам велит маленькому Роберту взять наш подарок. Как вы считаете, мистер Уайтсайд?

— Мне это не по душе. И если вы со мной не согласитесь, придется устроить голосование. Я тут и так достаточно дров наломал.

— А я считаю, что здоровье мальчика важнее, чем всякие там эмоции,— настаивала миссис Мэнро.

Двадцатого декабря школу закрыли на рождественские каникулы. Мисс Морган собиралась провести их в Лос-Анжелесе. Ожидая на перекрестке автобус до Салинаса, она заметила мужчину с мальчиком. Они шли прямо к ней по дороге, которая вела из Райских Пастбищ. Одеты они были во все новое и недорогое. Казалось, им трудно идти — оба чуть-чуть хромали. Когда они подошли ближе, мисс Морган пригляделась внимательнее и узнала Робби. Лицо у мальчика было мрачное, несчастное.

— Ой, Робби! — вскрикнула она.— Что случилось? Куда это ты собрался?

Вместо него ответил его спутник.

— Мы едем в Сан-Франциско, мисс Морган.

Она подняла глаза. Это был Джуниус. Бороду он сбрил. Она и не думала, что он такой старый. Даже его глаза, которые всегда глядели так молодо, сейчас казались старыми. А бледен он был, конечно, потому, что прежде носил бороду и она защищала его от загара. На лице его отражалось глубокое замешательство.

— Вы на каникулы едете? — спросила мисс Морган. — Знаете, я люблю рождественские ярмарки. Целыми днями могу там бродить.

— Нет, — помедлив, ответил Джуниус, — мы, пожалуй, едем туда насовсем. Я бухгалтер, мисс Морган. По крайней мере, двадцать лет назад я был им. Попробую найти работу.

Он говорил это с болью.

— Послушайте, зачем вам все это? — воскликнула она.

— Видите ли, — объяснил он просто. — Я не представлял, что приношу мальчику вред. Я просто не думал об этом. Вы же понимаете, нельзя воспитывать его в нищете. Правда ведь? А я не знал, что говорят о нас люди.

— Но почему вы не остались на ферме? У вас хорошая ферма, верно?

— Я не могу зарабатывать здесь на жизнь, мисс Морган. Я ничего не смыслю в сельском хозяйстве. Джекоб пробовал вести хозяйство, но, понимаетс, Джекоб слишком ленив. Как только смогу, я продам ферму и куплю Робби все, чего у него раньше не было.

Мисс Морган рассердилась. И в то же время почувствовала, что вот-вот расплачется.

— Неужели вы верите тому, что говорят вам эти идиоты?

Он удивленно взглянул на нее.

— Конечно, не верю. Только вам ли не знать — мальчика нельзя воспитывать как звереныша?

Появился автобус. Джуниус кивнул в сторону Робби.

— Он не хотел ехать. Сбсжал в горы. Мы с Джекобом нашли его лишь вчера ночью. Слишком долго он жил как звереныш. Да и вообще, мисс Морган, он пока еще просто не представляет себе, как хорошо нам будет в Сан-Франциско.

Автобус затормозил. Джуниус и Робби вскарабкались на заднюю площадку. Мисс Морган собиралась войти вслед за ними, но передумала, села в автобус с другой стороны и пристроилась позади шофера.

«Ясно же, — подумала она, — им сейчас хочется побыть наедине».

Старик Гиермо Лопес умер, когда его дочери были уже вполне взрослыми. Он оставил им сорок акров каменистой земли на склоне холма и ни цента денег. Девушки жили в дощатой обмазанной хижине, при которой были маленький флигелек, колодец и сарай. На истощенной почве, по сути дела, могли расти лишь шалфей да курай. И хотя сестры изо всех сил трудились на своем огорожке, урожай они собрали весьма скудный. Некоторое время они с каким-то ожесточенным мученичеством голодали, но в конце концов плоть взяла свое. Они были слишком толсты и жизнерадостны для того, чтобы надеть на себя мученический венец по столь мирскому поводу, как отсутствие пищи.

Однажды у Розы возникла счастливая мысль:

— Разве умеет кто-нибудь в нашей долине печь такие вкусные тортильи, как мы с тобой? — спросила она сестру.

— Это искусство досталось нам в наследство от матушки, — благочестиво ответила Мария.

— А это значит, что мы спасены! Мы будем готовить пироги и майсовые лепешки и продавать их жителям Райских Пастбищ.

— А ты думаешь, они станут покупать? — усомнилась Мария.

— Послушай, что я тебе скажу, Мария. В Монтерее всего несколько женщин продают тортильи, да и что это за тортильи — в сто раз хуже наших. И все-таки женщины, которые их продают, просто богачки! Они делают себе по три новых платья в год. А разве их лепешки идут хоть в какое-нибудь сравнение с нашими? Вспомни, ведь нас учила наша мать.

От волнения глаза Марии наполнились слезами.

— Ой, ну, конечно, их нельзя сравнить! — пылко воскликнула она. — В целом мире не было ничего вкуснее лепешек, которые месили безгрешные руки нашей матушки.

— Ну что ж, тогда за дело! — решительно сказала Роза. — Хорошую вещь отчего не купить.

Целую неделю шли лихорадочные приготовления. Обливаясь потом, сестры скребли и украшали свое жилище. Когда все было кончено, их маленький домик, побеленный и внутри и снаружи, выглядел очень нарядно. У порога посадили отводки герани; мусор, скапливавшийся годами, был собран в кучу и сожжен. Переднюю комнату превратили в харчевню, в которой стояли два покрытых желтой клеенкой стола. Сосновая доска, прибитая к забору, выходящему на главную дорогу округа, гласила: «Маисовые лепешки, пироги и прочие испанские блюда. Р. и М. Л о п е с».

Дело не сразу пошло на лад. Можно сказать, что оно вообще не пошло. Сестры сидели за своими желтыми столиками и ждали. Они были ребячливо веселы и не очень опрятны. Сидя на стульях, они ждали, когда к ним явится счастье. Но стоило войти посетителю, и они стремглав бросались его обслуживать. Они восторженно смеялись всему, что он говорил; они похвалялись своей родословной и дивными качествами лепешек. С негодованием отрицая в себе примесь индейской крови, они по локоть закатывали рукава, чтобы показать, как бела их кожа. Но посетители бывали очень редко. И у сестер стали появляться затруднения. Они не могли заготавливать сразу много продуктов, ибо продукты портятся, когда лежат слишком долго. Для тамалей нужно свежее мясо. И они начали расставлять силки для кроликов и птиц; они сажали в клетки воробьев, черных дроздов, жаворонков и держали их там до тех пор, пока они не потребуются для тамалей.

А дела по-прежнему шли из рук вон плохо.

Как-то утром Роза с решительным видом обратилась к сестре:

— Запряги-ка старину Линдо, Мария. У нас совсем не осталось мякины.— Она вложила в руку Марии серебряную монетку.— Купи в Монтерее. Только немного,— добавила она.— Когда дела у нас пойдут хорошо, мы купим целую гору.

Мария с послушным видом поцеловала сестру и направилась к сараю.

— И, Мария... если у тебя останется какая-нибудь сдача, то по конфете нам обеим... по большой конфете.

Вернувшись днем, Мария застала сестру как-то странно присмиревшей. Ни криков, ни визга, ни требований рассказать о всех подробностях путешествия — словом, ничего такого, что сопровождало обычно их встречи после разлуки. Роза сидела за столом, и лицо ее было хмурым и озабоченным.

Мария робко приблизилась к сестре.

— Я очень дешево купила мякину,— сказала она.— А это для тебя, Роза, конфета. Самая большая и всего за четыре цента.

Роза взяла протянутую ей длинную палочку леденца и, развернув с одного конца сунула в рот. Она все еще была погружена в свои мысли. Нежно и лукаво улыбаясь, Мария присела рядышком, молчаливо моля сестру переложить на ее плечи часть своих забот. А Роза сидела неподвижная, словно скала, и сосала леденец. Внезапно она пристально взглянула в глаза Марии.

— Слушай,— проговорила она торжественно,— сегодня я отдалась посетителю.

От несожиданности Мария ойкнула.

— Не пойми меня превратно,— продолжала Роза.— Денег я не взяла. Но этот человек съел три порции энчилада... три!..

Взволнованная Мария заскулила тоненьким, детским голоском.

— Замолчи,— остановила ее Роза.— А что, по-твоему, я должна была делать? Раз мы хотим добиться успеха, нам надо всячески поощрять посетителей. А этот заказал три порции, Мария, три порции энчилада! И за все уплатил! Что ты скажешь? А?

Мария шмыгнула носом и, несмотря на доводы сестры, попыталась найти опору в благочестии.

— Мне кажется, Роза... мне кажется, что наша мама была бы рада, и еще мне кажется, что тебе самой стало бы легче на душе, если бы ты испросила прощения у пречистой девы и у святой Розы.

Лицо Розы расплылось в широкой улыбке, и она заключила Марию в объятия.

— Именно это я и сделала. Как только он ушел. Он еще и через порог не переступил, а я уже сделала это.

Мария вырвалась из ее рук и, горько плача, убежала в спальню. Десять минут простояла она на коленях перед висевшей на стене маленькой статуэткой Мадонны. Потом встала и устремилась в объятия Розы.

— Роза, сестренка! — воскликнула она счастливым голосом.— Я думаю... мне кажется, я тоже стану поощрять посетителей.

Сестры Лопес стиснули друг друга в могучих объятиях и на радостях дружно разрыдались.

Этот день знаменовал собой поворотный пункт в предприятии сестер Лопес. Нельзя сказать, что дела их пришли

в цветущее состояние, и все же они продавали столько «испанских блюд», что голодными теперь не были, а их широкие спины обтягивали обновки из набивных ситцев. Они по-прежнему были безукоризненно благочестивы. Стоило какой-нибудь из них согрешить, и она тут же устремлялась к крошечной фарфоровой Мадонне, для удобства помещенной теперь в прихожей, куда выходили обе спальни, и испрашивала у нее прощения. Накапливать грехи не разрешалось. В каждом новом прегрешении они каялись сразу же после того, как оно было совершено. На полу против Мадонны образовалось блестящее местечко: здесь преклоняли колени одетые в ночные сорочки сестры.

Они не жаловались на жизнь. Между ними не возникало ни тени соперничества, ибо хотя Роза была постарше и посмелее, с виду они походили друг на дружку почти как две капли воды. Мария была чуть потолще, Роза — чуть повыше, вот вам и вся разница.

В доме то и дело слышался хохот и радостный визг. Раскатывая на плоских камнях лепешки своими полными, сильными руками, сестры пели. Стоило кому-нибудь из посетителей сказать что-нибудь смешное, стоило, например, Тому Бремену, доедающему уже третий тамаль, изречь: «Слишком уж ты шикаешь, Роза. Смотри, если не поставишь точку, сядешь на мель», — и сестры целых полчаса просто задыхались от смеха. А потом весь день, похлопывая по лежащим на камне лепешкам, они вспоминали эту шутку и снова принимались хохотать. Да, сестры знали, как хранить смех, они умели беречь его и холить до тех пор, пока не будет выпита последняя его капля.

Не думайте, однако, что сестры злоупотребляли поощрениями — деньги они брали только за свою стряпню. Но когда кто-нибудь из посетителей съедал три порции и больше, их нежные сердца таяли, преисполнившись благодарности, и человек этот становился кандидатом в поощряемые.

В один злосчастный вечер человек, который не в силах был справиться с тремя порциями энчилада, предложил Розе позорную плату. В это время в доме было еще несколько посетителей. Услышав это постыдное предложение, они прервали свой негромкий разговор. Шум смолк, наступила ужасная тишина. Мария закрыла лицо руками. Роза побледнела, потом запылала от ярости. Глаза ее сверкали, она дышала тяжело и взволнованно. Ее полные, сильные руки взметнулись, словно два орла, и опустились на бедра. Но когда она заговорила, в словах ее звучала какая-то странная сдержанность.

— Вы меня оскорбили,— проговорила она хрипло.— Вы, может быть, не знаете, что генерал Валлехо приходится нам очень близким родственником, почти что предком. В наших жилах течет благородная кровь. Что сказал бы генерал Валлехо, если бы узнал о том, что здесь только что было? Вы думаете, его рука не потянулась бы к мечу, если бы он услышал, как вы оскорбляете двух дам, которые доводятся ему такой близкой родней? Вы так думаете? Вы говорите нам: «Вы бесстыдные девки!» Нам, умеющим готовить самые вкусные и тонкие лепешки в Калифорнии!

Она задыхалась от усилия держать себя в руках.

— Да я ничего такого не думал,— захныкал обидчик.— Ей-богу, Роза, и в мыслях не держал.

Тогда гнев ее остыл. Одна из рук (на этот раз она была похожа на жаворонка) вспорхнула с бедра и почти печальным жестом указала на дверь.

— Уходи,— сказала она мягко.— Я не думаю, что ты сделал это нарочно, но обида еще жива.

А когда преступник скрылся за дверью, Роза проговорила:

— Ну что, хочет кто-нибудь еще черного перца с фасолью? Такого перца с фасолью вам больше нигде не найти.

Но обычно сестры были довольны. Мария, нежная и чувствительная по натуре, посадила у дома еще несколько кустов герани, а вдоль забора — мальву. Съездив в Салинас, Роза и Мария купили друг другу в подарок почные чепцы, которые смахивали на опрокинутые гнезда, сплетенные из голубых и розовых ленточек. Эти чепцы были вершиной их желаний. Стоя рядом, они посмотрели в зеркало, а потом, повернувшись друг к другу, улыбнулись, подумав с легкой печалью: «Сегодня великий день. Об этом времени мы всегда будем вспоминать, как о счастливой поре. Как жаль, что она не может длиться вечно!»

Предчувствуя, что их привольной жизни скоро придет конец, Мария каждый день ставила перед Мадонной большие букеты цветов.

Однако дурные предчувствия редко их посещали. Мария купила небольшой фонограф и пластинки: танго, вальсы. Занимаясь стряпней, сестры пускали машину и в такт музыке колотили по лепешкам.

В Райских Пастбищах, конечно, стали поговаривать, что сестры Лопес нехорошие женщины. Местные дамы холодно здоровались с ними при встрече. И откуда они только

узнали, эти дамы? Мужья, конечно, ничего им не говорили, а они все-таки узнали; всегда они все знают!

Как-то в субботу на рассвете Мария вытащила старенькую упряжь, на которой недостающие ремни были заменены кусками веревки, и развесила ее на остоле Линдо. «Смелее, дружок», — сказала она, застегивая подхвостник, а засовывая ему в рот мундштук, добавила: «Давай-ка губки, Линдо, милый». Потом она заставила его попятиться и встать между оглоблями ветхой тележки. Линдо нарочно споткнулся об оглобли, как он спотыкался уже тридцать лет. Когда Мария пристегнула постромки, он оглянулся и бросил на нее хмурый взгляд, полный философской печали. Вопрос о том, куда придется ехать, теперь уже не волновал старого Линдо. Он был так стар, что, выехав со двора, даже не думал о возвращении домой. Сейчас он раздвинул губы, показав длинные желтые зубы, и безнадежно усмехнулся.

— Нам недалеко, — успокоила его Мария. — А поедем потихонечку. Не надо бояться, Линдо.

Но Линдо боялся. Путешествие в Монтерей и обратно внушало ему отвращение.

Тележка угрожающе накренилась под тяжестью Марии. Девушка потихоньку взяла в руки вожжи.

— Поехали, дружок, — сказала она и пошевелила вожжами.

Линдо вздрогнул и оглянулся.

— Ты слышишь? Надо ехать. Мы должны кое-что купить в Монтерее.

Линдо покачал головой и согнул колено, словно делал реверанс.

— Послушай, Линдо! — повелительно воскликнула Мария. — Говорю тебе, надо ехать. Серьезно говорю. Я рассержусь!

Она сердито дернула вожжи. Голова Линдо поникла до самой земли, и он медленно поплелся со двора, словно собака, идущая по следу. Девять миль до Монтерея и девять миль обратно. Линдо знал это и приходил в отчаяние. Однако теперь, когда серьезность Марии и ее гнев улетучились, она устроилась поудобней и замурлыкала припев из танго, которое называлось «Лунный вальс».

Холмы сверкали росой. Вдыхая свежий, влажный воздух, Мария стала напевать громче, и даже Линдо почувствовал себя настолько юным, что из его дряхлых ноздрей слышалось какое-то фыркание. Перед ними, заливаясь неистовой песней, перелетал со столба на столб луговой жа-

воронок. А далеко впереди Мария увидела идущего пешком человека. Еще до того, как она с ним поравнялась, она угадала по шаркающей, неуклюжей, словно у обезьяны, походке, что это Аллен Хьюнекер, самый уродливый и самый робкий мужчина в их долине.

Аллен Хьюнекер обладал не только походкой обезьяны, но и обезьяньей наружностью. Когда какому-нибудь мальчугану хотелось оскорбить приятеля, он говорил ему, указывая на Аллена: «Вот идет твой брат». В этих словах заключался убийственный сарказм. Застенчивый Аллен был в таком ужасе от своей внешности, что попытался отрастить бакенбарды, которые скрыли бы его лицо, но грубая редкая щетина вырастала не там, где надо, и только подчеркивала его сходство с обезьяной. Его жена вышла за него замуж, потому что ей стукнуло тридцать семь лет и потому что Аллен был единственным из знакомых ей мужчин, который не сумел постоять за себя. Впоследствии выяснилось, что испытывать чувство ревности было так же необходимо для организма этой женщины, как отправление всех прочих жизненных функций. Поскольку в поведении Аллена не было ничего такого, что могло бы дать ей повод ревновать, она принялась фантазировать. Она рассказывала соседкам о его мужской лихости, вероломстве, тайных похождениях. Она рассказывала все эти истории до тех пор, пока сама не начала в них верить, но соседки, слушая о прегрешениях Аллена, только посмеивались у нее за спиной, ибо в Райских Пастбищах все знали, как робок и запуган этот маленький уродец.

Поравнявшись с Алленом Хьюнекером, престарелый Линдо споткнулся. Мария что было сил натянула вожжи, словно сдерживая взмыленного скакуна, несущегося во весь опор.

— Тише, Линдо! Успокойся,— закричала она.

Едва почуяв прикосновение вожжей, Линдо стал как вкопанный, сразу же приняв ту понурую, разбитую позу, которую всегда принимал, стоя на месте.

— Доброе утро,— вежливо поздоровалась Мария.

Аллен испуганно потеснился к краю дороги.

— Здрасьте,— ответил он и с деланным интересом стал рассматривать вершину холма.

— Я еду в Монтерей,— продолжала Мария.— Подвезти вас?

Аллен съежился и обратил свой взор на облака и ястребов, парящих в небе.

— Мне-то ведь только до автобусной остановки,— проговорил он хмуро.

— Ну и что же? Туда ведь тоже можно подъехать, верно?

Человечек в нерешительности поскреб бакенбарды, потом, скорее для того, чтобы покончить со всем этим, чем ради удовольствия прокатиться, вскарабкался на телегу рядом с толстененькой Марией. Девушка откатилась к краю, освобождая ему место, и слегка откинулась назад.

— Поехали, Линдо! — крикнула она. — Линдо, ты слышишь, что я сказала? Трогай, пока я не рассердилась.

По шее Линдо захлопали вожжи. Линдо уткнулся носом в землю и поплелся дальше.

Некоторое время они ехали молча, но вскоре Марии пришло в голову, что было бы очень учтиво завязать беседу.

— Отправляетесь в поездку, верно? — обратилась она к нему.

Аллен выпучил глаза на дуб, стоявший у дороги, и не сказал ни слова.

— Я никогда не ездила поездом, — немного помолчав, призналась Мария. — Но моя сестра Роза ездила в поездках. Один раз она ездила в Сан-Франциско и один раз назад. Я слышала, как очень богатые люди говорили, что путешествовать хорошо. И моя сестра Роза то же самое говорит.

— Я-то сам только в Салинас еду, — заметил Аллен.

— О, ну там-то я, конечно, много раз бывала. У нас с Розой такие друзья в Салинасе! Наша мама оттуда родом. И папа часто ездил туда с дровами.

Аллен сделал отчаянную попытку побороть свою застенчивость.

— Никак не мог завести «форд», а то бы я на нем поехал.

— Так у вас есть машина? — Новость произвела впечатление.

— Да нет, просто старенький «фордик».

— Мы говорили... Мы с Розой говорили, что когда-нибудь, может быть, и у нас будет «форд». Вот тогда уж мы поедем повсюду! Я слыхала, как говорили очень богатые люди, что путешествовать очень приятно.

Словно завершая этот разговор, из-за холма показался потрепанный «фордик» и с грохотом двинулся им навстречу. Мария вцепилась в вожжи.

— Линдо, успокойся! — воскликнула она.

Линдо не обратил ни малейшего внимания ни на «форд», ни на Марию.

В машине были мистер и миссис Мэнро. Берт обернулся и, вытянув шею, посмотрел вслед телеге.

— О бог ты мой! Ты видела? — спросил он со смехом. — Видела этого старого греховодника с Марией Лопес?

Миссис Мэнро улыбнулась.

— Послушай-ка, — воскликнул Берт, — а славная вышла бы шутка, если бы мы сказали старушке Хьюнекер, что видели, как ее старикан катил вместе с Марией Лопес!

— И думать об этом не смей! — решительно возразила жена.

— Но шутка была бы славная. Ты ведь знаешь, какие вещи она про него рассказывает.

— Нет, нет, не надо, Берт!

А Мария все ахала, простодушно болтая со своим необщительным пассажиром.

— Вы никогда не заходите к нам попробовать наших энчилада. Таких энчилада больше нигде нет. Потому что, знаете, мы ведь учились у нашей мамы. Когда наша мама была жива, говорили, что до самого Сан-Хуана, даже до самого Гилроя нет никого, кто сумел бы так ровно и так тонко раскатать лепешки. Вы, верно, знаете, что для того, чтобы лепешка была вкусной и тонкой, ее надо раскатывать, все время раскатывать. А так долго, как наша мама, никто не катает, даже Роза. А сейчас я еду в Монтерей за мукой, она там дешевле.

Аллен Хьюнекер прижался к самому краю сиденья и с нетерпением ждал автобусной остановки.

Возвращалась Мария уже к вечеру.

— Скоро мы будем дома, — радостно сообщила она Линдо. — Смелей, дружок, теперь уже недалеко.

Мария сгорала от нетерпения. В порыве безумного мотовства она купила четыре леденцовые палочки, и это было еще не все. Она везла с собой подарок для Розы — пару широченных, вышитых маками шелковых подвязок. Она представляла себе, как Роза наденет подвязки и поднимет юбку — разумеется, чуть-чуть. Они поставят на пол зеркало и вдвоем будут смотреть на подвязки. Потом Роза встанет на цыпочки, и они расплачутся от счастья.

Во дворе Мария медленно выпрягла Линдо. Она знала, что чем больше оттягиваешь удовольствие, тем оно делается приятнее. Было тихо. Ни одной повозки, которая указывала бы на то, что в доме есть посетители. Мария повесила на место старую упряжь и вывела Линдо на пастби-

ще. Потом достала леденцы и подвязки и тихо вошла в дом.

Роза сидела за одним из столиков, молчаливая и сдержанная, мрачная, страдающая Роза. Глаза ее казались тусклыми и невидящими. Она сидела, положив перед собой на стол свои полные, сильные руки и стиснув кулаки. Когда в комнату вошла Мария, она не обернулась и ничем не показала, что видит ее. Мария замерла на месте и уставилась на сестру.

— Роза,— заговорила она робко,— я приехала, Роза. Та медленно повернула к ней голову.

— Да,— сказала она.

— Ты нездорова, Роза?

Взгляд потускневших глаз вновь обратился к столу.

— Нет.

— Я привезла тебе подарок, Роза. Посмотри-ка.

Она протянула ей ослепительные подвязки.

Медленно, очень медленно Роза перевела взгляд на роскошные красные маки, а потом взглянула в лицо Марии. Мария уже готова была издать восторженный вопль. Роза потупила глаза, и две крупные слезы покатались вниз по впадинкам у носа.

— Роза, ты видишь, что я тебе купила? Они тебе не понравились? Ты не хочешь примерить их, а, Роза?

— Ты моя маленькая славная сестренка.

— Роза, скажи мне, что случилось? Ты нездорова. Ну, ты ведь должна рассказать своей Марии. У нас кто-нибудь был?

— Был,— глухо ответила Роза.— Шериф был.

Мария так разволновалась, что затрещала без умолку.

— Так, значит, шериф приходил? Ну, теперь наши дела пойдут отлично. Теперь уж мы будем богаты. А сколько энчилада, Роза? Скажи мне, сколько он заказал энчилада?

Роза стряхнула с себя оцепенение. Она подошла к Марии и обняла ее по-матерински.

— Бедная моя сестренка! — сказала она.— Мы больше не будем продавать энчилада. Нам опять придется жить по-старому, и у нас не будет новых платьев.

— Ты с ума сошла! Почему ты так странно со мной говоришь?

— Это все правда. У нас был шериф. «Поступила жалоба,— сказал он,— люди жалуются, что вы открыли нехороший дом». — «Это ложь,— ответила я,— ложь и оскорбление для нашей матери и для генерала Валлехо». —

«Мне подана жалоба,— говорит он,— вы должны никого к себе не пускать, или я арестую вас за содержание нехорошего дома».— «Но это же ложь»,— говорю я и пытаюсь все объяснить ему. А он снова: «Сегодня днем мне подана жалоба. А когда я получаю жалобу, я уже ничего не могу поделать. Потому что, видишь ли, Роза,— говорит он мне с дружеским видом,— я всего лишь слуга людей, подающих жалобы». А теперь ты сама видишь, Мария, сестренка моя, что нам снова придется жить по-старому.

Оставив потрясенную Марию, она вернулась к своему столу. С минуту Мария пыталась собраться с мыслями и вдруг горько разрыдалась.

— Успокойся, Мария, я уже обо всем подумала. Ты знаешь, нам и вправду придется голодать, если мы перестанем продавать энчилада. Не суди меня слишком строго за то, что я сейчас скажу тебе. Я твердо решилась. Вот что, Мария. Я поеду в Сан-Франциско и стану там скверной женщиной.

Голова ее склонилась на лежащие на столе полные руки.

Рыдания Марии утихли. Она на цыпочках подкралась к сестре.

— За деньги? — прошептала она с ужасом.

— Да,— горько плача, ответила Роза.— За деньги. За целую кучу денег. И пусть простит меня все милостивейшая Мадонна!

Мария отошла от нее и, поспешив в прихожую, остановилась перед фарфоровым изображением Мадонны.

— Я ставила свечи,— говорила она плача.— Я каждый день приносила цветы. Святая Мадона, чем мы тебе не угодили? Как могла ты допустить такое?!

Потом она опустилась на колени и прочитала пятьдесят «Аве Мария!» Перекрестившись, она встала с колен с напряженным, но решительным лицом.

В соседней комнате Роза все еще сидела, склонившись над столиком.

— Роза,— громко сказала Мария.— Я сестра твоя. Я то же, что и ты.— Она с трудом глотнула воздух.— Роза, я поеду с тобой в Сан-Франциско и тоже стану скверной женщиной.

И тут самообладание покинуло Розу. Она встала со стула и раскрыла свои мощные объятия. Обнявшись, сестры Лопес долго плакали навзрыд.

VIII

Молли Морган сошла с поезда в Салинасе и почти час ждала автобуса. Большая машина была пуста: в ней ехали только шофер и Молли.

— Знаете, я никогда еще не бывала в Райских Пастбищах,— сказала она.— Далеко это от шоссе?

— Около трех миль,— ответил шофер.

— А найду я там машину до самых Пастбищ?

— Нет, если только вас кто-нибудь не встретит.

— Но как же туда добираются?

Шофер с явным удовольствием проехал по распростертому на дороге кролику.

— Я только мертвых давлю,— пояснил он виновато,— а тех, что попадают в свет фар, стараюсь как-нибудь объехать.

— Я понимаю, но как же мне все-таки добраться до Райских Пастбищ?

— Не знаю я. Наверно, пешком. Все пешком ходят, если их не встречают.

Когда он высадил ее у проселка, Молли Морган уныло подняла свой чемодан и зашагала в сторону холмов. Но вот, поравнявшись с нею, скрипнул тормозами старый фордовский грузовичок.

— В долину, мэм?

— Да, да, в долину.

— Тогда садитесь. Да вы не бойтесь. Я Пэт Хамберт. У меня свой дом в Пастбищах.

Молли бросила взгляд на запыленного человека, сидящего за рулем, и приняла приглашение.

— Я ваша новая учительница. То есть я надеюсь, что буду здесь учительницей. Вы не знаете, где живет мистер Уайтсайд?

— Ну еще бы, я как раз в ту сторону еду. Он у нас председатель попечительского совета. Сам я, знаете ли, тоже в совете. Мы там все гадали, какая вы...— Он вдруг смутился и покраснел под слоем пыли.— То есть я, конеч-

но, хотел сказать, что вы собой представляете. С той учительницей мы, откровенно говоря, намаялись. Работала-то она хорошо, но уж больно часто болела. Да и нервная была. А потом и вовсе ушла из-за своих болезней.

Молли пощипывала кончики пальцев на перчатках.

— В письме, которое я получила, сказано, чтобы я зашла к мистеру Уайтсайду. Он как, ничего?.. Ах, я что-то не то говорю. Я хотела спросить, что он за человек?

— О, вы с ним отлично поладите. Он славный старик. Родился в том самом доме, в котором и сейчас живет. И в колледже, как вы, учился. Хороший человек. Вот уже больше двадцати лет председатель попечительского совета.

Выйдя из машины у большого старинного дома Джона Уайтсайда, Молли испугалась по-настоящему.

«Ну вот, сейчас начнется,— подумала она.— А чего бояться-то? Что он мне сделает?»

Молли было девятнадцать лет, и она понимала, что предстоящий разговор о ее первой работе — важнейшее событие ее жизни.

На пути к дому она несколько не успокоилась. Дорожка пролежала между аккуратными маленькими клумбочками, которые были обсажены подстриженными кустиками, и казалось, тот, кто их сажал, сделал им предупреждение: «Растите и размножайтесь, но не растите слишком высоко и не размножайтесь слишком обильно, а пуще всего остерегайтесь выбегать на дорожку». Во всем здесь чувствовалась твердая рука — направляющая и исправляющая.

Большой белый дом выглядел очень внушительно. Желтые деревянные жалюзи были опущены, чтобы лучи полуденного солнца не проникали в комнаты. Когда Молли дошла до половины дорожки, она увидела веранду — теплую, широкую, приветливую, словно объятия.

«Вот посмотришь на крыльцо — и сразу скажешь, гостеприимный дом или нет. А что, если бы дверь была малюсенькая, а крыльца и вовсе не было?» — мелькнуло у нее в голове. Но, невзирая на радушие широких ступеней и большой парадной двери, робость не оставляла ее. Она позвонила. Дверь отворилась; перед Молли стояла крупная спокойная женщина и с улыбкой глядела на нее.

— Надеюсь, вы ничего не продаете,— проговорила миссис Уайтсайд.— Я вечно покупаю то, что мне не нужно, а потом ем себя поедом.

Молли рассмеялась. Она вдруг почувствовала себя очень счастливой. До этой минуты она и сама не знала, как она боится.

— О нет! — воскликнула она. — Я новая учительница. В письме сказано, что со мной будет беседовать мистер Уайтсайд. Можно мне его увидеть?

— Конечно. Он как раз кончает обедать. А вы уже обедали?

— Да, конечно. То есть нет.

Миссис Уайтсайд хмыкнула и, пропуская ее в дверь, сказала:

— Приятно услышать столь определенный ответ.

Она провела Молли в большую столовую, где вдоль стен стояли серванты из красного дерева. Квадратный стол был заставлен тарелками.

— О, Джон, должно быть, уже пообедал и ушел. Садитесь, милая барышня. Сейчас я принесу жаркое.

— Нет, что вы! Благодарю вас, право же не надо. Я только поговорю с мистером Уайтсайдом и сразу уйду.

— Садитесь, садитесь. Надо же вам сперва подкрепиться.

— А он что — очень крут?.. Я имею в виду... с новыми учителями?

— Ну, это уж смотря по обстоятельствам, — ответила миссис Уайтсайд. — Если он не отобедал, он прямо зверь и страшно на них кричит. А если он только что из-за стола — свиреп, но в меру.

Молли радостно рассмеялась.

— У вас, конечно, есть дети, — сказала она. — Вы воспитали много-много детей и любите их.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Нет, это меня воспитал ребенок. Всего один ребенок. Да еще как воспитал! Где уж мне было с ним справиться. А сейчас он занялся воспитанием коров, вот бедняги. Нет, плохо у меня получилось...

Когда Молли поела, миссис Уайтсайд распахнула боковую дверь и сказала:

— Джон, к тебе пришли.

Она подтолкнула Молли через порог, и та очутилась в комнате, похожей на библиотеку, — там стояли большие шкафы, набитые старинными, толстыми, уютными книгами в переплетах с золотым тиснением. Но комната была также и гостиной — там был кирпичный камин с полочкой из красной черепицы, и на ней стояли разные диковинные вазы. Над камином висела на гвозде большая пенковая трубка, словно ружье на ремне. Возле камина стояло несколько старинных, обитых кожей и украшенных кистями кресел.

качалок с пружинными сиденьями. Кресла были не простые — они звенели и пели, когда кто-нибудь в них качался. И наконец, комната эта была и кабинетом — там стояла старомодная конторка с крышкой на роликах, а за ней сидел Джон Уайтсайд. Когда он поднял голову, Молли подумала, что никогда в жизни не видела таких добрых и в то же время строгих глаз и таких белых волос. Белые-белые, будто даже голубоватые, шелковистые волосы — целая копна.

— Меня зовут Молли Морган, — чинно представилась Молли.

— Да, да, мисс Морган, я ждал вас. Может быть, вы присядете?

Она села в одну из качалок, и пружины застонали, словно в сладкой муке.

— Люблю эти кресла, — сказала она. — Когда я была маленькой, у нас было одно такое. — Тут она подумала, что ведет себя глупо. — Я пришла поговорить с вами относительно места учительницы. В письме сказано, чтобы я к вам зашла.

— Вы напрасно так волнуетесь, мисс Морган. Я уже много лет беседую с каждым новым учителем и до сих пор, — он улыбнулся, — понятия не имею, как это делается.

— О... я очень рада, мистер Уайтсайд. Я никогда еще не устраивалась на работу. Я, правда, струсил.

— Так вот, мисс Молли Морган, насколько я понимаю, цель нашей беседы состоит в том, что я должен хоть немного познакомиться с событиями вашей прошлой жизни и составить себе о вас какое-то представление. Предполагается, что к концу разговора я уже буду кое-что знать о вас. Ну, а теперь, когда вам известны мои намерения, думаю, вы будете молодцом и постараетесь произвести на меня хорошее впечатление. Мне кажется, если вы просто немного расскажете о себе, то это и будет как раз то, что нужно. Всего несколько слов, что вы за девушка и откуда к нам приехали.

Молли торопливо кивнула.

— Хорошо, я постараюсь, мистер Уайтсайд.

И она стала вспоминать.

Старый, грязный, некрашенный дом; со двора широкое крыльцо, к перилам приставлены круглые лохани. Взобравшись на высокую иву, два ее брата, Джо и Том, кричат друг другу: «Теперь я орел!» — «А я попугай!» — «А я

петух!» — «Гляди!» Приоткрывается дверь, и с усталым видом выглядывает мать. Сколько бы она ни причесывалась, волосы у нее никогда не лежат гладко. Выбившиеся из прически густые пряди свисают по щекам. У нее всегда покрасневшие глаза, а руки в глубоких трещинах.

— Том! Джо! — кричит она. — Вы там расшибетесь. Ну зачем вы меня так пугаете? Неужели вы совсем не любите свою маму?

Голоса на дереве смолкают. Шумливая отвага «орла» и «петуха» задавлена угрызениями совести. Молли сидит в пыльном дворике и обматывает тряпкой палку. Она старается представить себе, что это высокая леди в платье.

— Молли, иди посиди со мной. Я так устала сегодня. Молли втыкает палку в землю.

— Ну и выпорю же я вас, мисс, когда вернусь, — свирепо шипит она. Потом покорно уходит в дом.

Мать сидит на кухне в кресле с прямой спинкой.

— Подойди же ко мне, Молли, посиди со мной немножко. Люби меня, Молли. Люби хоть капельку. Ты ведь моя славная дочурка, верно?

Молли ерзает на стуле.

— Разве ты не любишь свою мамочку, Молли?

Девочка чувствует себя очень несчастной. Она знает, что сейчас мама начнет плакать и надо будет гладить ее по растрепанным волосам. И Молли и братья знают, что они должны любить свою маму. Ведь она сделала для них все, буквально все. Им стыдно, что они так не любят сидеть с ней, но они ничего не могут с собой поделать. Когда она зовет их, а они знают, что она их не видит, они делают вид, что не слышат, и, тихо перешептываясь, стараются удрать подальше...

— Ну что ж, пожалуй, надо начать с того, что мы были очень бедны, — сказала Молли Джону Уайтсайду. — Мне кажется, мы жили просто как нищие. У меня было два брата, чуть старше меня. Мой отец был коммивояжером, но маме все равно приходилось работать. Она страшно много работала, для того чтобы нас содержать.

Примерно раз в полгода происходило великое событие. Утром мама тихо выходила из спальни. Волосы ее были причесаны со всей возможной тщательностью, глаза сияли, она казалась счастливой и почти хорошенькой.

— Тише, дети. Папа приехал,— говорила она шепотом.

Молли и мальчики неслышно выскальзывали из дома и даже во дворе еще говорили шепотом. Новость быстро облетала соседние дома. Вскоре двор наполнялся ребятишками. Те тоже говорили шепотом.

— Говорят, их отец приехал.

— Это правда, что ваш папа приехал?

— А где он был в этот раз?

К полудню во дворе собиралось полным-полно ребят. Сгорая от нетерпения, они стояли маленькими группами и шикали друг на дружку.

И тут с шумом распахивалась кухонная дверь и во двор выскакивал отец.

— Эгей! — кричал он что есть мочи. — Эгей, детишки!

Молли и братья кидались к нему, жались к его ногам, а он хватал их на руки и подбрасывал, словно котят.

Тут же суетилась миссис Морган и взволнованно хлопотала:

— Дети, дети! Не изомните папе костюм.

А соседские ребятишки кувыркались и визжали от радости. Это было лучше всякого праздника.

— А что я вам покажу! — кричал отец. — Вот немного погодите и увидите, что я вам привез. А пока это секрет.

Когда страсти немного утихали, он выносил на крыльцо чемодан и открывал его. Там были такие подарки, каких ребята никогда в жизни не видывали: диковинные механические игрушки — умеющие ползать жестяные жучки, танцующие деревянные негры, чудесные экскаваторы, которыми можно было копать песок. Здесь были дивные стеклянные шарики, в самой серединке которых сидел медведь или собака. Отец привозил что-нибудь для каждого, для каждого несколько штук. Казалось, все большие праздники сгрудились в один.

Только к вечеру ребята немного успокаивались, и никто уж больше не взвизгивал ни с того ни с сего. Тогда Джордж Морган усаживался на ступеньку, а все садились вокруг него, и он рассказывал о своих приключениях. На этот раз он был в Мексике, в ту самую пору, когда там случилась революция. А кроме того, он побывал в Гонолулу, видел вулкан и катался на доске по волнам прибоя. И вечно города, и вечно люди, разные люди, и вечно приключения, тысячи забавных случаев, смешных-смешных. Рассказать все сразу было невыносимо. После школы они снова собирались, чтобы слушать, слушать без конца. По всему белому свету бродил Джордж Морган, собирая удивительные приключения.

— Что касается нашей семейной жизни,— проговорила мисс Морган,— я бы сказала, что у меня почти что не было отца. Ему редко когда удавалось вырваться домой из деловых поездок.

Джон Уайтсайд грустно кивнул.

Молли стала машинально разглаживать подол платья, взгляд ее затуманился.

Однажды он привез в коробке коротконогого лохматого щенка, который немедленно намочил на полу.

— А какой породы эта собака? — спросил Том с видом знатока.

Отец громко расхохотался.

До чего же он был молод! Казалось, что он моложе матери лет на двадцать.

— Это собачка на полтора доллара,— объяснил он.— На полтора доллара вы получаете целую бездну разных собачьих пород. Знаешь, на что это похоже? Представь себе, что тыходишь в кондитерскую и говоришь: «Дайте мне на пять центов мятных лепешек, тянучек и малиновой карамели». Ну, а я пошел и сказал: «Дайте-ка мне на полтора доллара собачьей смеси». Понял, какой породы эта собака? Она принадлежит Молли, и Молли должна придумать ей имя.

— Я назову ее Джордж,— сказала Молли.

Отец как-то чудно поклонился ей и сказал:

— Спасибо, Молли.

И все заметили, что на этот раз он не смеется.

На другой день Молли встала очень рано и повела Джорджа во двор, чтобы показать ему где что. Она раскрыла тайничок, где были спрятаны два пенса и золотая пуговица полицейского. Положив передние лапки щенка на забор, показала ему школу, которая виднелась в конце улицы. И наконец с Джорджем под мышкой полезла на иву. Из дома вышел Том и стал вертеться под деревом.

— Смотри не урони его! — крикнул он.

И в ту же минуту щенок вывернулся из-под руки и упал. Он глухо шмякнулся о твердую землю. Одна лапка неестественно изогнулась, и щенок завизжал протяжно, страшно, всхлиывая и задыхаясь. Молли слезла с дерева пришибленная, потрясенная. Бледный, с искаженным лицом, Том склонился над щенком, а Джордж, щенок, все визжал и визжал.

— Так нельзя! — закричал Том. — Нельзя! — Он бросился к поленнице дров и вернулся с топором.

Молли была так ошеломлена, что даже не отвернулась, но Том зажмурился перед тем, как ударить. Визг тут же умолк. Том отбросил топор и перескочил через изгородь. Молли увидела, как он кинулся бежать, словно за ним гнались по пятам.

В эту минуту из дома вышли Джо и отец. Молли и сейчас помнит, каким изможденным, худым и серым стало лицо отца, когда он увидел щенка. Молли посмотрела на него и заплакала.

— Я уронила его с дерева, и он расшибся, а Том ударил его, а после убежал...

Голос у нее был словно чужой. Отец прижал к себе голову девочки.

— Бедняга Том! — проговорил он. — Запомни, Молли, ты никогда не должна ни слова говорить ему об этом и не смотреть на него так, словно ты помнишь.

Он набросил на щенка рогожу.

— Надо будет устроить похороны, — сказал он. — Я вам рассказывал когда-нибудь о том, как я был на китайских похоронах, о бумажных цветах, которые подбрасывали в воздух, о толстых жареных поросятах на могиле? — Джо пододвинулся поближе, и даже в глазах у Молли мелькнуло любопытство. — А дело было так...

Молли взглянула на Джона Уайтсайда, и ей показалось, что он внимательно изучает какую-то бумажку на конторке.

— Когда мне было двенадцать лет, мой отец погиб при катастрофе, — сказала она.

Счастливая пора длилась обычно около двух недель. И неизбежно наступал такой день, когда Джордж Морган отправлялся в город и не возвращался оттуда до поздней ночи. Мать рано укладывала их спать, но они все равно слышали, как он входил в комнату, наталкиваясь на мебель, слышали его голос, доносившийся к ним сквозь стену. В такие ночи голос его звучал грустно и растерянно, — он никогда так не разговаривал. Дети лежали в постели, затаив дыхание, они знали, что все это значит. Наутро он уедет и унесет с собой их сердца.

Они без конца спорили, кто он такой. Их отец — сча-

стливый аргонавт, чудесный рыцарь. Добродетель, отвага и красота служили ему кольчугой.

— Когда-нибудь,— говорили мальчики,— когда мы вырастем, мы поедем с ним вместе и сами все увидим.

— Я тоже поеду,— решительно заявляла Молли.

— Да ты девчонка, тебе нельзя.

— Ну и что, он-то все равно разрешит мне. Сами знаете, что разрешит. Он заберет меня с собой, вот увидите.

Когда он уезжал, мать снова впадала в уныние и ходила с покрасневшими глазами. Она сварливо домогалась их любви, словно это был пакет, который они могли тут же сунуть ей в руки.

Как-то раз отец уехал и больше не вернулся. Он и раньше никогда не посылал им денег и даже не писал, но теперь он исчез совсем. Они ждали его два года, а потом мать сказала, что он, наверно, умер. Ребята похолодели при одной лишь этой мысли, но поверить в то, что это возможно, они отказались. Такой прекрасный и добрый человек, как их отец, не мог умереть. Он странствует и сейчас в каком-то неведомом краю. Есть веская причина, которая мешает ему к ним вернуться. Когда-нибудь эта помеха исчезнет, и он придет — в одно прекрасное утро он появится здесь с такими подарками да историями, каких еще никогда не бывало. Но мать сказала, что он, как видно, попал в аварию. И, наверно, погиб. Мать просто обезумела от горя. Она читала объявления, предлагавшие надомную работу. Ребята делали бумажные цветы и стыдливо пытались продавать их. Мальчики пробовали устроиться разносчиками журналов, семья голодала. В конце концов, когда терпеть было уже невозможно, мальчики убежали из дому и поступили во флот. После этого Молли видела их так же редко, как прежде отца, и они так изменились, стали такими шумливыми и грубыми, что ей и не хотелось видеть их чаще. Братья стали чужими.

— Я окончила среднюю школу, уехала в Сан-Хосе и поступила в учительский колледж. Работала прислугой у миссис Аллен Морит и получала за это комнату и еду. Моя мать умерла еще до того, как я окончила школу, так что я, пожалуй, сирота.

— Очень сочувствую вам,— пробормотал Джон Уайтсайд.

Молли вспыхнула.

— Я не хотела вызвать ваше сочувствие, мистер Уайтсайд. Но вы сказали, что хотите знать обо мне все. Каждый человек когда-нибудь становится сиротой.

— Совершенно верно,— кивнул он.— Думаю, в каком-то смысле я тоже сирота.

Молли работала, а взамен получала комнату и еду. Она делала все, что полагалось делать постоянной прислуге, но денег ей не платили. Деньги на одежду она откладывала, работая продавщицей во время летних каникул. Миссис Морит умела школить своих служанок.

«Я беру в услужение желторотую девчонку, которая и цента не стоит,— любила повторять миссис Морит,— и через полгода она уже может зарабатывать пятьдесят долларов в месяц. Многие женщины знают это и просто переманивают к себе моих девушек. Вот эта — первая студентка, которую я решилась нанять, и даже она делает заметные успехи. Она, правда, слишком много читает. Я всегда говорю, что в десять часов служанка должна уже спать, а то она не сможет как следует работать».

Метод миссис Морит заключался в том, что она без раздражения, но твердо пилила своих служанок за каждую мелочь. «Я не хочу к вам придираюсь, Молли, но, если вы не будете тщательнее вытирать серебро, на нем останутся разводы». «Нож для масла надо класть сюда, Молли. Тогда вот здесь вы сможете поставить бокал».

— Я каждый раз все обосновываю,— рассказывала она своим друзьям.

Вечером, вымыв посуду, Молли садилась на свою кровать и принималась за книги, а когда гасили свет, она ложилась и думала об отце. Это было смешно, она знала. Пустая трата времени, не больше... Отец входил в дверь — на нем был сюртук с закругленными полами, полосатые брюки и цилиндр. В руке он держал огромный букет красных роз.

— Я не мог приехать раньше, Молли. Одевайся скорее. Сейчас мы с тобой пойдем покупать то вечернее платье, что выставлено в витрине «Пруссии». Но надо спешить. Сегодня вечером мы едем в Нью-Йорк. Я уже взял билеты. Скорее, Молли! Что же ты стоишь, разинув рот?..

Это было так глупо. Ведь отец умер. Впрочем, в глубине души она не верила в это. Он где-то живет, его жизнь прекрасна, и когда-нибудь он вернется к ней.

Молли говорила одной из своих школьных подруг:

— Ты понимаешь, я и верю и не верю. Если я когда-нибудь узнаю, что он и вправду умер, это будет страшно. Просто не представляю, что со мной будет. Я и думать не хочу, что когда-нибудь узнаю точно, что его нет в живых.

Когда умерла ее мать, она не почувствовала ничего, кроме угрызений совести. Мать так хотела, чтобы дети ее любили, и не знала, как добиться этой любви. Она оттолкнула их от себя своей назойливостью.

— Ну вот и все как будто,— закончила Молли.— Я получила диплом, и меня послали сюда.

— Пожалуй, это самый ясный рассказ из всех, что мне приходилось выслушивать,— заметил Джон Уайтсайд.

— Значит, вы считаете, что я могу получить это место?

Старик бросил быстрый взгляд на большую трубку над каминной доской.

«Это его друг.— подумала Молли.— У них свои секреты».

— Да, я думаю, что вы получите эту работу. Я даже думаю, что вы ее уже получили. Ну, а где вы намерены жить, мисс Морган? Вам ведь надо найти себе где-нибудь комнату и пансион.

И прежде чем она поняла, что говорит, Молли выпалила:

— Я хочу жить здесь.

Джон Уайтсайд изумленно открыл глаза.

— Но мы никогда не брали постояльцев, мисс Морган.

— О! Мне очень жаль, что я это сказала. Но мне так понравилось у вас.

Он позвал:

— Уилла!

А когда жена его приоткрыла дверь, сказал ей:

— Эта молодая леди хочет поселиться у нас. Она наша новая учительница.

Миссис Уайтсайд нахмурилась.

— Вот уж не ожидала. Мы никогда не брали постояльцев. Она слишком хорошенькая, чтобы жить рядом с таким дуралеем, как Билл. Что станет с его коровами?хлопот не оберешься... Вы можете спать в третьей спальне наверху,— продолжила она, обращаясь к Молли,— только боюсь, она не очень солнечная.

Жизнь преобразилась. Молли вдруг поняла, что она королева. С первого же дня она завоевала восторженную

любовь учеников, потому что и сама их понимала и, что гораздо важнее, не препятствовала тому, чтобы они понимали ее. Она не сразу осознала, что стала важной персоной. Если в лавке двое фермеров затевали спор о чем-нибудь, касающемся истории, литературы или математики, и дискуссия заходила в тупик, они говорили:

— Давай-ка спросим учительницу. Если она не знает, то прочитает в своих книжках.

Молли очень гордилась, что может отвечать на их вопросы. Устраивали где-нибудь вечеринку — Молли приглашали помочь украсить помещение и советовались с ней насчет угощения и напитков.

— Мне кажется, надо всюду повесить сосновые ветки. Они такие красивые и так приятно пахнут. Пахнут праздником.

Считалось, что она все знает и во всем может помочь, и это очень ее радовало.

Дома, на кухне, она безропотно выполняла распоряжения ворчливой Уиллы. Когда прошло полгода, миссис Уайтсайд пожаловалась мужу:

— Если бы у Билла хоть чуть-чуть варила голова. Хотя... Если у нее хоть чуточку варит... — И она умолкла.

По вечерам Молли писала письма тем немногим подружкам, которые появились у нее в учительском колледже, письма, полные радости и разных историй из жизни ее соседей. Она должна присутствовать на всех вечеринках, чтобы поддерживать свой престиж. По субботам она уходит гулять в горы, приносит оттуда папоротник и дикие цветы и сажает их возле дома.

Билл Уайтсайд бросил на Молли один-единственный взгляд и тут же сбежал к своим коровам. Прошло много времени, прежде чем он решился вступить с ней в продолжительную беседу. Это был рослый и представительный молодой человек, не обладавший ни строгой добротой отца, ни смешливостью матери. Однако в конце концов он стал ходить за Молли следом и глядеть на нее издали.

Как-то вечером, полная чувства благодарности за свое счастье, Молли рассказала Биллу об отце. Они сидели на веранде на складных парусиновых стульях и ждали, когда взойдет луна. Она рассказала ему о редких приездах отца и о его исчезновении.

— Вы понимаете меня, Билл? — воскликнула она. — Мой отец, мой милый отец жив. Мой отец... Он жив. Ведь правда, Билл?

— Возможно,— ответил Билл.— Но судя по тому, что вы рассказываете, он довольно безответственный субъект. Вы уж меня простите, Молли... Опять же если он не умер, непонятно, почему он ни разу не написал вам.

Молли похолодела. Это были те самые доводы, которые она гнала от себя все эти годы.

— Да, конечно,— сказала она сухо.— Я понимаю. А теперь мне надо поработать, Билл.

На вершине одного из холмов, обступивших долину Райских Пастбищ, стояла старая хижина. Оттуда открывался вид на окрестности и близлежащие дороги. Рассказывали, что хижину эту построил разбойник Васкес и что он прожил в ней целый год, а в это время отряды полиции рыскали в поисках его по всей округе. Хижина была местной достопримечательностью. Рано или поздно каждый житель долины должен был на нее посмотреть. Молли то и дело спрашивали, побывала ли она в хижине.

— Еще нет,— отвечала она,— но я обязательно схожу. Как-нибудь в субботу. Я знаю, где тропинка.

Однажды утром она надела башмаки для прогулок и вельветовую юбку. Билл нерешительно подошел к ней и попросил разрешения ее сопровождать.

— Нет,— ответила она.— Вам надо работать. Разве можно отрывать вас от работы?

— А ну ее к чертям! — сказал Билл.

— И все же я пойду одна. Я не хочу вас обижать, Билл, мне просто хочется пойти одной.

Молли было жаль, что она не позволила ему пойти, но то, что он сказал об отце, ее напугало. «Я хочу, чтобы это было приключение,— думала она.— А если со мною пойдет Билл, никакого приключения не получится. Будет просто прогулка».

Полтора часа карабкалась она по крутой тропинке, которая вилась между дубами. Опавшие листья были скользкими, как стекло, безжалостно палило солнце. Воздух был напоен ароматом папоротников и влажного мха. Когда Молли наконец добралась до вершины, она вспотела и запыхалась. Хижина стояла на небольшой вырубке — бревенчатый домик, всего одна комната без окон. Дверной проем зиял чернотой. Здесь царила тишина, та гудящая тишина, когда лишь жужжат мухи и пчелы да цвиркают кузнечики. Весь горный склон негромко напевал, пригретый солнечными лучами. Молли на цыпочках приблизилась к хижине. Сердце ее бешено колотилось.

— Вот оно, приключение,— прошептала она.— Я в хижине Васкеса!

Она заглянула в дверь и увидела убежавшую ящерицу. Лба девушки коснулась паутина, словно пытаясь остановить ее. В хижине было пусто — лишь земляной пол да трухлявые бревенчатые стены и тот суховатый запах запустения, который издает земля, давно не видевшая солнца. Молли была сама не своя от волнения.

«Ночью он сидел здесь. Иногда ему казалось, что к хижине подкрадываются люди, он выходил из дверей, словно дух тьмы, и пропадал, растворялся во мгле». Она взглянула вниз, на долину Райских Пастбищ. Темно-зеленые квадраты садов, желтые хлеба, а позади — светло-коричневые, в лиловатой дымке горы. Между фермами висели и петляли дороги, здесь минуя поле, там огибая огромное дерево, тут — горный склон. Над всей долиной висело знойное марево.

— Просто не верится! — шептала Молли. — Чудо! Самое настоящее приключение!

Легкий ветерок поднялся над долиной и замер, как будто кто-то вздохнул во сне.

«А днем юный Васкес смотрел на долину так же, как смотрю теперь я. Он стоял на этом самом месте и глядел на дороги внизу. На нем был пурпурный жилет, расшитый золотыми галунами, брюки с раструбами книзу облегали его стройные ноги. Колесики на шпорах он обертывал шелковыми лентами, чтобы не звенели при ходьбе. Случалось, на дороге он замечал конный отряд полиции. По счастью, всадники ехали, опустив головы, и не глядели на вершины гор. Васкес смеялся, но ему было страшно. А иногда он пел. Тихие, печальные песни — он ведь знал — ему недолго жить».

Молли сидела на холме, подперев ладонями подбородок. Молодой Васкес стоял с нею рядом, у него было веселое лицо ее отца, его сияющие глаза — у отца такие бывали, когда он выскакивал на крыльцо и кричал: «Эгей, детишки!» И все это было словно одно из отцовских приключений. Молли стряхнула с себя оцепенение и встала. «Ну, а теперь надо вернуться к самому началу и снова все обдумать».

К вечеру миссис Уайтсайд послала Билла на розыски Молли. «Всякое бывает. А вдруг она вывихнула ногу?» Но едва только Билл свернул с дороги к тропинке, Молли вышла ему навстречу.

— А мы уже начали беспокоиться, что вы заблудились, — проговорил он. — Ходили смотреть хижину?

— Да.

— Смешная развалюха, верно? Самый обыкновенный старый сарай. Здесь, в долине, таких сколько угодно. Но вы не поверите, какая бездна народу таскается поглядеть именно на тот. И что самое смешное — никто не может поручиться, что сам Васкес хоть раз заглянул туда.

— Он там жил, я уверена!

— Почему вы так думаете?

— Не знаю.

Билл стал серьезным.

— Все считают Васкеса геросм, а на самом деле он просто вор. Начал с того, что воровал лошадей и овец, а потом стал грабить почтовые дилижансы. Да еще убил несколько человек. Мне кажется, Молли, что мы должны учить людей ненавидеть грабителей, а не поклоняться им.

— Конечно, Билл,— проговорила она устало,— вы совершенно правы. Ничего, если мы некоторое время помолчим? Я немного устала, и нервы что-то расходились.

Минул год. Вербы украсились пушистыми сережками, на склонах гор запестрели дикие цветы. Молли знала теперь, что в долине Райских Пастбищ она и нужна, и любима. Ее даже приглашали на заседания попечительского совета. В былые времена, когда эти загадочные и торжественные сборища проводились за закрытыми дверями, они вселяли во всех священный трепет. Но после того, как Молли допустили в гостиную Джона Уайтсайда, она узнала, что попечительский совет толкует о видах на урожай, рассказывает разные истории и незлобиво сплетничает.

Берт Мэнро, избранный в совет в начале осени, к весне стал самым деятельным его членом. Именно он предложил устраивать в здании школы танцевальные вечера, ему принадлежали все эти затеи с любительскими спектаклями и пикниками. Он даже назначил премии за лучшие табели. Члены попечительского совета возлагали на Берта Мэнро немалые надежды.

Как-то вечером Молли спустилась из своей комнаты с опозданием. Как и всегда во время заседаний совета, миссис Уайтсайд сидела в столовой.

— Я, пожалуй, не пойду туда сегодня,— сказала Молли.— Пусть разок побудут без меня. Мне иногда кажется, что, если бы меня там не было, они рассказывали бы какие-нибудь совсем другие истории.

— Идите, идите, Молли, что за выдумки! Разве они смогут заседать одни? Они к вам так привыкли, что пропадут без вас. К тому же я совсем не уверена, что им следует рассказывать эти свои другие истории.

Молли покорно постучалась и вошла в гостиную. Берт Мэнро, который что-то говорил в эту минуту, учтиво смолк.

— Я сейчас рассказывал о моем новом батраке, мисс Морган. Начну сначала, история забавная. Мне, видите ли, понадобился работник на сенокос, и я подобрал этого типа под мостом через Салинас. Он на ногах не стоял, но оказалось, что ему нужна работа. Сейчас, когда я его взял, я вижу, что толку с него, как с козла молока, но прогнать уже не могу. Этот весельчак исходил весь свет. Вы бы послушали, как он рассказывает о разных местах, где он был. Мои ребятишки не позволят мне его прогнать, даже если я захочу. Понимаете, увидит он какую-нибудь ерунду, а расскажет так, что просто чудо! Ребятишки сидят вокруг него развесив уши. А раза два в месяц он ходит в Салинас и запивает горькую. Он запойный. Тамошние полицейские как найдут его в канаве, так сразу мне звонят, чтобы приезжал за ним. И, верите, стоит ему очухаться, как у него в кармане всякий раз оказывается какой-нибудь подарок для моего сынишки Мэнни. С таким человеком ничего не сделаешь. Он тебя обезоруживает, хоть за целый месяц и на доллар не работает.

Молли почувствовала, что кровь стынет у нее в жилах. Мужчины хохотали:

— Очень уж ты жалостливый, Берт. Ты что, решил держать у себя шута на жалованье? Я бы от него быстро избавился.

Молли порывисто поднялась, ужаснувшись, что кто-нибудь вдруг спросит, как фамилия этого человека.

— Я что-то неважно себя чувствую сегодня,— сказала она.— Если вы не возражаете, джентльмены, я пойду к себе.

Мужчины встали и не сажались до тех пор, пока она не вышла из комнаты.

Наверху она бросилась на кровать и зарылась лицом в подушку.

— Какое-то сумасшествие! — шептала она.— Этого не может быть. Забудь об этом! — Она с ужасом заметила, что плачет.

Прошло несколько мучительных недель. Теперь Молли неохотно выходила из дому. Идя в школу и обратно, она не поднимала глаз. «Если я увижу незнакомого человека, я убегу. Но ведь это же глупо. Я просто дура». Лишь в своей комнате она чувствовала себя в безопасности. Из-

за постоянно терзавшего ее страха, она стала бледной, и глаза ее утратили свой блеск.

— Молли, вам надо лечь,— уговаривала ее миссис Уайтсайд.

Но Молли не хотела ложиться. Слишком много мыслей приходило ей в голову, когда она лежала в постели.

На следующем заседании совета Берта Мэнро не было. Молли немного успокоилась и повеселела.

— Вы уже поправляетесь, верно ведь, мисс Морган?

— Да, конечно, да. У меня был какой-то пустяк, что-то вроде простуды. Но, если бы я тогда себя не переси-лила, я бы могла расхвораться всерьез.

Они заседали уже целый час, когда в дверь вошел Берт Мэнро.

— Прошу извинить за опоздание,— сказал он.— Все та же история. Мой работничек уснул на улице в Салинасе. Сейчас отсыпается в машине. Завтра придется мыть ее шлангом.

У Молли сжалось горло. Какое-то мгновение ей казалось, что она упадет в обморок.

— Простите, я должна выйти! — выкрикнула она и бросилась вон из комнаты.

Она постояла в темном холле, прислонясь к стенке. Потом, медленно переставляя ноги, как заведенная, вышла из парадной двери и спустилась с крыльца.

Ночь была полна шорохов. На дороге смутно чернел автомобиль Берта Мэнро. Молли было странно, что ноги, словно сами собой, несут ее по тропинке.

— Ну вот, я сама себя убиваю,— сказала она.— Все бросаю на ветер. Зачем?

Вот ее рука уже на калитке, тянется, чтобы отворить ее. Внезапно легкий ветерок донес до нее резкую вонь. Она услышала пьяный храп. И тут словно какой-то вихрь пронесся у нее в голове. Молли резко повернулась и опрометью кинулась к дому. У себя в комнате она заперла дверь и села, застыв, словно каменная, тяжело дыша после бешеного бега. Ей казалось, что прошло несколько часов, прежде чем до нее донеслись голоса выходящих из дому людей. Заворчал мотор бертовского автомобиля и, постепенно стихая, замер вдали. Теперь, когда она могла выйти, силы оставили ее.

Когда Молли вошла в гостиную, Джон Уайтсайд что-то писал за конторкой. Он поднял на нее вопросительный взгляд.

— Вы нездоровы, мисс Морган. Вам нужен врач.

Она неуклюже, будто деревянная, встала с ним рядом.

— Вы могли бы найти мне замену? — спросила она.

— Ну, конечно. Укладывайтесь в постель, а я вызову врача.

— Вы меня не поняли, мистер Уайтсайд. Я хочу сегодня уехать.

— Что это вам пришло в голову? Вы ведь больны.

— Я говорила вам, что мой отец умер... Я не знаю, умер ли он. Я боюсь... я должна уехать сегодня.

Он внимательно поглядел на нее.

— О чем это вы? — мягко спросил он.

— Если я узнаю, что этот пьяница, который живет у мистера Мэнро... — Она умолкла, внезапно ужаснувшись тому, что собиралась сказать.

Джон Уайтсайд медленно склонил голову.

— Нет! — крикнула она. — Я этого не думаю. Нет, нет!..

— Мне бы хотелось чем-нибудь помочь вам, Молли.

— Я не хочу уезжать. Мне у вас так нравится... Но я боюсь. Это для меня очень важно.

Джон Уайтсайд встал, подошел к ней и обнял за плечи.

— Мне кажется, я не все понял, — сказал он. — Да я и не хочу понимать. Не нужно понимать. — Он словно разговаривал сам с собой. — Это было бы не совсем вежливо... понять...

— Когда я отсюда уеду, я смогу в это не верить, — всхлипывая, проговорила Молли.

Он на секунду крепко сжал ее плечи.

— Бегите-ка наверх и уложите свои вещи, Молли, — сказал он. — Сейчас я выведу машину и отвезу вас прямо в Салинас.

Одним из самых примечательных мест в Райских Пастбищах была ферма Реймонда Бэнкса. Ферма была поистине восхитительна. Реймонд держал пять тысяч белых кур и тысячу белых уток. Ферма располагалась в северной, самой красивой части долины. Реймонд разбил свой участок на правильные квадраты, которые засеивал люцерной и капустой. Свои курятники, приземистые и длинные, он белил так часто, что они всегда выглядели новенькими и безупречно чистыми. Птичьего помета, который на любой птицеводческой ферме непременно валяется целыми кучами, у Реймонда отродясь никто не видел.

Для уток Реймонд вырыл большой круглый пруд. Пруд был проточный. Вода текла в него из толстой железной трубы, а дальше растекалась по делянкам люцерны, бежала среди грядок упругой, крепкой капусты. И до чего же приятно было глядеть, как ярким солнечным утром тысячи белых чистеньких цыплят шныряли в темно-зеленой люцерне, добывая себе пропитание, а сотни белых уток величественно бороздили водную гладь. Утки двигались тяжеловесно, огромные, как Левиафаны, а на ранчо слышалось бойкое кудахтанье кур.

С вершины ближнего холма открывался вид на ровные зеленые прямоугольники люцерны, где, словно белые пушинки, сновали куры и цыплята. А порой вдруг краснохвостый ястреб зависал в вышине, пристально наблюдая за фермой Реймонда. Белые пушинки мгновенно прекращали свою беспорядочную суету. Куры стремительно спасались бегством, воздух оглашал отчаянный писк перепуганных цыплят. С грохотом захлопнув за собой дверь, Реймонд с ружьем в руках выскакивал из дома. Ястреб взмывал на сотню футов вверх и улетал восвояси. Белые стайки цыплят снова рассыпались по полям в поисках пропитания. Зеленые прямоугольники были отгорожены друг от друга, так что пока один участок, как говорят фермеры, «отдыхал», куры ородовали на другом. С горы виднелся и побеленный дом Реймонда, он стоял на опуш-

ке дубовой рощи. Возле дома росло множество цветов: ноготки обыкновенные, африканские бархатцы и флоксы, высокие, как деревья.

За домом располагался огромный розовый сад, прямо-таки настоящий розарий,— единственный в этих местах сад, действительно заслуживающий такого названия. Все в округе гордились фермой Реймонда,—она считалась образцовой.

Реймонд Бэнкс был очень силен. Толстые короткие руки, широкие плечи, массивные ноги и даже заметное под комбинезоном брюшко создавали облик силача, который все может — и подтолкнет, как следует, и вытянет, и подымет. Кожа его загорела до красноты — и открытые плечи, и локоть тяжелые руки, и шея, насколько позволял расстегнутый ворот, и лицо основательно обгорели и потрескались. Загорела даже голова под редкой белобрысой шевелюрой. У Реймонда были удивительные глаза. Обычно если брови и волосы светлые, то глаза бывают голубыми, а у Реймонда глаза были черные, как сажа. Толстые, чувственные губы и злодейский крючковатый нос. Солнце с какой-то особой яростью обрушивалось на его нос и уши. По крайней мере круглый год они у него были облезшие и обгорелые.

Реймонду Бэнксу было тогда около сорока пяти. Человек необычайно веселого нрава, он никогда не разговаривал тихо. В его крикливом голосе странно сочетались ярость и ирония. Что бы он ни говорил, даже самые обычные вещи, всегда это получалось смешно. Стоило ему раскрыть рот, и все начинали смеяться. Когда в здании школы праздновали Рождество, Реймонда неизменно выбирали Санта Клаусом из-за того, что голос у него был звучный, лицо красное и, самое главное, он очень любил детей. Он обрушивал на детишек такой мощный поток яростной брани, что они просто умирали от смеха, даже если на нем и не было красного одеяния Санта Клауса. Видимо, и дети считали его своего рода Санта Клаусом. Он швырял их в разные стороны, боролся с ними, колотил их, но колотил как-то ласково, так что они приходили в неопишуемый восторг. А иной раз он говорил с ними серьезно и говорил такое, что стоило намотать на ус.

Время от времени, чаще всего в субботу утром, мальчишки отправлялись на ферму Бэнкса посмотреть, как Реймонд работает. Он позволял им наблюдать за работой в маленькие окошечки инкубаторов. Случалось им видеть

и только что вылупившихся цыплят, которые отряхивали влажные крылышки и неуклюже ковыляли на слабеньких ножках. Реймонд разрешал ребятам брать их в руки целыми пригоршнями. Цыплята пищали, словно сотня несмазанных колесиков. А потом гости отправлялись к пруду и кормили уток, с важным видом бороздящих водную гладь. Но больше всего ребятам нравилось смотреть, как Реймонд режет кур. И вот что странно: когда Реймонд собирался резать кур, он переставал болтать и шутить и сразу делался очень серьезным.

Реймонд брал петушка и подвешивал его за ноги к деревянной раме. Петух отчаянно хлопал крыльями, тогда Реймонд связывал крылья. Тут же на ящике лежал острый нож. Этот нож, по форме напоминающий копье, с острым, как игла, кончиком, приводил ребятишек в настоящее восхищение.

— Ну, старина, пришел твой черед,— говорил Реймонд.

Мальчишки сбивались в кучу, чтобы лучше видеть. Быстрым, уверенным движением Реймонд хватал петушка за голову, раскрывал ему клюв и молниеносно вводил кончик ножа прямо в мозг. Скрученные проволокой крылья вздрагивали и колотились. Несколько секунд петух конвульсивно дергал шеей, с клюва стекал тоненький ручеек крови.

— Теперь смотрите! — восклицал Реймонд. Растопырив пальцы, он проводил рукой по груди петушка и одним махом выдергивал все перья. Еще одно движение — и нет перьев на спине. Крылья хлопают уже устало. Вот Реймонд очистил от перьев и крылья, осталось совсем немного, разве что на кончиках. Потом оголяются ноги — по одному движению на каждую.

— Смотрите! Все нужно делать быстро,— объяснял он.— Первые две минуты перья держатся слабо. Если их не вытащить сразу, потом придется повозиться.

Он снимал петушка с рамы, делал два надреза другим ножом, вытаскивал внутренности и бросал их в кастрюлю. Потом вытирал тряпкой окровавленные руки.

— Ой, гляди! — вопили мальчишки.— А это что такое?

— Это сердце.

— Глядите! Оно еще бьется. Оно еще живое.

— Да ничего оно не живое,— спокойно объяснял Реймонд.— Петушок этот помер в ту самую секунду, когда

я ножом проткнул ему мозги. Сердце пока еще бьется, а сам петушок давно мертвый.

— А почему вы не отрубаете им голову, как мой папа, мистер Бэнкс?

— Да потому, что так быстрее и чище, да и мясники предпочитают, чтобы голова была на месте. Она для весу им нужна, понятно? Ну, пойдика сюда, старина.

Он засовывал руку в клетку и вытаскивал следующую жертву, которая отчаянно билась в его руках. Зарезав последнего петушка, Реймонд вынимал из кастрюли петушиные зобы, раздавал их ребятам, объясняя при этом, как их вымыть и надуть, чтобы получились воздушные шарики. Когда Реймонд говорил о своей ферме, он всегда был очень серьезен. Он не давал никому из ребят помогать ему резать петушков, хотя его много раз просили об этом.

— Вот вы занервничаете,— говорил он.— И воткнете ножик куда-нибудь не туда, а петушку будет больно.

Миссис Бэнкс много смеялась — звонким, рассыпчатым смехом, временами просто так, без причины. Она смеялась, как бы предвкушая нечто забавное, и, чтобы оправдать ее ожидания, при ней все старались сказать что-нибудь смешное. Закончив работу по дому, она копалась в цветнике. Горожанка — вот и любит цветы, говорили соседи. Гостей, подъезжавших к дому, неизменно встречал высокий звонкий смех Клео Бэнкс, и, услышав его, они сами начинали смеяться. В ее обществе все чувствовали себя раскованно и свободно. Никто не помнил, чтобы она когда-нибудь что-нибудь говорила, но даже через несколько месяцев люди отчетливо вспоминали все модуляции ее смеха.

А вот Реймонд Бэнкс, напротив, смеялся редко. Он, можно сказать, не смеялся вообще, зато всегда ходил с нарочито угрюмым видом, который принимали за проявление своеобразного чувства юмора. Ни к кому так часто не ездили в гости жители долины, как к ним. Время от времени Бэнксы приглашали всех жителей Райских Пастбищ на пикник, который устраивали в дубовой роще у своего дома. Они жарили цыплят на углях из дубовой коры и выставляли целые батареи бутылок домашнего пива. В долине любили эти пирушки — их ждали загодя, а после долго с удовольствием их вспоминали.

Когда Реймонд Бэнкс учился в школе, он дружил с одним мальчиком, который впоследствии стал начальником тюрьмы в Сан-Квентине. Дружба эта не прервалась.

Они писали друг другу, если случалось что-то важное, а на Рождество обменивались какими-нибудь пустячными подарками. Реймонд гордился, что знаком с начальником тюрьмы. Раза два-три в год тот приглашал его в Сан-Квентин посмотреть на казнь какого-нибудь преступника. Реймонд всегда принимал такого рода приглашения. Эти поездки были единственным развлечением, которое он себе позволял.

Приезжать в Сан-Квентин Реймонд любил с вечера. Старые друзья долго беседовали, вспоминали школу, пересказывали друг другу случаи, всегда одни и те же, которые оба превосходно помнили. А на следующее утро Реймонд отправлялся в тюрьму и со странным удовольствием погружался в ту атмосферу приглушенной истерии, которая неизменно сопровождает совершение смертной казни. Медленное шествие осужденного к месту казни рождало в его душе какое-то трепетное чувство, доставляющее острое наслаждение. При этом главным была не сама казнь — его захватывала волнующая атмосфера всей процедуры в целом. Это было, как в церкви, только еще более торжественно, печально, подчинено трагическому ритуалу. Все это вместе вызывало у него ощущение полноты своего бытия, благоговейное чувство, с которым ничто не могло сравниться. Об осужденном Реймонд думал не больше, чем о цыпленке в тот момент, когда протыкал ему ножом мозги. В этом не было ничего похожего на жестокость, никакого смакования чужих страданий. Совсем не это заставляло его посещать такого рода зрелища. Просто у него развилась тяга к сильным потрясениям, а скудное его воображение неспособно было ее напитать. В тюрьме же перед казнью, когда у всех присутствующих нервы натянуты, он переживал то же, что и остальные... Если бы он оказался в камере смертника один и никого, кроме осужденного и палача, с ним рядом не было, на него это не произвело бы ни малейшего впечатления.

После исполнения смертного приговора все собирались в кабинете начальника тюрьмы. Эти сборища доставляли Реймонду огромное удовольствие. У всех вокруг нервы были взвинчены до предела, они старались шутками и бурным весельем восстановить утраченное душевное равновесие. Они резвились и ликовали, как дети, они шумели куда больше, чем обычно. С уничтожающей иронией относились они к случайному посетителю — обычно это был какой-нибудь молодой репортер, который терял сознание

или со слезами на глазах выбегал из камеры. Реймонду нравилось буквально все. Он чувствовал себя живым, все его ощущения становились острее.

После этого следовал отличный обед у его друга, начальника тюрьмы, а затем он возвращался домой. Нечто похожее, только слабее, Реймонд испытывал, когда ребяташки смотрели, как он режет кур. Ему передавалось их волнение.

Вскоре после того как Мэнро переехали в Райские Пастбища, они прослышали о замечательном ранчо Реймонда Бэнкса. Прослышали они и о его поездках в тюрьму. Жителей долины интересовало, интриговало и порядком пугало то, что человек время от времени отправляется поглазеть, как кого-то вешают. До того как Берт Мэнро увидел Реймонда, тот представлялся ему типичным палачом, таким долговязым, темным, холодным и бесстрастным, с тусклыми, холодными глазами. Самая мысль о Реймонде вызывала у Берта предчувствие чего-то необычного.

Когда же он наконец встретил Реймонда Бэнкса, увидел его веселые, черные глаза, его спокойное, здоровое, загорелое лицо, Берт разочаровался и в то же время почувствовал отвращение. Здоровье и добросердечие Реймонда уже сами по себе казались неуместными и почему-то непристойными. В его благодушии и любви к детям было нечто неподобающее.

Первого мая Бэнксы устроили очередное пиршество в дубовой роще. Стояла чудная пора, на склонах гор среди свежей травы пестрели люцины и лесные фиалки. Дубы покрылись свежей листвой, блестящей и чистой, словно их только что помыли. Солнце пригревало уже достаточно сильно, и в воздухе стоял запах полыни. Птицы в полнейшем упоении весело щебетали. Из птичников доносилось довольное квохтанье кур и скептическое криканье уток.

Возле длинных столов под дубами собралось не менее пятидесяти человек. Сотни бутылочек домашнего пива стояли в лоханях, наполненных солью и льдом — смесь настолько холодная, что пиво у горлышек промерзло. Миссис Бэнкс расхаживала среди гостей, смеялась, приветствуя их или выслушивая приветствия. Она почти ничего не говорила. Реймонд жарил цыплят в ямах на вертелах. Его окружали восхищенные зрители, сопровождавшие процедуру шутивными советами.

— Если кто-нибудь может приготовить цыпленка луч-

ше, чем я, пожалуйста, милости просим,— кричал Реймонд.— Сейчас поджарю бифштексы для тех ненормальных, которые не едят цыплят.

Неподалеку стоял Берт Мэнро и внимательно следил за красными руками Реймонда. Он отхлебывал из бутылочки крепкое пиво. Берта заворожили сильные красные руки, ворочавшие вертела с цыплятами.

Когда большие, плоские блюда с жареными цыплятами понесли к столам, Реймонд вернулся к жаровне, чтобы поджарить еще цыплят на случай, если кто-нибудь из гостей захочет отведать второго, а то и третьего цыпленка. Реймонд был сейчас в одиночестве, потому что вся публика столпилась у столов. Берт Мэнро, который ел в это время бифштекс, поднял голову и увидел, что Реймонд сидит один у жаровни. Он отложил вилку и направился к нему.

— Что случилось, мистер Мэнро? Несудачный цыпленок попался? — озабоченно спросил его Реймонд.

— Я ел бифштекс, он был отличный. Не беспокойтесь, я просто быстро ем. А цыплят я не ем вообще.

— Да что вы? Вот уж никогда не мог понять, как это люди могут не есть цыплят, но я слышал, что таких довольно много. Тогда позвольте вам еще один бифштекс, совсем маленький.

— Нет, я уже сыт. Я считаю, люди вообще слишком много едят. Из-за стола надо выходить несмного голодным. Тогда всегда будешь в форме, вот как звери, например.

— Пожалуй, это верно,— сказал Реймонд, поворачивая над огнем тушки цыплят.— Я заметил, что чувствую себя лучше, когда ем не очень много.

— Ну, конечно. И я тоже. И каждый, наверно. Мы вообще слишком много едим.

Они дружелюбно улыбнулись друг другу, поскольку достигли согласия в этом вопросе, хотя оба не очень-то в эту истину верили.

— Вам достался хороший участок,— сказал Реймонд, стремясь упрочить их только что возникшую дружбу еще одним утверждением, в котором они тоже могли достигнуть взаимного согласия.

— Да уж не знаю. Говорят, там какая-то нечисть водится, но я пока что ничего такого не встречал.

Реймонд засмеялся.

— Да у нас тут все твердили, что на этой ферме обитают привидения, пока вы не приехали и не привели ее в порядок. А призраков вы еще не видели, а?

— Ни разу. Не так я боюсь призраков, как астрагала¹. Вот его я просто не выношу.

— Я вас, пожалуй, понимаю. Сам-то я кур развожу, так что меня это не очень беспокоит, но вот кто скотину держит — им же это просто наказание!

Берт поднял кусочек мяса и аккуратно положил его на тлеющие угли.

— Я слышал, вы знакомы с начальником тюрьмы в Сан-Квентине.

— Да, мы с ним друзья. Еще в школе вместе учились. А вы знакомы с ним, мистер Мэнро?

— Не... нет. Так, время от времени читаю о нем в газетах. О человеке, занимающем такой пост, довольно часто пишут в газетах.

— Да уж,— сказал Реймонд, с гордостью и очень серьезно.— Паблисити у него хватает. Но он славный парень, мистер Мэнро, очень славный, я редко видел таких. И веселый такой, компанейский, притом что у него на руках все эти заключенные. Поговорите с ним, так вам и в голову не придет, какая на нем лежит ответственность.

— В самом деле? Странно. Я вот что имею в виду: если уж на нем, как вы говорите, лежит такая ответственность, он должен был бы выглядеть... ну, более озабоченным. Часто вы с ним видитесь?

— В общем... да, часто. Я говорил вам, мы с ним вместе учились в школе. Так вот, он меня не забыл. Время от времени приглашает к себе в тюрьму, когда там кого-нибудь вешают.

Берт внутренне содрогнулся, хотя именно к этому он и вел разговор.

— В самом деле?

— Да. По-моему, это большая честь. Не так-то много народу туда пускают, только репортеров и официальных лиц: шерифов там, полицейских. Ну, а кроме того, конечно, каждый раз, как я еду в тюрьму, Эд принимает меня у себя, и хорошо принимает.

Странная вещь случилась с Бертом. Ему казалось, он отделился от своего тела. Голос его звучал как бы сам по себе, помимо его воли. Он услышал, как говорит: «Начальнику тюрьмы, наверно, не понравится, если вы привезете с собой приятеля». Он с удивлением услышал свои слова. Произносить их он совсем не собирался.

¹ Астрагал — растение, произрастающее в Сев. Америке, ядовитое для скота.

Реймонд принялся энергично помешивать угли. Он был явно смущен.

— Право, не знаю, мистер Мэнро. Никогда об этом не думал. А вам, что, хотелось бы туда съездить?

И снова голос Берта заговорил сам по себе.

— Да,— сказал он.

— Ладно, тогда, знаете, что я сделаю. Я напишу Эду письмо. Я довольно часто ему пишу, понимаете, так что письмо это его не удивит. А в письме я намекну, что мол, вы хотели бы приехать. Тогда, может, на следующий раз он пришлет два приглашения. Хотя обещать я, конечно, ничего не могу. Не хотите ли еще кусочек мяса?

Берт почувствовал, как к горлу подступает тошнота.

— Нет. Я сыт,— сказал он.— Я неважно себя чувствую. Пойду-ка я, пожалуй, прилягу под деревом.

— Может, мистер Мэнро, к вам в стакан дрожжи попали, когда вы это пиво встряхивали: вы наливайте его осторожно.

Берт опустился на потрескивающие сухие листья под дубом. Справа от него стояли столы, окруженные шумной толпой гостей. Хриплый смех мужчин и кокетливые возгласы женщин едва доносились до сознания: слишком занят он был собственными мыслями. За деревьями мелькал Реймонд Бэнкс: он все расхаживал между ямками, где жарились мясо и цыплята для тех, кто еще не утолил свой непомерный аппетит. Тошнота, заставившая его сбежать от Реймонда, мало-помалу превращалась в нечто иное. Удушающе болезненное ощущение сменилось бурным, рвущим все препоны желанием. Это чувство ошеломило и встревожило Берта. Он не хотел ехать в Сан-Квентин. Для него невыносимо смотреть, как вешают какого-то человека. Но он был рад, что попросился в эту поездку. И эта радость тревожила его. Берт смотрел на Реймонда: тот закатал повыше рукава на своих красных толстых ручищах и собирался чистить решетки. Берт вскочил и бросился было к нему. И тут вдруг снова поднялась тошнота. Он круто повернулся и зашагал к столу, заваленному обглоданными цыплячьими костями, где его супруга вещала кокетливым пронзительным голосом:

— Мой муж никогда не ест цыплят.

— Я хочу домой,— сказал Берт.— Отвратительно себя чувствую.

Жена положила на тарелку косточки и вытерла руки и губы бумажной салфеткой.

— Что с тобой, Берт?

— Не знаю. Просто мерзко себя чувствую.

— Хочешь, чтобы я с тобой поехала?

— Нет, оставайся. Тебя отвезет Джимми.

— Ладно,— согласилась миссис Мэнро.— Но ты все же попрощайся с мистером и миссис Бэнкс.

Берт упрямо набычился.

— Скажешь им от меня до свидания,— сказал он.— Я отвратительно себя чувствую.— Он повернулся и широко зашагал прочь.

Спустя неделю Берт Мэнро подъехал на своем «форде» к ферме Бэнкса и остановился у ворот. Из кустов появился Реймонд. Он только что пытался застрелить ястреба и неудачно. Он неторопливо приблизился и пожал гостю руку.

— Я столько слышал о вашей ферме,— сказал Берт.— Дай, думаю, загляну, посмотрю.

Реймонд был в восторге:

— Одну минутку, вот только ружье отнесу и все вам покажу.

Целый час они ходили по участку. Реймонд показывал что к чему, а Берт восхищался, как тут чисто и как все налажено.

— А теперь давайте зайдем в дом и выпьем по стаканчику пива,— сказал Реймонд, когда они все обошли.— В такой день самое оно выпить холодного пива.

Когда они сидели за столом, Берт смущенно спросил:

— Вы уже написали начальнику тюрьмы, мистер Бэнкс?

— Да... написал. Скоро должен быть ответ.

— Вы, наверно, удивляетесь, почему я об этом спросил. Видите ли, я считаю, человек должен стараться увидеть как можно больше. Это ведь жизненный опыт. Чем больше человек знает жизнь, тем лучше. Человек должен все знать.

— Я тоже так думаю. Очень верно вы сказали,— согласился Реймонд.

Берт осушил стакан и вытер губы.

— Я, конечно, читаю в газетах, что вот кого-то должны повесить, но ведь это совсем другое дело — все увидеть собственными глазами. Говорят, этим беднякам нужно пройти тринадцать ступенек до виселицы. Правда?

На лице Реймонда появилось сосредоточенное выражение.

— Право не знаю, мистер Мэнро. Я никогда их не считал.

— Как они там... дергаются, рвутся... ну, когда уже висят?..

— Да вроде бы. Вы понимаете, их ведь связывают по рукам и ногам, а на голову надевают колпак из темной материи. Так что много-то не увидишь. Не дергаются, а я бы сказал, дрожь какая-то по телу проходит.

Лицо Берта стало красным, напряженным. Глаза блестя.

— В газетах пишут, проходит от пятнадцати до тридцати минут, прежде чем повешенный умрет. Это так?

— Да-а, я думаю, примерно так. Вообще-то умирают они в ту самую секунду, когда затягивается петля. Вот как с курицей: отрубят ей голову, а она мечется, крыльями хлопает, но ведь на самом-то деле она мертва.

— Да... наверное, так. Рефлекс, как говорится. Я полагаю, тем, кто впервые на это смотрит, бывает не по себе.

Реймонд снисходительно улыбнулся.

— Ну, еще бы. Почти каждый раз кто-нибудь в обморок падает. Кто помоложе, ну репортеры там, бывает, плачут. Плачут прямо как дети. А иных рвет. По-настоящему рвет, прямо выворачивает. Раз... и весь обед насмарку. Это обычно с новичками бывает, с теми, кто в первый раз. Разопьемте-ка бутылочку пива, мистер Мэнро. Вкусного, холодного, а?

— Это точно, пиво у вас прекрасное,— рассеянно согласился Берт.— Надо попросить у вас рецепт. В доме всегда должно быть пиво на случай жары. А сейчас, мистер Бэнкс, мне надо идти. Спасибо, что показали мне ферму. Я думаю, эти ребята из Петалумы могут у вас поучиться, как надо разводить кур.

Реймонд покраснел от удовольствия.

— Стараюсь идти в ногу со временем. Я дам вам знать, мистер Мэнро, когда от Эда придет письмо.

Следующие две недели Берт Мэнро постоянно нервничал и раздражался. Это было так непривычно, что его жена не выдержала:

— Берт, ты, наверно, заболел. Съезди в город, пусть тебя доктор посмотрит.

— Еще чего! Совсем я не больной,— не соглашался он.

Почти все время он работал на ферме, но глаза его обращались к дороге каждый раз, когда мимо проезжала машина. Наконец, в субботу на своем грузовичке подъехал Реймонд и остановился перед воротами Мэнро. Берт

бросил лопату и пошел ему навстречу. Когда встречаются два фермера, они редко заходят в дом. Обычно они неторопливо гуляют по участку. Вот один нагнулся и сорвал травинку, вот другой оборвал листок с дерева и, беседуя, вертит его в руках. Стояло начало лета. Листья на фруктовых деревьях еще не утратили нежный светло-зеленый цвет, но пора цветения уж кончилась и завязались плоды. Вишни начали чуть-чуть розоветь. Берт и Реймонд прогуливались в саду.

— Птицы жирные в этом году,— сказал Берт.— Они у меня, наверное, все вишни поклевали.— Берт отлично знал, зачем приехал Реймонд.

— Мистер Мэнро, а Эд-то мне написал. Он говорит, вы можете со мной приехать. Правда, много народу туда не пускают, они ведь не хотят, чтобы туда ходили разные там маньяки и удовлетворяли свое болезненное любопытство. Но вы — мой друг, мистер Мэнро, и это совсем другое дело. Мы отправимся в четверг. В пятницу казнь.— Берт шел рядом молча, опустив глаза в землю.— Эд — славный малый. Он понравится вам,— продолжал Реймонд.— С четверга на пятницу мы у него заночуем.

Берт разглядывал прутик, который поднял с земли, повертел его в руках и согнул дугой.

— Я вот все время об этом думаю,— сказал он.— Ничего, если я откажусь в последнюю минуту?

Реймонд удивленно уставился на него.

— Как же так? Я думал, вам хочется туда поехать. Что стряслось?

— Если я вам расскажу, вы решите, что я слабак. Дело в том... я говорю, я думал об этом и... я боюсь. Я боюсь, что потом не смогу выбросить это из головы.

— Да это вовсе не так страшно, как кажется,— уговаривал его Реймонд.

— Может быть. Не знаю. Но боюсь, это не для меня. Каждый ведь по-своему смотрит на такие вещи.

— Это точно.

— Я попробую объяснить вам, что я чувствую, мистер Бэнкс. Вы знаете, я не ем кур. Я никогда и никому не говорю, почему я их не ем. Не люблю—и все. Я втравил вас в это дело и должен все рассказать... ну, вроде как объясниться.— Палочка хрустнула в его руках, он отбросил обломки на землю и сунул руки в карманы.

— В детстве, лет двенадцать мне было, я перед уроками разносил по домам бакалею. Так вот, рядом с пивоваренным заводом жил один старик, калека. Ему отрезали

ногу по самое бедро, но вместо деревяшки он носил старомодный костыль — круглая палка и на ней такая выгнутая рукоятка. Ну, вы их помните. Он неплохо передвигался с этим костылем, только немного медленно. Однажды утром я проходил мимо его двора, неся корзину с бакалей, а старик в это время собирался резать петуха. Это был рыжий род-айлендский петух, такой здоровенный. Я таких отродясь не видел. А может быть, петух мне показался большим, потому что сам я тогда был совсем маленький. Старик зажал под мышкой костыль и держал петуха за ногу. — Берт остановился, поднял с земли другую веточку, снова согнул ее в дугу. Он заметно побледнел.

— Так вот, — продолжал он, — у старика в другой руке был тесак. Он полоснул петуха по шее, но костыль соскользнул, петух дернулся, и он отрезал ему крыло. И тогда старик вроде как сшел с ума. Он все резал и все не там, не там, всю грудку ему располосовал и живот. А потом костыль еще немного соскользнул. Старик совсем озверел. Он отрезал петуху ногу и при этом угодил по собственному пальцу. — Берт рукавом вытер мокрый лоб. Реймонд носком ботинка ковырял землю.

— Так вот, после этого старик просто бросил петуха на землю и, держась за палец, заковылял к себе в дом. А петух пополз по двору и вывалившиеся его внутренности волочились по земле... он полз и как-то каркал, что ли. — Палочка снова хрустнула в его руках, на этот раз он яростно отшвырнул ее прочь. — Так вот, мистер Бэнкс, с тех пор я никогда не режу кур и ни разу их не ел. Я пробовал есть курятину, но каждый раз мне мерещился этот распроклятый род-айлендский петух, и я представлял себе, как он ползет. — Он впервые посмотрел Реймонду Бэнксу прямо в лицо. — Представляете, как это было?

Реймонд отвел глаза в сторону.

— Да, да, сэр, наверное, это было ужасно.

Берт снова заговорил:

— Так вот, я и задумался — стоит мне ехать с вами? Ведь может выйти как с тем петухом. Он мне снился в детстве, этот петух, часто снился. Каждый раз, когда у меня портился желудок и ночью меня одолевали кошмары, я видел во сне этого петуха. А теперь, представьте, поеду я с вами смотреть, как кого-то вешают. Ведь, может, это тоже будет мне сниться. Вот недавно в Аризоне повесили одну женщину, и веревка ей голову оторвала. Ну, представьте, что случится такое. Это же в сто раз

страшнее, чем любой петух. Да меня это всю жизнь потом будет преследовать.

— Но такого практически никогда не бывает,— возразил Реймонд.— Говорю вам, все это не так страшно, как кажется.

Берт, казалось, не слышал. Его лицо дергалось от ужаса. Казалось, он видит сейчас воочию все то, о чем только что говорил.

— Вот вы говорите, некоторых во время казни рвет, а некоторые теряют сознание. Я понимаю почему. Потому что эти люди представляют себе, что это они сейчас на виселице с веревкой на шее. Они буквально чувствуют все то, что человек, с которым это происходит. Это и со мной бывало. Я как-то вообразил себя на месте человека, которого завтра должны повесить. Это страшно, это очень страшно. Это представить себе невозможно. И вот я подумал... на кой ляд мне туда ехать, доводить себя до таких кошмаров? Меня вырвет. Уверен, что вырвет. Я ведь просто пройду чрез все, что увижу, как проходит этот бедолага висельник. Вчера вечером только подумал об этом, тут же почувствовал у себя на шее веревку. А потом лег спать, накрыл лицо простыней, и мне представилось, что это тот самый черный колпак.

— Слушайте, я вам серьезно говорю, перестаньте вы даже думать такое,— сердито крикнул Реймонд.— Если вы будете об этом думать, вам нельзя со мной ехать. Говорю я вам, это совсем не так страшно. Ничего особенного. Вы сказали, что хотите со мной поехать, я и добыл для вас разрешение. Чего ради вы все это завели? Ни к чему это. Не хотите ехать, так прямо и скажите и заткнитесь после этого.

Из глаз Берта исчезло выражение ужаса. Некий новый страх вытеснил из его сознания кошмары, порожденные его воображением, и он с радостью ухватился за это новое чувство.

— Не нужно злиться, мистер Бэнкс. Я вам просто объяснил, почему я не хочу ехать. Если бы у вас было воображение, вы бы сами это все поняли и не ездили глазеть, как вешают какого-то беднягу.

Реймонд презрительно отвернулся.

— Кишка у вас тонка,— сказал он и зашагал к своей машине. Он как бешеный промчался по дороге к своей ферме, но когда приехал и накрыл грузовичок брезентом, вроде бы успокоился и пошел к дому медленным, размеренным шагом. Его жена срезала розы.

— Что с тобой случилось, Рэй? Ты совсем больной на вид,— воскликнула она с испугом.

Реймонд сделал кислую мину.

— Голова болит, вот и все. Пройдет. Ты знаешь, Берт Мэнро хотел поехать со мной на той неделе?

— Да.

— Так вот, теперь он не хочет ехать.

— А что с ним такое?

— Запсиховал он, вот что с ним такое. Боится на это смотреть.

Его жена нервно рассмеялась.

— Ты знаешь, я и сама тоже навряд ли захотела бы на это смотреть.

— Ты женщина, а он, надо полагать, мужчина.

На следующее утро Реймонд вышел к завтраку какой-то вялый и очень мало ел. Жена забеспокоилась.

— Рэй, наверно, у тебя голова так и не прошла. Тебе надо что-нибудь принять.

Реймонд оставил ее слова без внимания.

— Мне надо написать Эду, а я не знаю, как ему это объяснить.

— Я не поняла, чего ты не знаешь.

— Понимаешь, я боюсь, что я простыл. Я не знаю, может, я и к четвергу не поправлюсь, и тогда я не смогу поехать в Сан-Квентин. Дорога длинная. Надо будет ехать по мосту через залив, а там ветер очень холодный.

Миссис Бэнкс задумалась.

— Слушай, а чего ты его не попросишь как-нибудь приехать к нам? Он у нас никогда не бывал, а ты к нему столько раз ездил.

Лицо Реймонда прояснилось.

— А ведь правда! Это мысль. Я ведь много лет к нему езжу. Черкну-ка я ему письмецо, чтобы он приехал к нам в гости.

— И мы устроим для него пикник,— подхватила миссис Бэнкс.

Лицо Реймонда снова приобрело унылое выражение.

— Да нет, я думаю, не стоит. Близкие друзья встречаются, зачем же собирать толпу. Но пиво, например... ты просто не представляешь себе, до чего он любит пиво. Я черкну ему сейчас письмецо.

Он вытащил ручку, блокнотик и чернильницу. Но как только он взялся за перо, лицо его опять помрачнело.

— Чтоб он сдох, этот Мэнро! Так старался для него. И кто ж его знал, что он вдруг так струсит.

Пэт Хамберт родился, когда его родители были уже, что называется, людьми среднего возраста; а когда ему исполнилось двадцать лет, они стали старыми, брюзгливыми и злыми. Вся его жизнь проходила среди старческих недугов, болей и болезней, старческих жалоб и старческой сосредоточенности на себе. К его мнению родители относились пренебрежительно, потому что он был молодым. «Вот поживешь с наше, на все будешь по-другому смотреть», — так говорили они Пэту, когда он был еще мальчиком. Он вырос, и они возненавидели его молодость, ибо молодость избавлена от старческих хворей. Старость представлялась им неким высшим, почти божественным в своей непогрешимости состоянием. Даже ревматизм заслуживал всяческой похвалы — он был платой за глубокую старческую мудрость. Пэту вбили в голову, что ни в чем молодом нет ничего хорошего. Молодость — это всего лишь пора неумелой, робкой подготовки к блистательной старости. И молодость должна думать лишь о своем долге перед старостью, о долге уважения и благоговения. Старость же, напротив, уважения к молодости испытывать отнюдь не должна.

Когда Пэту было шестнадцать лет, на него свалили всю работу на ферме. Отец удалился от дел, воссел на кресло-качалку, стоявшую в гостиной у печки, и оттуда издавал свои эдикты — отдавал распоряжения, указания и критические замечания.

Хамберты обитали в старом, нескладно построенном доме из пяти комнат: постоянно запертая на замок большая гостиная, холодная и жуткая, как смерть; маленькая гостиная, душная, жаркая, где стоял невыносимый запах аптеки; две спальни и довольно просторная кухня. Старик, подсунув под себя подушки, сидел в качалках и костерили Пэта почем зря, если он забывал вовремя подбросить в печку дров. К концу жизни они его просто ненавидели, ненавидели за то, что он был молод.

Жили они долго. Пэту стукнуло тридцать, когда его родители (оба в один месяц) отправились на тот свет. Они вечно жаловались, вечно были недовольны своей жизнью и считали себя несчастными. Тем не менее они крепко цеплялись за это жалкое существование и умерли только после долгой борьбы.

Два месяца Пэт жил в сплошном кошмаре. Три недели он ухаживал за матерью. Она лежала неподвижно и шумно, хрипло дышала. Он укладывал ее поудобней, оправлял постель, а она следила за ним пристальным, укоризненным взглядом. Даже мертвая, она, казалось, глядела на него с осуждением.

Пэт открыл дверь большой гостиной: там шло отпевание, соседи рядами сидели у гроба и чинно слушали. Из спальни слышался раздраженный плач отца.

Сразу же после похорон слег отец, и Пэт ухаживал за ним еще три недели. А потом в гостиной был поставлен новый гроб, и чинные соседи снова явились на панихиду и расселись рядами у гроба. Когда родители Пэта были живы, большую гостиную всегда запирали на ключ и открывали только раз в месяц — прибраться. Жалюзи всегда были спущены, чтобы не выгорели на солнце зеленые ковры, посреди гостиной стоял столик на позолоченных ножках с мраморной столешницей, на нем тканная под гобелен скатерка («Вечерний звон» Милле), а на ней Библия в тисненном переплете. По обе стороны от Библии помещались две приземистые вазы с букетами бессмертника. У стен в строгом порядке стояли четыре стула — два для гроба и два для посетителей. Кроме того, висели там еще три большие картины в позолоченных рамах — две были, собственно, не картины, а цветные увеличенные фотографии стариков Хамбертов с суровыми, неподвижными лицами. Сняты они были так мастерски, что непрошенный посетитель гостиной, где бы он ни остановился, все время чувствовал на себе их тяжелый взгляд. Третья картина изображала челн, в котором покоилось тело Элен¹. Челн плыл по печальной мелководной реке, и край покрывала свешивался в воду. В углу стоял еще один столик, а на нем под высоким стеклянным колпаком сидели на вишневой ветке чучела трех иволг. Могильным холодом веяло от этой комнаты, и посещали ее только покойники и те, кто провожал их в последний путь. Это был своего рода

¹ Женский персонаж из легенды «Король Артур и рыцари Круглого стола».

домашний морг. Пэт помнил, как отсюда унесли на кладбище трех его теток и дядюшку.

На кладбище Пэт стоял тихо и смотрел, как его соседи возятся с могилой. Могила матери уже успела немного осесть, холмик прорезала зигзагообразная трещина. Соседи уже утрамбовали вторую могилу и похлопывали ладонями по холмику свежей земли. Они привыкли работать с землей и любили хорошую работу; борозда ли, могила — им было все равно. Приведя ее в полный порядок, они еще немного потоптались вокруг, что-то подправляя напоследок. Женщины уже разошлись и ожидали мужей около экипажей. Мужчины по очереди подходили к Пэту, чтобы пожать ему руку, и бормотали нечто сочувственное и печально-торжественное. Затем фургоны, коляски, тележки длинной процессией двинулись прочь и одна за другой скрылись из глаз. А Пэт все стоял и неподвижно смотрел на могилы. Он не знал, что ему делать. Никто теперь ничего от него не требовал.

Пряно пахло осенью, порывистый ветерок вдруг срывался с места и замирал на полпути. На кладбищенской ограде неподвижно сидели дикие голуби и все глядели в одну сторону. Ветер гнал по земле клочок старой потемневшей газеты. Клочок прилип к его ботинкам. Пэт наклонился, поднял бумажку, глянул на нее и кинул обратно. На дороге послышался стук колес. Т. Б. Аллен привязал лошадь к ограде и направился к Пэту. «А мы думали, ты нынче куда-нибудь пойдешь,— сказал он смущенно.— Хочешь, заходи к нам поужинать... А то и заночуешь».

Оцепенение, навалившееся на Пэта, наконец-то его отпустило. «Надо бы куда-нибудь отсюда уехать»,— сказал он. Потом с трудом нащупал следующую мысль: «Что толку мне здесь торчать».

— Да, пожалуй, тебе лучше уехать,— сказал Аллен.

— Это трудно, мистер Аллен. Сдается мне, иной раз я хочу это забыть, а иногда, наоборот, мне нужно об этом помнить. Но уехать трудно, потому что если уедешь, то уж точно знаешь — все... конец...

— Слушай, а чего бы тебе в самом деле не зайти к нам поужинать?

Пэт перестал скрытничать и откровенно сказал:

— Я всю жизнь ужинал только дома. Они...— Он кивнул в сторону могил.— Они не любили выходить из дому, после того как стемнеет. Ночной воздух был им вреден.

— Так вот я и говорю, не лучше ли тебе у нас покушать. И не ходи ты нынче ночевать в свой пустой дом. Надо же себя хоть чуточку пожалеть.— Он схватил Пэта за руку и потащил к воротам.— Садись к себе в фургон и поезжай за мной.— Когда они выходили из ворот, мистер Аллен испытал некое элегическое настроение.— Хорошо умереть осенью,— сказал он.— Вот весной скверно помирать. Не знаешь, когда пройдут дожди и какой урожай будет, не знаешь. А осенью уже все кончено.

— Им это было без разницы, мистер Аллен. Они никогда не спрашивали меня, какой будет урожай. А дождя они терпеть не могли из-за ревматизма. Они просто хотели жить. Не знаю почему.

На ужин была холодная говядина, жареная картошка с луком и хлебный пудинг с изюмом. Миссис Аллен все время говорила о его родителях, вспоминала, какие это были хорошие, добрые люди, какой честный человек был его отец, какая знаменитая кулинарка была его мать. Пэт знал, что все это она выдумывает, чтобы утешить его, а ему сейчас это было не нужно. Он не испытывал горя. Что-то густое и тяжелое, как летаргический сон, навалилось на него, мешая говорить и двигаться.

Ему все вспоминалось, как во время похорон, когда поднимали стоявший на двух стульях гроб, один из носильщиков задел столик с мраморной столешницей, опрокинул вазу с бессмертниками и сдвинул Библию и тканную под гобелен скатерку. Пэт чувствовал, что приличия ради надо расставить все по прежним местам. Придвинуть стулья к стенкам, положить ровненько Библию. А потом снова запереть гостиную. В память о матери он должен был все это сделать.

Аллены уговаривали его переночевать, но он отказался. Немного погодя он, пожелав им довольно вяло доброй ночи, потащился запрягать лошадь. Над головой чернело холодное осеннее небо, покрытое яркими колючими звездами, надвигалась прохлада, и горы гудели, отдавая тепло. Сквозь оцепенение Пэт слышал цоканье копыт по дороге, крик ночных птиц, шелест ветра в опавшей листве. Но куда отчетливее звучали в его ушах голоса стариков. «Будет мороз,— говорил отец.— Ненавижу мороз... хуже крыс». Тут подключился голос матери: «Он еще говорит о крысах. Мне кажется, у нас в погребе завелись крысы. Интересно, Пэт поставил крысоловки? Я ему еще в том году велела их поставить, а он все забывает».

Пэт ответил:

— Я положил в погреб отраву. Так лучше.

«Лучше всего завести кошку,—раздался хнычущий голос матери.— Не понимаю, почему бы нам не завести кошку, а то и двух. У Пэта никогда не было кошек».

— Заводил я кошек, мама, но они предпочитают гофиров¹, а потом вообще дичают и убегают из дома. Нельзя нам кошек тут держать.

Дом стоял черный и невыразимо мрачный. Пэт зажег лампу и развел в печке огонь, чтобы протопить кухню. Когда в печи загудело пламя, он опустился в кресло и наконец почувствовал себя уютно. Вот было бы хорошо, подумал он, перенести в кухню кровать и спать тут, возле печки. Привести дом в порядок можно и завтра или в конце концов как-нибудь в другой раз.

Когда он распахнул дверь в гостиную, на него накатил волна холодного безжизненного воздуха. В нос ударили запахи погребальных цветов, старости и лекарств. Он быстро прошел к себе в спальню, забрал раскладушку и перетащил в теплую, освещенную кухню.

Немного погодя Пэт задул лампу и лег спать. В печке тихо потрескивал огонь. Некоторое время было тихо, затем постепенно дом наполнили зловещие шорохи и шумы. Пэт лежал на раскладушке, похолодевший от страха, и прислушивался к звукам, которые доносились из гостиной, к скрипу качалок, к шумному дыханию стариков. Старый дом потрескивал, и хотя Пэт это понимал, он каждый раз вздрагивал, как сумасшедший, и весь взмок от холодной испарины. Тихий и какой-то пришибленный, выбрался он из постели, запер дверь в гостиную и снова, дрожа, залез под одеяло. Стало очень тихо и очень одиноко.

Наутро Пэт проснулся со смутным ощущением, что ему предстоит исполнить неприятный долг. Он начал вспоминать, что же это за долг, и вспомнил. Да, конечно, Библия. Ее сдвинули, и теперь она лежит не на месте. Нужно положить ее так, как она лежала раньше. Потом надо поставить упавшую вазу с бессмертниками и прибраться в доме. Пэт сознавал, что все это он должен сделать, хотя ему ужасно не хотелось открывать дверь в гостиную. Его бросало в холод при одной мысли о том, что он там увидит: две качалки с продавленными подушками на сиденьях, стоящие по сторонам очага. Эти продавленные подушки словно хранили отпечаток тех, кто на них

¹ Млекопитающее отряда грызунов (Ред.).

сидел. Он представил себе запахи старости, мазей, увядших цветов, поджидающие его по ту сторону двери. Но это его долг, надо его исполнить.

Он разжег огонь и приготовил завтрак. И вот, когда он пил горячий кофе, откуда ни возьмись вдруг нагрянули новые мысли, совсем для него непривычные. Необычные эти мысли сперва ошеломили его своей дерзостью и простотой.

«А зачем мне туда идти? — подумал он. — Ухаживать мне теперь не за кем, да и вообще там никого нет. Не хочу я туда идти и не пойду». Он почувствовал себя как мальчишка, который сбежал с уроков и отправился гулять в чудесный густой лес. Но, подавляя это чувство неожиданно обретенной свободы, в ушах у него зазвучал жалобный голос матери: «Пэту нужно прибрать в доме. Пэт неряха, ему на все наплевать».

И тут вдруг радость неповиновения вспыхнула в нем. «Ты умерла! — сказал он голосу. — Ты существуешь только в моем воображении. Никто теперь не ждет, что я что-то буду для него делать. Никто теперь не узнает, что я должен был что-то там сделать и не сделал. Не пойду я туда. И вообще никогда не пойду». И пока храбрость не покинула его, Пэт решительно подошел к двери, рывком вытащил ключ и забросил в густые заросли сорняков, растущие за домом. Он закрыл ставни на всех окнах, кроме кухонных, и накрепко прибил их большими гвоздями.

Но радость внезапно обретенной свободы продолжалась недолго. Днем он был занят на ферме, а поближе к вечеру начинал скучать по своим прежним обязанностям, которые так легко и привычно поглощали часы его досуга. Он понимал, что боится войти в дом, боится следов старческих тел на подушках и неровно лежащей Библии. Он запер в доме двух изможденных старых призраков, но запретить им тревожить его он был не властен.

В этот вечер, приготовив себе ужин, он сел возле печки. Жуткое, безысходное одиночество, как туман, окутало его. Он прислушивался к звукам старого дома. То здесь, то там что-то шуршало, потрескивало, постукивало. Он прислушивался с таким напряжением, что скоро смог различать, как за стеной скрипят, покачиваясь, качалки, а один раз даже отчетливо услышал скрежет крышечки, которую отвинчивали от банки с мазью. Пэт больше не мог этого выносить. Он пошел в конюшню, запряг лошадь и поехал в лавку.

Трое мужчин сидели возле пузатой печки и созерцали трещины на ней. Они подвинулись, Пэт поставил стул и сел. Никто из них даже не посмотрел на него, ибо человек в трауре заслуживает такой же социальной неприкосновенности, как калека. Пэт сел поудобней и тоже уставился на печку.

— Мне надо купить муки. Напомните мне, как буду уходить,— сказал он.

И все поняли, что он имел в виду. Все знали, что муки ему не нужно, но каждый в подобных обстоятельствах изобрел бы какой-нибудь предлог. Т. Б. Аллен приоткрыл дверцу печки, заглянул туда и плюнул на горящие угли.

— Поначалу в таком доме чувствуешь себя довольно-таки одиноко,— заметил он.

Пэт был благодарен ему, хотя, сказав эту фразу, лавочник допустил изрядную бестактность.

— Мне еще надо будет купить табак и патронов, мистер Аллен,— сказал он. Так он хотел выразить свою благодарность.

После этого Пэт резко изменил образ жизни. Он стал искать общества: днем работал на ферме, зато вечером неизменно оказывался там, где собралась какая-нибудь компания. Когда устраивали танцы или вечеринку, Пэт появлялся раньше всех, а уходил последним. Он был частым гостем у Джона Уайтсайда; он самым первым прибегал на пожары. В дни выборов он вертелся на избирательном пункте до тех пор, пока его не закроют. Если где-нибудь собиралось несколько человек, одним из них неизменно оказывался Пэт. Со временем у него выработался какой-то особый нюх на всякие события, способные собрать толпу.

Пэт был некрасивый, долговязый, с большим носом и тяжелой челюстью. Он сильно смахивал на молодого Линкольна, и одежда сидела на нем так же нескладно. Его большие уши и широкие ноздри густо заросли волосами. Казалось, там притаились пушистые зверьки. Собеседник он был никудышный. Он знал, что в любой компании от него мало толку, и старался возместить это постоянной и даже чрезмерной услужливостью. Он был неизменно готов помочь, броситься что-то устраивать. Он радовался как мальчик, когда его избирали в очередной комитет по организации какой-нибудь вечеринки или танцев, что давало ему возможность ездить к другим членам комитета и обсуждать всевозможные планы; иной раз он целый вечер возился, украшая школу (где эти вечерин-

ки обычно и происходили), или разъезжал по всей долине на своем грузовичке, одалживая у фермеров стулья и посуду. Если же вечером ему некуда было приткнуться, он отправлялся на своем грузовичке в Салинас, шел в кино и смотрел подряд два сеанса. Проведя две первые после похорон ночи в жутком одиночестве, он никогда больше по вечерам не сидел дома. Когда он вспоминал о Библии, о качалках и старческих запахах, его охватывал страх.

Вот уже десять лет Пэт Хамберт метался в поисках общества. Он добился, что его выбрали в попечительский совет; успел сделаться масоном, вступить в Тайное братство в Салинасе и никогда не пропускал собраний.

Несмотря на то что он так рьяно рвался к людям, ни в одну компанию Пэт не входил прочно. В любом сборище он обретался где-то сбоку и раскрывал рот лишь тогда, когда кто-нибудь к нему обращался. Жители долины воспринимали его присутствие как нечто неизбежное. Они его нещадно эксплуатировали и при этом едва ли догадывались, что именно это ему и нужно.

Когда очередное сборище заканчивалось и Пэту волею-неволей приходилось возвращаться домой, он заводил свой грузовой фтордик в гараж и обессиленный валялся в постель. Он старался не думать об ужасных стариковских комнатах, но безуспешно. Случалось, в его сознание прокрадывалась жуткая картина: запертая комната, мебель, покрытая толстым слоем пыли, паутина в углах. И если, прорвав все защитные барьеры, это зрелище вливалось в его сознание прежде, чем он засыпал, Пэт трясся под одеялом как в лихорадке и горстями принимал снотворное.

Поскольку Пэт ненавидел свой дом, он, разумеется, о нем не заботился. В доме царило запустение. Белые розы, которые до этого множество лет представляли собой приземистые кустики, внезапно пробудились к жизни и поползли вверх по фасаду дома. Они укрыли крыльцо, гирляндами опутали закрытые ставнями окна, длинными лентами свисали с крыши. Через десять лет дом напоминал огромный могильный холм из роз. Проезжающие по дороге люди останавливались, пораженные его размерами и красотой. Пэт почти не замечал цветов. Он никогда не думал о доме, если, конечно, это ему удавалось.

У Хамбертов была хорошая ферма. Пэт содержал ее в порядке, и она приносила порядочный доход, а поскольку расходы его были невелики, на его счету в банке уже лежало несколько тысяч. Пэт любил свою ферму, любил

тем более за то, что она хотя бы днем ограждала его от страхов. Пока он работал, он был свободен от ужаса бесприютности и леденящего сознания своего одиночества. Сад давал великолепные фрукты, но он предпочитал возиться с ягодами. Вдоль дороги зеленели шпалеры виноградника. Каждый год он неизменно оказывался первым, кто вывозил на рынок виноград и ягоды.

Пэту стукнуло сорок, когда в долину приехала семья Мэнро. Он встретил их приветливо: вот еще один дом, куда можно зайти убить вечер. Берт Мэнро был человек общительный и радовался, когда Пэт заглядывал к нему. Пэт был отличный фермер, и Берт часто спрашивал его совета. Пэт не обращал особого внимания на Мэй Мэнро; правда, заметил, что она хорошенькая, но тут же забыл об этом. Люди редко интересовали его сами по себе, они были для него скорее противоядием от одиночества, убежищем, где он спасался от запертых в доме призраков.

Однажды днем, в начале лета, Пэт копался в своем винограднике. Он опустился на колени между двумя шпалерами и тупой разрыхлял землю. Виноград созревал быстро, и листья были красивые, бледно-зеленые. Пэт медленно пробирался в зеленом коридоре. Ему нравилось работать, и он не боялся надвигающейся ночи, поскольку собирался в тот день ужинать у Мэнро. Вдруг со стороны дороги послышались голоса. Хотя дорогу полностью скрывали заросли виноградника, Пэт понял, что это миссис Мэнро и ее дочка Мэй. Внезапно Мэй воскликнула:

— Мама, да ты только посмотри! — Тут Пэт перестал работать и весь обратился в слух. — Ты когда-нибудь видела такие великолепные розы?

— Да, и правда красиво, — сказала миссис Мэнро.

— А я поняла сейчас, что они мне напоминают, — продолжала Мэй. — Помнишь ту открытку? Там был нарисован этот чудесный дом в Вермонте? Нам ее прислал дядюшка Келлер. Этот дом, весь в розах, он же в точности как на открытке. Вот бы хорошо и внутри его посмотреть.

— Ну, милочка, это уж навряд ли получится. Миссис Аллен говорит, что с тех пор, как умерли родители Пэта, в этом доме ни разу не было гостей, хоть прошло уж десять лет. А красиво ли там, внутри, она мне не сказала.

— Что ты, если дом весь в розах, он и внутри непременно красивый. Интересно, мистер Хамберт нам как-нибудь позволит посмотреть его комнаты? — Тут голоса стали удаляться и затихли.

Они ушли, а Пэт все стоял и разглядывал свой ог-

ромный розовый цветник. Он никогда не замечал, как он прекрасен — целая гора зелени и снежно-белых цветов.

— А красиво, — сказал он. — И похоже на тот самый чудесный дом в Вермонте. Похоже на дом в Вермонте и... М-да, а ведь действительно красиво.

А затем, словно взгляд его обладал способностью проникать сквозь стены, он увидел большую гостиную. И, чтобы забыть о своем страшном доме, он снова принялся за работу. Но снова и снова звучали у него в ушах слова Мэй: «Он, наверно, и внутри такой же красивый». Интересно, подумал Пэт, а как выглядит изнутри тот самый вермонтский дом? Он, конечно, видел дом Джона Уайтсайда, основательный и величавый. Как и все жители долины, он восхищался плюшевым уютом домика Берта Мэнро, но ни одного по-настоящему красивого дома он никогда не видел. Он перебирал в уме все виденные им дома, но ни один из них не шел ни в какое сравнение с тем домом, о котором говорила Мэй. Ему вспомнилась картинка из какого-то журнала: комната со сверкающим паркетом, белые двери, внутренняя лестница. Почему-то эта картинка ему запомнилась. Наверное, Мэй говорила о чем-то в этом роде.

Ему до смерти захотелось увидеть эту открытку, но Пэт не решался ее попросить, ведь тогда Мэнро сразу догадаются, что он подслушивал. Чем больше он думал об этом, тем сильнее разгоралось в нем желание увидеть этот дом, такой красивый и такой похожий на его собственный. Он отложил тяпку и стал расхаживать перед фасадом своего дома. В самом деле розы были великолепны. Они балдахинном накрывали крыльцо, словно тент, нависали над слепыми окнами. Пэт не понимал, как это до сих пор он мог не заметить такой красоты.

Этим вечером он совершил совершенно неожиданный поступок. Явившись к Мэнро, он с порога сообщил, что никак не может принять его приглашения на ужин.

— У меня дело в Салинасе, очень важное и срочное дело, — пояснил он. — Я должен ехать прямо сейчас, иначе я потеряю солидную сумму.

В Салинасе он немедленно отправился в публичную библиотеку.

— У вас есть рисунки каких-нибудь домов в Вермонте... но обязательно красивых? — спросил он библиотекаршу.

— Поглядите в журналах, может, что и найдете. Пойдемте! Я покажу вам.

Он засиделся допоздна. Служащим библиотеки пришлось даже напомнить ему, что библиотека закрывается. Зато он нашел рисунки интерьеров, да еще каких! Ему такие и не снились. В этих комнатах все было по плану: отделка, мебель, стены и полы были каким-то образом связаны между собой. Они были частью единого целого. Он долго разглядывал рисунки и чувствовал, как в нем пробуждается глубоко запрятанное в недрах его существа эстетическое чувство — вкус к форме, цвету, линии. Прежде он не понимал, что комната может представлять собой нечто единое — все связано, каждая вещь на своем месте. Все комнаты, которые ему приходилось видеть, обставлялись случайно и постепенно. Тетушка Софи прислала вазу, отец купил кресло. Вместо камина сложили печь, — так было теплей; хлебная компания Сперри выпустила большой рекламный проспект, матери понравилась картинка, и она засунула ее в рамку; магазин «товары почтой» объявил о продаже торшеров — вот появился торшер. Вот так, по-маленьку, и обставлялись комнаты. А на картинках все было иначе. Там существовала идея, и каждая вещь в комнате была подчинена этой идее. Перед самым закрытием библиотеки ему попались на глаза две напечатанные рядом иллюстрации. На одной была изображена примерно такая комната, которые ему частенько приходилось видеть, а прямо рядом была другая иллюстрация — та же комната, только из нее убрано все барахло, все лишнее, и в ней появилась идея. Ее нельзя было узнать. Впервые в жизни Пэт рвался домой. Ему хотелось полежать в постели и подумать: странная новая мысль зашевелилась в его голове.

Ночью он не мог уснуть. Его просто распирало от избытка планов. Один раз он даже встал и зажег свет, чтобы взглянуть на свой банковский счет. Незадолго до рассвета он оделся, приготовил себе завтрак и, покуда сидел за столом, все поглядывал на запертую дверь. Его глаза злорадно поблескивали. «Там будет темно, — подумал он. — Прежде чем войти, надо открыть ставни».

Когда наконец рассвело, он с ломиком в руках обошел вокруг дома, выдергивая гвозди, которыми были приколочены ставни, и широко открывая окна. Он не тронул только окна большой гостиной, — не хотел ломать розы. Закончив с этим, он вернулся в кухню и остановился перед запертой дверью. Все то же страшное видение возникло перед ним, и он не решался войти. «Ладно! Одна секунда, и все! — успокоил он себя — Я там все в кло-

чья разнесу!» Ломик с грохотом обрушился на замок. Жалобно взвыли несмазанные петли, дверь распахнулась, и перед ним предстала комната его ночных кошмаров. Казалось, в комнате стоит туман — все затянуло паутиной; разило затхлостью, кислятиной и старостью. По бокам порыжевшей печки стояли две качалки. Даже сквозь пыль и паутину можно было разглядеть вмятинки на подушках. Но самое страшное было не это. Пэт отлично знал, где находится средоточие его кошмаров. Он быстро прошел в большую гостиную, отводя руками паутину, которая все время лезла в глаза. В комнате было темно, ведь он не стал открывать там ставни. Долго искать столик с мраморной столешницей не пришлось: Пэт точно знал, где он находится. Не зря же этот кошмар преследовал его десять лет. Он схватил столик вместе с Библией, бегом промчался через кухню и вышвырнул их во двор.

Теперь он мог не торопиться. Страх ушел. Набрякшие от дождя рамы так заело, что открыть их удалось, только действуя ломиком, как рычагом. Прежде всего он выбросил качалки, и они покатались, подпрыгивая на кочках, вслед за ними отправились картины, безделушки и чучела иволг. Когда Пэт повыбрасывал из дома всю мебель, одежду, коврики и вазы, он принялся сдергивать со стен ковры, и, с трудом протиснув их сквозь окна, выкинул и их. Наконец он принес несколько ведер воды и облил потолок и стены. Вся эта работа доставляла ему огромное наслаждение. Выбрасывая стулья, он заодно обламывал им ножки. Потемневшие от старости обои медленно впитывали воду. Тем временем Пэт подобрал валявшуюся под окнами мебель, сложил ее в кучу и зажег костер. Заплесневелая старая ткань и лакированное дерево не хотели разгораться, лениво тлели, испуская невыносимый, сырой и пыльный смрад. И лишь когда он выплеснул в костер ведро керосина, языки пламени взметнулись в воздух. Столы и стулья оглушительно трещали. Казалось, таившиеся в них призраки прыгают в костер. Пэт обзирал дело своих рук.

— Вы что? Так бы и просидели там все время, да? — выкрикнул Пэт. — Думали, слабо мне вас сжечь! Вот бы вы и в самом деле оказались здесь и поглядели, что я сейчас сделаю, вы, трухлявое, вонючее барахло!

Зеленые ковры сгорели дотла, от них остались лишь красные тлеющие хлопья. Старинные вазы и кувшины от жары с треском разлетались на куски. Пэт слышал, как шипит ментол, как лопаются пузырьки и снадобья выкипа-

ют на огне. Он чувствовал, что казнит сейчас своего лютого врага. И лишь когда куча вещей превратилась в тлеющие угли, он вернулся в дом. К тому времени обои промокли насквозь и отваливались от стен длинными широкими лентами.

В тот же день Пэт съездил в Салинас и скупил там все журналы, посвященные искусству украшения и отделки жилищ. Вечером, после обеда, он засел за журналы и наконец нашел именно то, что ему было нужно. В отличие от прочих, эта комната не вызывала у него никаких возражений. А сделать ее было очень просто. Стоило лишь снести перегородку между маленькой и большой гостиной и получилась бы комната длиной в тридцать футов и шириной в пятнадцать. Окна в ней нужно расширить, камин сделать большой, пол отциклевать и натереть. Все это он, конечно, сумеет. У него чесались руки поскорее взяться за работу. «Начну завтра же»,— решил он. Тут его остановила новая мысль: «Она думает, у меня уже сейчас красиво. Незачем ей знать, что я к этим делам только лишь приступаю. Тогда она поймет, что я подслушивал. И вообще не надо, чтобы кто-нибудь об этом знал. Еще спрашивать начнут». И тут же сам спросил себя, а зачем, собственно, ему это нужно. «Не их собачье дело,— ответил он себе.— Что я, пойду и начну всем и каждому рассказывать, зачем да почему. Да ну их к лешему! Буду работать по ночам». Пэт даже рассмеялся про себя. При мысли, что он будет тайно переделывать свой дом, его охватил восторг. Работать он будет один, и об этом никто не узнает. А потом, когда все будет кончено, он пригласит гостей: мол, у меня так всегда было. Никто и не вспомнит, как все это выглядело десять лет назад.

С тех пор жизнь его пошла так: днем он работал на ферме, а по вечерам, полный радостного нетерпения, бросался в дом. Пэт вырезал из журнала рисунок, изображавший комнату в ее законченном виде, и повесил его на кухне, прикрепив кнопками к стене. Он забегал посмотреть на нее по двадцать раз в день. Когда он прилаживал подоконники, оклеивал стены французскими серыми обоями, красил рамы и двери кремовой эмалью, он представлял себе, как все это будет выглядеть. Когда ему были нужны какие-нибудь краски или инструменты, он отправлялся в Салинас поздно вечером, а домой приезжал уже затемно. Работал он до полуночи, а потом в счастливом изнеможении ложился спать.

Соседи стали замечать, что он перестал появляться

в компаниях. Пошли расспросы, но у Пэта ответ был подготовлен заранее. «Я поступил на заочные курсы,— объяснял он.— Приходится заниматься по вечерам». Соседи слушали его с улыбкой. Ясное дело: не так-то легко перенести одиночество. Рано или поздно все холостяки становятся чудаковатыми.

— А что ты там учишь, на этих курсах, Пэт?

— Что? Ого-го! Я изучаю... строительное дело.

— Жениться тебе надо, Пэт. Который год один сидишь.

Пэт бурно краснел. «Чушь собачья»,— говорил он.

Отделывая комнату, Пэт одновременно разрабатывал сюжет небольшой пьесы, и получалось у него следующее: работа закончена, все стоит на своих местах. В камине полыхает огонь, лампы отбрасывают тусклые блики на полированную мебель и сверкающий пол. «Я зайду к ним в дом и скажу, эдак небрежно, как бы невзначай: «Говорят, вам нравятся вермонтские дома». Нет! Не так, я скажу. Я скажу вот так: «Вам нравятся вермонтские дома? Кстати, моя гостиная примерно в том же стиле». Продумать все до конца ему никогда не удавалось. Ему никак не удавалось придумать, как заманить ее в дом. Эту часть он опускал. Как-нибудь само собой получится.

Итак, она входит в кухню. Там все без перемен,— тем сильнее поразит ее то, что ждет ее в гостиной. Она остановится у порога, и он широко распахнет перед ней дверь. В гостиной будет довольно темно, или, точнее, она будет наполнена тусклым светом. Отблески огня в камине струятся, как река, и падающий от ламп свет туманными бликами отражается на полу. Можно еще повесить портьеры из воощеного ситца и коврик с жирным тигром над камином. Латунь поблескивает со сдержанным великолепием. Здесь так уютно, так тепло. От восторга у Пэта перехватило дыхание.

Ну, ладно, вот она стоит в дверях и... что она скажет? Ну, если она будет чувствовать то же самое, что чувствует он, может быть, она ничего не скажет. Может быть, ей даже захочется плакать. А ведь это замечательно — когда ты готов заплакать от полноты чувств. Возможно, она простоит так минуту-другую, рассматривая комнату. Потом Пэт скажет: «Не угодно ли войти и присесть на минуту?» И, конечно, эта фраза развеет чары. Она заговорит о комнате, заговорит, наверное, такими забавными отрывистыми фразами. Но Пэт сохранит хладнокровие. «Да,— скажет он небрежно.— Она мне в общем-то всегда

нравилась». Работая, он часто бормотал себе под нос: «Да, мне всегда казалось, что здесь довольно мило. Вот я и подумал, может, вам захочется на нее взглянуть».

Пьеса заканчивалась так: Мэй садилась перед камином в мягкое кресло, сложив свои хорошенькие, пухлые ручки. Так она сидела, и постепенно в ее глазах появлялось мечтательное выражение... В своих мечтах Пэт никогда не заходил дальше этого момента. Ему мешала застенчивость. Развивать сюжет дальше — это все равно, что заглянуть в окошко к паре, пожелавшей остаться наедине. А кульминацией этой пьесы, несомненно, был тот момент, когда он распахивал дверь, и Мэй замирала на пороге, ошеломленная красотой его гостиной.

За три месяца Пэт управился с отделкой, положил иллюстрацию из журнала в бумажник и отправился в Сан-Франциско. В конторе мебельной компании он выложил картинку на стол.

— Мне нужна вот такая мебель, — сказал он.

— Вы, конечно, имеете в виду не оригиналы.

— То есть как это оригиналы?

— Ну... старинную мебель. Дешевле чем за тридцать тысяч ее не купить.

У Пэта вытянулось лицо. Мечта о комнате, казалось, рухнула.

— А... А я и не знал.

— Мы можем сделать хорошие копии, — успокоил его управляющий.

— А, ну что ж. Это было бы прекрасно. А сколько это будет стоить?

Был призван агент по закупкам. Втроем они перебрали все, изображенное на картинке, и управляющий составил список: сервировочный столик, раздвижной с откидной крышкой стол, кресла — одно деревянное резное, второе с плетеным сиденьем и третье мягкое, с высокой спинкой, каминная скамеечка; лоскутные коврики, портьеры из вошеного ситца, лампы с матовыми стеклянными абажурами и хрустальными подвесками, горка и расписной тонкий фарфор, подсвечники из латуни и канделябры.

— М-да, это будет стоить примерно три тысячи, мистер Хамберт.

Пэт нахмурился. А собственно зачем копить деньги?

— Когда вы сможете мне все это прислать? — спросил он.

В ожидании известия о том, что мебель прибыла в Салинас, Пэт ежедневно натирал полы и довел их до такой

кондиции, что они заблестели, как тихая гладь озера. Из гостиной он выбирался задом, затирая за собой щеткой чуть заметные следы. Но вот контейнеры с мебелью прибыли на грузовую станцию. Чтобы перевезти их, ему пришлось сделать на своем грузовичке четыре рейса, причем каждый раз ночью, тайком. В воздухе запахло интригой.

Пэт распаковал контейнеры в гараже, внес в комнату кресла и столики и, сверяясь с картинкой, расставил их по местам. В ту ночь отблески огня рекой текли из камина, а на натертом полу отражались блики ламп, заключенных в матовые абажуры. Жирный тигр на коврике подрагивал в танцующем свете пламени.

Пэт вышел на кухню и затворил дверь. Потом снова, очень медленно, он открыл ее и остановился на пороге. Комната словно излучала радужную теплоту. Блеск латуни был еще великолепнее, чем он воображал. На краешках блюд, расставленных в горке, вспыхивали искры. Пэт стоял молча, он пытался подобрать самую подходящую интонацию. «Она мне в общем-то всегда нравилась,— сказал он как можно более небрежно.— Вот я и подумал, может, вам захочется на нее взглянуть». Вдруг ужасная мысль заставила его остановиться: «Да ведь одна она не может сюда прийти. Разве позволительно девушке вечером идти к одинокому мужчине? Соседи сплетничать начнут, да и вообще не захочет она». Он был горько разочарован. «Конечно, с ней должна будет пойти мамаша. Но... может, мамаша и не будет нам особенно мешать. Останется где-то там, и все».

И вот, когда все наконец было готово, на него напала нерешительность. Дни шли, а он все не торопился с приглашением. Прокручивал в уме свою пьесу вновь и вновь и теперь уже точно знал, где она остановится, как будет выглядеть, что скажет. Он сочинил множество фраз, которые она, наверное, скажет. Прошла неделя, а он все еще не шел к Мэнро.

Но вот наступил день, когда он наконец решился. «Такие дела нельзя откладывать вечно. Пойду сегодня вечером». После обеда он надел парадный костюм и направился к дому Мэнро. Пешком, конечно,— до их фермы всего четверть мили. Сегодня он ее не пригласит, это ясно. К ее приходу нужно все подготовить: чтобы в камине горел огонь и лампы сияли. Ночь была холодная и очень темная. Пэт, спотыкаясь, брел проселочной дорогой, размышляя, во что превратятся его блестящие ботинки.

В доме Мэнро светились все окна. Возле ворот стояло довольно много автомобилей. «У них вечеринка,— подумал Пэт.— Приглашу ее как-нибудь в другой раз. Нельзя же ее приглашать перед всей этой публикой». Мелькнула даже мысль, не повернуть ли назад, пока не поздно. «Впрочем, это будет выглядеть довольно странно, если я вдруг приглашу ее в гости после того, как несколько месяцев вообще не видел. Она обязательно что-нибудь заподозрит».

Когда он вошел в дом, его встретил Берт Мэнро и стал радостно трясти его руку.

— Да это же Пэт Хамберт! — завопил он.— Пэт, старина, где ты от нас скрывался?

— Занимался по вечерам.

— Вот здорово, что ты пришел, а то я уж сам к тебе собирался. Ты, конечно, слышал новость?

— Какую новость?

— Да ведь в будущую субботу наша Мэй выходит замуж за Билла Уайтсайда. Я хотел попросить тебя помочь нам на свадьбе. Мы все устраиваем дома, а потом будет угощение. Ты ведь всегда помогал, когда устраивали вечеринки в школе, пока не засел за учебу.

Он взял Пэта под руку и потащил его в дом. Из комнаты по ту сторону холла раздавался хор голосов.

Пэт держался твердо. Тут пригодилась его небрежная манера, которую он выработал, разыгрывая свою пьесу.

— Замечательно, мистер Мэнро. В следующую субботу, вы говорите? С удовольствием вам помогу. Нет, нет, остаться никак не могу. Мне нужно зайти в лавку.— Они вновь обменялись рукопожатием, и Пэт медленно направился к двери.

Он был так несчастен, что ему хотелось хоть на время спрятаться, зарыться в какую-нибудь темную нору, где никто его не увидит. Он машинально брел к дому. Дом, большой, нескладный, был темен и невыносимо мрачен. Пэт вошел в сарай, медленно поднялся по стремянке и растянулся на сеновале. Все его мысли будто ссохлись и съежились. Больше всего ему не хотелось заходить в дом. Он боялся, что снова запрет дверь в гостиную. И тогда на долгие годы в этой дивной комнате поселятся два перепуганных привидения, а Пэт, сидя на кухне, будет воображать, как они тоскливо смотрят на призрак огня.

Ричард Уайтсайд приехал на дальний Запад в пятидесятых годах. Он побывал на золотых приисках и, познакомившись с ними, решил, что это занятие не для него. «Золото может уродиться только раз,— говорил он,— и этим урожаем долго сыт не будешь, потому что его делят между собой тысячи арендаторов. Это плохое хозяйство».

Ричард долго колесил по горам и долинам Калифорнии; у него была вполне определенная цель — он хотел основать дом для детей, которых у него пока еще не было, и для тех детей, что родятся у его детей. В ту пору в Калифорнии мало кто ощущал ответственность перед своими потомками.

В один прекрасный тихий вечер он въехал на паре гнедых на гребень одного из невысоких холмов, окружавших Райские Пастбища. Ричард остановил лошадей и окинул внимательным взглядом зеленую долину. И понял: место найдено. Странствуя по этим краям, он перевидал немало красивых мест, но ни одно из них не вызывало такого ощущения полноты. Он вспомнил, как колонисты Древних Афин и Спарты отправлялись на поиски новых земель, выслушав туманные предсказания оракула; как брели вслед за орлом, указывающим им путь, ацтеки. «Вот теперь бы мне какой-нибудь знак, а большего и хотеть не надо,— подумал Ричард.— Я-то знаю, что это оно самое, но если бы было еще какое-нибудь предзнаменование, чтобы потом рассказать детям...» Он посмотрел на небо, там не было ни птиц, ни облаков. И вдруг поднялся востерок. Такой ветерок дует по вечерам над холмами. Дубы принялись украдкой указывать на долину, на склоне холма закрутился крохотный вихрь и, подхватив горстку листьев, швырнул ее вверх. Ричард довольно усмехнулся. «Вот и знамение! Сколько прекрасных городов было основано после намека богов, куда более туманного, чем этот».

Он немного посидел, потом вылез из повозки, распряг и стреножил лошадей, и они засемили мелкими шажка-

ми к обочине. Ричард поужинал холодной свининой и хлебом, потом развернул одеяла и расстелил их на траве тут же, на склоне. В долине сгущались серые сумерки, а Ричард лежал и глядел на Райские Пастбища, которые станут теперь его домом. Выбранное им место находилось на противоположном краю долины, возле красивой дубовой рощи; сзади него возвышался холм и виднелся поросший кустами неширокий извилистый овражек. Там, конечно, тек ручей.

Свет стал неверным, призрачным. Ричард увидел прекрасный белый дом, стоящий в глубине ухоженного сада, белую водонапорную башню. В окнах мелькали желтые огоньки, маленькие, гостеприимные огоньки. Потом открылась широкая парадная дверь, и на террасу высыпал целый выводок ребятишек, их было человек шесть, не меньше. Они вглядывались в сгущавшиеся сумерки и особенно в тот холм, где лежал на своих одеялах Ричард. Вскоре дети вернулись в дом, и дверь захлопнулась. И в ту же секунду все исчезло — и дом, и сад, и белая водонапорная башня. Ричард блаженно вздохнул и перевернулся на спину. В небе торчали иголки звезд.

Целую неделю Ричард, словно одержимый, носился по долине. Он купил в Райских Пастбищах двести пятьдесят акров; потом съездил в Монтерей и оформил сделку; и только убедившись, что земля принадлежит ему, отправился к архитектору.

На то, чтобы выстроить дом, обставить его, постелить ковры, пробурить колодезь и построить водонапорную башню, ушло полгода. Работы в доме Уайтсайда не прекращались весь первый год. За это время в землю не было брошено ни одного зерна.

Один из его соседей, раздраженный этими непонятными действиями, как-то заехал к Ричарду и без обиняков спросил его:

— Скоро вы перевезете свою семью, мистер?

— У меня нет семьи, — ответил Ричард. — Родители умерли. А жены у меня нет.

— Так на кой же дьявол вы строите такой здоровенный дом?

Лицо Ричарда стало суровым.

— Я хочу здесь жить. Я пришел, чтобы здесь остаться. В этом доме будут жить мои дети, и их дети, и дети их детей. Здесь родится много Уайтсайдов, и много Уайтсайдов умрет здесь. Если за этим домом следить, как надо, он продержится пятьсот лет.

— Понять-то я вас понял хорошо,— сказал сосед.— Оно вроде бы здорово получается, но мы, здешние, делаем по-другому. Строим маленькую хижинку и, если земля родит хорошо, делаем к ней пристроечку. Негоже слишком уж привязывать себя к одному месту. А что, если вам захочется переехать?

— Я переезжать не хочу,— крикнул Ричард.— Поэтому-то я и строю. Я хочу построить его так, чтобы ни я, ни мои потомки уже не могли никуда отсюда переехать, а чтоб было уж наверняка, когда я умру, меня здесь похоронят. Человеку нелегко покинуть могилы предков. Его лицо смягчилось.

— Да ты, приятель, понимаешь ли, что я делаю? Я основываю династию. Я строю семью и дом для этой семьи, и они будут жить, если не вечно, то уж, во всяком случае, несколько столетий. И мне радостно строить этот дом и знать, что по этому полу будут ходить мои потомки, и что дети, чьи прадеды еще не зачаты, родятся когда-нибудь в этом доме. Я заложу здесь начало семейной традиции.

Глаза Ричарда сияли. Стук молотков, которыми работали плотники, вторил его словам.

Сосед подумал, что он сумасшедший, но сумасшествие это внушало уважение. Ему захотелось как-то выразить его. Если бы он не был американцем, он бы, наверно, приложил два пальца к шляпе. У этого человека было двое взрослых сыновей, которые рубили лес в трехстах милях от этих мест, а его дочь вышла замуж и уехала в Неваду. Семья его распалась, фактически не начав существовать.

Ричард строил свой дом из секвойи, которая никогда не гниет. Он построил его по образцу изящных загородных домов Новой Англии, но, отдавая дань теплему климату Райских Пастбищ, окружил все здание широкой верандой. Крышу покрыли дранкой, но лишь на время: как только заказ Ричарда был получен в Бостоне и пароход вернулся в Калифорнию, дранку содрали и покрыли дом шифером, как на Востоке.

Эта крыша имела для Ричарда огромное, символическое значение. Что касается местных жителей, шиферная крыша стала в их глазах главной достопримечательностью Райских Пастбищ. Она больше, чем что-либо другое, сделала Ричарда первым гражданином долины. Этот человек был тверд в своих намерениях, и вот он выстроил себе дом. Он не собирался бежать куда-то на золотые прииски. Э... да о чем тут говорить, когда он покрыл дом шифером.

К тому же он был образованным человеком, он учился в Гарварде. У него были деньги и убежденность, и он построил в долине огромный, роскошный дом. Он станет здесь настоящим хозяином. Он был основателем, патриархом семьи, и он покрыл свой дом шифером. Из-за шиферной крыши здешние жители стали больше ценить Райские Пастбища и гордиться ими. Если бы Ричарду захотелось стать местным заправилой, он не смог бы придумать более ловкого хода, чем покрыть свой дом шифером. Под дождем крыша становилась темной и блестела, а на солнце сверкала, как стальное зеркало.

Наконец, дом был готов, и двое работников принялись разбивать сад и готовить землю к посеву. На склоне холма, за домом щипала траву небольшая отара овец. Ричард знал, что он сделал все, абсолютно все. Теперь ему нужно было жениться. Получив письмо от дальнего родственника, который сообщал, что приехал в Сан-Франциско с женой и дочкой и хочет с ним повидаться, Ричард понял, что искать уже не нужно. Еще до отъезда в Сан-Франциско он знал, что женится на этой дочке. Это было верное дело. Женившись на ней, можно было не опасаться, что дети унаследуют дурную кровь.

Они прошли через церемонию ухаживания, хотя все было ясно уже с первой встречи. Алисия рада была избавиться от господства матери и основать свою собственную империю. Дом Ричарда был построен словно для нее. Она не пробыла в нем и суток, а уже покрыла полки в кладовой резными бумажными салфеточками. Ричард вспомнил, что видел точно такие же в кладовой у своей матери. Алисия вела дом уютно, по старинке, по раз и навсегда заведенному распорядку: в понедельник — стирка, во вторник — глаженье и все остальное; ковры выбивали дважды в год; варенье, соленье, томаты сохранялись на полках погреба от осени до осени. Ферма процветала, плодились овцы и коровы, а в саду высаживались многолетние цветы — лютики, турецкая и красная гвоздика, мальвы. А кроме того, Алисия ждала ребенка.

Ричард знал, что все именно так и получится. Династия основана. Верхушки каминных труб уже закоптились. Камин в гостиной дымил не больше, чем нужно для того, чтобы наполнить дом восхитительным смолистым запахом. Большая пенковая трубка, которая была белой, как мел, когда тесть подарил ее Ричарду, приобретала сочный желтовато-кремовый оттенок.

Во время беременности Алисии Ричард обращался

с ней почти как с больной. Он заботливо укутывал ей ноги, когда она сидела вечерами у камина; больше всего на свете он боялся, как бы чего-нибудь не случилось с ребенком. У них зашел разговор о картине, на которую ей нужно смотреть, чтобы их первенец родился красивым, и Ричард сделал ей сюрприз: заказал в Сан-Франциско маленькую бронзовую копию микеланджеловского Давида. Его нагота заставила Алисию зардеться, но вскоре она страстно привязалась к статуэтке. Ложась спать, она ставила ее на ночной столик. Днем, возясь по хозяйству, переносила ее за собой из комнаты в комнату, по вечерам статуэтка стояла в гостиной на камине. Часто, когда Алисия вглядывалась в стройную, мускулистую фигурку, на ее лице то вспыхивала, то угасала слабая улыбка, знающая и пытливая. Она не сомневалась, что ее ребенок будет похож на Давида.

Ричард сидел с ней рядом и успокоительно поглаживал ее руку. Она любила, когда он гладил ей ладонь, его прикосновение было твердым и не щекотало. Он негромко с ней разговаривал.

— Проклятие рассыпалось,— сказал он однажды.— Знаешь, Алисия, мои предки и твоя дальняя родня прожили сто тридцать лет в одном доме. И кровь родившихся там, у того очага, смешалась с доброй, чистой кровью жителей Новой Англии. Отец как-то рассказал мне, что в нашем доме родилось семьдесят три ребенка. Наша семья все росла и росла, и вдруг все оборвалось. У моего деда был только один ребенок — мой отец. Я тоже был единственным. Отцу это омрачило всю жизнь. Он умер всего шестидесяти лет, Алисия, и, кроме меня, у него не было детей. А когда мне исполнилось двадцать пять, и я, по сути дела, еще и жить-то не начал, наш старый дом сгорел. Не знаю, отчего он загорелся.

Он переложил ее руку на ручку своего кресла так нежно, словно это был маленький, слабый зверек. Тлеющий уголь выпал из камина и покатился по кирпичам. Ричард забросил его назад и снова взял Алисию за руку. Она слабо улыбалась стоящему на камине Давиду.

Голос Ричарда звучал теперь тихо и как бы издалека, словно из тех самых древних времен, о которых он рассказывал. Позже Алисия научилась по повороту его головы, по звуку голоса, по выражению лица угадывать, что он заговорит сейчас о древних временах. Времена Геродота, Ксенофонта, Фукидида составляли как бы частицу его жизни. На безграмотном Западе истории, рассказанные

Геродотом, звучали так, словно Ричард сам их выдумал. Каждый год он перечитывал «Персидскую войну», «Пелопоннесские войны», «Десять тысяч». Он чуть крепче сжал руку Алисии.

— В древние времена, когда на какой-нибудь город обрушивался целый поток бедствий и жители начинали думать, что он проклят или хуже того, что один из богов на него разгневался, они погружали все свое движимое имущество на корабли и уплывали, чтобы где-нибудь в другом месте основать новый город. А старый оставался пустым и был открыт для всякого, кто пожелает прийти туда.

— Дай мне, пожалуйста, статуэтку,— попросила Алисия.— Мне иногда хочется подержать ее в руках.

Он вскочил и положил Давида ей на колени.

— Слушай, Алисия. Когда тот дом сгорел, в двух поколениях оставалось лишь двое детей. Я погрузил свое имущество на пароход и отплыл на Запад, чтобы заложить новый дом. Ты ведь знаешь, дом, которого я лишился, строился сто тридцать лет. Я не мог вернуть его к жизни. А жить в новом доме на старой земле мне было бы больно. Когда я увидел эту долину, я понял, что нашел место для нового гнезда. И вот уже появляется новое поколение. Я очень счастлив, Алисия.

Она потянулась, чтобы пожать ему руку, благодарная за то, что сумела сделать его счастливым.

— Ба,— вдруг заговорил он,— мне ведь даже было предзнаменование, когда я пришел в долину. Я спросил богов, не ошибаюсь ли я, и они мне ответили. Правда, хорошо, Алисия? Хочешь, я расскажу тебе о предзнаменованиях и о том, как я первый раз переночевал здесь, на холме?

— Расскажешь завтра вечером,— сказала она.— Сейчас мне лучше пойти отдохнуть.

Он встал и помог ей снять плед с колен. Потом он повел ее наверх, и Алисия крепко опиралась на его руку.

— Что-то мистическое есть в нашем доме, Алисия, что-то непостижимое. Новая душа, первый абориген нового племени.

— Он будет похож на статуэтку,— сказала Алисия.

Ричард подоткнул ей одеяло, чтобы она не простудилась, и вернулся в гостиную. Дом был полон детей, он слышал их. Их ножки топали вверх и вниз по лестнице, они разгребали золу в камине. Он слышал, как они не-

громко перекликаются на террасе. Перед тем как пойти спать, он положил на верхнюю полку три толстые книги.

Роды были страшно тяжелые. Когда все кончилось и Алисия, бледная и измученная, лежала в кровати, Ричард принес маленького и положил его с ней рядом.

— Да,— сказала она удовлетворенно,— он похож на статуэтку. Я это знала, конечно. И мы, конечно, назовем его Давидом.

В гостиную спустился монтерейский доктор и сел рядом с Ричардом у камина. Он угрюмо насупил лоб и все вертел и вертел на среднем пальце масонское кольцо. Ричард откупорил бутылку бренди и налил две стопки.

— Я хочу выпить за своего сына, доктор.

Доктор поднес стопку к носу и фыркнул по-лошадиному:

— Ох, и хорош, мерзавец. Выпейте лучше за жену.

— Да, конечно.

Они выпили.

— Ну, а эту за сына.

— Выпейте и эту за жену.

— Почему? — удивленно спросил Ричард.

Доктор почти касался носом бренди в своей стопке.

— Нечто вроде благодарственной жертвы. Вы сейчас чуть было не овдовели.

Ричард залпом проглотил свою стопку.

— Я этого не знал. Я думал... я не знал этого. Я думал, что первые роды всегда трудные.

— Налейте-ка мне еще,— распорядился доктор.— Других детей у вас уже не будет.

Ричард, наполнявший в это время стопку, замер.

— Что вы хотите этим сказать? Конечно, у меня будут другие.

— Но не от этой жены, это уж точно. С ней все. Заведите еще одного ребенка, и вы останетесь без жены.

Ричард словно окаменел. Негромкий топот детских ног, который в последние месяцы чудился ему в доме, внезапно замер. Казалось, он услышал, как дети украдкой пробраются через парадную дверь и спускаются по ступенькам.

Доктор угрюмо рассмеялся.

— Может, вам напиться, если вы принимаете это так близко к сердцу?

— Нет, нет, что вы! Я, пожалуй, и не смогу.

— Ну... в общем, ладно, налейте-ка мне еще одну напоследок. Боюсь, продрогну я по дороге домой.

Только через полгода Ричард решился сказать жене, что она не сможет больше иметь детей. Он хотел, чтобы она набралась сил, прежде чем он обрушит на нее этот удар. Когда же он, наконец, пришел к ней, он почувствовал себя виноватым за то, что собирался сказать. Алисия держала ребенка на коленях и время от времени наклонялась схватить губами его растопыренные пальчики. Ребенок таращил на нее мутные глазенки и, улыбаясь влажными губками, шевелил своими прямыми пальчиками, приглашая ее снова их схватить. В окно сплошным потоком вливался солнечный свет. Слышно было, как где-то далеко один из их работников тягуче и монотонно ругает впряженных в борону лошадей. Алисия подняла голову и слегка нахмурилась.

— Его уже пора крестить, правда, Ричард?

— Да,— согласился он.— Я съезжу в Монтерей, договорюсь.

Видно было, что ее мучает какая-то мысль.

— Как ты думаешь, не поздно еще дать ему другое имя?

— Нет, конечно. А зачем это тебе? Как ты хочешь его назвать?

— Я хочу, чтобы его называли Джон. Это имя из Нового Завета.— Она посмотрела на него, ища одобрения.— И потом, так зовут моего отца. Отцу будет приятно. И еще мне почему-то кажется, что не годится называть его в честь статуи, даже статуи этого мальчика Давида. Если бы она хоть была одета...

Ричард и не пытался вникать в ее доводы. Он вдруг взял и одним махом выложил ей то, с чем пришел. Через минуту все было позади. Он не представлял себе, что это займет так мало времени. Алисия улыбалась той особой, загадочной улыбкой, которая всегда приводила его в замешательство. Казалось, он знал жену так, что лучше некуда, но эта улыбка, немного насмешливая, чуточку печальная и полная таинственной мудрости, закрывала ему доступ к ее мыслям. Она укрывалась за этой улыбкой. Улыбка говорила: «Как ты глуп. Я знаю нечто такое, что, стоит мне лишь рассказать тебе об этом, все твои знания покажутся просто смешными».

Ребенок потянулся пальчиками к ее лицу, призывая возобновить игру, и она принялась сгибать и разгибать их.

— Погоди,— сказала она.— Доктора ведь всего не знают. Ты немного погоди, вот и все. Будут у нас и другие дети.

Она переложила мальчика и просунула под пеленку руку.

Ричард вышел и сел на ступеньках крыльца. В доме снова кипела жизнь, а ведь пять минут назад он был тихим, мертвым. Оказывается, накопилась уйма дел. Полгода уже не подстригали живую изгородь из кустов букса, которая не давала саду разрастаться дальше, чем нужно. На заднем дворе давно уже был выделен участок для лужайки и его все еще не засеяли травой. Не отвели место для сушки белья. Ричард сидел возле самых перил. Он протянул руку и погладил их, словно это была выгнутая шея лошади.

Не успели Уайтсайды поселиться в Райских Пастбищах, как сразу же стали самыми уважаемыми в деревне. Они были люди образованные, владели прекрасной фермой, и если их и нельзя было назвать богатыми, нужды в деньгах они не испытывали. А главное, они жили в красивом уютном доме. Этот дом был символом семьи — просторный, роскошный по тем временам, теплый, гостеприимный, белый. Он был очень большой и потому казался богатым, но главное, что возвышало его над другими домами в долине, — это белый цвет, а хозяева то и дело заново белили его, — белый цвет, который придавал ему вид замка среди деревенских домиков. Все местные жители восхищались белым особняком, а кроме того, он вызывал у них какое-то ощущение уверенности. В нем воплощались власть, образованность, здравое суждение, хорошие манеры. Глядя на этот дом, можно было сказать, что Ричард Уайтсайд — джентльмен, не способный на низкий, жестокий или неразумный поступок. Соседи гордились этим домом точно так, как арендаторы герцога гордятся герцогским замком. И хотя некоторые из местных жителей были богаче Уайтсайда, они, казалось, не сомневались, что не сумеют построить такой дом, даже если в точности его скопируют. Из-за дома-то главным образом Ричард и стал для здешних жителей сперва образцом хороших манер, а позже чем-то вроде неофициального судьи в их мелких разногласиях. Это доверие, которое питали к нему соседи, внушило и самому Ричарду нечто вроде отцовского чувства по отношению к ним. С годами он стал относиться ко всем местным событиям как к своим личным делам, и люди гордились этим.

Прошло пять лет, и внутреннее чувство подсказало Алисии, что она снова сможет иметь ребенка.

— Я позову врача,— сказал Ричард, когда она сообщила ему об этом.— Он скажет, опасно это или нет.

— Не надо, Ричард. Врачи ничего не понимают. Женщины знают себя лучше, чем врачи.

Ричард повиновался — он боялся того, что мог сказать ему доктор.

— В женщинах есть искра божия,— убеждал он себя.— Природа наделила женщину даром провидения, дабы род человеческий не угас.

Шесть месяцев все шло прекрасно, и вдруг наступили преждевременные роды. Доктор — за ним все же пришлось наконец послать,— был в такой ярости, что даже не стал разговаривать с Ричардом. Потянулись ужасные часы. Ричард сидел в гостиной, вцепившись в ручки кресла, и прислушивался к слабым вскрикиваниям, доносившимся сверху, из спальни. Лицо его стало серым. Это длилось много часов, потом вскрики умолкли. Ричард так отупел от мрачных предчувствий, что даже не поднял глаз, когда в комнату вошел доктор.

— Вытаскивайте свою бутылку,— устало проговорил врач.— И выпьем за вас, за идиота безмозглого.

Ричард молча глядел в пол. С минуту доктор сверлил его грозным взглядом, потом заговорил снова, но уже мягче:

— Ваша жена не умерла, один бог знает почему. Ей так досталось, что не выжил бы взвод солдат. Эти мне слабые женщины. Чудовищно живучи! Ребенок мертв!

Ему вдруг захотелось наказать Ричарда за то, что он не послушался его совета:

— Хоронить нечего, от него немного осталось.

Он резко повернулся и тут же вышел из дома, потому что очень не любил жалеть людей так, как он жалел сейчас Ричарда Уайтсайда.

Алисия осталась калек. Маленький Джон не помнил того времени, когда его мать была здорова. Всегда, всегда, с тех пор как он себя помнил, отец на руках сносил ее вниз по лестнице и поднимал вверх. Разговаривала Алисия редко, но все чаще и чаще в глазах ее появлялась ироническая и мудрая усмешка. И, несмотря на свою беспомощность, она изумительно вела дом. Неотесанные деревенские девчонки, которые прислуживали в доме в ожидании того вождеденного часа, когда они сами станут замужними женщинами, являлись к ней за приказами перед каждой едой. И Алисия, лежа в кровати или сидя в калалке, правила всем.

Каждый вечер Ричард относил ее наверх, в спальню. Она лежала там, на своих белоснежных подушках, а он поддвигал к ней кресло, садился и, поглаживая ее ладонь, ждал, когда она уснет. Каждый вечер она спрашивала его:

— Ты доволен, Ричард?

— Доволен,— отвечал он.

И рассказывал ей о ферме и о соседях. Это было что-то вроде ежедневного отчета. Когда он начинал рассказывать, на лице ее появлялась улыбка, которая исчезала лишь, когда глаза ее закрывались, и Ричард гасил свет. Таков был ритуал.

Когда Джону исполнилось десять лет, ему устроили праздник. В доме собрались ребятишки со всей долины, они на цыпочках бродили по комнатам, тараща глаза на это великолепие, о котором они столько слышали. Алисия сидела на веранде.

— Почему вы себя так тихо ведете, дети? — спрашивала она.— Побегайте, поиграйте.

Но они не могли кричать и бегать в доме Уайтсайда. Это было бы все равно, что закричать в церкви. Когда гости обошли все комнаты, им стало уж совсем невмоготу. Они устремились в амбар, и их дикие вопли долетали оттуда до террасы, где сидела улыбающаяся Алисия.

Этим вечером, лежа в постели, Алисия спросила:

— Ты доволен, Ричард?

Его лицо все еще сияло от удовольствия, которое доставил ему приход гостей.

— Доволен,— ответил он.

— Не надо расстраиваться из-за детей, Ричард,— снова заговорила она.— Погоди немного. Все будет хорошо.

Он снова подумал, что она знает много, очень много; знает все.

— Погоди немного. Нет такого горя, которое не смягчилось бы, если немного подождать.

Ричард чувствовал, что она знает что-то более важное, чем он.

— Ждать уже недолго,— продолжала Алисия.

— Чего ждать?

— Как чего? Джона. Ему уже десять лет. Еще через десять он женится, и тогда... понимаешь? Научи его тому, что ты сам знаешь. Наша семья не погибнет, Ричард.

— Да, да, конечно. И дом не погибнет. Я начну читать ему Геродота. Он уже большой.

— Мне кажется, Миртл должна завтра прибраться в запасных спальнях. Их уже три месяца не проветривали.

На всю жизнь запомнил Джон Уайтсайд, как отец читал ему трех великих авторов: Геродота, Фукидида, Ксенофонта. Пенковая трубка была теперь ровного красновато-коричневого цвета.

— Здесь вся история,— говорил Ричард.— В этих трех книгах рассказано обо всем, на что способен человек. Здесь любовь и лицемерие, тупая бесчестность, ограниченность и отвага, благородство и печаль человечества. По этим книгам ты можешь судить о будущем, Джон, потому что на земле уже не случится ничего такого, о чем не рассказывали бы эти книги. Библия по сравнению с ними — лишь собрание разрозненных историй, созданных невежественным народом.

А еще Джону запомнилось, как отец относился к дому: он считал его символом семьи, храмом, воздвигнутым вокруг очага.

Джон был на последнем курсе Гарвардского университета, когда отец внезапно умер от пневмонии. Алисия написала сыну, чтобы он не приезжал, пока не кончится ученье.

«Ты не смог бы сделать больше того, что сделано,— писала она.— Ты должен окончить ученье, такова была воля отца».

Когда же он наконец вернулся домой, он увидел, что мать очень постарела. Теперь она уже совсем не вставала с постели. Джон сел у ее кровати, и мать рассказала ему о последних днях отца.

— Он просил меня сказать тебе одну вещь,— говорила Алисия: — «Пусть Джон поймет, что мы не должны исчезнуть. Я хочу жить в своих потомках». И вскоре после этого у него начался бред.— Джон смотрел в окно, на круглый холм за домом.— Два дня твой отец не приходил в сознание. И он все время говорил о детях, только о детях. Он слышал, как они бегают вверх и вниз по лестнице, чувствовал, как они дергают одеяла на его кровати. Ему хотелось взять их на руки, Джон. А после, уже перед самым концом, видения рассеялись. Он был счастлив. Он сказал: «Я видел будущее. Все эти дети здесь будут. Я доволен, Алисия».

Джон сидел, опершись подбородком на руки. И тут мать, которая ни разу в жизни не восставала против чего бы то ни было, а всегда лишь просила подождать и предоставить все времени, вскинулась и заговорила с ним резко, почти грубо:

— Женись! — крикнула она.— Я хочу это видеть. Же-

нись и возьми крепкую женщину, пусть рождает тебе детей. Я уже не могла родить после тебя. Я умерла бы, если б родила хоть одного. Поскорее разыщи себе жену. Я хочу ее видеть.

Она откинулась на подушки, но в глазах ее застыла тоска, и на лице не было той всегдашней улыбки.

Джон не женился целых полгода. Мать за это время так высохла, что превратилась в крохотный скелетик, обтянутый голубоватой, почти прозрачной кожей, и все же она продолжала цепляться за жизнь. Ее глаза с безмолвным укором следили за сыном. Ему было стыдно, когда он чувствовал на себе этот взгляд. Потом один из бывших сокурсников Джона приехал на Запад, чтобы присмотреть себе какое-нибудь дело, и привез с собой сестру. Они прогостили у Уайтсайдов месяц; к концу этого срока Джон сделал Уилле предложение, и она приняла его. Когда он рассказал об этом матери, та захотела поговорить с девушкой с глазу на глаз. Спустя полчаса Уилла вышла из комнаты больной с пылающими щеками.

— Что случилось, дорогая? — спросил Джон.

— Так, пустяки. Ничего не случилось. Твоя мама задала мне множество вопросов, а потом долго смотрела на меня.

— Она очень стара, — пояснил Джон. — И рассудок у нее тоже старый-старый.

Он пошел в комнату матери. С ее лица уже ушло обеспокоенное, страдальческое выражение, и снова появилась прежняя лукавая, знающая улыбка.

— Все хорошо, Джон, — сказала она. — Мне хотелось бы поглядеть на детей, но я не смогу. Я и так уже слишком долго цеплялась за жизнь. Я устала.

Джон почти видел, как слабеет в ней цепкая воля. Ночью она начала бредить, а через три дня умерла, тихо и спокойно, словно во сне.

Джон Уайтсайд относился к дому несколько иначе, чем отец. Любил он его больше. Дом стал как бы его скорлупой. Точно так же, как мысли его могли покинуть тело и отправиться куда-то вдаль, так и сам он мог покинуть дом, но обязательно должен был в него вернуться. Каждые два года он заново белил его, работал в саду, подстригал буксовую изгородь. Он не унаследовал отцовской власти над долиной. Джон был мягче, ему не хватало отцовской убежденности. Когда ему приходилось решать какой-нибудь спор, он слишком уж дотошно вникал во все мелкие обстоятельства, о которых рассказывали обе

стороны. Большая пенковая трубка теперь совсем уже потемнела, она стала черной с красноватым оттенком.

Уилла Уайтсайд сразу полюбила Райские Пастбища. Алисия держалась отчужденно и замкнуто, ее побаивались. Соседи редко видели ее, а когда это случалось, она обращалась с ними приветливо и ласково, была великодушна и тактична. Но в ее присутствии фермеры чувствовали себя крестьянами, пришедшими в замок.

Уилле нравилось ходить в гости к местным фермерам. Она любила пить крепкий чай у них на кухне и обсуждать эту неисчерпаемую и важную тему — домашнее хозяйство. Кулинарные советы Уилла собирала оптом. Отправляясь в гости, она всегда брала с собой блокнотик и записывала заветные рецепты. Соседки звали ее по имени и часто забежали к ней по утрам выпить чайку на кухне.

Возможно, что и Джон стал общительным отчасти под ее влиянием. Он не обладал тем непререкаемым авторитетом, которым пользовался всегда замкнутый Ричард. Джону нравились соседи. В жаркие летние дни он сидел на веранде в шезлонге и беседовал с теми, кто был в этот день свободен. Здесь обсуждалась местная политика, устраивались небольшие заседания за стаканом лимонада. На этой веранде формировалась общественная и политическая структура Райских Пастбищ, и создавалась она всегда весело.

Джон смотрел на все окружающее его с какой-то добродушной иронией, и благодаря этому жизнь обитателей долины, в отличие от большинства сельских районов, не была отравлена бушеванием политических страстей и яростной религиозной нетерпимостью. Если во время прений, которые вели между собой мужчины, разговор касался какого-нибудь события или бедствия, бывшего в то время притчей во языцех у всей страны или у всей долины, Джону нравилось вынести на террасу три толстые книги и прочесть вслух о том, как в древнем мире возникали подобные обстоятельства. Он любил древних так же горячо, как его отец.

К воскресному обеду приходили гости — какая-нибудь супружеская чета из живущих поблизости, случалось, забредал странствующий проповедник. Женщины помогали Уилле на кухне. Обедали в полдень. За обедом проповедник замечал, как жгучее пламя его миссии тихо угасает в атмосфере кроткой терпимости, а когда приносили десерт и сидр, ревностный баптист от души хохотал над добродушными насмешками, которые отпускались здесь по поводу таинства крещения.

Все это доставляло Джону самое неподдельное удовольствие, но настоящая его жизнь протекала в гостиной. Кожаные кресла — каждая их выпуклость и впадина были воплощением уюта — казались ему частицей его самого. На стенах висели картины, он вырос вместе с ними. Это были гравюры: олень, путешественники в Швейцарских Альпах, горные козлы. Эти картины так вплелись в его жизнь, что он уже не замечал их, но если бы они исчезли, он почувствовал бы физическую боль, как при ампутации. Больше всего он любил вечера. В красном кирпичном камине горел нежаркий огонь, Джон сидел в кресле и поглаживал большую пенковую трубку. Время от времени он смазывал свою трубку — проводил ее полированной чашечкой вдоль носа. Он читал «Георгики» или «О сельском хозяйстве» Варрона, а Уилла сидела у своей лампы и, плотно сжав губы, вышивала цветы на салфеточках, которые она посылала на Рождество своим родственникам на Восток, получая от них взамен точно такие же.

Джон закрыл книгу и направился к конторке. Это была старинная конторка с крышкой на роликах, крышка вечно заедала, с ней пришлось повозиться. Внезапно она поддалась и с грохотом сдвинулась с места. Уилла разжала губы. С ее лица исчезло напряженное, страдальческое выражение, появлявшееся у нее, когда она над чем-нибудь старалась.

— Бог мой, что ты там делаешь?

— Да так, хочу кое о чем подумать.

Он проработал час и сказал:

— Вот послушай, Уилла.

Напряженное выражение вновь исчезло с ее лица.

— Я так и думала... стихи.

Он прочел их и ждал с виноватым видом. Уилла тактично промолчала. Молчание затянулось и перестало быть тактичным.

— Мне кажется, они не очень хороши.

Он невесело рассмеялся.

— Твоя правда.

Джон смял бумагу и швырнул ее в огонь.

— На какую-то минутку мне показалось, что получится хорошо.

— А что ты перед этим читал, Джон?

— Да просто просматривал Вергилия и решил испытать свои силы, потому что мне не хотелось... Знаешь, ведь почти невозможно читать что-нибудь хорошее и не захотеть что-нибудь хорошее сделать. Ладно, пустяки!

Он задвинул крышку и вынул из шкафа новую книгу.

Гостиная была его домом. Он чувствовал себя здесь подлинным, совершенным, счастливым.

Жизнь человека обычно движется по кривой. Честолюбивый подъем, округлая вершина зрелости, пологий спуск утраченных иллюзий и, наконец, плоская равнина ожидания смерти. Жизнь Джона Уайтсайда шла по прямой линии. Он был нечестолюбив. Ферма не только обеспечивала ему безбедную жизнь, но и приносила доход, достаточный для того, чтобы нанять людей, которые бы за него работали. Он никогда не хотел ничего такого, чего бы не имел или не мог бы с легкостью получить. Он был одним из тех немногих, кто умел наслаждаться мгновением, пока оно не миновало. И он знал, что эта его жизнь хороша, на редкость хороша.

Лишь одного ему не хватало. У него не было детей. Он жаждал детей почти с такой же силой, как его отец. У Уиллы не было детей, хотя она о них мечтала не менее горячо, чем он. Это смущало их, и они никогда не разговаривали на эту тему.

На восьмом году супружества, по какой-то прихоти то ли природы, то ли providения, Уилла забеременела и после спокойной, безболезненной беременности родила здорового ребенка.

Этот случай больше ни разу не повторился, но и Уилла и Джон были благодарны, почти благоговейно благодарны. Страстное желание увековечить себя, до тех пор подспудное, вырвалось наружу. И Джон принялся вспарывать землю плугом, скрести ее бороной, бить катком. Это продолжалось несколько лет. Если до сих пор Джон был другом своей земли, то сейчас пробудившееся в нем чувство долга перед потомками превратило его в хозяина. Он бросал в землю семена и с нетерпением ожидал зеленых всходов.

В Уилле не произошло таких перемен. Этого мальчика, Уильяма, она восприняла как нечто само собой разумеющееся, звала его Биллом и даже не думала ему поклоняться. А Джону казалось, что он видит в мальчике своего отца, несмотря на то, что никто не разделял его мнения.

— Как ты думаешь, он способный? — спрашивал он жену. — Ты ведь больше, чем я, с ним бываешь. Хорошая у него голова, как по-твоему?

— Да так себе. Самый обыкновенный.

— Мне кажется, он слишком медленно развивается, — нетерпеливо говорил Джон. — Я жду не дождусь, когда он начнет все понимать.

Когда Биллу исполнилось десять лет, Джон открыл

толстый том Геродота и начал читать ему. Билл сидел на полу и безучастно глядел на отца. Каждый вечер Джон прочитывал ему по несколько страниц. Так прошло около недели, но однажды вечером, подняв глаза от книги, Джон увидел, что Уилла смотрит на него и смеется.

— В чем дело? — спросил он резко.

— Погляди, что у тебя под стулом.

Он наклонился и увидел спичечный домик, который построил Билл. Мальчик был так поглощен своим делом, что даже не заметил, как прекратилось чтение.

— Он что, совсем не слушал?

— Ни слова. Он ни единого слова не услышал с тех пор, как в первый же вечер потерял интерес к чтению на втором абзаце.

Джон закрыл книгу и положил ее в шкаф. Ему не хотелось показывать, как ему больно.

— Возможно, он еще мал. Через год я попробую снова.

— Ему это никогда не понравится, Джон. Он не из того теста, что ты и твой отец.

— Чем же он интересуется? — спросил Джон растерянно.

— Да тем же, чем и другие здешние мальчишки. Револьверами, лошадьми, коровами, собаками. Он ускользнул от тебя, Джон, и, по-моему, ты его уже никогда не поймаешь.

— Скажи мне правду, Уилла. Он... глупый?

— Нет, — ответила она, подумав. — Он не глуп. В некоторых отношениях он сильнее и умнее тебя. Просто он совсем другой породы, Джон. Рано или поздно тебе придется в этом убедиться.

Джон утратил интерес к земле. О ней можно было не беспокоиться. Наступит день, и Билл начнет ее обрабатывать. И о доме можно не беспокоиться. Билл не глуп. Он с детских лет проявляет несомненный интерес ко всей этой механике... Он делал вагончики и требовал, чтобы на Рождество ему дарили игрушечные паровозы. Джон заметил в мальчике еще одну черту, совершенно несвойственную Уайтсайдам. Он был не только очень скрытен, он обладал деловой хваткой. Билл продавал другим ребятам свои вещи, а когда они им надоедали, скупал их по дешевке. Небольшие денежные подарки чудесным образом приумножались в его руках. Но прошло еще немало времени, прежде чем Джон признался себе, что у него нет ничего общего с сыном. Он подарил ему телку, и Билл тут

же сменял ее на поросят, выкормил их и продал. Джон смеялся над собой.

— Конечно, он умнее меня,— говорил он Уилле.— Отец мне однажды подарил телку, и я держал ее до тех пор, пока она не умерла от старости. В Билле какой-то атавизм, может быть, от пиратов. А его дети, возможно, будут Уайтсайдами. Это могучая кровь. Мне все же хотелось бы, чтобы он не был так скрытен.

Кожаное кресло, черная пенковая трубка и книги вновь отвлекли Джона от фермы. Его избрали председателем попечительского совета. И снова фермеры собирались потолковать в его доме. Его волосы начали седеть, и с каждым годом возрастало его влияние в долине.

Дом стал олицетворением Джона Уайтсайда. Когда соседи думали о Джоне, он никогда не представлялся им в поле, в повозке, в лавке. Вне дома его облик казался неполным. Вот он сидит в кожаном кресле и улыбается своим толстым книгам. Вот он полулежит в шезлонге на своей гостеприимной широкой веранде, или с маленькими пожницами и корзинкой срезает цветы в саду, или же во главе стола старательно и искусно разрезает большой кусок жареного мяса.

На Западе, если какая-нибудь семья в течение двух поколений живет в одном доме, дом считают старым, а его обитателей пионерами. Старые дома вызывают здесь какое-то смешанное чувство благоговения и презрения. На Западе очень мало старых домов. Заселившие этот край непоседы-американцы совершенно не способны долго жить на одном месте. Они строят хлипкие домишки и покидают их, едва поманит новая надежда. Старые дома почти всегда стоят холодные и безобразные.

Когда Берт Мэнро переехал со своим семейством в Райские Пастбища и поселился на ферме Бэттла, он очень быстро оценил то положение, которое здесь занимал Джон Уайтсайд. Берт не замедлил присоединиться к тем, кто собирался на веранде Уайтсайда. Участок его примыкал к земле Уайтсайдов. Вскоре Берта избрали в попечительский совет, и он стал встречаться с Джоном и по делу. Однажды вечером на попечительском совете Джон процитировал несколько строк из Фукидида. Берт подождал, пока разойдутся остальные члены совета.

— Я хотел спросить вас об этой книге, о которой вы нынче рассказывали, мистер Уайтсайд.

— Вы имеете в виду «Пелопоннесские войны»?

Джон вынес книгу и протянул ее Берт.

— Мне, пожалуй, было бы интересно почитать ее, если вы не против.

Джон заколебался:

— Разумеется... вы можете ее взять. Эта книга принадлежала моему отцу. Когда вы ее прочтете, у меня здесь найдется еще кое-что, что может вас заинтересовать.

После этого случая между обеими семьями возникло что-то вроде дружбы. Они приглашали друг друга обедать, заходили в гости. Берт не стеснялся одалживать у Джона кое-какие инструменты.

Однажды вечером — это было года через полтора после приезда Мэнро — Билл деревянным шагом вошел в гостиную и остановился перед родителями. Он нервничал и потому держался грубо.

— Я собираюсь жениться, — сказал он.

Весь его вид говорил о том, что он принес дурную весть.

— Что-о? — крикнул Джон. — Почему ты нам ничего не говорил? Кто она?

— Мэй Мэнро.

Внезапно Джон понял, что новости хорошие, что это не признание в преступлении.

— Да ведь... да ведь это хорошо. Я рад. Она славная девушка... Правда, Уилла?

Жена избегала его взгляда. Только сегодня утром она была у Мэнро.

Билл словно врос в пол посреди гостиной.

— Когда ты намерен это сделать? — спросила Уилла.

Джон отметил, что ее голос звучит чуть ли не враждебно.

— Да теперь уж скоро. Как только будет готов наш дом в Монтерее.

Джон встал, взял с камина черную пенковую трубку и закурил ее. Потом вернулся на место.

— Ты держал это в большом секрете, — заметил он спокойно. — Почему ты нам не рассказал?

Билл молчал.

— Так ты говоришь, вы будете жить в Монтерее. Ты, значит, не собираешься привести сюда жену? Ты не хочешь жить в этом доме и обрабатывать эту землю?

Билл покачал головой.

— Ты чего-то стыдишься, Билл?

— Нет, сэр, — ответил Билл. — Я ничего не стыжусь. Просто я никогда не любил говорить о своих делах.

— А тебе не кажется, что это в некотором роде и наше дело, Билл? — вспыхнул Джон. — Ты член нашей семьи. Твои дети будут нашими внуками.

— Мэй выросла в городе, — перебил его Билл. — В Монтерее живут все ее подруги... Ну эти... с которыми она училась в школе. Ей не нравится у нас, здесь и жизни-то никакой нет.

— Понимаю.

— Ну и когда она сказала, что хочет жить в городе, я купил себе долю в фордовском агентстве. Я ведь давно уже хочу заняться бизнесом.

Джон медленно наклонил голову. Первая вспышка гнева поспешно остывала.

— И ты думаешь, она не согласится жить в этом доме, Билл? Здесь так просторно. Если она захочет, мы могли бы переделать вам любую часть дома.

— Да ведь ей не нравится жить в деревне. В Монтерее все ее подруги.

Уилла слушала, плотно сжав губы.

— Посмотри на отца, Билл! — приказала она.

Джон резко поднял голову и печально усмехнулся.

— Ничего, я думаю, все будет в порядке. У вас много денег?

— Ну еще бы! Конечно, много. И знаешь что, отец? Дом у нас будет великоват, то есть для двоих он велик. Мы посоветовались и решили, что, может быть, вы с мамой захотите к нам переехать.

Джон все еще улыбался с учтивой серьезностью.

— А что же станет с этим домом и с фермой?

— О, мы и об этом думали. Вы могли бы продать все это и получить столько, что вам хватило бы на всю жизнь в городе до самого конца. Я бы за педсю продал для тебя этот участок.

Джон вздохнул и откинулся на подушки кресла.

Заговорила Уилла.

— Если бы я была уверена, что ты заплачешь, Билл, я бы отколотила тебя палкой.

Джон зажег трубку и примял табак.

— Ты не сможешь уйти надолго, — сказал он мягко. — В один прекрасный день ты затоскуешь по дому и ничего не сможешь с собой сделать. Ты прирос к этому месту. Когда у тебя будут дети, ты поймешь, что они могут расти только здесь и больше нигде. Ты можешь уйти ненадолго, но там не останешься. Пока ты живешь в городе, Билл, мы будем ждать тебя здесь, подбеливать дом, под-

стригать сад, вот и все. Ты вернешься. Твои дети будут играть у водонапорной башни. Мы подождем. Мой отец умер, мечтая о детях.— Он застенчиво улыбнулся.— Я чуть было не забыл об этом.

— Ох, как бы я его избила,— пробормотала Уилла. Билл смущенно вышел из комнаты.

— Он вернется,— еще раз повторил Джон.

— Конечно,— угрюмо согласилась жена.

Джон вздернул голову и подозрительно на нее покусился.

— Ты ведь и правда так думаешь, Уилла? Ты не говоришь мне это просто так? А то я почувствую себя стариком.

— Конечно, правда. Что же я, по-твоему, болтаю что попало?

В конце лета Билл женился и сразу переехал в Монтерей, в свой новый, оштукатуренный дом. Осенью на Джона вновь напало беспокойство, точно такое же, как перед рождением Билла. Он заново побелил дом, хотя в этом не было особой нужды. Он то и дело немилосердно стриг кусты в саду.

— Урожай маловаты,— говорил он Берту Мэнро.— Запустил я участок. Я мог бы собирать куда больше.

— Это верно,— согласился Берт.— Все могли бы собирать больше. Я всегда удивлялся, почему ты не заведешь овец. Мне кажется, твои холмы прокормили бы целую отару.

— При отце у нас была отара. Ох, и давно это было. Но я же говорю, я запустил участок. Кустарник очень разросся.

— А ты его выжги,— посоветовал Берт.— Если осенью ты сожжешь кустарник, к весне у тебя будет отличное пастбище.

— Недурная идея. Но кусты доходят чуть не до самого дома. Мне понадобится много помощников.

— Ну что ж, я помогу тебе, и Джимми захвачу. У тебя двое работников, да ты сам, получается пятеро. Если мы начнем с утра, в безветренную погоду, да еще после небольшого дождика, никакой опасности не будет.

Осень наступила рано. В октябре растущие по берегам ручьев ивы пламенели желто-красной листвой. Высоко-высоко, почти невидные глазу, летели на юг большие стаи уток, а на задних дворах прирученные кряквы хлопали крыльями, вытягивали шеи и жалобно кричали. Черные дрозды кружили над полями, следуя за вожаком. В воздухе уже чувствовался легкий морозец. Джона Уайтсайда

тревожила наступающая зима. Он с утра до вечера работал в саду, помогал подстригать деревья.

Проснувшись однажды ночью, он услышал шепот дождика на крыше, негромкие всплески в саду.

— Ты не спишь, Уилла? — спросил он тихо.

— Нет, конечно.

— Первый дождь. Мне хотелось, чтобы ты его услышала.

— Я слышу его с самого начала, — гордо ответила она. — Ты пропустил самое лучшее — бурю. Ты храпел.

— Да, но он ненадолго. Первый дождик смывает пыль, и все тут.

Утром взошло солнце, и напоенный влагой воздух весь заискрился в его лучах. Солнечный свет был ослепителен, как хрусталь. Не успели они окончить завтрак, как Берт Мэнро и его сын Джимми протопали по заднему крыльцу и ввалились в кухню.

— Привет, миссис Уайтсайд! Привет, Джон! Я подумал, что сейчас самое время подпалить этот кустарник. Нынче ночью прошел славный дождик.

— А что, недурная мысль. Садись, выпей кофе.

— Мы только что позавтракали, Джон. Сыт по горло.

— А ты, Джимми? Налить тебе чашечку?

— Сыт по горло, — ответил Джимми.

— Ну что ж, тогда начнем, пока трава не подсохла.

Рядом с кухонной дверью была наклонная дверца, ведущая в подвальное помещение. Джон спустился туда и через минуту вернулся с бидоном керосина. Когда из сада пришли двое работников, Джон роздал всем мужчинам мокрые рогожные мешки.

— Ветра нет, — сказал Берт. — Сейчас самое время. Начинай прямо отсюда, Джон! Мы будем держаться между огнем и домом до тех пор, пока не выжжем широкую полосу. Рисковать не стоит.

Джон воткнул политый керосином факел в густые заросли кустарника и прочертил вдоль их края огненную полосу. Кустарник яростно затрещал и защелкал. Пламя побежало по земле, подхватывая смолистые стебли. Двигаясь вслед за огнем, мужчины медленно поднимались по крутому склону невысокого холма.

— Хватит, пожалуй! — крикнул Берт. — Я бы начал уже поджигать с верхнего края.

Берт и Джимми зашагали вверх, огибая заросли кустарника. В эту минуту налетел осенний ветерок. Закрутив сухие листья, вихрь заплясал вниз по склону, извиваясь и кренясь в разные стороны, словно маленький смерч.

Вот он игриво метнулся к огню, подхватил рой искр и тлеющих угольков и швырнул их в сторону дома. И тут же сник, словно наскучила ему эта игра. Берт и Джимми уже бежали назад. Все пятеро принялись осматривать землю и затапывать каждую искорку.

— Хорошо, что вовремя заметили,— сказал Джон.— От такого пустяка весь дом мог сгореть.

Берт и Джимми снова обогнули кустарник и подожгли его с верхнего конца. Джон и оба работника двигались вверх по склону, держась между огнем и домом. Воздух стал густым и плотным от дыма. Через четверть часа был выжжен почти весь кустарник. Внезапно откуда-то со стороны дома донесся пронзительный крик. Дом был еле виден из-за дыма. Пятеро мужчин все разом повернули и кинулись бежать. Когда дым поредел, они увидели, что из верхнего окна валят густые серые клубы.

Навстречу им по выжженной земле неслась обезумевшая Уилла. Джон, поравнявшись с ней, остановился.

— Я слышала шум в подвале,— крикнула она.— Открыла дверь, что ведет в подвал из кухни, и... Теперь весь дом в огне.

К ним подскочили Берт и Джимми.

— Шланги у водокачки есть? — закричал Берт.

Джон с трудом оторвал взгляд от горящего дома.

— Не знаю,— с сомнением ответил он.

Берт взял его за руку.

— Скорее! Чего ты стоишь? Можно еще кое-что спасти. Хоть часть мебели вынесем.

Джон высвободил руку и поплелся вниз по склону.

— По-моему, уже ничего не надо спасать,— сказал он.

— Ты с ума сошел! — заорал Берт.

Он кинулся к водонапорной башне и стал метаться там в поисках шлангов.

Из окон вовсю рвался дым и огонь. Из середины здания доносился шум ожесточенной битвы: старый дом сражался за свою жизнь.

К Джону подошел работник.

— Если бы хоть то окно было закрыто, можно было бы попробовать,— проговорил он виновато.— Уж больно он сухой, этот дом. Тяга прямо как в печке.

Джон подошел к поленнице и сел на козлы для пилки дров. Уилла заглянула ему в лицо и застыла с ним рядом. Теперь уже дымились внешние стены, и дом ревел словно буря.

И тут случилось нечто удивительное и очень жестокое. Боковая стена упала, словно кулиса, и они увидели в две-

надцати футах над землею совершенно не тронутую огнем гостиную. На их глазах по комнате полоснули огненные языки. Кожаные кресла дрожали и съеживались от жары, как живые. Лопались стекла на картинах, гравюры превращались в обуглившиеся лохмотья. Им видна была висевшая над камином большая черная пенковая трубка. Затем пламя закрыло собой квадрат комнаты, и все исчезло. Тяжелая шиферная крыша рухнула, дробя своей тяжестью пол и стены, и весь дом превратился в бесформенный исполинский костер.

Вернулся Берт и беспомощно остановился рядом с Джоном.

— Это, наверно, от того вихря,— сказал он.— Какая-нибудь искорка, наверно, залетела в подвал и попала в каменноугольный деготь. Да, сэр, это, наверно, от дегтя.

Джон взглянул на него и улыбнулся испуганно и в то же время с пропией.

— Да, наверное, от дегтя,— повторил он.

Теперь, когда победа осталась за огнем, дом горел спокойно, пламя все разрасталось, и весь этот пылающий массив высоко вздымался в воздух. На дом это было уже совсем не похоже. Джон Уайтсайд встал с козел, расправил плечи и вздохнул.

На секунду его взгляд задержался на какой-то точке огня, в пятнадцати футах над землею, там, где раньше была гостиная.

— Ну, вот и конец,— сказал он.— Думаю, я теперь знаю, что чувствует душа, когда тело закапывают в землю. Пойдем к тебе, Берт. Я хочу позвонить Биллу. Может быть, у него найдется комната для нас.

— А почему бы вам не пожить у нас? У нас места хватит.

— Нет, мы поедem к Биллу.

Джон еще раз окинул взглядом пылающую грудку. Уилла потянулась, чтобы взять его за руку, но отдернула ее, не коснувшись его. Джон заметил ее движение и улыбнулся ей.

— Жаль, что мне не удалось спасти мою трубку,— сказал он.

Тут Берт заговорил быстро и возбужденно.

— Да, сэр, в жизни я не видел такой трубки. Есть трубки в музеях, но и те не такого цвета. Эту трубку, должно быть, долго обкуривали.

— Это верно,— согласился Джон.— Очень долго. И знаешь, она и на вкус была хороша.

XII

В два часа дня от стоянки в Монтерее отъехал туристический автобус. Он отправлялся в широко разрекламированное турне, именуемое Семнадцатимильным. Туристы глазели из окон на роскошные дома богачей. Туристы таращились сквозь пыльные стекла и чувствовали себя довольно неловко. Они казались себе соглядатаями, правда, привилегированными, но все-таки соглядатаями. Автобус медленно проехал через город Кармел и пополз по склону холма к коричневому зданию миссии Кармело, увенчанному полукруглым куполом. Шофер, молодой парень, отвел автобус на обочину и уселся поудобнее. Пассажиры тем временем повели на экскурсию в темную старинную церковь.

За время экскурсии кое-кто успел перезнакомиться, и лед, как говорится, был сломан.

— Слышали? — сказал один из туристов, на вид человек состоятельный. — Гид говорит, эта церковь построена как корабль, настоящий корабль с каменным килем и корпусом, глубоко погруженными в землю. Это на случай землетрясений... Представляете, как корабль в бурю, да? Только все это без толку.

Сидевший позади молодой священник с гладким розовым лицом, очень гордый своей новенькой саржевой сутаной, ответил:

— Ну, не сказал бы. Ведь землетрясения тут бывали, и не раз, а миссия до сих пор стоит, а ведь она построена из простой глины.

Тут в разговор вмешался кряжистый, с беспокойными глазами старик.

— Любопытные вещи творятся на свете, — сказал он. — У меня в прошлом году умерла жена. Мы с ней пятьдесят лет прожили. — Он огляделся, смущенно улыбаясь и, видимо, ожидая, что кто-нибудь поддержит разговор. Он совсем забыл про любопытные вещи, о которых собирался рассказать своим спутникам.

Молодожены, совершающие свадебное путешествие, сидели, обнявшись. Молодая очень смущалась, но наконец, преодолев застенчивость, пробормотала:

— Интересно, куда мы сейчас поедem?

Автобус медленно двигался по долине Кармел — мимо садов, где росли артишоки, мимо отвесных красных скал, испещренных зелеными прожилками ползучих растений. День клонился к вечеру, и солнце опускалось туда, где за линией горизонта лежало море. Сначала дорога шла вдоль реки Кармел, потом свернула в сторону и стала взбираться по склону холма, а дальше пошла по узкому гребню хребта. Здесь автобус резко сбавил скорость и съехал с дороги, раза четыре дернулся взад-вперед, после чего, наконец, развернулся и затормозил. Шофер заглушил мотор и обратился к пассажирам.

— Вот досюда мы вас довозим, а дальше можете, если желаете, прогуляться пешком. Мне хотелось бы немного передохнуть перед обратной дорогой. Так что прошу...

Пассажиры стали выбираться из автобуса, разминали затекшие от долгого сидения ноги. Многие поднялись на вершину хребта, откуда открывался вид на Райские Пастбища. Лучи заходящего солнца наполняли воздух золотистой дымкой. Перед ними лежала долина, расчерченная на зеленые квадратики садов, на желтые квадратики полей, где зрела пшеница, и темно-лиловые квадратики свежеспаханной земли. Крепкие, добротные фермерские дома утопали в садах. Дым очагов тянулся к небу и плыл в воздухе пока его не уносил горный ветер. В долине паслись коровы и было слышно, как позвякивали их колокольчики. Где-то далеко лаяла собака, и ее лай казался не громче шепота. У подножия отвесного склона сбилась в кучу небольшая отара овец.

— Это место называется Лас Пастурас дель Сиело, а по-нашему — Райские Пастбища, — сказал шофер. — Свои тут хорошо растут, фрукты, виноград... Вообще все поспевает раньше, чем везде.

Пассажиры пристально смотрели вниз, на долину, лежащую у их ног.

Один из пассажиров, судя по виду, преуспевающий бизнесмен, вдруг заговорил, и в его голосе зазвучало нечто пророческое.

— Вот что я вам скажу, и сбывается мне, я прав: в один прекрасный день в этой долине понастроят больших каменных домов, разобьют парки, площадки для гольфа

и поставят вокруг железную ограду с большими воротами. Богатые люди — вот кто будет здесь жить. Люди, которые устали от работы, устали от города, люди, которые нажили состояние и ищут тихую заводь, чтобы отдохнуть и пожить в свое удовольствие. Были бы у меня деньги, я бы сам все это скупил. Придержал бы эту землю, разбил на участки.— Он помолчал, потом сделал рукой такой жест, будто все сгребает в одну кучу.— И, клянусь богом, я и сам бы тут жил.

Жена сказала ему: «Ш-ш!» Он огляделся и увидел, что его никто не слушает.

Фиолетовая тень горы доходила уже до середины долины. Где-то внизу взвизгнула свинья. Молодой человек, смотревший на долину, поднял глаза и с улыбкой посмотрел на свою жену. В его улыбке было признание вины, и жена, словно угадав его мысли, укоризненно улыбнулась ему в ответ. Его улыбка говорила: «Я замечтался. Правда, это было бы славно... но я ведь не могу, ты знаешь».

А ее улыбка ответила: «Конечно, не можешь. Тебе надо думать о карьере. От тебя так много ждут. Тебе надо сделать себе имя, и я буду гордиться тобой. Как можно сбежать от ответственности и спрятаться здесь. Но все-таки как это было бы славно...» Их лица смягчились, и в глазах задержалась улыбка.

Молодой священник медленно брел по склону. Губы его шептали молитву, но он давно привык шептать молитвы и думать о чем-то совсем другом. «Там внизу, наверно, есть церквушка,— думал он.— Там нет нищеты, забот, грязи и вони. Прихожане признавались бы мне в маленьких простительных грешках. И я бы отпускал эти грешки после того, как они пару раз прочтут «Аве, Мария». Там покой; там нет места злобе. Там я не совершил бы ничего, достойного стыда или сожаления. Там я никогда не впал бы в сомнение. Люди, живущие в этих домиках, полюбили бы меня. Они бы называли меня «отец», и я был бы справедлив с ними». Он нахмурился и прервал сам себя: «Нет, я все-таки плохой священник. Бедняки, бьющиеся в тенетах нищеты, трущобы, грязь, вонь — все это для меня наказание. Нельзя бежать от трагедий Господа Бога». И он подумал: «Может быть, я и попаду сюда после смерти».

Старик жадно вглядывался в долину своими беспокойными глазами, и его слабеющий слух улавливал тишину словно легкие порывы ветра, шелестящего в кронах де-

ревьев. Дальние горы казались ему окутанными дымкой, но он ясно видел золотистые пятна света и темно-фиолетовые тени. Его дыхание стало прерывистым, и в глазах стояли слезы. Он беспомощно взмахнул руками. «У меня никогда не было времени, чтобы просто подумать. Вечно в заботах, вечно в суете, а подумать как следует некогда. Если бы я хоть немного тут пожил, я бы... Я бы поразмыслил как следует над своей жизнью и, может, понял бы что-нибудь. Может быть, все это обрело бы какой-то смысл. А то живу, и жизнь все тянется, тянется, а что толку? А там бы меня ничего не отвлекало. Я мог бы спокойно подумать».

Шофер автобуса бросил сигарету на дорогу и раздавил ее каблуком. «Эй, собирайтесь,— крикнул он.— Пора ехать». Он помог пассажирам забраться в автобус и закрыл двери, а они приникли к окнам и все глядели вниз, на Райские Пастбища, на тихую, лежащую среди гор долину, похожую на синее озеро, на фермерские домики, погруженные в это озеро тишины.

— А знаете,— сказал шофер,— я всегда думал: неплохо было бы купить там, внизу, дом. Завел бы корову, свиней. Собаку бы завел, а то и двух. Сад, огород... Прокормиться на ферме всегда можно.— Он нажал на стартер, мотор заревел, но он заглушил его.— Вы, наверно, скажете, вот чудак, но я каждый раз гляжу туда, вниз, и думаю, как же все-таки здорово там живется.

Он рывком переключил передачу, и автобус, набирая скорость, помчался под уклон по направлению к долине Кармел. Он мчался навстречу солнцу, которое садилось в океан где-то за горизонтом.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

Первый роман Джона Стейнбека «Золотая Чаша» (1929), по свидетельству американских литературоведов, был создан под влиянием романа известного автора приключенческих произведений Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». Стейнбек фактически создал беллетризованную биографию хорошо известного в свое время английского корсара и авантюриста XVII века Генри Моргана. Действуя при неофициальной поддержке британской короны, Морган со своими корсарами совершил не один пиратский рейд против испанских колоний в Вест-Индии. В августе 1670 года он возглавил армаду из 36 вооруженных кораблей, которая ставила своей целью захват порта и города Панама. В январе 1671 года Панама, эта «чаша золота», была захвачена головорезами Моргана и сожжена дотла. На обратном пути в Англию Морган бросил своих сподвижников, прихватив с собой почти все захваченные у испанцев богатства.

В Англии Моргану сначала не повезло: его бросили в тюрьму за нарушение заключенного с Испанией мирного договора. Однако отношения с Испанией вскоре снова ухудшились. Моргана освободили из тюрьмы, возвели в рыцарское достоинство и назначили вице-губернатором острова Ямайки. Остаток своих дней он провел там как важный правительственный чиновник и богатый плантатор.

Такова внешняя красочная сторона жизни корсара Генри Моргана. Но Стейнбека интересовала не она, а его внутренний мир, противоречие между личными устремлениями индивидуалиста и мечтателя и желаниями общества, не последним членом которого он себя считал. После захвата Панама Морган убеждается, что детские мечты несбыточны, он выбирает богатство.

Роман успеха не имел. Критики относили это за счет того, что он не отвечал принятым стандартам исторических романтических произведений, был пронизан «импрессионизмом и аллегорией». С одной стороны, роман был слишком «нроническим и реалистичным в отдельных деталях», чтобы привлечь читательниц женских журналов. А с другой — он был «слишком романтическим и экзотичным» для любителей серьезной прозы. И хотя роман неоднократно переиздавался в США, был выпущен в мягкой обложке, настоящий успех так и не пришел к нему.

Вторая книга писателя «Райские Пастбища» (1932) ничем не напоминала первую. Это был не роман, а сборник рассказов. Действие происходило не в глубокой древности, а в современной писателю Америке и в родной ему калифорнийской долине. Действующими лицами были не экзотические корсары, а простые фермеры. Но и этот сборник пронизан сказочными мотивами, напоминает о привидениях и

злых духах. Идея книги родилась у Стейнбека ранней весной 1931 года, когда он от одной знакомой услышал несколько историй о семьях фермеров, живших в небольшой долине неподалеку от Салинаса. Он стремился изобразить жизнь в небольшой долине, которую он называл Райские Пастбища, как «частицу американской действительности».

Создавая образы своих героев, Стейнбек использовал хорошо знакомых ему людей. Так, в истории учительницы Молли Морган и в ее характере многое напоминает мать писателя. Туларечного списан с мальчика, которого Стейнбек хорошо знал. Знал он и долину, в которой благополучно жили эти семьи, ее называли Счастливая долина, так как все десять—двенадцать семей, населявших ее, жили в согласии и достатке.

Но вот в Счастливой долине поселилась новая семья — такие же простые люди, как и все остальные. Стоило им принять в чем-то участие, как дело расстраивалось, в долине пошли ссоры и скандалы, покончила с собой учительница, случилось два убийства. Старожилы стали покидать насиженные и обжитые места. И хотя никто не мог прямо указать на новых поселенцев как источник всех бед, ясно было, что все происходило не без их мистического участия. Стейнбек признавался, что в своих рассказах он стремился показать «это невидимое влияние дьявола».

Любая из вошедших в книгу двенадцати житейских историй повествует о несбывшихся надеждах, о разбитых мечтах, о жизненных трагедиях и драмах. В «Райских Пастбищах» проявились те черты писательского видения Стейнбека, которые впоследствии принесут ему известность и славу. Прежде всего это реалистическое изображение американского образа жизни со всем его удручающим провинциализмом, бессодержательностью и пустотой.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Иванько. Джон Стейнбек (1902—1968)</i> . . .	3
<i>Золотая Чаша. Перевод И. Гуровой</i>	53
<i>Райские Пастбища. Перевод Е. Коротковой</i> .	229
Историко-литературная справка	393

Джон СТЕЙНБЕК

Собрание сочинений в шести томах

Том I

Редакторы тома
Р. С. Б о б р о в а
и
Б. Г. К л ю е в а

Оформление художника
Ю. К. Б а ж а н о в а

Технический редактор
В. Н. В е с е л о в с к а я

ИБ 1984

Сдано в набор 20.06.88. Подписано к печати 20.09.88.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 21,53. Усл. кр.-отт. 22,48. Уч.-изд. л. 24,41.
Тираж 1 700 000 экз. (7-й завод: 1 400 001—1 700 000).
Заказ № 3182. Цена 2 р. 70 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва,
А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская
Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-
Данченко, 104.

Индекс 70578

